

СОЧИЕНИЯ

БЪЛГИЙСКАГО

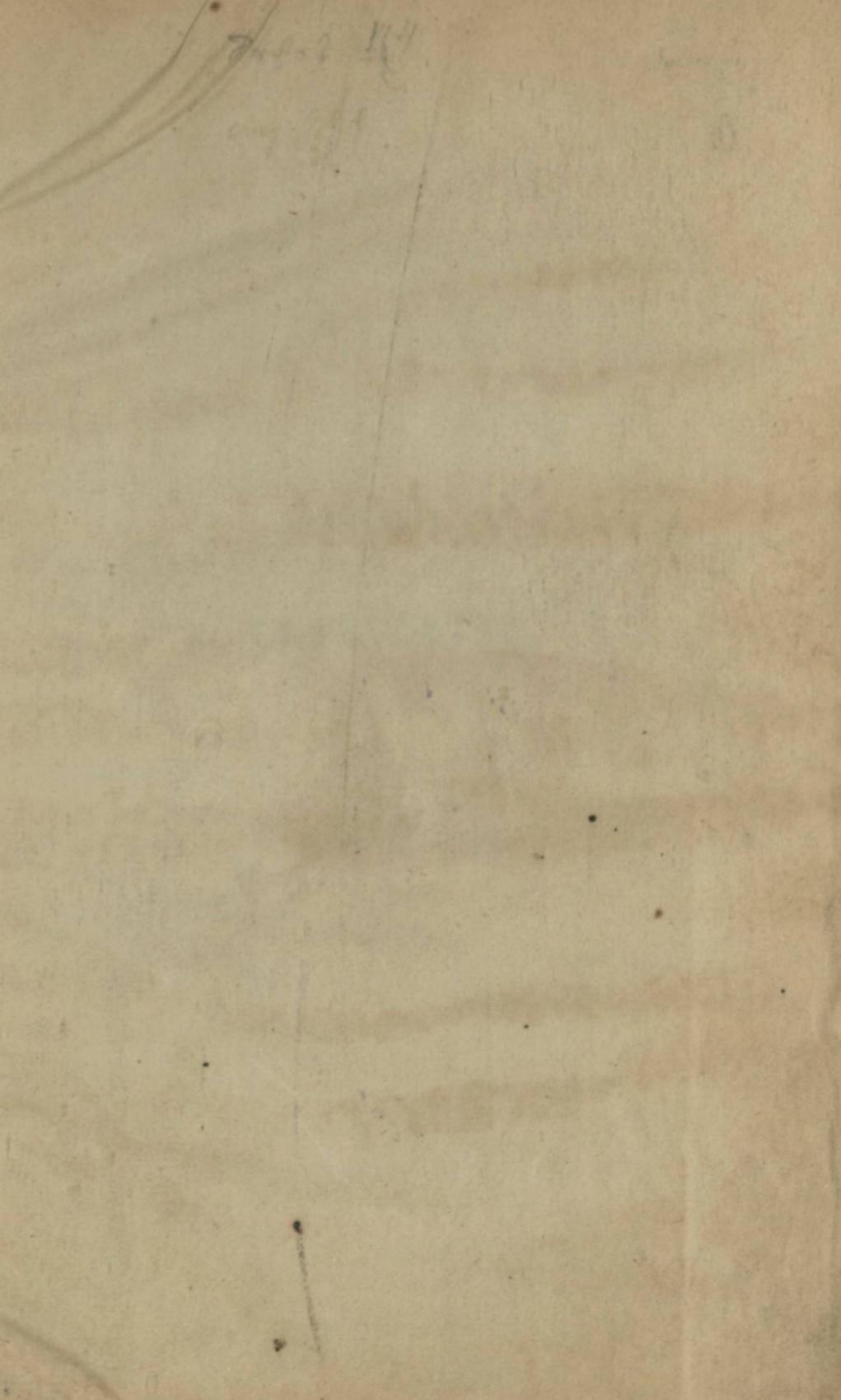
83.3P5

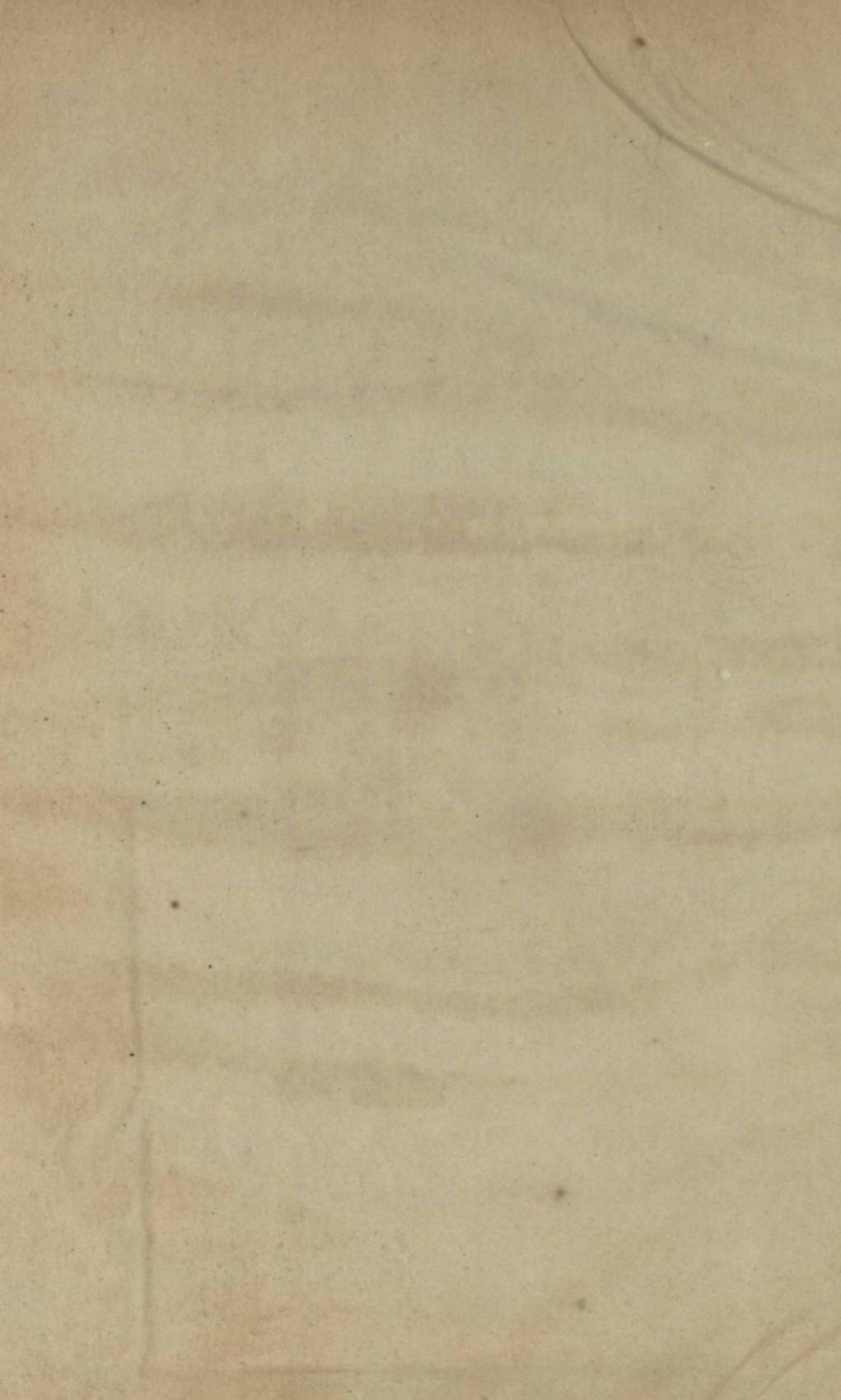
543

100973

8р1 122530  
Б.43 | Соринец  
В. Береснева  
заг. засуд

И/И  
122530





СОЧИНЕНИЯ

В. БЪЛИНСКАГО.



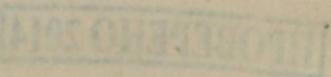
83.3Р5

Б.Ч3

## СОЧИНЕНИЯ

# В. БЫЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАНСИМИЛЕ.



## ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

---

Цѣна за каждую часть 1 р. сер.

---

ЧИТАЛЬНИК  
имени  
ТУРГЕНЕВА

МОСКВА.

Продается у книгопродавца А. И. Глазунова (на Кузнецкомъ Мосту).

1871.

1872 г.

ПРОВЕРЕНО

ПРОВЕРЕНО 2009

ПРОВЕРЕНО 2014

ТИПОГРАФИЯ ГРАЧЕВА И Е., У ПРЕЧИСТЕНСКИХ ВОРОТЬ, Д. ШИЛОВОЙ.

100973

Библиотека-  
читальня  
им. И.С. Тургенева

**1845.**

—

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**

**II.**

**БИБЛIOГРАФИЯ.**



ПРАВИЛА ВЫСШАГО КРАСПОРЪЧІЯ. Сочиненіе Михаила Спера-  
ранскаго. Спб. 1844.

О ПОДРАЖАНИИ ХРИСТУ, четыре книги юомы Кемпійскаго,  
переведенныея съ латинскаго языка графомъ М. М. Сперан-  
скимъ. Издание четвертое, дополненное противъ третьяго  
изданія избранными мыслями изъ другихъ твореній юомы  
Кемпійскаго, переведенными также графомъ М. М. Спе-  
ранскимъ. Спб. 1845.

Первое изъ этихъ произведеній особенно замѣчательно по  
имени ихъ автора, столь славному въ исторіи русской админи-  
страціи и русского законодательства. «Правила Высшаго Кра-  
споръчія» важны еще и какъ доказательство, что сильный умъ  
сохраняетъ свою самостоятельность, даже и слѣдуя по избитой  
дорогѣ, и умѣеть сказать что-нибудь дѣльное даже и о 'пред-  
метѣ, всѣми должно понимаемомъ въ его время. Книга графа  
Сперанскаго любопытна еще и какъ живой исторической памят-  
никъ литературныхъ понятій и русскаго языка въ эпоху 1792  
года. Это во многихъ отношеніяхъ историческое сочиненіе со-  
ставлено изъ лекцій, которыя Сперанскій читалъ въ Санкт-  
петербургской Духовной Академіи, тотчасъ послѣ того, какъ  
самъ кончилъ въ ней курсъ наукъ. Тогда ему былъ 21 годъ  
отъ рожденія, и, вѣроятно, еще онъ не предвидѣлъ другаго,  
болѣе блестящаго и важнаго поприща, на которое готовила  
его судьба.

Чтò касается до книги юомы Кемпійскаго, — иѣчего рас-  
пространяться въ похвалахъ еї: за нее говорятьъ почти четы-

реста лѣтъ огромнаго и повсемѣстнаго успѣха. На русскомъ языкѣ ея было восемь переводовъ: (1647, 1681, 1764, 1780, 1784, 1799, 1816 годовъ); переводъ графа Сперанскаго былъ девятымъ, и въ первый разъ былъ изданъ въ 1819 году. Слогъ перевода большею частію сообразенъ съ духомъ оригинала, но уже слишкомъ отзыается славянщиною; впрочемъ, назадъ тому двадцать пять лѣтъ, никому бы и не пришло въ голову переводить иначе подобную книгу.

**ИМПРОВИЗАТОРЪ, ИЛИ МОЛОДОСТЬ И МЕЧТЫ ИТАЛІЯНСКАГО ПОЭТА.** Романъ датскаго писателя Андерсена. Переводъ съ шведскаго. Двѣ части. Спб. 1844.

Герой этого романа—презабавное лицо: восторженный Итальянецъ, пітистъ, поэтъ, любить женщинъ и страхъ какъ боится, чтобы которая-нибудь не соблазнила его; человѣкъ съ слабымъ характеромъ, чувствуетъ позоръ вельможескаго покровительства, страдаетъ отъ него—и не имѣть силы освободиться изъ подъ обязательнаго ярма. Съ нимъ чѣмъ ни шагъ, то приключение. Онъ влюбляется въ трехъ женщинъ, но съ одною расходится по недоразумѣнію; другая любить его братски; на третьей онъ, наконецъ, женится, несмотря на свою боязнь, что Мадонна накажетъ его за избрание свѣтской жизни. Между многочисленными его приключениями, много по истинѣ чудесныхъ, естественность которыхъ въ послѣдствіи объясняется какъ-то натянуто. Вообще, этотъ романъ не лишенъ занимательности, хотя мѣстами и очень скученъ, сколько по характеру героя, довольно жалкому, столько и по утомительному однобразію своего содержанія вообще. Самая интересная сторона его — итальянская природа и итальянскіе нравы, очер-

ченные не безъ таланта и не безъ увлекательности. Но какъ блѣдны и слабы эти очерки въ сравненіи съ мастерскими картинами Италіи, дышащими глубокою мыслію и могучею жизнью въ романахъ Жоржъ-Занда! При воспоминаніи о «Послѣдней Альдини», «Домашнемъ Секретарѣ», «Маттеа», «Метеллѣ», «Ускокѣ» и «Консюэлѣ», становится какъ-то жалко бѣднаго Андерсена... Впрочемъ, здѣсь всякое сравненіе возможно только по отношенію къ странѣ, которую онъ избралъ сценою своего романа. Невѣроятно, чтобъ Андерсенъ могъ быть представителемъ поэтическаго гenia своего отечества, и чтобъ въ Даніи имѣющей Эленшлегера, не было поэтовъ гораздо выше его. Можетъ-быть, даже, и этотъ романъ—далеко не лучшее произведеніе Андерсена. Во всякомъ случаѣ, этотъ невинный романъ можетъ съ удовольствиемъ и пользою читаться молодыми дѣвушками и мальчиками, въ свободное отъ классныхъ занятій время. Переводъ «Импровизатора» очень хорошъ.

*исторія Наполеона. Сочиненіе Николая Полеваго. Томъ первый. Спб. 1844.*

При каждомъ новомъ произведеніи г. Н. Полеваго изумляешься неистощимой и разнообразной его дѣятельности. Чего не писалъ онъ! Лишь только зашевелится въ русской литературѣ что-нибудь похожее на новое направленіе, или просто на новый вкусъ, новую моду, — онъ тутъ какъ тутъ, и всегда впереди тѣхъ, которые своимъ успѣхомъ прежде его открыли новое средство угодждать прихоти публики. Но ему ни-почемъ обгонять русскихъ писателей и состязаться съ ними о пальмѣ первенства: онъ уже соперничествуетъ съ литературными славами Европы. Еще не успѣлъ Тьеръ напечатать свою исторію

Наполеона, какъ г. Полевой уже выдалъ первый томъ своей «Исторії Наполеона». Вотъ какъ мы состязуемся съ Европою! Изъ-подъ пера г. Полеваго, какъ видно по театральнымъ афишамъ, вышли почти въ одно и то же время драма «Павель и Виргишія» и — «Исторія Наполеона»! Впрочемъ, что жь! Пусть читаютъ добрые люди «Исторію Наполеона», сочиненную г. Полевымъ, если не могутъ читать «Исторіи Наполеона», сочиненной Тьеромъ. Конечно, это далеко не одно и то же, но и «что-нибудь» лучше, нежели «ничего». При огромномъ изобилії матеріаловъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ, трудно было бы литературу, набившему руку въ многописанії, не составить чего-нибудь въ родѣ исторіи Наполеона, сколько-нибудь сносной. Жаль только, что г. Полевой иногда странно ошибается въ фактахъ, особенно во «Введенії»: такъ, наприм., онъ называетъ другомъ якобинцевъ заклятаго врага ихъ, жирондиста Дюмурье. Другой недостатокъ «Исторіи Наполеона» г. Полеваго заключается въ общемъ недостаткѣ всѣхъ его сочинений — въ языке, который очень трудно читать.

---

**РУКОВОДСТВО КЪ ПОЗНАНІЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ-МАТЕРИЯЛЬНОЙ ФИЛОСОФІИ. Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб. 1844.**

Германія — отечество философіи новаго міра. Когда говорятъ о философіи, то всегда разумѣютъ германскую, потому что никакой другой философіи человѣчество не имѣть. Во всѣхъ другихъ странахъ, философія есть попытка частнаго лица разрѣшить известные вопросы о бытіи; въ Германіи, философія — наука, исторически развивающаяся; ея обработываніе постепенно передается отъ поколѣнія къ поколѣнію.

Кантъ первый положилъ прочныя начала новѣйшей философіи и далъ ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моментъ развитія философіи: дѣйствую независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ тѣмъ не менѣе былъ только продолжителемъ начатого Кантомъ дѣла. Шеллингъ и Гегель—представители дальнѣйшаго движенія философіи. Теперь гегелизмъ распался на три стороны—правую, которая остановилась на послѣднемъ словѣ гегелизма и далѣе не йдетъ; лѣвую, которая отложилась отъ Гегеля, и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примиреніи философіи съ жизнью, теоріи съ практикою; и центральную, составляющую иѣчто среднее между мертвою стоячестію правой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лѣвая сторона гегелизма отложилась отъ своего учителя, это не значитъ, чтобы она отвергла его великія заслуги въ сферѣ философіи и признала его ученіе пустымъ и безплоднымъ явленіемъ. Нѣтъ, это значитъ только, что она хочетъ идти дальше и при всемъ ея уваженіи къ великому философу, авторитетъ духа человѣческаго ставить выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте; такъ духомъ ученія своего объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ изъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшественника, и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философіи дѣлаетъ невозможными произвольныя проявленія личныхъ философствованій. Чтобы дѣйствовать на поприщѣ философіи, въ Германіи мало того, чтобы объявить печатно: «я такъ думаю», но должно посвятить цѣлые годы тяжелаго труда дѣльному и основательному изученію всего, что сдѣлано по части философіи,—должно быть современнымъ.

Съ этой точки зре́нія, нѣтъ ничего забави́ще русской философи и русскихъ книгъ по части философи. О философи, какъ наукѣ, у насъ никто не заботится; но всѣ наши философы думаютъ, что для того, чтобы сдѣлаться философомъ, стоять только захотѣть этого. Учиться философи они не считаютъ нужнымъ; имъ легче объявить, что всѣ немецкіе философы врутъ, иежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимаютъ, что у насъ для философи нѣтъ еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдругъ, ни съ того ни съ сего, прійдетъ охота пофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлины не берутъ, то, вслѣдствіе этого неожиданного припадка философствованія, явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все решено, кромѣ одного тлько — зачѣмъ и для кого написанъ весь этотъ вздоръ...

Едва ли не смѣлѣе всѣхъ другихъ нашихъ философовъ г. Александръ Петровичъ Татариновъ: на сорокѣ страничкахъ, разгонисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него «теоретическую-практическую» философию, и начисто решаетъ, что такое истина, благо и красота: истина у него есть истина, благо — благо, а красота — красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что-то только о Локкѣ, Лейбницѣ и Кацѣ, а о дальнѣйшемъ ходѣ философи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣеть. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгою и даже книжкою ее нельзя назвать)? Для тѣхъ, кто имѣеть хотя какое-нибудь понятіе о философи, тетрадка г. Татаринова будетъ только забавна; а тѣ, которые о философи не имѣютъ никакого понятія, ровно ничего не поймутъ въ ней, въ этой тетрадкѣ.

ОБЩАЯ РИТОРИКА, Н. Кошанскаю. Изданіе девятое. Спб.  
1844.

Наука—великое дѣло. Въ этомъ согласны всѣ—оть мудреца до безграмотнаго простолюдина. Ученье свѣтъ, не ученье тьма, говорятъ наши русскіе мужички. Въ наше время, эта истина становится аксиомою. Но и враги ученія и наукъ еще не перевелись, и—что всего хуже, они не всегда неправы въ своихъ нападкахъ на ученость и ученыхъ. Мы говоримъ не о тѣхъ противникахъ просвѣщенія, которые только во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ видятъ неиспорченность мысли и чистоту нравственности: иѣтъ, обѣ этихъ изувѣрахъ обскурантизма, обѣ этихъ чадахъ тьмы, обѣ этихъ фанатикахъ и лицемѣрахъ ложно понимаемаго доброправія, не стоять труда и говорить. Но нельзя не обратить вниманія на тѣхъ противниковъ просвѣщенія, которые вооружаются не столько противъ науки, сколько противъ ученыхъ; которые, основываясь на простомъ здравомъ смыслѣ и на простомъ практическомъ чувствѣ, не теорію, а указаниемъ на знакомыхъ имъ ученыхъ, доказываютъ то пустоту и бесполезность, то даже вредъ ученія. Объяснимъ это примѣромъ. Положимъ, г. NN—человѣкъ неучившійся, но умный оть природы, образовавшійся опытомъ жизни и нечуждый иѣкоторой начитанности, повинуясь духу времени, взялъ для своего сына учителя словесности. И вотъ, учитель аккуратно является давать юношѣ уроки, проходить съ нимъ грамматику, риторику, поэзію, логику. Конченъ курсъ словесности; всѣ довольны: сынъ—что узналъ столько мудреныхъ и полезныхъ наукъ; отецъ—что выполнилъ свой долгъ; учитель—что образовалъ новаго словесника. Но вдругъ декорація перемѣняется. Отецъ опредѣляетъ своего сына на службу и хочетъ, чтобы тотъ служилъ подъ его руководствомъ. Для практики, онъ даетъ ему составлять выписки изъ дѣлъ,

задаетъ ему писать разныя бумаги официального содержанія,— и что же? Онъ съ удивленіемъ видитъ, что во всѣхъ юридическихъ опытахъ его сына бездна краснорѣчія, тропъ и фигуръ не оберешься, а дѣла нѣтъ и признаковъ; слогъ отличный, по истинѣ высокій, а что-нибудь понять въ немъ нѣтъ никакой возможности. Въ другое время, онъ просить сына написать письмо о томъ-то и тому-то: та же исторія! Періоды круглые, съ пониженіями и повышеніями; послѣ предложенія, начинающагося съ «хотя», всегда слѣдуетъ предложеніе, начинающееся съ «однако»; слово «кто» всегда соотвѣтствуетъ слову «тотъ», и т. д.; но письмо тяжело, неприлично, неуклюже, какъ семинаристъ въ обществѣ. «Что же это значитъ?» думаетъ отецъ. «Сынъ мой не глупъ, способности у него есть, въ обществѣ онъ держитъ себя прилично и говорить какъ принято, а на письмѣ—фразёръ, педантъ, надутый враль, тяжелый болтунъ. Учился онъ по хорошей книгѣ, по «Риторикѣ» г. Кошанскаго, которая вездѣ прината за лучшее руководство и напечатана девятымъ изданіемъ; учитель — человѣкъ извѣстный, учить во всѣхъ домахъ и меныше десяти рублей за урокъ не беретъ; все это такъ, — но чему же выучился мой сынъ?» Далѣе, отецъ замѣчаетъ, что его сынъ, прошедъ полный курсъ словесности, слѣдовательно, выучившись и поэзіи, узнавъ и исторію русской словесности, свысока разсуждаетъ иногда о величії генія Державина, вскользь упоминаетъ и о Пушкинѣ, а между тѣмъ читаетъ только новые романы и водевили, совершенно не интересуясь ни чѣмъ инымъ. Зная название всѣхъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій на отечественномъ языке, онъ только изъ нѣкоторыхъ читалъ отрывки, а большей части совсѣмъ не читалъ. И вотъ, дѣлать нечего, отецъ споритъ съ сыномъ, кое-какъ переламываетъ его, пріучаетъ хорошо писать и дѣловыя бумаги и письма. Сынъ сталъ хоть куда! Но тогда отецъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что сынъ его исправился, благо-

даря тому, что совершенно забылъ, какъ вздоръ, все, чему учили его учитель словесности. Какое же отецъ долженъ вывести мнѣніе изъ всего этого? — Разумѣется, такое, что науки и ученье — вредный вздоръ. И онъ правъ, тысячу разъ правъ: за него фактъ и, можетъ-быть, тысячи фактовъ. Какое ему дѣло разсуждать, что за наука — риторика, можетъ ли и должна ли она преподаваться, и такъ ли ее преподаются? Онъ знаетъ, что риторикѣ учать во всѣхъ училищахъ, что безъ риторики никого не признаютъ ученымъ, знаетъ, что его сынъ учился по риторикѣ, изданной девятымъ изданіемъ, вездѣ принятой за руководство, — и въ то же время онъ знаетъ, что риторика — сущій вздоръ, не только бесполезный, но и страшно вредный.

Много можно привести такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что отъ ученія люди часто ничего не выигрываютъ, а много проигрываютъ: выигрываютъ — тяжелость, сухость, педантизмъ, претензіи, а проигрываютъ здравый смыслъ, живость ума, инстинктъ истины, тактъ дѣйствительности. «Метафизикъ» Хемницера дѣйствительно бессмертная вещь: говоря объ ученіи и ученыхъ, часто по-неволѣ вспомнишь о ней...

Но наука и ученье тутъ ни въ чёмъ не виноваты, потому что надо строго отличить науку и ученье отъ состоянія, въ которомъ наука и ея преподаваніе находятся въ извѣстное время и въ извѣстномъ обществѣ. Конечно, людямъ практическимъ, которые привыкли обо всемъ судить на основаніи здраваго смысла и опыта, которые цѣнятъ вещи по ихъ результатамъ, видять ихъ, какъ онѣ суть, а не такъ, какъ бы должны были быть, — такимъ людямъ мало дѣла до необходимости отдѣлять злоупотребленіе науки отъ самой науки, — и они совершенно правы со своей точки зрѣнія. И потому мы хотимъ поговорить здесь о риторикѣ не для того, чтобы убѣдить практическихъ людей въ высокомъ достоинствѣ риторики вообще и

«Риторики» г. Кошанского въ частности, а для того, чтобъ практическіе люди непрезирали всякой науки и всякаго знанія потому только, что риторика—вздорная наука и вредное знаніе.

Злоупотребленіе многихъ вещей происходитъ большою частію оттого, что люди смѣшиваютъ между собою самыя различные вещи. Такъ напримѣръ, чаще всего смѣшиваются у насъ понятія: наука и искусство. Самое слово «наука» у насъ невѣрно выражаетъ заключенное въ немъ понятіе. Простой народъ нашъ правильнѣе употребляетъ это слово, говоря о мальчикѣ, отданномъ учиться сапожному ремеслу: «онъ отданъ въ науку». То, что называется *scientia*, *science*, *Wissenschaft*, у насъ должно бы называться не наукой, а знаніемъ. Наука ничему не учитъ, ничему не выучиваетъ: она даетъ знаніе законовъ, по которымъ существуетъ все существующее; она многоразличіе однородныхъ предметовъ приводить въ идеальное единство. Искусство имѣетъ болѣе практическое значеніе: оно больше способность, талантъ, умѣніе что-либо дѣлать, нежели знаніе чего-либо. Искусства бываютъ двухъ родовъ: творческія и техническія. Дѣятельная, производительная способность въ первыхъ бываетъ людяхъ, какъ даръ природы; ученіе и трудъ развиваютъ этотъ даръ, но самого дара не даютъ тѣмъ, кому не дано его природою. Техническія искусства даются людямъ наукой, въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это слово простой народъ,—въ смыслѣ практическаго ученія, изученія, навыка. И въ творческихъ искусствахъ есть своя техническая сторона, доступная и бездарнымъ людямъ: можно выучиться писать легкіе и гладкіе стихи, разбирать ноты и лучше или хуже разыгрывать ихъ, срисовывать копіи съ оригиналовъ и т. п., но поэтомъ, музыкантомъ, живописцемъ нельзя сдѣлаться ученіемъ и рутиной. Все, что существуетъ существуетъ на основаніи неизмѣнныхъ и разумныхъ законовъ, и потому подлежитъ вѣденію науки (знаніе); слѣдова-

тельно, и искусство подлежитъ вѣдѣнію науки, но не иначе, какъ только предметъ знанія, а совсѣмъ не какъ предметъ обученія, т. е. мастерство, которому можно выучиться посредствомъ науки. Искусствамъ учатся — это правда, особенно такимъ, въ которыхъ техническая сторона преимущественно важна и трудна; но здѣсь ученіе особеннаго рода — ученіе практическое, а не теоретическое, ученіе не по книгѣ, а по наглядному указанію мастера. Таковы и всѣхъ техническихъ искусств, всѣ ремесла. Напишите самое ясное, самое толковитое руководство къ искусству шить сапоги, — самый понятливый и способный человѣкъ въ пятьдесятъ, во сто лѣтъ не выучится по вашей книгѣ шить такъ хорошо, какъ бы выучился онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ у хорошаго мастера, при посредствѣ его наглядныхъ указаній и своего упражненія и навыка. Въ такомъ точно отношеніи находится наука къ искусству. Иной эстетикъ-критикъ судить лучше художника о произведеніи самого этого художника, но самъ не въ состояніи ничего создать. Въ сфере искусства, ученый знаетъ, художникъ умѣетъ.

Но не всѣ, къ несчастію, понимаютъ это и теперь; еще меньше всѣ понимали это прежде. Вотъ откуда явилась риторика, какъ наука краснорѣчія, наука, которая брала на выучку кого угодно сдѣлать великимъ ораторомъ; вотъ откуда явилась пітика, какъ наука дѣлать поэтами даже людей, которые способны только мостить мостовую.

Риторика получила свое начало у древнихъ. Соціализмъ и республиканская форма правленія древнихъ обществъ сдѣлали краснорѣчіе самымъ важнымъ и необходимымъ искусствомъ, ибо оно отворяло двери къ власти и начальствованію. Удивительно ли, что всѣ и каждый хотѣли быть ораторами, хотѣли имѣть вліяніе на толпу посредствомъ искусства красно говорить? поэтому, изучали рѣчи великихъ ораторовъ, анализировали ихъ, и дошли до открытія троповъ и фигуръ, до источни-

ковъ изобрѣтенія; стали искать общихъ законовъ въ частныхъ случаяхъ. Ораторъ сильно всколебалъ толпу могучимъ чувствомъ, выраженнымъ въ фігурѣ вопрошенія,—и вотъ могучее чувство отбросили въ сторону, а фігуру вопрошенія приняли къ свѣдѣнію: эффектная-де фигура, и на ней какъ можно чаще надобно выѣзжать — всегда вывезетъ. Это напоминаетъ басню о глупомъ мужикѣ, или глупой обезьянѣ, которая, увидѣвъ, что ученый, принимаясь за чтеніе, всегда надѣвалъ на носъ очки, тоже достала себѣ очки и книгу, хотѣла читать, и съ досады, что ей не читается, разбила очки. Но люди бываютъ иногда глупѣе обезьянъ. Изъ наблюденій и анализа надъ рѣчами великихъ ораторовъ они составили сборъ какихъ-то произвольныхъ правилъ и назвали этотъ сборъ риторикою. Явились риторы, которые къ ораторамъ относились, какъ діалектики и софисты относились къ філософамъ, и начали обучать людей искусству краснорѣчія; завелись школы, но изъ нихъ выходили все-таки не ораторы, а риторы. Какая разница между ораторомъ и риторомъ? Такая же, какъ между філософомъ и софистомъ, между присяжнымъ судьею (*јигу*) и адвокатомъ: філософъ въ діалектицѣ видѣтъ средство дойти до знанія истины, — софистъ въ діалектицѣ видѣтъ средство оставаться побѣдителемъ въ спорѣ; для філософа, истина — цѣль, діалектика — средство; для софиста, истина и ложь — средство, діалектика — цѣль; присяжный судья видѣтъ свою цѣль въ оправданіи невиннаго, въ осужденіи виновнаго; адвокатъ видѣтъ свою цѣль въ оправданіи своего клиента, правъ ли онъ, или виноватъ — все равно. Ораторъ убѣждаетъ толпу въ мысли, величественность которой измѣряется его одушевленіемъ, его страстью, его паѳосомъ, и, следовательно, жаромъ, блескомъ, силою, красотою его слова; ритору нѣтъ нужды до мысли, въ которой онъ хочетъ убѣдить толпу: риторъ — человѣкъ маленький, и мысль его можетъ быть подлецомъ, даже у него

можетъ не быть вовсе никакой мысли, а только гадинъкая цѣль, — и лишь бы ея удалось ему достигнуть, а до прочаго ему нѣтъ дѣла. И тамъ, гдѣ ораторъ береть вдохновеніемъ, бурею страстей, громомъ и молниєю слова, тамъ риторъ хочетъ взять тропами и фигурами, общими мѣстами, выточенными фразами окружлennыми періодами. Но въ древности, риторика еще имѣла какой-нибудь смыслъ. Когда въ какой-нибудь республикѣ переводились на время великие люди, тогда народомъ управляли крикуны и краснобаи, т. е. риторы. А много ли людей, которые для такой цѣли не стали бы учиться риторикѣ? — Но скажите, Бога ради, зачѣмъ нужна риторика въ новомъ мірѣ? Зачѣмъ она даже въ Англіи и во Франції? Вѣдь Питтъ и Фоксъ были не только ораторы, но и государственные люди? Вѣдь въ наше время, когда вся общественная машина такъ многосложна, такъ искусственна, даже и великій по таланту ораторъ недалеко уйдетъ, если въ то же время онъ не будетъ государственнымъ человѣкомъ? И какимъ образомъ риторика сдѣлаетъ кого-нибудь краснорѣчивымъ въ Англіи и во Франціи, и кто изъ англійскихъ и французскихъ парламентскихъ ораторовъ образовался по риторикѣ? Развѣ риторика даетъ кому-нибудь смѣлость говорить передъ многочисленнымъ собраниемъ? Развѣ она даетъ присутствіе духа, способность не теряться при возраженіяхъ, умѣніе отразить возраженіе, снова обратиться къ прерванной нити рѣчи, находчивость, талантъ всемогущаго слова «кстати». Приведемъ извѣстный примѣръ изъ древняго міра. Демосфенъ говорилъ о Филиппѣ, а вѣтрение Аѳиняне толковали между собою о новостяхъ дня; раздраженный ораторъ начинаетъ имъ рассказывать пустую побасенку, — и Аѳиняне слушаютъ его внимательно. «Боги!» воскликнулъ великій ораторъ: «достоинъ вашего покровительства народъ, который не хочетъ слушать, когда ему говорятъ объ опасности, угрожающей его отечеству,

и внимательно слушаетъ глупую сказку!» Разумѣется, эта неожиданная выходка устыдила и образумила народъ. Скажите: какая риторика научитъ такой находчивости? Вѣдь подобная находчивость—вдохновеніе! Вздумай кто нибудь повторить эту выходку — толпа расхоочется, потому что толпа не любить людей, которые велики или находчивы заднимъ числомъ. Какая риторика дастъ человѣку бурный огонь одушевленія, страсть, пафосъ? Намъ возразятъ конечно, не дастъ, но разовьетъ эти счастливые дары природы. Неправда! ихъ можетъ развить практика, трибуна, а не риторика. Геній полководца нуждается въ хорошихъ книгахъ о военномъ искусствѣ, но развивается онъ на поляхъ брави. И чѣмъ бы могла риторика развить геній оратора: неужели тропами, метафорами и фигурами? Но что такое тропы, метафоры и фигуры, если выраженіе страсти—не произведеніе вдохновенія? Истинный ораторъ употребляетъ тропы и фигуры, не думая о нихъ. То энергическое выраженіе, которымъ онъ всколебалъ толпу, иногда срывается съ его устъ нечаянно, и онъ самъ не предвидѣлъ, не находилъ его въ своей головѣ, будучи отдаленъ отъ него только двумя словами предшествовавшей фразы. Ученикамъ задаютъ писать тропы и фигуры: не значить ли это задавать имъ работу—быть вдохновенными, страстными? Это напоминаетъ соловья въ кохтяхъ у кошки, которая заставляетъ его пѣть. Да чего не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ! Въ старину, въ семинарияхъ, въ классѣ поэзіи, задавали ученикамъ описывать въ стихахъ разные назидательные предметы.

Итакъ, какую же пользу можетъ приносить риторика? Не только риторики,—даже теоріи краснорѣчія (какъ науки краснорѣчія) не можетъ быть. Краснорѣчіе есть искусство,—не цѣлое и полное, какъ поэзія: въ краснорѣчіи есть цѣль, всегда практическая, всегда опредѣляемая временемъ и обстоятельствами. Поэзія входитъ въ краснорѣчіе какъ элементъ,

является въ немъ не цѣлью, а средствомъ. Часто самыя увлекательныя, самыя патетическія мѣста ораторской рѣчи вдругъ смѣняются статистическими цифрами, сухими разсужденіями, потому что толпа убѣждается не одною красотою живой изустной рѣчи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣломъ, и фактами. Одинъ ораторъ могущественно властвуетъ надъ толпой силою своего бургаго вдохновенія; другой — вкрадчивою граціею изложенія; третій — преимущественно пронію, насыщкой, остроуміемъ; четвертый послѣдовательностью и ясностью изложенія, и т. д. Каждый изъ нихъ говоритъ, соображаясь съ предметомъ своей рѣчи, съ характеромъ слушающей его толпы, съ обстоятельствами настоящей минуты. Еслибъ Демосоенъ вдругъ воскресъ теперь и заговорилъ въ англійской нижней палатѣ самымъ чистымъ англійскимъ языкомъ, — англійскіе джентльмены и Джонъ Буль ошикали бы его; а наши современные ораторы плохо были бы приняты въ древній Греціи и Римѣ. Мало того: французскій ораторъ въ Англіи, а англійскій во Франціи не имѣли бы успѣха, хотя бы они, каждый въ своемъ отечествѣ, привыкли владычествовать надъ толпой силою своего слова. И потому, если вы хотите людямъ, которые не готовятся быть ораторами, дать понятіе о томъ, что такое краснорѣчіе, а людямъ которые хотятъ быть ораторами, дать средство къ изученію краснорѣчія,—то не пишите риторики, а переберите рѣчи извѣстныхъ ораторовъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, снабдите ихъ подробною біографіею каждого оратора, необходимыми историческими примѣчаніями,—и вы окажете этой книгою великую услугу и ораторамъ и неораторамъ.

Но зачѣмъ риторика у насъ въ Россіи? — Затѣмъ, чтобы учить дѣтей сочинять?... Многіе смѣются надъ опредѣленіемъ грамматики, что она учитъ «правильно говорить и писать». Определеніе очень умное и очень вѣрное! Всеобщая грамма-

тика есть философія языка, философія человѣческаго слова: она раскрываетъ систему общихъ законовъ человѣческой рѣчи, равно свойственныхъ каждому языку. Частная грамматика учитъ ни чemu иному, какъ правильно говорить и писать на томъ или другомъ языке: она учитъ не ошибаться въ согласованіи словъ, въ этимологическихъ и синтаксическихъ формахъ. Но грамматика не учитъ хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо—совсѣмъ не одно и то же. Случается даже такъ, что говорить и писать слишкомъ правильно значитъ говорить и писать дурно. Иной семинаристъ говоритъ и пишетъ какъ олицетворенная грамматика, — его нельзя ни слушать, ни читать; а иной простолюдинъ говоритъ неправильно, ошибается и въ склоненіяхъ и въ спряженіяхъ, а его заслушаешься. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы грамматикъ не должно было учиться, и чтобы грамматика была вздорная наука: совсѣмъ напротивъ! Неправильная рѣчь одаренного способностію хорошо говорить простолюдина была бы еще лучше, еслибъ онъ зналъ грамматику. Дѣло въ томъ только, чтобы грамматика знала свои границы и слушалась языка, котораго правила объясняетъ: тогда она научить правильно и писать и читать; но все-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо—совсѣмъ не ея дѣло. Сколько мы догадываемся, па это претендуетъ риторика. Нелѣпость, сущая нелѣпость! Кто готовится въ государственные ораторы,— тотъ пусть изучаетъ рѣчи государственныхъ ораторовъ, слушаетъ ихъ, какъ можно чаще бываетъ въ обществѣ государственныхъ людей; кто готовится въ адвокаты, тотъ пусть не выходить изъ судебныхъ мѣстъ, пусть ищетъ общества адвокатовъ; но еще лучше, если тотъ и другой какъ можно чаще сами будутъ пробовать свои силы на избранномъ поприщѣ; кто хочетъ блестать своимъ разговоромъ въ свѣтскомъ обществѣ, тотъ пусть живеть въ свѣтѣ; кто хочетъ по-

святить себя литературѣ, тотъ пусть изучаетъ писателей своего отечества и слѣдитъ за современнымъ движениемъ литературы. Но и тотъ, и другой, и третій, и четвертый, больше всего пусть опасаются риторики! Скажутъ: въ искусствѣ говорить особенно въ искусствѣ писать, есть своя техническая сторона, изученіе которой очень важно? Согласны; но эта сторона нисколько не подлежитъ вѣдѣнію риторики. Ее можно назвать стилистикою, и она должна составить собою дополнительную, окончательную часть грамматики, высшій синтаксисъ, то, что въ старинныхъ латинскихъ грамматикахъ называлось: *syntaxis ornata* и *syntaxis figurata*. Этотъ высшій синтаксисъ долженъ заключать въ себѣ главы: 1) о предложніяхъ и периодахъ, 2) о тропахъ, и 3) объ общихъ качествахъ слова — чистотѣ, ясности, опредѣленности, простотѣ и проч. въ отношеніи къ выраженію. Въ главѣ о предложеніяхъ и периодахъ, должны быть объяснены общія, на логическомъ строеніи мысли основанныя формы рѣчи; въ периодѣ должно показать силлогизмъ; надобно обратить особенное вниманіе на то, чтобы отдѣлить внѣшнюю форму отъ внутренней, и научить по возможности избѣгать школьній формы выраженія. Такъ, напримѣръ, всякий школьникъ, особенно учившійся по «Риторикѣ» г. Кошанскаго, необходимо принадлежностью условнаго периода почитаетъ союзы: если, то; надо внушить ему, что условность можетъ заключаться въ периодѣ и безъ если и то, напримѣръ: «скажешь правду, петеряешь дружбу», и что эта послѣдняя форма проще, легче и лучше первой. Въ главѣ о тропахъ не должно гоняться за пошлыми примѣрами, или искать ихъ непремѣнно въ сочиненіяхъ извѣстныхъ писателей, но брать ихъ преимущественно въ обыкновенномъ, разговорномъ языкѣ, въ пословицахъ и поговоркахъ. Надо показать ученику, что тропы породила необходимость образнаго выраженія, и что тропы лучше всего объясняютъ и оправдываютъ

философское положение: «ничего не можетъ быть въ умѣ, чего не было въ чувствѣ». Лучшіе примѣры троповъ должны быть въ такомъ родѣ: «острый умъ, тупая память, слѣды преступленія, имѣть кусокъ хлѣба», и т. п. Что касается до фигуръ, которыя, какъ извѣстно, раздѣляются риторами на «фигуры словъ» и «фигуры мыслей», — то о нихъ лучше всего совсѣмъ не упоминать. Кто изчислитъ всѣ обороты, всѣ формы одушевленной рѣчи? Развѣ риторы изчислили всѣ фигуры? Нѣтъ, ученіе о фигурахъ ведетъ только къ фразистости. Всѣ правила о фигурахъ совершенно произвольны, потому что выведены изъ частныхъ случаевъ. Чѣмъ касается до главы «о слогѣ вообще», — она должна состоять изъ опытныхъ наблюдений, изъ общихъ замѣчаній, и отнюдь не должна претендовать на научное изложеніе. Чтобы пріучить ученика владѣть фразою и не затрудняться въ выраженіи мысли, — всего менѣе нужна теорія и всего болѣе практика. Упражняйте его въ переложеніи стиховъ на прозу, а главное — въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ. Это истинная и единственная школа стилистики. Борьба между духомъ двухъ различныхъ языковъ, сравненіе средствъ того и другаго для выраженія одной и той же мысли, всегдашнее усиленіе найти на своемъ языкѣ фразу, вполнѣ соответствующую фразѣ иностранного языка: это всего лучше развязеть перо ученика, и кромѣ того, всего лучше заставитъ его вникнуть въ духъ роднаго языка. Но эти такъ называемые источники изобрѣтенія, эти топики, эти общія мѣста (*lieux communs*), которыми риторика гордится какъ своимъ истиннымъ и главнымъ содержаніемъ, — все это рѣшительно пустяки, и пустяки вредные, губительные. Мальчику задаютъ сочиненіе на какую-нибудь описательную, а чаще всего отвлеченную тѣму: велять ему или описать весну, зиму, восходъ солнца, или доказать, что лѣность есть мать пороковъ, что порокъ всегда наказывается, а добродѣтель всегда торжествуетъ.

еть; Боже великий, какое варварство! Мальчикъ сочиняетъ! Мальчикъ — сочинитель! Да, знаете ли вы, господа риторы, что, мальчикъ, который сочиняетъ, почти то же, что мальчикъ, который курить, волочится за женщинами, пить водку?... Во всѣхъ этихъ четырехъ случаяхъ равно губительно упреждается природа искусственнымъ развитіемъ, и мальчишка играетъ роль взрослого человѣка. Гдѣ ему разсуждать о природѣ, когда вся прелестъ, все блаженство его возраста въ томъ и состоитъ, что онъ любить природу, не зная какъ и за что? А вы заставляете его находить причины его любви къ природѣ и анализировать это чувство. Мальчикъ любить своихъ товарищѣй, съ нѣкоторыми изъ нихъ дружень — почему? — по простой симпатіи, которая влечетъ человѣка къ человѣку, соединяетъ возрастъ съ возрастомъ,—а вы заставляете его насильно увѣряться, что это происходитъ въ немъ то оттого, то отъ другаго, то отъ нужды въ помощи ближняго, то отъ пользы общаго труда! Чѣмъ изъ этого выходитъ? — мальчикъ былъ добрый шалунъ, который любилъ своихъ товарищѣй просто за то, что ему съ ними было весело, — этотъ мальчикъ, искушившійся въ риторикѣ, начинаетъ раздѣлять свое чувство на простое знакомство, на пріязнь и дружбу; дружбы у него является нѣсколько родовъ, и онъ уже по рецептамъ начинаетъ направлять свое расположение къ ближнимъ, и его чувство дѣлается искусственно, ложно. Изъ живаго, здороваго полнотою чувства ребенка, дѣлается рефлектёръ, резонеръ, умникъ, и чѣмъ лучше онъ говорить о чувствахъ, тѣмъ бѣднѣе онъ чувствами, — чѣмъ умнѣе онъ на словахъ, тѣмъ пустѣе онъ внутренне. Отъ дружбы недалека любовь,— и вотъ прежде, чѣмъ пробудилась въ немъ неопределенная потребность этого чувства, онъ уже знаетъ любовь въ теоріи, говорить объ измѣнѣ, ревности и кровавомъ мщеніи. Онъ влюбляется не по невольному влечению, а по выбору, по рефлек-

сіи, и описываетъ, анализируетъ свое чувство или въ письмѣ къ другу, или въ своемъ дневнику, или въ стишонкахъ, которые онъ давно уже кропаетъ. Результатъ всего этого тотъ, что въ мальчишкѣ не остается ничего истиннаго, что онъ весь ложень, что непосредственное чувство у него замѣнено прихотью мысли. Прежде, нежели почувствуетъ онъ что-нибудь, онъ назоветъ это, опредѣлить. Онъ не живеть, а разсуждаетъ. И вотъ онъ уже не мальчишка, ему уже двадцать лѣтъ, — и въ этотъ-то счастливый возрастъ полноты жизни, онъ старикъ: на все смотритъ съ презрѣniемъ, съ ироніею; онъ все испыталъ, все узналъ; для него нѣтъ счастія — осталось одно разочарованіе, одинъ погибшія надежды, его настоящее скучно, будущее мрачно. Вотъ оно — нравственное растлѣніе, вотъ оно — развращеніе души и сердца! Конечно, много причинъ такому явлѣнію, и смѣшно было бы всю вину взвалить на риторику; но ясно и неопровергимо, что риторика — одна изъ главныхъ причинъ такого грустнаго явленія. Мальчику задаютъ тѣму: «порокъ наказывается, добродѣтель торжествуетъ». Сочиненіе, въ формѣ хріи или разсужденія, должно быть представлено черезъ три дня, а иногда и завтра. Что можетъ знать мальчикъ о порокѣ или добродѣтели? для него это — отвлеченные и неопределенные понятія; въ его умѣ нѣтъ никакого представлениія о порокѣ и добродѣтели: что же напишетъ онъ о нихъ? не беспокойтесь — риторика выручить его: она дастъ ему волшебные вопросы: кто, что, гдѣ, когда, какъ, почему и т. п., вопросы, на которые ему стоять только отвѣтить, чтобы по всѣмъ правиламъ науки молоть вздоръ о томъ, чего онъ не знаетъ. Риторика научить его брать доводы и доказательства отъ причины, отъ противнаго, отъ подобія, отъ примѣра, отъ свидѣтельства, а потомъ вывести заключеніе. Удивительная школа фразёрства! Ясно, что «риторика есть наука красно писать обо всемъ, чего не знаешь, чего не

чувствуешь, чего не понимаешь». Удивительная наука? Занята она делает краснобаев, дурака — мыслителем, иначе — ораторомъ. И потому когда прочтут драму, въ которой оболгano сердце человѣческое, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ романъ, въ которомъ оболгана изображаемая въ немъ дѣйствительность, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ пустозвонное стихотвореніе безъ чувства и мысли, говорятъ: риторика! Когда услышать взяточника, разсуждающаго о благонамѣренности, лицемѣра, разсуждающаго о развращеніи нравовъ, говорятъ: риторика! Словомъ, все ложное, пошлое, всякую форму безъ содержанія, все это называютъ риторикой! Учитесь же, милые дѣти, риторикѣ: хорошая наука!

Всякая наука должна имѣть определенное, только ей одной принадлежащее содержаніе; она не должна соединять въ себѣ исколькихъ наукъ вдругъ. Такъ какъ наука есть органическое построение идеальной сущности предмета, составляющаго ея содержаніе,—то въ ней все должно выходить и развиваться изъ одной мысли, а эта мысль должна быть вполнѣ схвачена ею определенiemъ. Г. Кошанскій даже не позаботился определить, что такое риторика и какое ея содержаніе. Онъ начинаетъ съ того, что ничто столько не отличаетъ человѣка отъ прочихъ животныхъ, какъ «сила ума» и «даръ слова». До сихъ поръ мы думали, что человѣка отличаетъ отъ животныхъ разумъ, а не сила ума. По определенію г. Кошанского выходитъ, что и у животныхъ есть умъ, только не столь сильный, какъ у человѣка. Сила ума по мнѣнію г. Кошанского, открывается въ понятіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, составляющихъ предметъ логики. Даръ слова заключается въ прекраснейшей способности выражать чувствованія и мысли, что составляетъ предметъ словесности; а словесность заключаетъ въ себѣ грамматику, риторику и поэзію (поэзія — наука!) и граничитъ съ эстетикою. Потомъ,

грамматика занимается у г. Кошанского словами; риторика — преимущественно мыслями (которыми недавно занималась у него логика); поэзія — чувствованіями (стало-быть, въ поэзіи нѣтъ мыслей!); въ эстетикѣ хранятся (словно въ архивѣ!) мечтательные начала не только словесныхъ наукъ (грамматики, риторики и поэзіи!), но и всѣхъ искусствъ изящныхъ...

Скучно говорить о такихъ странностяхъ... виноваты — о такой риторикѣ, т. е. о такомъ наборѣ словъ, лишенныхъ всякаго содержанія, всякаго значенія, всякаго смысла. «Риторика» г. Кошанского, какъ и всѣ риторики, говорятъ и о родахъ прозаическихъ сочиненій, учить: какъ писать исторію, какъ писать ученые трактаты, какъ описывать то или другое, какъ писать письма... Чѣмъ за нелѣпость! Да развѣ всему этому выучиваются? Это все равно, что учить (по книгѣ), какъ вести себя на похоронахъ, и какъ держать себя на свадьбѣ, какъ обращаться на балу, и какъ разговаривать на званомъ обѣдѣ. Дайте молодому человѣку прочесть нѣсколько хорошихъ историческихъ сочиненій, познакомьте съ хорошими авторами, между сочиненіями которыхъ есть и описанія, и разсужденія, и письма, и разговоры,—и онъ сейчасъ пойметъ, какъ чѣмъ пишется. Но вы непремѣнно хотите искажать естественное развитіе, хотите знакомить умъ дѣтей съ предметами, которые не поражали ихъ чувства, — и удивляется, что изъ вашихъ учениковъ выходятъ автоматы, которые отлично хорошо знаютъ какъ чѣмъ пишется, а сами не умѣютъ ничего написать и не въ состояніи понять и оцѣнить написанного другими. Г. Кошанскій, по обычаю всѣхъ риторовъ, отъ Василія Кирилловича Тредіаковскаго, профессора элоквенціи, до риторовъ нашего времени, раздѣляетъ слогъ на высокій, средній и низкій, и обстоятельно объясняетъ, какія сочиненія какимъ слогомъ пишутся. Г. Кошанскій забылъ глубокомысленное выраженіе

Бюффонна: «въ слогѣ весь человѣкъ», — забылъ, что, бромъ не-  
бывалыхъ высокаго, средняго и низкаго слоговъ, есть еще не-  
изчислимое множество дѣйствительно существующихъ слоговъ:  
есть слогъ Ломоносова, есть слогъ Державина, слогъ Фонъ-  
Визина, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Гри-  
боѣдова и проч. Онъ забылъ, что слоговъ не три, а столько,  
сколько, было и есть на свѣтѣ даровитыхъ писателей.

И потому: что за пустая манера раздѣлять сочиненія на  
роды по вышней формѣ, и опредѣлять, какому роду сочине-  
ній какой приличенъ слогъ? Вы были свидѣтелемъ наводненія,  
разрушившаго городъ: въ вашей волѣ описать его въ формѣ  
письма, или въ формѣ простаго разсказа. Слогъ вашего описа-  
нія будетъ зависѣть отъ характера впечатлѣнія, которое про-  
извело на васъ это событіе. Какъ можно сказать, какимъ сло-  
гомъ должно вамъ написать письмо къ вашему брату о смер-  
ти вашего отца? Въ наставленіе о писаніи разсужденій г.  
Кошанскій ввелъ логику: жаль что не включилъ онъ въ свою  
риторику ни географіи, ни минералогіи!... Чѣмъ за нелѣпости  
пишутся подъ именемъ «риторикъ»!

Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, пе-  
дантская, остатокъ варварскихъ схоластическихъ временъ; всѣ  
риторики, сколько мы ни знаемъ ихъ на русскомъ языкѣ, не-  
лѣпы и пошли; но риторика г. Кошанскаго перещеголяла ихъ  
всѣхъ. И эта книга выходитъ уже девятымъ изданіемъ!  
Сколько же невиннаго народа губила она собою!

**БОРОДИНСКОЕ ЯДРО И БЕРЕЗИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА.** Исторический романъ. — Любовь танцовщицы или генеральная репетиция лодонски при Наполеонѣ. Повѣсть. Спб. 1844.

**БОРОДИНСКОЕ ЯДРО И БЕРЕЗИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА.** Полу-исторический романъ въ двухъ частяхъ. Сочиненіе Р. Зотова.

Первое изъ этихъ двухъ заглавій мы списали съ обертки книги; второе съ-ся заглавнаго листка. Не знаемъ, которое изъ нихъ лучше; думаемъ, что оба хороши. Но сама книга еще лучше. Чего въ ней нѣтъ? И необыкновенные происшествія, и патетическая сцены, и юморъ, и исторія, и риторика! Особенно, много риторики! Видно, что почтенный сочинитель разныхъ «чертъ изъ жизни» въ свое время прилежно учился риторикѣ; самую естественную черту обыкновенной жизни онъ умѣеть сдѣлать неестественною: такъ ужъ, видно, отражается въ немъ дѣйствительный міръ! Много романовъ написалъ г. Р. Зотовъ, и все они нашли себѣ свой кругъ читателей, вмѣстѣ съ романами гг. Воскресенскаго и Федота Кузьмичева. Что жь—добroe дѣло! Надо же и этому кругу читателей имѣть свою библіотеку. Принадлежа совсѣмъ не къ тому кругу «публики», для котораго трудится такъ усердно и съ такою ревностію г. Р. Зотовъ, мы не въ состояніи разобрать несравненныхъ «чертъ» его романовъ. «Бородинскаго Ядра» мы даже никакъ не могли осилить чтеніемъ; напряжемъ вниманіе, прочтемъ страницу, но лишь пріймемся за другую, какъ и забудемъ, что прочли въ первой. Не полагаясь на свой вкусъ, мы давали читать романъ г. Р. Зотова одному изъ людей, принадлежащихъ къ тому кругу, въ которомъ г. Р. Зотовъувѣнчался такимъ блестящимъ успѣхомъ, — и что жь? Говорить: «Какая хорошая книжка; нѣтъ ли у васъ еще такой? почиталъ бы...» Видно, новый исторический... или, нѣтъ, полу-исторический романъ г. Р. Зотова хорошъ, подумали мы, если свои хвалятъ его. Тѣмъ лучше для него, а наше дѣло — сторона!

Бѣда для насъ эта литература, исключительно посвященная «извѣстному» классу читателей: мы въ ней ничего не понимаемъ, а между тѣмъ должны каждый мѣсяцъ говорить о ней. Но что сказать, напр., о листкахъ г. Машкова, которые безпрестанно появляются то подъ разными замысловатыми названіями, то вовсе безъ названій? Вотъ теперь передъ нами лежитъ листокъ безъ всякаго общаго заглавія. Онъ начинается статьею: «Свѣтская Ариѳметика», за которую слѣдуетъ лубочная картинка, съ видомъ города Іерусалима; далѣе, статья: «Бой-Баба»; еще далѣе, два сузальскіе политипажа, мелкія статьи и двѣ шарады, въ родѣ тѣхъ, которыя у Французовъ называются «rebus». Всѣ статьи этого страннаго изданія отличаются юмористическимъ направленіемъ такого рода:

„Отдается квартира со столомъ, безъ кушанья, со службами, безъ слугъ, со всѣми удобствами безъ удобнаго размѣщенія, съ садомъ, въ которомъ не позволяетъ курить табакъ, рвать цвѣты, топтать траву и ходить съ собаками. Наконецъ, съ большимъ дворомъ, съ котораго прогонять въ шею при первомъ неисправномъ платежѣ впередъ денегъ.“

По нашему мнѣнію, все это очень плоско и погло; но можетъ-быть, тѣ, для которыхъ это пишется, находятъ это очень острумнымъ. Въ такомъ случаѣ, подобныя сочиненія очень полезны: пусть народъ хоть что-нибудь читаетъ, лишь-бы не пилъ...

---

**РАЗГОВОРЪ. Стихотвореніе Ив. Тургенева (Т. Л.). Спб. 1845.**

Имя г. Тургенева, автора «Параши», еще ново въ нашей литературѣ; однако же уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикою. Только истинный, неподдельный талантъ могъ быть причиною такого быстрого

и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, г. Тургеневъ — поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его музъ не обѣщаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства;

Но поражень бываетъ мелькомъ свѣтъ  
Ея лица необщимъ выраженьемъ.

Произведенія г. Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крецкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то же время стихъ роскошный и поэтический, составляетъ не единственное достоинство произведеній г. Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, означенованная печатью дѣйствительности и современности, и, какъ мысль даровитой натуры, всегда оригинальная. Поэтому, отъ г. Тургенева многаго можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самобытныхъ и гениальныхъ талантовъ, которые, подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются властителями думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направленіе; но въ его талантѣ есть свой элементъ, своя часть той самобытности, оригинальности, которая, завися отъ натуры, выводить талантъ изъ ряда обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое влияніе на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно приобрѣсти на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта, — и, въ тоже время, почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему «Пара-ша», — это произведеніе, запечатленное всею свѣжестью, всею яркостью и страстью, и вмѣстѣ съ тѣмъ всею неопределенностью первого опыта, — обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своемъ появлѣніи, и удостоилась не только похвалы однихъ, но и браны другихъ журналовъ, — браны, въ кото-

рой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма г. Тургенева. Сравнивая «Разговоръ» съ «Парашею», нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ «Парашѣ» мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполнѣ совладать съ нею; въ «Разговорѣ», основная мысль съ выпуклою и яркою определенностью представляется уму читателя. И между тѣмъ, эта мысль не высказана никакою сентенциею: она вся въ изложениіи содержанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это — разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой,—и молодымъ человѣкомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни и нигдѣ, ни въ чемъ не находить ея, отравляемый, мучимый какимъ-то неопределеннымъ чувствомъ внутренней пустоты, тайнаго недовольства собою и жизнью.

Пусть читатели сами прослѣдятъ, въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя вправѣ отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякий, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнію нашего вѣка — апатіею чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли,—всякий съ глубокимъ вниманіемъ прочтеть прекрасный, поэтическій «Разговоръ» г. Тургенева и, прочта его, глубоко, глубоко задумается...

**НАСТАВНИКЪ РУССКОЙ ГРАМАТЪ, или руководство къ обученію малолѣтныхъ дѣтей, въ самомъ скоромъ времени, чтенію правильному и свободному. Издание второе. Спб. 1845.**

Эта сѣренка книжка съ такимъ изысканнымъ заглавиемъ посвящается отъ сочинителя «добрымъ родителямъ»; слѣдовательно, дурные, или злые родители не могутъ и покупать ее. Намъ даже сдается, что чуть-ли сочинитель не разумѣлъ подъ «добрими родителями» только тѣхъ родителей, которые будутъ покупать его издѣліе. И онъ не ошибся: всякий, кто купитъ эту книжонку, вполнѣ заслужить имя не только доброго родителя, но и доброго человѣка, который по-французски называется bon homme. Сколько штукмейстерства въ этой книжонкѣ! Во первыхъ, она украшена эпиграфомъ изъ Квинтилліана: «Всегда преимущественѣе должно стараться о томъ, чтобы труды наставниковъ были для дѣтей понятны». Какая глубокая мысль! какая премудрая истина! сколько надо учености, чтобы такъ некстати выудить изъ огромной книги такой замысловатый и такъ безграмотно переведенный эпиграфъ! Прилагательное «преимущественѣе», поставленное въ сравнительной степени, заставляетъ читателя думать, что онъ прочелъ только одну часть эпиграфа, за которую должна слѣдовать другая, начинающаяся нарѣчіемъ *неожели*; но этой другой не имѣется. Во вторыхъ, книжонка, какъ мы уже сказали, посвящаетъ себя «добрымъ родителямъ», — посвященіе, безъ котораго легко бы могла обойдтисъ книга, уважающая сама себя и не желающая шарлатанить; въ третьихъ, она назвала себя не просто азбукою, а наставникомъ (*вѣ*) Русской Граматѣ. Въ четвертыхъ, она снабжена прекурѣзнымъ продисловіемъ, которое обѣщаетъ чудеса добрымъ родителямъ, чтобы побудить ихъ поскорѣе заплатить за нее сочинителю два рубля (серебромъ,

или ассигнациями—на оберткѣ книжонки не означено). Въ пя-  
тыхъ, она съ избыткомъ начинена разнаго рода безграмотно-  
стью. Въ шестыхъ, къ ней приложены первые четыре правила  
арифметики, составленные, въ вопросахъ и отвѣтахъ, по руко-  
водству Меморского. Въ седьмыхъ, къ ней приложенъ полу-  
листъ съ рукописными буквами и изображеніемъ руки, которая  
держитъ перо... Предисловіе лучше всего. Изъ него мы  
узнаёмъ, что, при посредствѣ «Наставника русской граматы»,  
«можно, въ самое короткое время, выучить читать по Р(р)ус-  
ски ро(е)бенка даже по пятому или шестому году, не утомляя,  
такъ сказать, слабыхъ его способностей», и что «въ этомъ-то  
именно и состоять существенная выгода этой К(к)нижки. Си-  
стема, принятая мною въ оной» (говорить сочинитель) «есть  
самая простая и натуральная; (,) а именно — это система  
музыкальности (??!!..)». Вотъ до чего дошли мы съ ита-  
льянскою оперою: теперь безъ музыки нельзя и букваря вы-  
учить!—А вотъ въ чёмъ состоять элементы музыкальной сис-  
темы «простаго Б(у)кваря сего»: выписавъ, въ порядкѣ, буквы  
заглавные или прописные, сочинитель рекомендуетъ «добрымъ  
родителямъ» замѣтить ро(е)бенку, что буква лъ выговаривается  
какъ е, э обратное тоже какъ е, а о какъ ф. По истинѣ музы-  
кально! Что буква лъ часто выговаривается какъ е, это такъ; но  
следовало бы замѣтить, что буква е часто выговаривается какъ  
ё, тогда какъ лъ почти никогда не выговаривается какъ ё. По-  
томъ съ чего сочинитель взялъ, что э выговаривается какъ е?  
Странное дѣло: не знать русского букваря—и выдавать себя за  
наставника русской грамотѣ, да еще по элементамъ музыкаль-  
ной системы! Но далѣе: выписавъ буквы строчныя, сочи-  
нитель дѣлаетъ примѣчаніе, въ которомъ преважно толкуетъ,  
что-де надо объяснить ро(е)бенку, «что такое суть буквы  
З(з)аглавныя и буквы С(с)трочныя», что первыя пишутся по-  
слѣ точки и т. д. Скажите: за чѣмъ все это въ букварѣ—развѣ

для музыкальности? Правописание составляетъ часть грамматики, а совсѣмъ не букваря. Вы взялись выучить читать въ самое короткое время: такъ и держитесь своего обѣщанія, а толковать о грамматикѣ пятилѣтнему или шестилѣтнему ребенку не ваше дѣло. И что вы будете отвѣтывать ребенку или, по вашему ребенку, если онъ спроситъ, что такое точка, что такое буква и т. д.? Но нашего сочинителя не запугаете никакими препятствіями; у него противъ всякаго случая взяты свои мѣры. Онъ говоритъ: «если жь ро(е)бенокъ, одаренный любопытствомъ слишкомъ раздражительнымъ, пожелалъ бы знать, отчего послѣ точки и во многихъ словахъ, какъ-то: Богъ, Царь, и проч., пишутся буквы З(з)аглавныя, — въ такомъ случаѣ, вы можете просто и рѣшительно сказать ему: «послѣ узнаешь». Истинно музыкальная система! И вся-то книжонка эта набита рѣшительно неотносящимися къ букварю разглагольствіями, въ которыхъ, если ребенокъ потребуетъ объясненія, ему нечего больше сказать, какъ «послѣ узнаешь»! По этому букварю никакъ нельзя выучить ребенка читать ни минутою скорѣе противъ всѣхъ буквей, которые продаются на ларяхъ Толкучаго Рынка. Кто же сочинитель этой нелѣпости? На заглавномъ листкѣ не выставлено его имени, подъ предисловіемъ подписано: сочинитель; но, взглянувъ нечаянно на обертку, мы прочли слѣдующія строки: Изданыя мною книги можно получать и пр.» Какія же это книги? — А вотъ какія: 1) «Новыя дѣтскія поздравленія, въ стихахъ, съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ и родителямъ къ наступающему 1839 году на дни рождения, иманинъ, Рождество Христово, новый годъ, и Свѣтлое Воскресеніе»; 2) «Прогулка по Россіи»; 3) «Прогулка по Земному Шару»... А! вотъ оно — въ чемъ дѣло! Сочинитель «Наставника Русской Грамматикѣ» не кто иной, стало-быть, какъ известный въ Петербургѣ составитель разныхъ книгъ и изданій, г. Бурнашевъ (онъ

же и г. Бурьяновъ), — тотъ самый г. Буриашевъ, который наполняетъ газету «Экономъ» статьями, переписанными имъ изъ разныхъ старыхъ и новыхъ изданій; тотъ самый г. Буриашевъ, который издалъ «Прогулку по Россіи» и «Прогулку по Земному Шару»; издалъ «Терминологическій Словарь по части сельского хозяйства, ремесль и пр.», издалъ «Руководство къ роговому издѣлію», изъ котораго нельзя научиться никакому издѣлію, и наконецъ, издастъ «Воскресныя Посидѣлки для доброго народа русскаго», въ которыхъ нѣтъ грамотности. . Напрасно г. Буриашевъ не выставилъ своего имени на заглавномъ листкѣ «Наставника Русской Граматѣ»: тогда мы не стали бы много тратить словъ объ этой книжонкѣ...

---

**ЛЕДИ АННА (,) или СИРОТА.** Дѣтская повѣсть. Сб Англійскою. Сб картинами рисован. Р. Жуковскимъ. Спб. 1845.

**ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ ПЕРВАГО ВОЗРАСТА.** Сочиненіе Александры Ишимовой. Спб. 1845.

**ДѢТСКІЯ КОМЕДІИ, ПОВѢСТИ И БЫЛИ.** Собранныя П. Ф. Спб. 1844.

**ДѢТСКІЙ ТЕАТРЪ.** Девъ комедіи. 1. Волшебница. 2 Ни(е)-Гріянка. Соч. Елиз..... Клев..... Спб. 1845.

**ПОВѢСТИ И СКАЗКИ, ДЛЯ ДѢТЕЙ.** Подарокъ къ празднику. Сб 12-тью картинами. Спб. 1845.

**ДѢТСКОЕ ЗЕРКАЛО.** Правоучительная книжка для дѣтей перваго возраста. (Сб 18-тью картинами). Издание второе, Спб. 1846.

«О дѣти! дѣти! какъ опасны ваши лѣта!» Вы такъ слабы физически, такъ слабы нравственно! Сколько у васъ враговъ и явныхъ и тайныхъ! Вамъ угрожаютъ прорѣзывающіеся у васъ зубы, оспа, корь, скарлатина, крупъ: это ваши враги явные.

А сколько у васъ такихъ враговъ, которые отъ искренняго сердца считаютъ себя вашими друзьями: дражайшіе родители, милыя тетеньки, иѣжныя бабушки, кормилицы, нянюшки, учители, учебныя книги и, наконецъ, эти маленькия книжки съ картинками, которая издаются для васъ подъ общимъ названіемъ «дѣтскихъ» книги. Охъ, эти миѣ дѣтския книги! Если у меня будутъ дѣти, и я сдѣлаюсь «дражайшимъ родителемъ», не буду совсѣмъ учить моихъ дѣтей грамотѣ, для того, чтобы избавить ихъ отъ грамматики и риторики г. Греча, отъ риторики г. Кошанскаго, логики г. Рождественскаго, курса русской словесности г. Пласкина и потомъ разныхъ «дѣтскихъ» книгъ съ картинками и безъ оныхъ. Пуще всего сохрани Богъ моихъ дѣтей отъ дѣтскихъ романовъ въ родѣ «Семейства» Фредерики Бремеръ, и дѣтскихъ повѣстей, драмъ и былей въ родѣ тѣхъ, которая у васъ безпрестанно издаются. Чему научатъ всѣ эти книжки моихъ дѣтей? Любить добродѣтель? Сохрани Боже! Съ этою любовью мои дѣти непремѣнно будутъ ницами... Любить правду? Еще хуже! Нѣть, благосклонный читатель! вы можете воспитывать своихъ дѣтей какъ вамъ угодно, учить ихъ какимъ угодно наукамъ, добродѣтелямъ и правдамъ; а я — я буду учить ихъ прежде всего заслуживать себѣ хорошую репутацію и умѣть быть со всѣми въ ладу; чутъ они изъ колыбели, я уже буду имъ посыпать къ родственникамъ (которые побогаче и съ вѣсомъ) съ поздравленіемъ въ новый годъ, во всѣ праздники, въ именины, въ день рожденія и т. д. Хоть у меня еще и нѣть дѣтей, но я человѣкъ предусмотрительный: я уже купилъ книжку г. Буриашева: «Новые дѣтския поздравленія, въ стихахъ съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ къ наступающему новому 1839 году на дни рожденія, именины, Рождество Христова, новый годъ и свѣтлое воскресеніе». Превосходная книжка! драгоценная книжка! Хоть мои дѣти и не будутъ ее читать (такъ какъ я рѣшился не учить ихъ грамотѣ), но я самъ

выучу ее наизусть, а они выучатъ ее наизусть съ моихъ словъ. Равнымъ образомъ, я купилъ новое изданіе «Учебной Книги Русской Словесности» г-на Греча и выписалъ изъ нея глубокомысленныя, практическою мудростью запечатлѣнныя правила, какъ должно писать письма къ высшимъ себя, равнымъ и низшимъ, и какъ должно подъ ними подписыватьсь. Больше никакихъ книгъ не узнаютъ мои дѣти! Книги, особенно дѣтскія, увѣрили бы ихъ, что добродѣтель — главное дѣло въ жизни, что больше всего надо любить правду, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ всегда наказывается: и каково было бы моимъ дѣтямъ, когда бы они, вышѣдъ изъ моего дома на дорогу жизни, вдругъ увидѣли бы, что въ свѣтѣ все дѣлается рѣшительно наоборотъ тому, какъ рассказываютъ дѣтскія книжки! . . . Нѣтъ! что ихъ обманывать заранѣе? зачѣмъ учить тому, чему имъ послѣ надо будетъ разучиваться? Я буду учить ихъ — по не наукамъ, не правиламъ нравственности: человѣкъ добросовѣстный, не лицемѣръ, не лжецъ, я буду учить ихъ играть въ преферансъ и не менѣе важному искусству правиться людямъ. Я заранѣе убью въ нихъ всякую самобытность; добродѣтелью ихъ съ раннихъ лѣтъ будутъ: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый видъ, даже когда ихъ бьютъ и унижаютъ... Да, не узнаютъ они никогда, что такое «дѣтскія книги», никогда не прочтутъ они «Леди Анны»... Бѣдная леди Анна! Сколько она вытерпѣла: ее ругали, били, морили голодомъ, холодомъ, за то, что она была кротка, послушна, терпѣлива, прилежна, за то, что она не хотѣла обворовывать своихъ благодѣтелей: все точь въ точь, какъ это бываетъ въ жизни! Но она осталась тверда въ добродѣтели, но она нашла своего отца, сдѣлалась богата, знатна, счастлива: точь въ точь какъ бываетъ это... въ дѣтскихъ книгахъ!... А что за прелесть — «Чтеніе для дѣтей первого возраста» г-жи

Ишимовой! Какія правила, какая чистѣйшая нравственность, сколько наставлений, и какими разительными примѣрами, взятыми изъ міра... дѣтскихъ книгъ, подкрѣплено все это!... «Леди Анна»—романъ, нeliшенный занимательности, безъ сен-тенцій; книжка г-жи Ишимовой, напротивъ, вся наполнена сен-тенціями, и дѣти могутъ легко набраться изъ нея мудро-сти на всю свою жизнь, хотя бъ имъ суждены были маусаи-ловы лѣта. «Леди Анна» переведена порядочно, издана недур-но; книжка г-жи Ишимовой написана хорошимъ русскимъ язы-комъ, и издана даже очень хорошо. О прочихъ книжкахъ, по-именованныхъ въ началѣ нашей статьи, мы скажемъ только, что о нихъ нечего сказать,—кромѣ послѣдней — «Дѣтского Зеркала»: это кривое и облупленное зеркало — перепечатка старой, перестарой и предрянной книжонки; издатель ея, г. Заикинъ, украсилъ ее картинками, весьма неизящными.

---

*Тайна жизни. Соч. П. Машкова. Спб. 1845.*

Да здравствуетъ новый 1845 годъ! Ему нечего завидовать старому 1844 году! Если 1844 годъ имѣлъ полное право гор-диться г. Брантомъ и его безподобнымъ романомъ «Жизнь какъ она есть»—1845 годъ имѣть не меньше право гордить-ся г. Машковымъ и его восхитительнымъ романомъ «Тайна Жизни». Да здравствуетъ жизнь! Благодаря двумъ этимъ ге-ниальнымъ сочинителямъ, мы теперь овладѣли жизнью, знаемъ ее вдоль и поперегъ, знаемъ ее и какъ она есть, знаемъ и тайну ея... Послѣ этого, намъ ничего не стоитъ сказать, что такое эта жизнь, надъ назначенiemъ которой столько мы-слителей, столько поэтовъ, столько тысячелѣтій напрасно ломали себѣ голову. Жизнь — это... это... да это просто на просто плохой романъ бездарнаго писаки... Самая простая

вещь, какъ видите; а вы думали, что это и не вѣсть чѣто такое, чудеса подозрѣвали!

„Въ одной изъ южныхъ губерній Россіи роскошно разстилается огромное помѣстье, принадлежащее князю Громиловскому“. — Князь Громиловскій былъ одинъ (однимъ?) изъ числа тѣхъ надменныхъ гордцовъ, которые, подобно ракетѣ, стремятся, возвыситься, и, хотя на одно мгновеніе, поразить взоры зрителей“. — „Рѣдко можно встрѣтить столь прекрасное мѣстоположеніе, которымъ пользуется помѣстье князя: природа и искусство, кажется, вырываютъ таинъ другъ у друга лавръ первенства“. — „Въ особенности восточная сторона помѣстья, обрисованная горами, представляетъ саму живописную картину, достойную кисти генія. Горные уступы, облокотившіеся одинъ на другой, какъ пышныя руины вавилонской столпотворенія, погружаютъ зрителя въ невольную задумчивость. Смотри на нихъ, взоры поражаются чѣмъ-то грозно-прекраснымъ. Окresные жители не напрасно называли ихъ солнечными горами. Изъ-за нихъ солнце величественно выплываетъ на воздушный океанъ, оживляя луга и долины. Въ эти утренніе минуты ни что не можетъ сравниться съ красотою сихъ исполненныхъ природы. Чтобы видѣть столь очаровательное зрѣлище, надо бѣдно пріѣхать въ полночь горъ въ то время, когда утренняя звѣзда начинаетъ блѣднѣть на бирюзовомъ куполѣ вселенной; когда магическій сонъ лепитъ еще, въ своихъ облакахъ, темныя рощи, и таинственное молчаніе благословляетъ мечты любви и поэзіи. Вотъ минуты, въ которыхъ солнечные горы, призываютъ поэта, и онъ, обятый священнымъ благоуспѣніемъ, ожидаетъ чуднаю пробужденія міра... Онъ смотрѣтъ на горы, какъ на гробъ, изъ которого долженъ воскреснуть лу-чезарный царь дня, а съ ними и всеобщая жизнь, забота, радости и человѣческая суета.“

Но лучшимъ украшеніемъ этого очаровательнаго мѣстоположенія было Лидія, дочь князя: ее всѣ любили, и старые и молодые; а она не любила свѣтскихъ удовольствій, предпочитая имъ «роскошь дня и меланхолическую тишину ночей»; любила она еще музыку, литературу и все, что прилично любить героинѣ романа. За все за это ее полюбиль отставной поручикъ Венедиктъ Пронскій, молодой, прекрасный собою мужчина, который превосходно игралъ на скрипкѣ и на фортепіано, занимался литературою и сдѣлалъ въ ней весьма большия успѣхи, — хоть «прекрасные плоды его воображенія»

никогда не являлись въ печати. Но довольно выписокъ: изъ нихъ и такъ видно, что герои романа г. Машкова такъ же пухлы, надуты, безцвѣтны, безобразны какъ и его слогъ. Рассказывать содержаніе романа мы не будемъ: это путаница самыхъ неестественныхъ, невозможныхъ и нелѣпыхъ приключеній, которыя оканчиваются кроваво. Поговоримъ лучше о слогѣ г. Машкова, образцы котораго мы представили читателямъ; это слогъ «особенный». Онъ напоминаетъ собою слогъ «Марои Посадницы» Карамзина. Говоримъ это не для униженія знаменитаго имени: «Мароа Посадница» — произведеніе риторическое; но въ то время его могъ написать только человѣкъ съ талантомъ. Шиллеръ — великий гений; а «Разбойники» его все-таки дѣтское произведеніе. Если мы будемъ ихъ разсматривать, какъ современное намъ произведеніе, они будутъ еще и смѣшнымъ и жалкимъ произведеніемъ; но если взглянете на него, какъ на произведеніе извѣстной эпохи,—то не можете не признать въ немъ гениальнаго творенія, несмотря на всѣ его недостатки. Но о Шиллерѣ мы упоминаемъ только для объясненія нашей мысли; обратимся къ Карамзину. Велика его заслуга даже и въ повѣстяхъ, которыя теперь не болѣе, какъ интересные памятники такой эпохи литературы, которая навсегда, безвозвратно прошла, но безъ которой не далеко ушла бы и современная намъ литература. Теперь ничего не стѣтъ писать слогомъ à la Карамзинъ,—хоть и мудрено писать карамзинскимъ слогомъ; но назадъ тому пятьдесятъ лѣтъ нуженъ былъ человѣкъ необыкновеннаго таланта, чтобы создать и надолго утвердить такой слогъ въ русской литературѣ. Г. Машковъ въ то время, вѣроятно, не могъ бы писать слогомъ сколько-нибудь похожимъ на слогъ Карамзина. Послѣ Коломба легко не только поставить яйцо на носокъ, и открыть Америку. Послѣ Карамзина и г. Машкову и всякому легко писать слогомъ à la Карамзинъ, потому что

бездарность всегда живетъ заднимъ числомъ и, не понимая настоящаго, не предчувствуя будущаго, всегда только повторяетъ и передразниваетъ прошедшее...

**ОПЫТЪ НАУКИ ФИЛОСОФІИ.** Сочиненіе О. Надежина. Спб.  
1845.

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ЛОГИКѢ (,) СЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМЪ ОЧЕРКОМЪ ПСИХОЛОГІИ.** Сочиненіе Ореста Новицкаго. Киевъ. 1844.

Выше (стр. 10), по поводу «Руководства къ Познанію Теоретической Матеріальной Философіи» г. Татаринова, мы говорили о бесплодности и ничтожности русскихъ книгъ по части философіи, какъ произведеній случайного и произвольного желанія между прочимъ и пофилософствовать на досугѣ, неимѣющимъ ничего общаго съ философіею, которая въ Германии существуетъ какъ наука, имѣющая свою исторію. «Опытъ Науки Философіи» г. Недежина, къ сожалѣнію, не заставилъ настъ измѣнить нашего мнѣнія о достоинствѣ русскихъ философскихъ сочиненій. Г. Надежинъ принадлежитъ къ числу тѣхъ добродушныхъ философовъ, которые допускаютъ въ философію два разныя начала—начало авторитета и начало свободно-разумнаго мышленія, не подозрѣвая, что каждое изъ этихъ диаметрально противоположныхъ и враждебныхъ началъ только парализируетъ одно другое, нисколько не помогая другъ другу, и что заставлять ихъ нуждаться другъ въ другѣ — значитъ, признать ихъ оба равно ничтожными и безсильными. Послѣ этого, мы считаемъ себя въ правѣ больше ничего не говорить о книгѣ г. Надежина, которая можетъ быть замѣчательна только тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ полный краткій курсъ

философії, чого, кажется, прежде не было на русскомъ языке. Что касается до «Руководства къ Логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологіи» г. Новицкаго,— мы не думаемъ, чтобы эта книга представляла науку въ ея современномъ состояніи, какъ говорить авторъ въ своемъ предисловіи. Психологія (феноменологія духа?) изложена немножко поверхностно, а логика слишкомъ формально. Впрочемъ, это все-таки лучшее руководство на русскомъ языке по части логики.

---

**БІОГРАФІЯ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ КАРАТЫГІНОЙ.** Соч.  
В. В. В. Спб. 1845.

Говорятъ и даже печатаютъ, будто первый трагический актеръ Александрынского театра, г. Карапыгинъ 1-й, есть въ то же время и первый актеръ въ Европѣ въ настоящую эпоху. Правда ли это — не знаемъ. Александрынский театръ составляетъ собою такую особенную сферу искусства, которой цѣнителями могутъ быть только люди, принадлежащіе къ образованной и исключительной публикѣ этого театра. Увы! мы лишены счастія принадлежать, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, къ этой публикѣ, и потому (торжественно сознаемся въ нашемъ невѣжествѣ!) ничего не понимаемъ, какъ скоро дѣло доходитъ до сравненія несравненныхъ артистовъ Александрынского театра съ артистами Европы и съ артистами французской труппы Михайловского театра. Все, что мы знаемъ касательно артистовъ Александрынского театра, ограничивается только тѣмъ, что г. Карапыгинъ 1-й дѣйствительно первый трагический актеръ Александрынского театра, и что онъ несравненно выше всѣхъ другихъ трагическихъ актеровъ того же театра; что на сценѣ Александрынского театра есть весьма замѣча-

тельный комический талантъ — г. Мартыновъ, и что публика Александрынского театра осыпаетъ цветами г-жу Левкѣеву, которая танцуетъ польку. Говорятъ также (и печатаютъ тоже), будто бы г-жа Карагина теперь первая актрисса въ Европѣ для такъ называемой «высокой» комедіи. Правда ли это?— Опять не знаемъ, потому что не знаемъ, что такое высокая комедія, такъ же какъ не знаемъ, что такое низкая комедія. Мы знаемъ только изящную, художественную комедію, каковы: «Горе отъ Ума», «Ревизоръ», «Женитьба», «Игроки». Вообще, мы не знаемъ и не понимаемъ многаго въ брошюрѣ г. В. В. В., написанной, впрочемъ, весьма краснорѣчиво и мѣстами даже трогательно. Такъ, напримѣръ, описана у него поездка г-жи Карагиной въ Парижъ, вмѣстѣ съ матерью:

„Путешествіе ихъ весьма любопытно. Дѣвь беззащитныя женщины отправляются въ путь и берутъ съ собою слугу-иностраница. Черезъ нѣсколько дней открывается, что этотъ слуга — ревностнѣйшій жеребецъ Бахуса (мы бы сказали просто: пьяница), и его надо было бросить на дорогѣ, у корчмы. Дамы остаются одинѣ и проѣзжаютъ черезъ всю Германію и Францію, проводя ночи безъ сна, въ безпрерывномъ страхѣ отъ таможенныхъ досмотрщи-ковъ и почтовыхъ ящиковъ“ (стр. 10).

Какъ хорошо описано: подумаешь, эти дамыѣхали въ Австралию черезъ степи Средней Азіи! Вотъ истинно высокій слогъ! Что за перо, Боже мой, что за перо у г. В. В. В.! Зачѣмъ не дано намъ владѣть такимъ перомъ! Мы написали бы тогда полную исторію Александрынского театра, и жизнь всѣхъ его артистовъ и драматурговъ... Но, видно, не всякому дается талантъ, а только избраннымъ! И г. В. В. В. есть по преимуществу «избранный» исторіографъ Александрынского театра. Мы увѣрены, что публика этого театра вполнѣ оцѣнитъ талантъ г. В. В. В., такъ же, какъ она уже оцѣнила талантъ лучшихъ ея драматурговъ — г. Полеваго и г. Григорьева 1-го... Жаль, что г. В. В. В. такъ мало пишетъ!

Вотъ этакимъ бы людямъ... приговаривать писать, писать, писать!...

*Ямщики, или какъ гулаетъ староста Семенъ Ивановичъ.*  
Русскій народный водевиль въ одномъ дѣйствіи. Соч. актера  
П. Григорьева 2. Спб. 1845.

*Дружеская лоттерея съ угощениемъ, или необыкновенное*  
происшествіе въ уездномъ городѣ. Фарсъ-водевиль, въ двухъ  
отдѣленіяхъ. Соч. актера П. Григорьева 2. Спб. 1845.

Первый водевиль безъ просыпа пьянь отъ первой строки до послѣдней; отъ него несетъ сивухою, и потому онъ—русскій народный водевиль, какъ сказано въ заглавіи. Второй водевиль не лѣпъ отъ первой строки до послѣдней; отъ него такъ и несетъ чепухою, и оттого онъ—фарсъ-водевиль. Въ русскомъ уѣздномъ городѣ, молодой человѣкъ разыгрываетъ себя въ лоттерею женщинамъ: которой изъ нихъ достанется выигрышный билетъ, на той онъ и женится. Какъ это правдоподобно и умно! Очевидно, что первый водевиль написанъ для мужества, второй—для лакейства...

*Прокопій Ляпуновъ, или Междурѣстіе въ Россіи, продолженіе Князя Скопина Шуйскаго.* Сочиненіе того же автора. Спб. 1845. Четыре части.

Почти десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ появился въ свѣтѣ романъ «Князь Скопинъ Шуйскій», до настоящей минуты, когда появляется продолженіе этого романа: «Прокопій Ляпуновъ, или Междурѣстіе въ Россіи». Десять лѣтъ—много времени, особенно для русской литературы—это почти

цѣлый вѣкъ для нея! Въ самомъ дѣлѣ, какой огромный шагъ впередъ сдѣлала наша литература! Какъ измѣнился вкусъ нашей публики въ продолженіи этихъ десяти лѣтъ! Кинемъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе русской литературы. Въ 1830 году явился «Юрій Милославскій», въ 1831 — «Рославлевъ», г. Загоскина; въ этомъ же году выходятъ двѣ первыя части «Новика», въ 1832 — третья, въ 1833 — четвертая; въ 1835 году — «Ледяной Домъ», г. Лажечникова. Въ эти же пять лѣтъ выходятъ романы: «Поѣзда въ Германію», г. Гречка, «Киргисъ-Кайсакъ», г. Ушакова, «Дочь Купца Жолобова», quasi-Куперовскій сибирскій романъ г. Калашникова, «Клятва при Гробѣ Господнемъ», г. Полеваго, «Семейство Холмскихъ», «Монастырка», Погорѣльскаго; г. Вельтманъ открываетъ «Кощеемъ Безсмертнымъ» длинный рядъ своихъ археологически-фантастически-аллегорически поэтическихъ романовъ; является «Аббадонна», г. Полеваго; выходитъ вторая часть «Дворянскихъ Выборовъ» и «Шельменко, волостной писарь», «Были и Небылицы», казака Луганскаго; въ то же время выпускается полное изданіе повѣстей Марлинскаго; г. Погодинъ перестаетъ писать повѣсти и издаетъ вмѣстѣ всѣ написанныя прежде; г. Полевой пишетъ «Живописца», «Блаженство Безумія», «Эмму». Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были очень замѣчательны для своего времени, и даже въ слабѣйшихъ изъ нихъ, не исключая ни приторно-сантиментального и скучно-резонѣрного «Семейства Холмскихъ», ни ложно-идеальныхъ повѣстей г. Полеваго, есть свои хорошия стороны. Вообще, вся эта романическая литература носитъ на себѣ отпечатокъ переходности и нерѣшительности; въ ней видѣнъ порывъ къ чему то лучшему противъ прежняго, къ чему-то положительному, но только одинъ порывъ, безъ достижениія. Изъ этого не исключаются и «Повѣсти Бѣлкина», Пушкина, изданныя въ это же время. Въ

то же время, среди всѣхъ этихъ, болѣе или менѣе однородныхъ явленій, возникала совершенно новая романическая литература, которая не имѣла ничего общаго съ первою и въ послѣдствіи окончательно убила ее, давъ своей русской литературѣ совершенно новое направлѣніе. Въ 1831 году вышла первая, а въ 1832 году вторая часть «Вечеровъ на Хуторѣ близь Диканьки»; въ 1835 г. напечатаны «Арабески» и «Миргородъ», а въ 1836—«Ревизоръ». Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое огромное вліяніе имѣли эти произведенія Гоголя на русскую литературу: только дѣйствительно слѣпые, или притворяющіеся слѣпыми могутъ не видѣть и не признавать этого вліянія, вслѣдствіе котораго всѣ молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголемъ, стараясь изображать дѣйствительное, а не въ воображеніи существующее общество; изъ прежнихъ писателей, нѣкоторые перемѣнили свое прежнее направлѣніе, подчинясь новому, данному Гоголемъ; а тѣ, которые не были въ состояніи этого сдѣлать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать безъ всякаго успѣха. Это совершилось въ послѣднія дѣсять лѣтъ. Гоголь не издавалъ ничего послѣ «Ревизора» до 1842 года, а дѣло шло своимъ чередомъ, и время лучше всѣхъ критиковъ рѣшило вопросъ. «Мертвые души», заслонившія собою все написанное до нихъ даже самимъ Гоголемъ, окончательно рѣшили литературный вопросъ нашей эпохи, упрочивъ торжество новой школы.

«Скопинъ Шуйскій» г-жи Шишкіной явился въ 1835 году, когда старая романическая школа уже совершила свой кругъ, а новая, еще не бывъ признанною, уже оказывала сильное вліяніе. Романъ г-жи Шишкіной былъ не безъ достоинствъ, особенно для того времени; но онъ далеко не могъ спорить въ достоинствѣ, съ романами, которые породили его. Проходитъ десять лѣтъ, все измѣняется въ литературѣ, какъ мы уже

сказали объ этомъ; журнальные корифеи начала тридцатыхъ годовъ, «Телеграфъ» и «Телескопъ»—теперь уже не болѣе, какъ отдаленное воспоминаніе, «дѣла давно минувшихъ дней»; даже «Библіотека для Чтенія», смѣнившая ихъ, уже дожила до глубокой старости; «Отечественные Записки», долго колебавшіеся въ своемъ направленіи, наконецъ вполнѣ овладѣли имъ, возмужали и укрѣпились; обо многомъ въ это десятилѣтіе было переговорено, переспорено, и во многомъ даже согласились,—словомъ: все измѣнилось: но новый романъ г.-жи Шишкіной «Прокопій Ляпуновъ», вышелъ вѣрнымъ 1835 году, такъ что, читая его, не вѣришь 1845 году, выставленному на его заглавіи. Теперь этотъ романъ принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя не производятъ особеннаго впечатлѣнія, слегка похваляются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тѣмъ, онъ не безъ достоинствъ: написанъ правильнымъ и чистымъ языкомъ; разсказъ мѣстами хорошъ; историческая сторона его показываетъ основательное изученіе исторіи, — но нѣть творчески очерченныхъ характеровъ, — нѣть поэтически вѣрнаго проникновенія въ духъ и значеніе исторической эпохи, нѣть эстетической жизни. Во многомъ замѣтенъ взглядъ слишкомъ далекій: такъ, напримѣръ, въ предисловіи, сочинительница, въ доказательство, что нельзя вѣрить безкорыстію Ляпунова, приводить, что онъ былъ дурнымъ мужемъ и не всегда трезво вѣль себя,—какъ-будто нельзя быть въ одно и тоже время и дурнымъ мужемъ и ревностнымъ патріотомъ! Безъ всякаго сомнѣнія, быть дурнымъ мужемъ—не достоинство, а порокъ; но неужели патріотъ непремѣнно долженъ быть ангеломъ и имѣть всѣ добродѣтели? Если можно быть превосходнѣйшимъ мужемъ и отцомъ, и въ то же время вовсе не быть патріотомъ: почему же нельзя быть дурнымъ мужемъ и патріотомъ! Конечно, гораздо лучше быть и хорошимъ мужемъ и патріотомъ вмѣстѣ; но люди—прежде всего

люди, что бы ни говорили на этотъ счетъ дамы... Что же касается до нетрезвости, этотъ порокъ, въ тотъ вѣкъ, не въ одной Россіи, но и во всей Европѣ считался добродѣтелью мушкины: тогда пили не по нынѣшнему, и хвалились пьянствомъ, какъ храбростью. Лучшею оцѣнкою новаго романа г-жи Шишковой могутъ служить ея собственные слова въ предисловіи:

Сама нерѣдко удивляюсь, какъ рѣшилась я писать исторические романы. Много требовалось на это трудовъ и терпѣнія, много было мнѣ заботъ и препятствій. Но высокая цѣль оживотворила меня. Я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божіимъ, желаніе пробудить въ благородныхъ сердахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками, и не совсѣмъ справедливою, но великолѣпною картиною не-русскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто обѣ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченье часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ читаютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но читая «Ивангоз», «Юрія Милославскаго», и имъ подобные исторические романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленные вѣка, какъ-будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту».

Видите ли: романы пишутся для пріятнаго развлеченья ума и сердца? «Юрій Милославскій», безъ дальнихъ окличностей, поставленъ рядомъ съ «Ивангоз»?... Этимъ все сказано... Какъ дѣйствительно-пріятное развлеченье для ума и сердца, «Прокопій Ляпуновъ» и теперь, конечно, найдетъ себѣ читателей и даже почитателей, — чего отъ всей души желаемъ мы ему, какъ роману, написанному съ цѣлію, безъ всякаго сомнѣнія, благонамѣренной и похвальной.

СОЧИНЕНИЯ КОНСТАНТИНА МАСАЛЬСКАГО. Спб. Пять частей.  
1843, 1844, 1845.

Давно извѣстная истина: «ничего не ново подъ луною» — ничѣмъ такъ не подтверждается, какъ страстью старииковъ хвалить все старое и бранить все новое, и страстью молодыхъ восхищаться всѣмъ новымъ и смеяться надъ всѣмъ старымъ. Эта страсть современна миру и человѣчеству; она всегда была и всегда будетъ, потому что она въ натурѣ человѣка, потому что она естественна, какъ — наклонность больныхъ и несчастныхъ все видѣть въ мрачномъ свѣтѣ, и наклонность здоровыхъ и счастливыхъ все видѣть въ радужномъ свѣтѣ. Старость стоитъ болѣзни и несчастія, такъ же, какъ молодость стоитъ здоровья и счастія; по крайней мѣрѣ, по большей части, и только за рѣдкими, исключеніями, старость и несчастіе, молодость и счастіе — синонимы. Каждый человѣкъ—больше или меньше эгоистъ по своей натурѣ: обо всемъ, что до него касается, и обо всемъ, что до него не касается, онъ судить по отношенію къ самому себѣ. Здоровый, онъ, видя больныхъ, какъ-будто удивляется, что можно быть больнымъ; счастливый, онъ какъ-будто думаетъ, что всѣ должны быть счастливы; болѣй, онъ оскорбляется видомъ здоровья; несчастный, онъ готовъ видѣть насмѣшку надъ собою во всемъ, что дышитъ счастіемъ... Молодость есть лучшее время жизни каждого человѣка, такъ же какъ старость худшее: это аксиома. Ни обольщенія сухаго и мелкаго честолюбія, ни приманки блестящихъ почестей, ни богатство, ни роскошь въ старости — ничто не замѣнитъ мечтаній, надеждъ, упоеній и даже горестей страстной, живой, увлекающейся, гордой собою, сильной и отважной юности! Удивительно ли, что все хорошее старики относятъ къ своему времени? Эгоисты по-неволѣ, они думаютъ, что для всѣхъ должно казаться прекраснымъ только то, что

было действительно прекрасно для нихъ, что всѣхъ должно тѣшить и обманывать только то, чѣмъ тѣшило и обманывало ихъ,— какъ-будто бы міръ ими начался, ими и долженъ кончиться,— какъ-будто бы молодыя поколѣнія обязаны жить ихъ жизнью, видѣть ихъ глазами, понимать ихъ умомъ, и этимъ самимъ сознаться, что напрасно природа дала имъ глаза и умъ, и напрасно призваны они къ жизни! Когда же старцы замѣчаютъ наконецъ, что у молодыхъ поколѣній есть свои глаза и свой умъ, свои радости и свои горести, свои понятія и свои убѣжденія, которые не совсѣмъ похожи, а иногда и вовсе не похожи, на радости и горести, на понятія и убѣжденія ихъ, старцевъ — тогда они видятъ въ людяхъ молодаго поколѣнія апостатовъ, еретиковъ, чуть-чуть не бунтовщиковъ. И тогда-то градомъ сыплются на молодыя поколѣнія упреки въ безнравственности, въ вольнодумствѣ, въ самонадѣянности; клюка старческой морали грозитъ послушникамъ, безпрестанно выпадая изъ слабыхъ рукъ; рѣко льются изъ дрожащихъ устъ старческія поученія, прерываемыя кашлемъ и... смѣхомъ новыхъ поколѣній... Съ своей стороны, новые поколѣнія бываютъ подвержены своей слабости—видѣть все прекрасное, умное, достойное удивленія только въ новомъ и современномъ, ожидать чудесъ только отъ будущаго, а на старое и прошедшее смотрѣть съ равнодушіемъ и даже съ насмѣшкою. Но, видно, обѣ эти крайности равно неизбѣжны; однажды, нельзя не согласиться, что гораздо больше справедливости на сторонѣ молодыхъ поколѣній, даже и тогда, когда они явно несправедливы,—потому что самъ духъ жизни, ведущій человѣчество, всегда на сторонѣ новаго противъ старого; потому что безъ этого исключительного односторонняго стремленія всегда къ новому, всегда къ будущему не было бы никакого движения, никакого хода впередъ, не было бы прогресса, истории, жизни, и человѣчество превратилось бы въ огромное стадо

дикихъ животныхъ. Для того и не вѣченъ человѣкъ, для того и долженъ онъ старѣть, дряхлѣть и умирать, для того и смѣняется одно поколѣніе другимъ,—словомъ, люди умираютъ для того, чтобы жило человѣчество. Смерть есть великое орудіе, великая опора жизни... У новыхъ поколѣній бываютъ вожди, которые ведутъ ихъ по пути развитія; но самодѣятельная сила развитія до того присущна самой ватурѣ человѣка, что развитие общества совершается даже и тогда, когда не является новыхъ вождей. Это дѣлается очень просто: Богъ знаетъ какъ и почему, но только у нового поколѣнія являются новые вкусы, наклонности, понятія, какихъ не было у старого, хотя это старое поколѣніе, воспитывая новое, больше всего старалось сдѣлать его похожимъ на себя, какъ двѣ капли воды... Этотъ роль прогресса самый прочный и несокрушимый и неодолимый: противъ него нѣтъ никакихъ мѣръ; въ отношеніи къ старымъ поколѣніямъ, онъ — врагъ тѣмъ болѣе страшный, что невидимъ, на него нельзя указать, его нельзя разить; онъ не лицо, не образъ: онъ — духъ, онъ въ воздухѣ, въ водѣ, въ пищѣ; ему равно служить и тѣ, которые любятъ его, и тѣ, которые не-навидятъ; для него все средство къ успѣху, — даже моды на платья, на мебель... потому что у Китайцевъ не существуетъ даже модъ; но за то у Китайцевъ нѣтъ молодыхъ поколѣній: каждый человѣкъ дѣлается тамъ старикомъ, лишь только успѣетъ родиться...

Самолюбіе играетъ большую (и чуть ли даже не главную) роль въ перасположеніи старииковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики обижаются и говорятъ юношамъ: «что же, мы глупѣе васъ, а вы умнѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набирались уму-разуму, богатѣли мудрою опытностью, чтобы на старости лѣтъ неопытные мальчики вздумали учить насъ?» Люди моло-

даго поколѣнія должны были бы отвѣтить на это старикамъ: «каждый изъ насъ, отдельно взятый, можетъ быть менѣе опытъ и мудръ, нежели каждый изъ васъ отдельно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложили свою собственную». Но, къ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои молодые слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои старые слабости и недостатки, и почти каждый юноша готовъ смотрѣть на старика, какъ на ребенка, а на себя какъ на взрослого человѣка, не понимая, что вся его заслуга и все преимущество передъ старикомъ состоитъ только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь совсѣмъ не заслуга... Итакъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ими не прекращается ни на минуту, и одно время рѣшаетъ безъ лицепріятія кто правъ, кто виноватъ, хотя немногіе доживаются до рѣшенія своей тяжбы, и старики по большей части умираютъ съ убѣжденіемъ, что они правы, что ихъ тяжба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло своею новою дорогою... Какъ бы то ни было, только самолюбіе играетъ чуть ли не главную роль въ этой вѣчной распрѣ. Это особенно замѣтно въ умственныхъ сферахъ, въ которыхъ борьба сильнѣе и живѣе, какъ, напр. въ сферѣ литературной. Здѣсь самолюбіе дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что вопросъ идетъ не объ одной физической старости, не объ одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти зѣ-живо. Въ лѣта молодости, способности человѣка дѣятельны и живы, душа его воспріимчива для впечатлѣній; въ лѣта возмужалости — впечатлѣнія молодости дѣлаются, такъ сказать, нравственнымъ капиталомъ человѣка, процентами съ котораго онъ живетъ и въ старости. Большею частію, люди совершенно опредѣляются въ тридцать

лѣтъ и считаютъ за истинное и прекрасное только то, что успѣли признать они истиннымъ и прекраснымъ до тридцати лѣтняго возраста ихъ жизни, подъ вліяніемъ своихъ первыхъ впечатлѣній, и не признаютъ никакой истины, которая явится, когда они перейдутъ за роковую черту своихъ тридцати лѣтъ. Такъ на Руси и теперь еще есть люди, которые безъ ума отъ стиховъ Державина, и которые косо смотрятъ на стихи Жуковскаго, видя въ Жуковскомъ нового писателя, хотя этотъ новый писатель пишетъ уже болѣе сорока лѣтъ. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина въ то время, когда ихъ способность восприемлемости была въ полной своей силѣ; когда же явился Жуковскій, ихъ душа уже закрылась для впечатлѣній: они уже не могли принять откровеній новой поэзіи всею полнотою своего существа. Идея и форма Державинской поэзіи до того овладѣли ихъ умомъ, что для нихъ поэзію казалось только то, что походило на стихи Державина. Но какъ произведенія Жуковскаго несколько не походили на оды Державина, то они и не могли признать въ Жуковскомъ поэта. Такимъ образомъ, имъ не возможно было безъ досады видѣть, что другіе восхищаются Жуковскимъ, и на всѣхъ этихъ другихъ они стали смотрѣть, какъ на людей съ дурнымъ вкусомъ, какъ на людей заблуждающихся, потому что самолюбіе человѣческое всегда готово оправдать себя на счетъ другихъ и собственную свою ограниченность растолковать себѣ, какъ чужую ошибку, чужое заблужденіе. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, тяжело же сознаться, что мы отстали, что наше время прошло; и вѣдь не переучиваться же стать въ почтенныея лѣта... Кто не помнить, какой шумъ, какие споры, какую борьбу возбудило появленіе Пушкина! Старцы (и старые и молодые) съ такимъ ожесточеніемъ оспоривали поэтическое достоинство первыхъ произведеній Пушкина, какъ будто бы дѣло шло о ихъ жизни и смерти. И дѣй-

ствительно, дѣло шло ни больше, ни меньше, какъ о ихъ жизни и смерти — только нравственной, а на физической. Такихъ старишковъ теперь осталось мало, да и тѣ пріумолкли, а нѣкоторые даже, притерпѣвшись и привыкши къ славѣ Пушкина, на-слово повѣрили ея дѣйствительности. Но вотъ примѣръ свѣжѣе: кому неизвѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ встрѣтили старцы талантъ Гоголя? И до сихъ поръ еще бранять они его, даже подражая ему, чтобы добиться какого-нибудь успѣха,— и бранять его даже въ тѣхъ самыхъ своихъ изданіяхъ, въ которыхъ такъ безуспѣшно подражаютъ ему... И это ожесточеніе противъ—можно смѣло сказать—гениального писателя очень понятно. Всѣ люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотятъ казаться талантливыми тамъ, гдѣ имъ всего болѣе отказано въ талантѣ, и преимущественно люди съ мелкими способностями и дарованіями, которые когда-то воспользовались мгновеннымъ успѣхомъ. Переживъ свои сочиненія, нѣкогда имѣвшія какой-нибудь успѣхъ, видя, что ихъ новыя попытки возбуждаютъ только смѣхъ, въ отчаяніи, что они не могутъ поддѣлаться подъ писателя, увлекшаго за собою всю литературу, всю публику, въ досадѣ, что они не могутъ даже понять ни смысла, ни достоинства его сочиненій, эти горе-богатыри по-неволѣ раздражаются противъ него и вступаютъ съ его славою въ неравную для нихъ борьбу. Они со слезами на глазахъ и съ бранью на устаѣ клянутся публикѣ, что это писатель безъ таланта, безъ вкуса, что онъ не знаетъ грамматики, тогда какъ они сами — первые грамотѣи; что онъ рисуетъ одну грязь, тогда какъ они изображаютъ одну добродѣтель и благонамѣренность, которыми преисполнены ихъ сердца. Но публика ихъ не слушаетъ, сочиненій ихъ не читаетъ, а преслѣдуемый ими авторъ какъ-будто и не подозрѣваетъ ихъ существованія, идя своею дорогою и не замѣчая ихъ волей. Что имъ дѣлать? — Не знаемъ, право, что они теперь дѣлаютъ, или что будутъ дѣлать;

но вотъ уже давно, какъ слышимъ жалобы на то, что современные пистаели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно толстые, искажаютъ и губятъ русскій языкъ, и что остается только средство спасти его отъ гибели — начать подражать Карамзину, строго держась его слога и ореографіи... Съ особеннымъ жаромъ приглашаются къ этому молодые и подающіе надежды писатели... Нужно ли говорить, что приглашающіе давно уже не принадлежать къ числу молодыхъ, и еще менѣе къ числу писателей, подающихъ надежды?. И это пишется и печатается въ наше время!... Подражать Карамзину въ слогѣ, держаться его ороографіи! Ужъ не лучше ли обратиться къ Ломоносову и его избрать образцомъ?. Что Карамзинъ справедливо названъ преобразователемъ русского языка, русской прозы, что онъ оказалъ русской литературѣ такого рода услуги, которыя никогда не забываются,— все это аксіомы. Но, въ то же время, нѣтъ никакого сомнѣнія, что достоинство его сочиненій теперь имѣть чисто историческое значеніе, тогда какъ въ свое время оно имѣло значеніе не только литературное, но и художественное. Теперь «Бѣдную Лизу» и «Мареу Посадницу» можно читать не для эстетического наслажденія, а какъ историческій памятникъ литературы чуждой намъ эпохи; теперь на нихъ смотрять съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотрять на портреты дѣдушекъ и бабушекъ, наслаждаясь добродушнымъ выраженіемъ ихъ лицъ и оригинальностью ихъ стаиннаго костюма. Пусть укажутъ намъ старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой интересъ. Какъ же, спрашиваемъ мы, подражать произведеніямъ, которыя были безусловно хороши только для того времени, когда были писаны? Карамзинъ преобразовалъ русскую прозу, и въ этомъ его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразованія состояли совсѣмъ не

въ томъ, чтобы онъ далъ вѣчные образцы прозы, а въ томъ что онъ далъ возможность явившимся послѣ него писателямъ определить его на этомъ поприщѣ, имъ же открытомъ. До Карамзина, русская проза не переставала скрипѣть тяжелыми Ломоносовскими периодами; Карамзинъ вывелъ ее изъ этого заколдованныго круга на большую дорогу, и она пошла, ужь больше не нуждаясь въ его исключительномъ руководствѣ. Отъ латинско-нѣмецкой конструкціи, столь несвойственной русскому языку, онъ обратилъ ее къ французской конструкціи, болѣе ему свойственной, и чрезъ это далъ средства русскому языку, бывшему обезьяною то латинско-славяно-нѣмецкаго, то французскаго, сдѣлаться со временемъ совершенно русскимъ языкамъ. Но языкъ самого Карамзина далеко не-русскій: онъ правиленъ, какъ всеобщая грамматика безъ исключеній и особенностей, лишенъ руссизмовъ или этихъ чисто-русскихъ оборотовъ, которые одни даютъ выраженіе и опредѣленность, и силу, и живописность. Русскій языкъ Карамзина относиться къ настоящему русскому языку, какъ латинскій языкъ, на которомъ писали ученые среднихъ вѣковъ, — къ латинскому языку, на которомъ писали Цицеронъ, Саллюстій, Гораций и Тацитъ: узная въ совершенствѣ первый, можно совсѣмъ не знать втораго; легко понимая первый, можно совсѣмъ не понимать втораго. Языкъ мелкихъ сочиненій Карамзина, говорить, гораздо ниже языка, которымъ написана «Исторія Государства Россійскаго», и который, будто бы есть вѣчный образецъ русскаго языка, русского слога. Это едвали справедливо. Если что особенно хорошо въ исторіи Карамзина, это — изложеніе событий, умѣніе рассказывать. Но слогъ этой исторіи какой-то академической, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, отдѣланный, ритмическій, пѣвучій, съ прилагательными послѣ существительныхъ. Карамзинъ употребляеть часто слова лѣтописей, старается проникнуть свой слогъ

ихъ духомъ, но остается при одномъ усилии. Нѣтъ спора, что всякий, кто хочетъ быть писателемъ, долженъ читать старыхъ авторовъ для изученія отечественнаго языка; но утверждать, что онъ долженъ подражать кому-нибудь изъ писателей, особенно старыхъ, — это верхъ нелѣпости. Мы не разъ имѣли случай изъявлять удивленіе, какимъ образомъ поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не былъ поэтомъ, хотя и писалъ стихи, и сочинялъ повѣсти? И какое изъ его произведеній могли бы они взять себѣ за образецъ — «Бѣдную Лизу», или «Мареу Посадницу»?... Хорошіе образцы для нашего времени — нечего сказать! Въ такомъ случаѣ, почему же не начать подражать «Россіядѣ»? Интересно знать, какую бы поэму написалъ Лермонтовъ, если бы взялъ себѣ за образецъ «Россіаду», какой бы романъ написалъ онъ, если бы взялъ себѣ за образецъ «Кадма и Гармонію»?... Давайте же подражать старымъ писателямъ, давайте жить заднимъ умомъ, давайте ходить раковою манерою, — далеко уйдемъ!... Подражать! да развѣ можно и должно кому нибудь подражать? развѣ подражаніе произвело хоть одного порядочнаго писателя? развѣ оно подкрѣпило чѣй-нибудь талантъ? развѣ, напротивъ, оно не портило, не ослабляло и дѣйствительно сильныхъ талантовъ? Развѣ это не аксіома въ наше время? Развѣ вопросъ о подражательности не рѣшонъ давнымъ давно? Развѣ совсѣмъ подражать, не значитъ — подвергаться тому, что по-французски называется *ridicule* и для выраженія чего нѣтъ равносильнаго русскаго слова?... Подражать, значитъ — жить чужимъ умомъ, чужими мыслями, чужимъ талантомъ. Имѣть нужду въ подражаніи, значитъ — не имѣть никакого таланта, при сильной охотѣ марать бумагу... Но зачѣмъ же наши старцы такъ настоятельно совсѣмъ подражать? — Затѣмъ, чтобы никто не писалъ такъ, какъ пишетъ Гоголь... А! это другое дѣло! Вотъ какъ, напримѣръ, хвалять они сочиненія

г. Масальского: «Регентство Бирона», «Осада Углича», «Русский Икаръ», «Донъ-Кихотъ XIX вѣка», «Стрѣльцы», «Черный Ящикъ», «Граница 1616 года», «Бородолюбіе», «Терпи казакъ, атаманъ будешь» (повѣсть въ стихахъ), иѣсколько мелкихъ статей въ прозѣ и иѣсколько десятковъ стихотвореній, заключающихся въ этихъ пяти томахъ, написаны чистымъ, правильнымъ языкомъ, вмѣщаются въ себѣ умъ, чувство и познаніе исторіи, и представляютъ вѣрные очерки эпохи и характеровъ. У К. П. Масальского иѣтъ такихъ остроумныхъ сочиненій, какъ, наприм: сапоги въ смятку и т. п.». И мы не можемъ не похвалить г. Масальского за то, что онъ не употребляетъ иѣкоторыхъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, — такъ же точно, какъ не можемъ не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они, въ своихъ трагедіяхъ, не выводили, подобно Шекспиру, ни публичныхъ женщинъ, ни пьяныхъ мужиковъ, ни развратниковъ дурнаго тона въ родѣ Фальстафа: на что могъ осмѣливаться великій Шекспиръ, за то не слѣдовало браться мелкимъ подражателямъ Корнеля и Расина, потому что у нихъ непремѣнно вышло бы пошлo, отвратительно и безмысленно то, что у Шекспира живописно, поучительно и исполнено глубокаго смысла! Но, по мнѣнію нашихъ критическихъ *patres conscripti*, г. Масальскій потому не употреблялъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, что «онъ (г. Масальскій) въ языке придерживается грамматики г. Греча, а въ изящномъ вкусѣ не отступаетъ отъ образцовъ, представленныхъ намъ Карамзинымъ, Жуковскимъ, Пушкинскимъ, Батюшковымъ». Но тщетно сталъ бы кто-нибудь искать въ сочиненіяхъ г. Масальского чего-нибудь, кроме твердаго знанія грамматики г. Греча! Сочиненія Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени: сочиненія г. Масальского не были бы не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, въ которое началъ писать Карамзинъ,

потому что въ сочиненіяхъ Карамзина есть талантъ, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нѣтъ и слѣдовъ въ сочиненіяхъ г. Масальскаго. Жуковскій... но скажите, ради здраваго смысла, можетъ ли существовать какое-нибудь отношение между стихами переводчика «Іоанны д'Аркъ» Шиллера и «Шильонскаго Узника» Байрона, и между—хоть вотъ этими виршами г. Масальскаго?

Осель широкой нивой  
 Въ раздумъи важно брелъ,  
 И вдругъ свирѣль подъ ивой  
 По случаю нашелъ.  
 Любуяся находкой,  
 Онъ сталъ ее лизать,  
 И на нее всей глотвой  
 По случаю дышать.  
 Осель не понимаетъ,  
 Чтѣ переливъ, чтѣ трель;  
 Лишь дышить, и играеть  
 По случаю свирѣль.  
 Какъ на осла быдвасть  
 На всякаго смѣшио,  
 Кто сдуру поступаетъ  
 По случаю смѣшио.

Послѣ этого, мы можетъ себя уволить отъ всякихъ параллелей между г. Масальскимъ и Батюшковымъ и, особенно, Пушкинымъ. Можетъ-быть, г. Масальскій и подражалъ имъ; но тѣмъ не менѣе все ихъ осталось, при нихъ, а въ сочиненіяхъ г. Масальскаго ничего не осталось. Что жъ толку подражать? Кому нечего сказать своего, тому всего лучше молчать. Кто захочетъ послушать Пушкина, тотъ обратится къ нему, а не къ его подражателямъ. Какъ бы ни малъ былъ чей-нибудь талантъ, но онъ стоитъ вниманія, если не подражаетъ, а говоритъ свое. И вотъ почему могло имѣть большой успѣхъ такое произведеніе, какъ, напримѣръ, «Юрій Милославскій». Въ немъ есть оригинальность; оно имѣло подражателей, но само никому не под-

ражало. Въ послѣдствіи, авторъ этого романа, г. Загоскинъ, сталъ подражать своему первому произведенію,—что же вышло?—всѣ послѣдующіе романы г. Загоскина оказались ниже посредственности и не имѣли успѣха. Вотъ каково подражать кому-нибудь, даже самому себѣ, и чему-нибудь, даже собственному своему сочиненію... Г. Масальскій подражалъ не Карамзину, не Батюшкову, не Жуковскому, не Пушкину, а нѣкоторымъ изъ русскимъ романистовъ, явившихся въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія; но они ничего не дали его подражательнымъ сочиненіямъ — даже способности быть забавно неудачными, и потому эти сочиненія скучно и усыпительно неудачны. Сочинитель берется изображать то эпоху Петра Великаго, то регенерства Бирона, то наше время, хочетъ быть высокимъ, патетическимъ, юмористическимъ, забавнымъ, хочетъ трогать и смѣшить, — и только усыпляетъ...

Скажутъ: это ли разборъ писателя, написавшаго пять томовъ? Наговорить о старыхъ, и молодыхъ поколѣніяхъ, о Карамзинѣ, о Гоголѣ—развѣ это значитъ критиковать сочиненія, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ статьи? Отвѣчаемъ на это: русская литература и русская публика уже выросли и возмужали на столько, чтобы рецензентъ нашего времени могъ уволить себя и своихъ читателей отъ серьёзныхъ доказательствъ, что скучная книга скучна, а бездарность бездарна. Лучше, по поводу подобныхъ сочиненій, поговорить о чёмъ-нибудь такомъ, о чёмъ стоитъ говорить. Удивительно ли, что въ наше время, о чёмъ бы ни сталъ писать рецензентъ, непремѣнно начнетъ бранить или хвалить «Мертвые Души»? есть произведенія, которыя наполняютъ шумомъ своего появленія цѣлую эпоху, оставляя послѣ себя глубокій и долгій слѣдъ... И есть произведенія, о которыхъ нечего сказать, даже и тогда, какъ заговорятъ о нихъ, — которыхъ нельзя ни бранить, ни хвалить...

Миръ вамъ, бѣдные дѣти беспокойной охоты къ сочинительству, почивайте спокойно!..

---

**СТО НОВЫХЪ ДѢТСКИХЪ ПОВѢСТЕЙ, съ правоученіемъ въ стихахъ. Книжка для подарка дѣтямъ. Перевелъ изъ сочиненій Шмита Б. Федоровъ. Часть первая. Спб. 1845.**

На своеемъ вѣку, я уже не однажды имѣлъ случай писать о сочиненіяхъ г. Б. Федорова (или Федорова, какъ напечатано на оберткѣ этихъ повѣстей), а, слѣдовательно, и брать ихъ въ руки; но смѣю увѣрить читателей — я никогда въ такихъ случаяхъ не испытывалъ пріятнаго ощущенія, въ которомъ, быть-можетъ, имъ угодно подозрѣвать меня. Напротивъ! Я даже очень люблю сочиненія г. Б. Федорова, и если кто-нибудь сказалъ вамъ противное, то въ опроверженіе столь огорчительной для меня клеветы, считаю долгомъ объявить слѣдующее:

1) Я не надѣваю перчатокъ, принимаясь за сочиненія г. Б. Федорова и вообще не принимаю въ такихъ случаяхъ предосторожностей, употребляемыхъ, когда хотятъ взять въ руки что-либо непріятное и неопрятное.

2) Я не засыпаю за сочиненіями г. Б. Федорова и не вижу во снѣ, навѣянномъ ими, самолюбивой и жалкой безталантности, которая ведетъ подробнѣйшій журналъ всего, что кажется ей преступленіями въ ея противникахъ, и готова прислуживаться имъ всякому.

3) Я не впадаю, по поводу сочиненій г. Б. Федорова, въ тяжелыя размышленія о участіи ослѣпленной бездарности, попавшей какъ говорится, не въ свои сани и упорно остающейся въ нихъ, несмотря на то, что грязныя брызги летятъ на нее со всѣхъ сторонъ.

Оговорившись такимъ образомъ, смѣло уже беру въ руки «Сто Новыхъ Дѣтскихъ Повѣстей» г. Б. Федорова, не надѣясь никакъ удивить тѣмъ читателей, — беру и читаю:

Молодая Яблоня.

Егорушка и Лизанька всегда старались доставить родителямъ своимъ нечаянное удовольствіе. Однажды когда они помогали имъ работать въ саду (здѣсь немножко трудно догадаться, кто кому помогалъ работать въ саду, но въ этомъ и нѣть большой надобности), отецъ сказалъ: «въ этомъ уголкѣ хорошо посадить еще одно деревцо».

Приближался день рожденія отца; добрыя дѣти тайно купили прекрасную яблоньку съ корнемъ и наканунѣ желанного дня пробрались потихоньку позади грядокъ посадить ее. «Какъ папинька обрадуется!» говорили дѣти между собою: «когда онъ, войдя поутру въ садъ, увидѣть эту прекрасную яблоню!»

Лизанька держала деревцо, между тѣмъ Егорушка рыль землю лопатою: вдругъ они услыхали, что въ землѣ что-то треснуло; потомъ заблѣстало и какъ-будто посыпалися искры. Егорушка разбилъ своею лопатою глиняный горшокъ, въ которомъ спрятано было нѣсколько золотыхъ монетъ и множество серебряныхъ блестѣвшихъ при свѣтѣ луны.

«Кладъ! кладъ!» вскричали дѣти въ восторгѣ, и побѣжали уведомить родителей о счастливой находкѣ.

«Любезныя дѣти!» сказалъ отецъ: «Богъ милостиво смотрѣлъ на привязанность вашу къ намъ. Онъ награждаетъ дѣтскую любовь. Продолжайте быть добрыми дѣтьми; — и Богъ дастъ вомъ сокровища лучшія, чѣмъ золото и серебро.

Вы думаете — конецъ? Нѣть! если вы такъ думаете, то вы не знаете, г. Б. Федорова! Здѣсь слѣдуетъ именно то, что должно слѣдовать, — то, что въ заглавіи названо «правоученіями въ стихахъ»:

Когда родителей ты любишь съ юныхъ лѣтъ  
Богъ счастія тебѣ пошлетъ!

Мнѣ нравятся повѣсти г. Б. Федорова, но мнѣ особенно нравятся правоученія въ стихахъ, въ которыхъ, такъ сказать, вся сущность повѣстей, и которыя, безъ всякаго сомнѣнія, есть изобрѣтеніе русскаго сочинителя. Потому я исключительно и займусь правоученіемъ въ стихахъ. Къ счастію, они и недлин-

ны: въ заключеніе къ каждой повѣсти не болѣе двухъ стиховъ, но за то какіе стихи!

Въ желаньяхъ сходень будь съ лилии чистотой,

И будешь ты цвѣсти какъ роза красотой.

Пріятно все, что сладко и прекрасно,

Но съ безрассудствомъ все опасно. оно и злонравиціи

Кто похищаетъ или лжетъ, тѣстю отъ юности

Тотъ наказанью подпадетъ отъ юности. энчеси отъ юности

Кто сострадателенъ тому и жить отраднѣй, оно же юноши

отъ юности. Свѣтлѣе день и ночь пріятнѣй,

Лучше чѣмъ поздно ложиться

Съ ранней зарей пробудиться.

Какая глубокомысленная двустишія! Много ихъ еще въ «Но-

выхъ Дѣтскихъ Повѣстяхъ», но я не выписываю всѣхъ, потому

что—повѣрять ли читатели столь дерзостному покушенію?—

я намѣренъ сочинить здѣсь нѣсколько своихъ нравоученій...

Начинаю:

Неосторожно бойтесь ходить,

Чтобъ ногъ не изломать и носу не разбить.

Кому дала природа мѣдный лобъ,

Тотъ съ мѣднымъ лбомъ останется по гробъ.

Ты въ лѣту не бросай съ презрѣніемъ галоши:

Здоровье ими ты подъ осень сбережешь.

О взрослыхъ ли писать берешься, для малютокъ—

Хоть крошечный имѣть совѣтную разсудокъ.

Кто нравъ кругой имѣть и свирѣпый,

Тому покажется и сахаръ хуже рѣши.

Довольно! на первый разъ, очень довольно! Теперь мнѣ остаются только присочинить къ этимъ «нравоученіямъ въ стихахъ» небольшіе разсказы въ прозѣ, и я могу сдѣлаться просвѣтителемъ и наставителемъ юношества въ моемъ отечествѣ. А все благодаря книгѣ г. Б. Федорова, который, кроме многихъ

другихъ достоинствъ, отличается еще силою вдохновительною. Я ею очень доволенъ.

Чтò касается до читателей, то они и безъ меня очень хорошо знаютъ, что думать о новомъ или вновь изданномъ сочинении г. Б. Федорова. На оберткѣ читаемъ слова: «изданіе второе, исправленное и дополненное». Они совершенно справедливы, потому что изданіе дѣйствительно исправлено и дополнено. Исправленіе относится къ тому, что фамилія сочинителя, писавшася въ продолженіи многихъ лѣтъ безграмотно (что неоднократно было замѣчаемо журналами), чрезъ букву *Ф*, вместо *Ѳ*, — здѣсь наконецъ явилось съ *Ѳ*-ою, а дополненіе состоить въ томъ, что въ той же фамиліи сочинителя прибавлена одна буква, именно: въ заглавіи выставлено не *Федоровъ*, какъ ветрину выставлялась, а *Ѳедоровъ*... Подите, спорьте послѣ этого съ сочинителемъ, что новое изданіе его повѣстей не исправлено и не дополнено.

**СКАЗКА О ДВУХЪ КРЕСТЬЯНАХЪ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОМЪ И РАСТОЧИТЕЛЬНОМЪ. Спб. 1844.**

Изъ самаго заглавія видно о чёмъ идетъ дѣло. Одинъ мужикъ пьяница, буйствуетъ, лѣнится и умираетъ въ нищетѣ и позорѣ; другой живетъ честно, трудится, домостроительствуетъ, и вслѣдствіе того, наживаетъ изрядное количество денегъ, женится на доброй женѣ, приживаетъ добрыхъ сыновей, которымъ находить добрыхъ женъ, и за всѣ свои добродѣтели удостоивается дождаться на бѣломъ свѣтѣ внуковъ, разумѣется, тоже добрыхъ. Перваго мужика звали Федоромъ Васильевичемъ, втораго Николаемъ Кузьмичемъ. Слѣдуетъ

нравоучение: чтобы не быть Федорами Васильевичами, бойтесь, дѣти, жить такъ, какъ жилъ Федоръ Васильевичъ; но чтобы быть Николаями Кузьмичами, по мнѣнию сочинителя, не нужно даже жить такъ, какъ жилъ Николай Кузьмичъ: «читайте только почаше эту сказку», говоритъ онъ: «вы будете ими». «Разсказъ о Двухъ Крестьянахъ Домостроительномъ и Расточительномъ» кончился, но книга еще не кончилась. Слѣдуетъ сказка для крестьянскихъ дѣвушекъ «О двухъ женахъ доброй и сердитой», о которой ничего не сказано въ заглавіи. Тутъ опять та же исторія. Маша была добрая жена: сносила терпѣливо побои пьяного мужа, его невѣрность, наговоры свекрови, ея брань и капризы,— «и вотъ у ней стало всего вдоволь и огурцовъ, и капусты, и моркови, и свеклы, и рѣпы, и картофеля и всякой всячины не только для домашнаго обихода, но и добрымъ людямъ и на продажу». А Паша была жена сердитая и оттого, у нея былъ вѣчный недостатокъ въ огурцахъ, капустѣ, рѣпѣ, моркови, свеклѣ и картофелѣ. Слѣдуетъ наставительное заключеніе: «Теперь скажите; милыя дѣвушки, которой вы хотите лучше быть, Машей или Пашей? Я вижу, знаю, вы все хотѣли бы быть Машами; смотрите же попрежде ей; живите такъ, какъ она жила; старайтесь быть послушны, кротки, ласковы ко всемъ; угоджайте всемъ, особенно своимъ роднымъ, семьянымъ; пуще всего бойтесь браниться, сердиться, даже шутя, съ кѣмъ бы то ни было; и вы будете такъ же счастливы, какъ Маша».

Рассказъ этотъ въ своемъ родѣ стоять дѣтскихъ повѣстей г. Б. Федорова.

**ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.** *Литературный сборникъ, составленный гр. В. А. Соллогубомъ. Книга первая. Спб. 1845.*

Назадъ тому ровно двадцать лѣтъ была сильная мода на альманахи. Удача первого альманаха породила множество другихъ. Составлять ихъ ничего не стояло, а славы и денегъ приносили они много. Бывало какою-нибудь господинъ, отъ роду ничего не писавшій, вдругъ ни съ того ни съ сего рѣшился обезсмертить свое имя великимъ литературнымъ подвигомъ: «глядиши» — и вышелъ въ свѣтъ новый альманахъ. Книжка крохотная, а стоитъ десять рублей ассигнациями, и не премѣнно все изданіе разойдется. Такимъ образомъ, издатель за бѣлье барыши и великую славу тратилъ только сумму, необходимую на бумагу и печать. Какъ же это дѣлалось? Очень просто. Издатель обращался съ просьбою ко всѣмъ авторитетамъ того времени, отъ Пушкина до г. Глинки включительно, — и отъ всѣхъ получалъ — отъ кого стихотвореніе, отъ кого отрывокъ изъ романа въ пять страничекъ, отъ кого статейку «взглядъ и иѣчто» и т. д. Главное дѣло было бы въ альманахѣ цѣть шесть известныхъ именъ, а мелкихъ писакъ можно было легко набрать десятки. Тогда многіе борзописцы не только не требовали денегъ за свое маранье, но еще сами готовы были платить за честь видѣть въ печати свое сочиненіе и свое имя. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ мода на альманахи кончилась, и, несмотря на то, лучшій русскій альманахъ вышелъ въ 1833 году: мы говоримъ о «Новосельѣ» г. Смирдина. Въ 1834 году вышла вторая часть «Новоселья». Впрочемъ, въ этомъ лучшемъ альманахѣ, все-таки балласта было больше, чѣмъ хорошаго, такъ, напримѣръ, въ первой части на семь весьма плохихъ статей было хорошихъ статей только «Баль» и «Бригадиръ» князя Одѣвскаго, да еще развѣ «Антаръ» г. Сенковскаго и смѣшныя сказки барона Брамбеуса,

да статьи двѣ серъёзного содержанія другихъ писателей. Впрочемъ, плохія стихотворенія съ избыткомъ вознаграждались «Домикомъ въ Коломнѣ» Пушкина, превосходною піесою Баратынского «На смерть Гёте» и пятью баснями Крылова. Въ прозаическомъ отдѣлѣ второй части «Новоселья» была напечитана «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», Гоголя; этого довольно, чтобы простить все остальное. По объему, «Новоселье» между прежними альманахами походило на слова между воробьями. По всему было видно, что такой альманахъ могъ издать только книгопродавецъ, сбираявшійся издавать журналъ. «Библіотека для чтенія» пропизвела, своимъ появленіемъ, совершенный переворотъ въ литературныхъ обычаяхъ и нравахъ. Литературный трудъ началъ получать вещественное вознагражденіе, кромѣ славы, отъ которой, какъ известно, люди не бывають сыты и тепло одѣты. Изданіе альманаховъ стало дѣломъ труднымъ, потому что изъ жалкой чести печататься никто не сталъ давать даромъ своихъ статей и своими трудами обогащать антрепренёровъ. Да и альманахи всѣмъ надѣли. Несмотря на то, «Утренняя Заря» имѣла большой успѣхъ, потому что украшалась прелестными картинками. Тогда альманахи начали было основывать свое существованіе, то, на филантропическихъ цѣляхъ, то на литературныхъ ужинахъ, за которое сбиралось статьями. Но это и подорвало ихъ въ-конецъ: они сдѣлались корзинками, куда вѣсъ сбрасывали свои бумаги, назначенные на употребленіе по домашнему общходу. И вотъ теперь вновь является альманахъ, съ громкими и безмолвными именами, съ стихами и прозою, и даже виньеткою передъ заглавнымъ листкомъ, виньеткою, которая представляетъ, какъ торопится публика покупать «Вчера и Сегодня». Заглянемъ же въ этотъ альманахъ.

Прежде всего поговоримъ о піесахъ покойнаго Лермонтова. Піесы эти суть два отрывка изъ начатыхъ повѣстей въ прозѣ и

изъ пяти стихотвореній. Первый отрывокъ довольно великъ, но не представляетъ ничего цѣлаго. Не-смотря на то, что его содержаніе фантастическое, читателя, невольно поражаетъ мастерство рассказа и какой-то могучій колоритъ, разлитый широкою кистью по недоконченной картинѣ. Съ непріятнымъ чувствомъ доходишь до конца этого отрывка, въ которомъ повѣсть не доведена и до половины, и становится тяжелоувѣрить себя, что конца ея никогда не прочтешь... Второй отрывокъ очень коротокъ, но даетъ о содержаніи повѣсти понятіе, въ высшей степени завлекательное. Изъ стихотвореній, лучшее — «Отрывокъ», гекзаметрами, въ древнемъ духѣ. Другія стихотворенія важны только въ психологическомъ отношеніи, какъ любопытные факты для изученія такой замѣчательной личности, какова была личность Лермонтова. Лучше другихъ стихотвореніе «Казбеку».

«Собачка», разсказъ графа Соллогуба — лучшая изъ прозаическихъ статей здравствующихъ литераторовъ, которые снабдили альманахъ своими вкладами. Въ одинъ изъ городовъ Южной Россіи, пріѣхала на ярмарку труппа актеровъ. У жены содержателя трупши, Печеновскаго, была болонка, которую та «обожала». Городничиха, увидѣвъ собачку, захотѣла во что бы ни стало получить ее. Но городничій встрѣтилъ по поводу собачки, неожиданное и упорное сопротивленіе со стороны Печеновскаго: жена антрпренёра стояла жены городничаго, и любила собачку гораздо больше, нежели своего мужа. Тогда театръ, или сарай гдѣ давались представленія, оказался неблагонадежнымъ со стороны постройки и былъ запечатанъ. Товарищъ Печеновскаго отправился съ жалобою къ губернскому чиновнику, который, узнавъ о поступкѣ городничаго, обѣщался сослать его въ Сибирь. Но дѣло кончилось тѣмъ, что Печеновскій, обломавъ обѣ жену чубукъ и, съ своей стороны, потерпѣвъ отъ нея немалое увѣчье, вырвалъ соба-

чонку, которой пришлось такъ невинно сыграть роль Елены прекрасной и чуть не погубить Трои, — и представилъ ее городничему. Но это не все: за свое неповиновение начальству, онъ долженъ былъ прибавить къ собачонкѣ 500 рублей городничему, 300 рублей архитектору, да городничихъ купить шаль въ 300 рублей. Городничій говорилъ: «Я бы и простилъ тебя да теперь время такое. Не могу, самъ видишь не могу; что станутъ въ народѣ говорить? Примѣръ будетъ дурной, послабленіе. Пеняй на себя, пошался самъ; не послушалъ пріятеля... самому больно. — Кажется, заплакалъ бы, а дѣлать нечего; примѣръ нуженъ». Послѣ этой сдѣлки, театръ вдругъ оказался безошанснымъ для представлений. Въ тотъ же вечеръ, послѣ спектакля, режиссёръ пилъ мертвую вмѣстѣ съ городничимъ, въ его же, городничаго, домѣ. Послѣ многихъ тостовъ, провозгласили тостъ за процвѣтаніе театра; городничій рас простеръ объятія, и красный, какъ клюква, Поченовскій бросился съ чувствомъ къ нему на шею. Оба были сильно растроганы, а у городничаго даже слезы навернулись на глазахъ.

Разсказъ графа Соллогуба оканчивается этими глубоко- знаменательными словами: «вотъ какіе еще бывали на святой Руси случаи, сорокъ лѣтъ тому назадъ!»

Довольно интересна статья г. Второва: «Гаврила Петровичъ Каменевъ». Каменевъ былъ литераторъ, умершій назадъ тому сорокъ лѣтъ. Громкую извѣстность добылъ онъ себѣ тогда балладою «Громвалъ», для того времени удивительною. Г. Второву пошли въ руки письма и записки Каменева, которыя онъ и напечаталъ въ этой статьѣ. Какъ голосъ изъ могилы, какъ живая картина старины, написанная ея современникомъ безъ всякихъ претензій, — эти записки и письма тѣмъ болѣе любопытны, что русская литература совершенно бѣдна такого рода живыми помятниками.

Занимательная статья г. Струговщика «О Шиллерѣ и Гёте» заключена прекраснымъ переводомъ извѣстнаго стихотворенія Гёте «Богиня Фантазіи», разсказъ князя Одоевскаго, можно упрекнуть въ не совсѣмъ естественной идеализациѣ быта деревенскихъ крестьянъ, на подобіе того, какъ они идеализируются въ ливертизмахъ, даваемыхъ на нашихъ театрахъ. Впрочемъ, видно, что этотъ разсказъ еще первый опытъ нашего даровитаго писателя на новомъ для него попришѣ, къ которому онъ еще не успѣлъ привыкнуть. Но недостатки этого разсказа вполнѣ выкупаются его прекрасною и благородною мыслію и цѣлью.

Статья гр. А. Толстаго: «Артемій Семеновичъ Бервенковскій». Но мы лучше не будемъ о ней говорить... Ноппі soit qui mal y pense.

Теперь о стихотвореніяхъ. Тутъ помѣщена цѣлая повѣсть въ стихахъ, Жуковскаго: «Капитанъ Боппъ», представляющая чтеніе весьма назидательное. Кромѣ того, есть стихи графини Растворчичной, князя Вяземскаго, гг. Коренева, Тургенева, Языкова и Бенедиктова. Стихотвореніе г. Бенедиктова «Ревность», принадлежитъ къ разряду невѣроятныхъ стихотвореній. И странно! эти невѣроятные стихи почему-то напомнили намъ превосходные стихи Лермонтова: «Какое дѣло намъ, страдаль ты или нѣть?»

Да, воля ваша, а издать хороший альманахъ, альманахъ безъ балласта, безъ статей уродливо безобразныхъ, оскорбляющихъ и вкусъ и смыслъ, безъ хлама посредственности и ничтожности,—издать такой альманахъ въ наше время очень трудно! При добровольныхъ вкладахъ, всякое даяніе благо; тутъ выборъ невозможенъ; лепту отъ усердія не отвергаютъ, хотя бы эта «лепта отъ усердія» означала только желаніе отказатьться отъ просьбы чѣмъ-нибудь. Какимъ бы талантомъ и какимъ бы вкусомъ ни обладалъ составитель альманаха, но вѣ

въ его волѣ, не въ его возможности отдељаться отъ неувѣроятныхъ стиховъ въ родѣ «Ревности» и неувѣроятной, прозы въ родѣ «Артемія Семеновича Бервенковскаго».

**Новый гость. Издание Александра и Карла Реймера.**

**Визитъ I. Спб. 1845.**

Вотъ и еще альманахъ, если ужъ пошло на альманахи! Но это альманахъ совсѣмъ другаго рода, нежели «Вчера и Сегоднѣ»: это альманахъ плебей, альманахъ пятиадцатаго класса, книга для утѣшения переднихъ и приходящихъ. «Новый Гость» щеголяетъ и стихами и прозою; но въ немъ все свое, все соотвѣтствующее одному другому, все заклеймено печатью ничтожества, пошлости. Имена господъ,красившихъ своимъ дивными произведеніями этотъ неслыханный альманахъ, эти имена неувѣроятны. Судите сами: издалъ его г. Александръ (онъ же и Карлъ) Реймеръ, надѣлилъ его своими статьями гг. Невидимка, Ипполитъ Голубинъ, Анатолій Р., Ф. П., въ, Адамъ Семигорскій, панъ Маревскій, А. Борисовъ. Какими горемыками смотрятъ статьи всѣхъ этихъ неслыханныхъ имень! Какъ видно, что онъ давно потеряли надежду увидѣть себя допущенными въ какое-нибудь порядочное изданіе! Съ горя, рѣшились онъ сойдтисъ въ этой книжонкѣ, гдѣ все плохо... Нѣтъ, этому альманаху слѣдовало бы называться не «Новымъ Гостемъ», а какъ-нибудь иначе. Но онъ вѣроятно хочетъ пролѣтѣть въ гости и дѣлаетъ первый визитъ, грозя вторымъ. Едвѣ ли кто отворить ему дверь и скажетъ: «добро пожаловать!» Въ мѣшкахъ у букинистовъ, на заряхъ Апраксина Двора,—вотъ гдѣ придется ему гостить... Туда и дорога!

МЕТЕОРЪ, на 1845 годъ. Спб.

Не пугайтесь этого метеора: онъ не страшенъ. Мы даже думаемъ, что вы и не замѣтили бы его появленія на горизонѣ современной русской литературы, еслибы мы не заговорили о немъ съ вами. Этотъ «Метеоръ» — невинный сборникъ разныхъ стишковъ, изъ которыхъ иные, право, недурны, хотя и не отличаются особенными красотами поэзіи. Времена переходчивы! Подобно альманахамъ, стихи были въ большой модѣ и появись эта книжка въ свое время, то есть, лѣтъ двадцать или, ужъ покрайней мѣрѣ, лѣтъ пятнадцать назадъ,—она надѣлала бы большаго шума: журналы и хвалили и брали бы ее, спорили бы изъ-за нея другъ съ другомъ, какъ-будто изъ за дѣла; публика покупала и читала бы ее. Ничего этого теперь не будетъ съ нею. Ей нечего опасаться и брани; ея не тронутъ даже по лѣности; читать же ее совѣтуемъ всѣмъ—на сонъ грядущій: въ этомъ отношеніи, дѣйствіе «Метеора» ни съ чѣмъ несравнимо; мы испытали это на самихъ себѣ и даже среди бѣлага дня. Признаемся, это обстоятельство заставило насъ порадоваться за успѣхъ русской литературы. Наша стихотворная поэзія по справедливости можетъ гордиться созніями истинно изящными, именами истинно геніальными; нельзя сказать, чтобъ она бѣдна была и талантами. Она совершила циклъ полный и законченный, — такъ что теперь уже нѣть возможности доставать славу невинными стишками, какъ бы они хороши ни были. Таланта для этого мало: нужна геніальность, а если и талантъ, то соединенный съ большимъ умомъ, съ сильною натурою. Быть поэтомъ теперь значитъ—мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобъ быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться, не грэзы праздношатающейся фантазіи, не выписные чувства, не нарядная печаль: нужно могучее

сочувствіе съ вопросами современной дѣйствительности. Поэзія, которой корни находятся въ прихотяхъ, скорбяхъ или радостяхъ самолюбивой личности, носящейся, какъ курица съ яйцомъ, съ своими прекрасными чувствами, до которыхъ никому неѣть дѣла,—такая поэзія, вмѣсто вниманія, заслуживаетъ презрѣніе. Всякая поэзія, которой корни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, которая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя ее, — есть дѣло отъ бездѣлья, невинное, но пустое препровожденіе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ людей... Давно уже утверждалось мнѣніе, и существуетъ до сихъ поръ, что поэтъ—пустой человѣкъ, неспособный ни къ какому дѣлу. Это мнѣніе варварски ложно, когда оно прилагается къ поэтамъ или гениальнымъ, или проявившимъ въ своихъ твореніяхъ положительный, никакому сомнѣнію неподлежащій талантъ, — талантъ, запечатленный оригинальностью илеи, самобытностью формы. Пусть такой поэтъ и дѣйствительно неспособенъ ни къ какому другому дѣлу: онъ имѣть на это полное право, потому что способенъ къ своему дѣлу, для котораго годится не всѣ, но одинъ изъ ста тысячъ, если не изъ миллиона людей. Это мнѣніе страшно истинно, когда оно прилагается къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ, вмѣсто таланта, есть только способность къ поэзіи; которыхъ сочиненія, какъ говорится, только что недурны, и которые, ставъ выше бездарности, все-таки не дошли до таланта. Такіе поэты—самые жалкие люди въ мірѣ, и конечно, всякий водовозъ, всякий дворникъ, на лѣствицѣ общественной іерархіи, есть почтенное существо въ сравненіи съ этими пискливыми и крикливыми воробьями царства поэзіи, потому что водовозъ и дворникъ полезны и необходимы для общества. Совершенно бездарный поэтъ лучше маленькихъ талантиковъ: на него, по крайней мѣрѣ, можно смотрѣть какъ на больного, или помѣшаннаго, и онъ рѣдко зано-

сится и зазнаётся, не балуемый мелочными успехами. Но маленькие талантики — несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые. Они не знают, какъ и поцѣнить себя; ихъ чувствованыица, ихъ фантазіки, ихъ мыслишки кажутся имъ великими открытиями. Они и не догадываются, что все это у нихъ краденое, т.е. вычитанное, или, какъ превосходно выразилъ это Лермонтовъ, «плѣнной мысли раздраженье». Они увѣрены, что только они и чувствуютъ, и мыслятъ, и страдаютъ, — и потому нещадно бранять толпу, которая предпочитаетъ свои домашнія заботы и личныя выгоды ихъ хорошенъкимъ стишкамъ. Къ дѣлу они не способны ни къ какому, потому что самолюбивы, надуты, тщеславны, все, кроме стишковъ, считаютъ ниже себя, не хотятъничему учиться, ни на что посмотреть со вниманіемъ. Они изволите видѣть — гени, толпа должна видѣть ореолъ надъ ихъ головами, а на чѣлѣ звѣзу безсмертія. Такихъ поэтовъ надо преслѣдовать критикъ неутомимо и строго; они вредятъ вовсе бездарныхъ, которые не стоятъ никакого вниманія; они подаютъ дурной примѣръ молодежи: облазняй мальчиковъ дешево покупаемою славою, они отвлекаютъ ихъ отъ ученія и отъ дѣла. Лицо сего опровергаетъ вышеупомянутое мнѣніе о талантикахъ. И за что намъ они, эти пріятные поэты, эти маленькие талантики? Чѣмъ въ нихъ? Было время, и они были полезны и нужны! Но теперь, когда Пушкинъ и Лермонтовъ показали намъ образцы высокой поэзіи; когда менѣе сильные таланты разработали ее поле, подали примѣръ всѣхъ формъ, даже всѣхъ уклоненій и странностей поэзіи, — теперь, чѣмъ дѣлать мелкимъ талантамъ? Вздумаетъ ли талантникъ писать басни, — кто же его станетъ читать послѣ Крылова, и въ состояніи ли онъ быть для своего времени тѣмъ, чѣмъ для своего были Хемницеръ и Дмитріевъ? Вздумаетъ ли онъ, напримѣръ, попробовать свои силы въ классическо-французской трагедіи, — ему непремѣнно

нужно для своего времени стать хоть тѣмъ, чѣмъ для своего былъ Озеровъ. Рѣшиться на борьбу съ Батюшковымъ еще менѣе возможно для него. Пуститься развѣ въ романтизмъ? — но тогда надо крѣпко помнить, что вѣдь у насъ есть Жуковскій. Стало-быть, вѣтъ надежды и на возобновленіе старины! Возможность комедіи въ стихахъ убита Грибоѣдовымъ. Пѣть буйнаяя плоскія потѣхи? — по это уже Тедѣлаль г. Языковъ. Пуститься въ дикую оригинальность — мѣшаеть г. Бенедиктовъ. И такъ, ни стараго возобновить, ни новаго изобрѣсти: что же дѣлать... Всего лучше ничего не дѣлать.

Но мы заговорили и забыли о «Метеорѣ»; возвратимся къ нему. Онъ украшенъ стихами графини Растанчиной, гг. Майкова, Бенедиктова, Мейснера, Познанскаго, Шевцова, Степанова, Якубовича, Филимонова, Дурова Протопопова, Пальма, Бернета, Доводчикова, Огородникова, Григорьева, Гребенки, Гербаловскаго, Соколовскаго... Сколько именъ! Мы теперь столько же богаты поэтами, сколько бѣдны поэзіею. Особенно яркаго, рѣзко выдающагося изъ-подъ уровня обыкновенности, въ «Метеорѣ» вѣтъ ничего. Лучше другихъ три стихотворенія г. Майкова; хуже всего стихи гг. Степанова, Шевцова, Филимонова, Якубовича, Соколовскаго и многихъ другихъ. Господи Боже мой! неужели гг. Якубовичъ и (особенно) Соколовскій никогда не перестанутъ даже и изъ могилы мучить живыхъ своими водяными виршами? Что за неугомонный народъ эти поэты!.. Г. Бернетъ никогда подавалъ надежды. Но ему суждено было на всю жизнь остаться тѣмъ, чѣмъ онъ обнаружилъ себя въ то время, когда подавалъ надежды. Теперь, кажется, уже нечего отъ него надѣяться. Въ «Метеорѣ» напечаталъ онъ вторую часть своей поэмы «Графъ Мецъ», написанной имъ еще въ 1841 году. Неужели онъ столько времени берегъ въ своемъ портфѣлѣ эту книгу писанной бумаги?.. Что такое эта поэма? Мы ничего въ ней не поняли, и,

следствіе этого обстоятельства, вспомнили эпиграмму старика Дмитриева:

Ужъ подлинно Бибрусъ боговъ изыкомъ иѣль:  
Изъ смертныхъ-бо его никто не разумѣлъ.

Графъ Мецъ, графиня Клавдія, жена его, Праздникъ оборотней, Распорядитель, Листецъ, Шутъ, Наглецъ, Антропосъ, Горлакъ, Трубочистъ, Трезоръ (песь), Оркестръ, Компонистъ, Башмачникъ, Первая Часть Поэмы, Вторая Часть Поэмы (все это дѣйствующія лица), Критикъ, Попугай, Канчукъ (Хохоль), Бандуристъ, Хоръ Дѣвушекъ, Ребятишки, Молодой Офицеръ, сраженіе, дѣвушка предводительствуетъ эскадрономъ, ее убиваетъ графъ Мецъ и узнаетъ въ ней предметъ своей любви..., чѣмъ за путаница! Это одно изъ тѣхъ злополучныхъ произведеній, которыхъ тысячи порождены «Фаустомъ» Гёте и «Манфредомъ» Байрона; слѣдовательно, это новое «плѣнной мысли раздраженіе». Второстепенные таланты любятъ тянуться за геніями, и думаютъ идти по ихъ гигантскимъ слѣдамъ, копируя ихъ недостатки. Нелѣпныя сцены колдовства и вальпургиснахъ въ «Фаустѣ» мелкими талантами приняты добродушно за красоты первого разряда, и этимъ-то безобразнымъ красотамъ они и подражаютъ въ-запуски. Недавно одинъ плохой писака, хватавшійся за всѣ роды поэзіи (преимущественно за драмы для «Александрынского театра») и во всѣхъ равно оказался бездарнымъ, рѣшился пуститься въ критику. Губительное перо свое онъ нанесъ на «Фауста» и на переводъ этой поэмы г. Воронченко. Въ этой критикѣ онъ полными горстями высипалъ всѣ тамъ и сямъ вычитанныя и непонятныя имъ мысли и о «Фаустѣ», и о Гёте, и о томъ и о сѣмъ, а больше ни о чёмъ. Мысли г. Вронченко онъ очень вѣжливо назвалъ визиготскими и еще Богъ знаетъ какими: образчикъ литературной вѣжливости... Но самая забавная сторона его критики заключается въ усилии доказать, что вторая часть «Фауста» —

этотъ сборъ холодныхъ аллегорій, старческихъ мыслей, мистического умничанья, — сборъ, изрѣдка сверкающій искрами гевія, но въ цѣломъ утомительно-скучный и безобразно странный, — что вторая часть «Фауста» выше первой, истинный chef-d'oeuvre поэзіи... Видите ли, чтѣ больше всего нравится господамъ этого разряда? — именно то, что они всего меньше въ состояніи понять, что бросается въ глаза своею странностью. Истинная, простая поэзія имъ никогда не нравится...

Кромѣ «Графа Меща», г. Бернетъ напечаталъ въ «Метеорѣ» четырнадцать мелкихъ піесъ: мелочь во всѣхъ отношеніяхъ! Но чтѣ въ «Метеорѣ» доставило намъ истинное удовольствіе, до слезъ развеселило нась, — это стихотвореніе г. Бенедиктова; «Тостъ». Не можемъ отказать себѣ въ наслажденіи подѣлиться съ читателями нашимъ весельемъ. Но стихотвореніе это столько же огромно, сколько и прекрасно: всего нельзя выписать; ограничимся лучшимъ:

Жизнь — сіай! Твой свѣточъ — разумъ.  
Да не меркнетъ подъ тобой  
Свѣть сей, вставленный алмазомъ  
Въ перстень вѣчности самой!

Удивительно! Разумъ сперва является свѣточемъ жизни; потомъ уходитъ подъ жизнъ и наконецъ дѣлается алмазомъ и попадаетъ въ перстень вѣчности! Какая глубокая мысль — ничего не поймешь въ ней! Господа современные русскіе стихотворцы, объясните намъ смыслъ этой глубокой мысли: тысяча пудовъ россійскихъ стихотвореній въ награду!

Вѣнчанъ лавромъ или миртомъ —  
На подобіе сихъ чашъ,  
Буди налитъ черепъ нашъ  
Сокомъ думъ и мысли спиртомъ!

Браво! брависсимо! На подобіе чашъ, налить черепа живыхъ (физически) людей «сокомъ думъ и спиртомъ мысли»: какая

счастливая, оригинальная мысль! Жаль только, что она будетъ въ подрывъ откупамъ и погребамъ. Да же, поэтъ настаиваетъ въ своемъ намѣрѣ воззвать юныхъ дѣвъ и добрыхъ женъ,

Сихъ богинь огнен-сердечныхъ,

Къмъ міръ цѣлый проведенъ

Чрезъ святиню персей млечныхъ,

Колыбели и пеленъ.

Этыхъ горлицъ, этихъ львицъ,

Расточительницъ блаженства

И страданий царицъ!

Молниеносными чертами рисуетъ потомъ поэтъ географію и анатомію Россіи:

Чудный край! чрезъ Алтай

Бросивъ локоть на Китай,

Тема вспрыснула Океаномъ,

Въ Балтъ ребромъ, плечемъ въ Атланть(!),

Въ полюсъ лбомъ, пятой къ Балканамъ

Мощный тянетъся (?) гигантъ.

Потомъ, поэтъ, пришедъ въ вящій восторгъ, предлагаетъ выпить сока думъ и спирта мысли—

Въ славу солнечной системы, где этикоу имутъ

Въ честь и солнца и планетъ,

И дружинъ огнен-крылатыхъ

Длиннохвостыхъ, бородатыхъ

Быстрыхъ бѣшенныхъ кометъ.

Наконецъ, ему показалось, что земля

Мчится въ пласкѣ круговой

Въ парѣ съ вѣрною луной,—

и что «всѣ міры танцуютъ»...

Жаль, что не могли выписать этого дивнаго диопрамба вполнѣ: въ немъ еще осталась столько «соку думъ и спирту

мысли»!... Правъ, тысячу разъ правъ г. Шевыревъ, доказавшій, что до г. Бенедиктова въ русской поэзіи не было мысли, и что Державинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ — поэты безъ мысли. Да, только съ появленія книжки стихотвореній г. Бенедиктова, русская поэзія преисполнилась не только мыслю, но и сокомъ думъ и спиртомъ мысли...

---

*типы современныхъ правовъ, представленные въ иллюстрированныхъ повѣстяхъ и разсказахъ, издаваемыхъ подъ редакціею Николая Кирилова. Спб. 1845.*

Эта книжка, красиво изданная, съ хорошенькими политиражами, состоитъ изъ одного рассказа: «Терты Калачъ, сцены изъ провинціальной жизни». Въ этомъ рассказѣ есть довольно забавныя черты и, можетъ-быть, много правды; но въ немъ вовсе нѣтъ типовъ: отъ этого очень скучно читать его. Многіе думаютъ, что писать въ юмористическомъ родѣ ничего не значитъ; такъ-де вотъ возьми да и списывай съ природы. Конечно, выйдетъ хорошо, если кто умѣетъ хорошо списывать съ природы: и это тоже талантъ своего рода, хотя и талантъ визшій. Ужъ кто лучше дагерротипа списываетъ?—а между тѣмъ, какъ далеко ниже сколько нибудь порядочнаго живописца самый лучшій дагерротипъ! И потому, повторяемъ: хорошо, если кто умѣетъ быть хорошимъ дагерротипомъ въ литературѣ, но несравненно лучше и почетнѣе быть въ литературѣ живописцемъ. Миръ пошлой повседневности, міръ прозы жизни, для своего воспроизведенія, такъ же требуетъ вдохновенія, творчества, таланта и генія, какъ и миръ великихъ характеровъ дѣяній и страстей. И потому, фланандская школа живописи стоитъ всякой другой. Но за то, когда, у писателя

нѣтъ способности быть даже daguerrotipomъ, — простое спи-  
сываніе съ природы бываетъ у него очень отвратительно: въ  
высокомъ и патетическомъ, оно переходитъ у него въ санти-  
ментальность и надутость; въ комическомъ и юмористиче-  
скомъ — въ пошлость и тривіальность, — и въ обоихъ слу-  
чаяхъ равно никогда не имѣеть никакого сходства съ изо-  
бражаемою природою. Къ такому роду рабскихъ снимковъ  
съ натуры принадлежитъ «Тертый Калацъ»: въ немъ, мо-  
жетъ быть, узнаютъ себя пять или шесть человѣкъ во всей  
Россіи, но больше никто не узнаетъ, и эта книжка можетъ  
возбудить интересъ только въ томъ мѣстѣ, гдѣ живутъ ори-  
гиналы ея, потому что въ ней нѣтъ ничего общаго, типиче-  
скаго, хотя она и предентуетъ на типы...

---

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ. Переводъ съ иль-  
мецкаго. Спб. 1845.

Нѣмецкій подлинникъ этой исторіи принадлежитъ къ собра-  
нію исторій разныхъ государствъ, известному подъ именемъ  
«Всеобщей Исторической Карманной Библіотеки». «Краткая  
Исторія Крестовыхъ Походовъ» переведена была лѣтъ за во-  
семь передъ симъ; но какъ ея переводчикъ узналъ, что г-нъ  
Погодинъ издаетъ въ Москвѣ переводъ всего этого сборника  
подъ именемъ «Всеобщей Исторической Библіотеки», — то и  
оставилъ намѣреніе печатать трудъ свой. Г. Погодинъ издалъ  
исторію Неаполя, Пруссіи, Швеціи да на томъ и остано-  
вился. Видя, что предприятію г. Погодина не суждено дойти  
до вожделѣннаго конца, переводчикъ «Краткой Исторіи Кре-  
стовыхъ Походовъ», наконецъ, рѣшился издать въ свѣтъ свой  
переводъ. Нельзя не согласиться, что этимъ оказалъ онъ боль-

шую услугу русской литературѣ. «Исторія Крестовыхъ Походовъ» Мишо, весьма плохо переведенная на русской языкѣ, очень обширна, и поэтому именно не уничтожаетъ потребности въ болѣе краткомъ сочиненіи о томъ же предметѣ. Сверхъ того, переводчикъ не просто переводилъ, но частію и передѣльвалъ. «Такъ какъ» (говорить онъ въ предисловіи) «въ разработкѣ исторіи крестовыхъ походовъ въ новѣйшее время, особенно на нѣмецкомъ языкѣ, изслѣдованія значительно подвинулись впередъ: то переводчикъ почелъ себя въ правѣ и даже обязаннѣмъ воспользоваться нѣкоторыми изъ сихъ поясненій, и принялъ оныя въ текстъ». Такимъ образомъ, изъ его перевода вышла книга едва ли не лучше подлинника, книга умная, проникнутая мыслію, запечатлѣнная единствомъ воззрѣнія. Излагая события этого великаго, странного, огромнаго, дикаго, фантастического и сумасброднаго события, вполнѣ достойнаго невѣжества и варварства среднихъ вѣковъ, — переводчикъ смотритъ на него глазами современной науки, глазами чистаго разума, не увлекаясь никакими предубѣжденіями, ни фантастическими, ни рациональными. Выказывая въ истинномъ свѣтѣ немногія личности, исполненные набожности и доблести, немногіе поступки, нечуждые человѣчности, — онъ въ то же время яркими красками изображаетъ невѣжество, своеокрыстіе, развратъ, невѣріе, смѣшанное съ дикимъ фанатизмомъ, звѣрство, жестокость и кровожадность рыцарей гроба Господня, равно какъ и не скрываетъ превосходства мусульманъ надъ христіанами въ чувствѣ нравственности и гуманности. Вообщѣ, главную причину этого события видить онъ преимущественно въ хитрой и своеокрыстной политикѣ папъ, для которыхъ крестовые походы явились прекраснымъ средствомъ отдѣляться отъ многихъ государей, опасныхъ ихъ самовластію, и, слѣдовательно, средствомъ къ увлечению вліянія, силы и преобладанія престола намѣстниковъ св. Петра.

надъ властями свѣтскими. Но что всего лучше, переводчикъ «Исторіи Крестовыхъ Походовъ» видитъ въ этомъ невѣжественномъ событии великий шагъ впередъ со стороны человѣчества на пути къ эманципаціи отъ невѣжества; видитъ въ немъ причину паденія папскаго авторитета, слѣдовательно, видитъ прогрессъ. Вспомнимъ, что крестовые походы кончились въ концѣ XIII столѣтія, а въ концѣ XIV, явился Виклефъ, въ началѣ XV Иоаннъ Гусъ, а въ послѣдней половинѣ того же XV столѣтія родился Лютеръ, выступившій на свое великое дѣло въ началѣ XVI вѣка (1517)...

Жаль только, что такая прекрасная книга, какъ «Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ», мѣстами переведена не совсѣмъ изящно, и въ ней попадаются такие фразы и слова, которыхъ иной, пожалуй, сочтетъ за умышленное искаженіе русскаго языка. Во Франціи самая пошлая книжонка пишется правильно; а мы неужели еще не выучились внимательно издавать дѣльные книги?...

**КАРМАНИЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ, ВОШЕДШИХЪ ВЪ СОСТАВЪ РУССКАГО ЯЗЫКА, издаваемый Н. Кириловымъ Спб. MDCCXLV. Выпускъ первый.**

Въ русскій языкъ по необходимости вошло множество иностранныхъ словъ, потому что въ русскую жизнь вошло множество иностранныхъ понятій и идей. Подобное явленіе не ново. Хотя изъ новѣйшихъ европейскихъ языковъ, нѣмецкій—языкъ кореннай и самостоятельный, однако въ него проникло множество греческихъ, латинскихъ, французскихъ и итальянскихъ словъ. Изобрѣтать свои термины для выраженія чужихъ понятій очень трудно, и вообще этотъ трудъ рѣдко удается.

Поэтому, съ новымъ понятіемъ, которое одинъ беретъ у другаго, онъ беретъ и самое слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ дѣйствіи видна справедливость: какъ бы въ награду за понятіе, рожденное народомъ, переходить къ другимъ народамъ и слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ отношеніи, всѣ образованные народы—должники и вассалы древнихъ Грековъ и Римлянъ,—и противъ нравственной зависимости этого рода, столь законной и справедливой, могутъ вооружаться только умы слабые и мелкіе, увлекаемые ложнымъ патріотизмомъ. Что за дѣло, какое и чье слово, лишь бы оно вѣрно передавало заключенное въ немъ понятіе! Изъ двухъ сходныхъ словъ, иностранного и роднаго, лучшее есть то, которое вѣрнѣе выражаетъ понятіе. Языки голландскій и англійскій всегда были, есть и будутъ богатѣйшими для выраженія понятій, относящихся къ мореплаванію и флоту вообще; такъ же, какъ итальянскій—для терминовъ по части искусствъ, въ особенности музыки и живописи; французскій—какъ языкъ общества; нѣмецкій—какъ языкъ ученый и, въ особенности, философскій. Всѣ народы мѣняются словами и занимаютъ ихъ другъ у друга. Въ Западной Европѣ, по ея географическому положенію, нѣть предмета, который далъ бы понятіе о степи, следовательно, нѣть и слова степь, и оттого во французскій языкъ вошло русское слово *stépp*. Хорошо, когда иностранное понятіе само собою переводится русскимъ словомъ, и это слово, такъ сказать, само собою принимается: тогда нелѣпо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелинъ языка—народъ, общество: что принято ими, тѣ безусловно хорошо; грамотѣи должны безусловно покоряться ихъ рѣшенію; общество не прійметъ, напримѣръ, «побудки» вмѣсто инстинкта, и «сверкальцевъ», вмѣсто алмазовъ и брильянтовъ. Что такое алмазъ или брильянтъ,—это знаетъ всякий стекольщикъ, почти всякий мужикъ; но что такое «сверкальцы», — этого не

знаеть ни одинъ русскій человѣкъ... Нѣтъ ничего смѣшише и нелѣпѣе книжныхъ словъ, столь любимыхъ педантами. Пуристы боятся ненужнаго наводненія иностранныхъ словъ: опасеніе больше чѣмъ неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится въ языкѣ, сколько ни старайтесь ввести его въ употребленіе. Книжники старой до-Петровской Россіи употребляли слово аеръ; но оно и осталось въ книгахъ, потому что въ устахъ народа русское слово воздухъ было ничѣмъ нехуже какого-нибудь аера. Галломаны писывали: воздухъ «ондируется», «имажинація», и эти нелѣпости не удержались. Стражъ чистоты языка—не академія, не грамматика, не грамотѣи, а духъ народа...

Такъ какъ, по новости русскаго образованія, новый русскій языкъ еще не установился и вѣроятно долго не установится, то естественно, что въ него вдругъ вторглось множество иностранныхъ словъ. Это обстоятельство дѣлало необходимымъ словарь такихъ словъ. Наконецъ, такой словарь является. Мы тѣмъ болѣе рады ему, что онъ составленъ умно, съ знаніемъ дѣла, словомъ столько удовлетворителенъ, сколько отъ первого опыта и ожидать нельзя. Есть, конечно, недостатки, такъ напримѣръ, неполнота: нѣть словъ: грамматика, грамматика, — но, несмотря на то, этотъ словарь, какъ первый опытъ, все таки превосходенъ. Когда онъ выйдетъ вполнѣ, мы еще скажемъ о немъ вѣсколько словъ; а пока совѣтуемъ запасаться имъ всѣмъ и каждому.

### СТИХОТВОРЕНІЯ ЭДУАРДА ГУБЕРА. Спб. 1845.

Что нужно человѣку для того, чтобы писать стихи?—Чувство, мысли, образованность, вдохновеніе, и т. д. Вотъ что отвѣтятъ вамъ все на подобный вопросъ. По нашему мнѣнію,

всего нужнѣе — поэтическое призвание, художническій талантъ. Это главное; все другое идетъ своимъ чередомъ уже за нимъ. Правда, на одномъ талантѣ въ наше время не далеко уѣдешь; но дѣло въ томъ, что безъ таланта нельзя и двинуться, нельзя сдѣлать и шагу, и безъ него ровно ни къ чему не служить поэту ни наука, ни образованность, ни симпатія съ живыми интересами современной дѣйствительности, ни страстная натура, ни сильный характеръ; безъ таланта, все это — потерянный капиталъ. Но въ чёмъ же состоитъ талантъ? Въ непосредственой способности поэтически воспринимать чувствомъ впечатлѣнія дѣйствительности, и воспроизводить ихъ дѣятельностью фантазіи въ поэтическихъ образахъ. Замѣтите: непосредственой, т. е. такой способности, которую размышеніе и мысль вообще можетъ развивать и усиливать (а иногда заглушать и ослаблять), но которую даетъ природа, а не размышеніе, не мысль. И такъ, эта способность есть счастливый даръ природы, составляетъ свойство, качество личности, но не заслугу съ ея стороны, такъ же, какъ красота не составляетъ заслуги женщины. Чувство есть одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей поэтической натуры; безъ чувства нѣтъ ни поэта, ни поэзіи; но тѣмъ не менѣе можно имѣть чувство, даже писать недурные стихи, насквозь проникнутые чувствомъ, — и никакъ не быть поэтомъ. Вы знаете романъ Мерзлякова — «Велизарій», начинающійся стихомъ:

Малютка, шлеинъ нося, просила:

Вы знаете пѣсню Мерзлякова: «Среди долины ровныя»? Развѣ въ нихъ нѣтъ чувства. Напротивъ, очень много; а между тѣмъ, обѣ эти піесы, особенно послѣдняя, теперь больше смѣшны, нежели трогательны. То же самое можно сказать почти обо всѣхъ произведеніяхъ нашихъ старинныхъ поэтовъ особенно Карамзинской эпохи. Вспомните, или перечтите піесы: «Выйду я на рѣченъку»; «Райса»; «Пой во мракѣ тихой

роши»; «Кто могъ любить такъ страстно»; «Мы желали — и свершилось»; «Доволенъ я судьбою»; «Вѣютъ осенне вѣтры»; «Видѣлъ славный я дворецъ»; «О любезный, о мой милый»; «Безъ друга и безъ милой»; «Куда мнѣ, сердце страстно»; «Что съ тобою, ангелъ, стало»; «Стонетъ сизый голубочикъ»; «Ахъ, когда бъ я прежде знала», и пр. Всѣ онѣ въ свое время считались образцовыми произведеніями поэзіи, восхищали цѣлую эпоху; ихъ читали, пѣли, покупали книгами, списывали въ тетради; всѣ онѣ написаны людьми съ душою и сердцемъ и проникнуты чувствомъ, — а между тѣмъ, забыты теперь и смѣшать нась, какъ парики и фижмы. Что сгубило ихъ? — То, что для поэзіи мало одного чувства, а нуженъ прежде всего талантъ. Стало — быть, у авторовъ этихъ піесъ не было таланта? — Напротивъ, былъ талантъ, и еще замѣчательный; но талантъ чисто бельетристической и почти вовсе не поэтической. Выразить хорошими, по своему времени, стихами какое-нибудь ощущеніе, или чувство — еще не значить быть поэтомъ. Державинъ составляетъ исключение изъ нашихъ старинныхъ поэтовъ. Многія его піесы страшно сухи и скучны, потому что въ нихъ, кроме риторики, нѣть ничего, и потому теперь нѣть никакой возможности читать ихъ; но у него же есть много піесъ, которыхъ теперь устарѣли по языку, мѣстами не чужды риторики, словомъ, заключаютъ въ себѣ большіе недостатки; но эти піесы и теперь никакъ не смѣшны, потому что сквозь ихъ старинную форму, сквозь ихъ недостатки проблескиваютъ, какъ яркая молнія среди мрачной ночи, красоты геніальныя. У Державина есть піесы, которыхъ мѣстами и теперь можно читать съ живѣйшимъ восторгомъ, съ истиннымъ наслажденіемъ, и есть другія, которыхъ и въ цѣломъ прекрасны. Чѣмъ же дало Державину такое огромное преимущество передъ всѣми поэтами его времени и даже явившимися послѣ него, когда уже

языкъ русскій сдѣлалъ большой шагъ впередъ? — Непосредственный талантъ творчества. Поэзія Державина исполнена проблесковъ художественности, и если художественный элементъ не могъ освободить его отъ риторики и сдѣлать его поэтомъ вполнѣ, — причина этого не недостатокъ, не слабость таланта, а время въ которое Державинъ жилъ и которое не допустило развиться въ полнотѣ его громадному, великому таланту. Художественный элементъ, проглянувъ въ поэзіи Державина, надолго скрылся вовсе изъ русской поэзіи. Карамзинъ, Нелединскій-Мелецкій и особенно Дмитріевъ и Озеровъ много сдѣлали, чтобы приготовить и уладить дорогу для торжественной колесницы поэзіи; но поэтами они не были, — они были только даровитыми и блестящими бельетристами въ области поэзіи. Явился Жуковскій — и оплодотворилъ почву русской поэзіи съменами романтизма. Но тутъ заслуга состояла больше въ расширениі круга содержанія для русской поэзіи, доселѣ страдавшей скучностью содержанія и по неволѣ прибѣгавшій къ риторикѣ, нежели въ созданіи образцовъ художественности. Впрочемъ, и съ этой стороны въ лицѣ Жуковскаго русская поэзія здѣлала значительный шагъ впередъ. Его стихъ, своею отдѣлкою, далеко оставилъ за собою стихъ Державина, Дмитріева, Озерова и сверхъ-того отличался оригинальностью, силою, упругостью. Собственныйя его произведенія, особенно патріотическія (и преимущественно «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ») принадлежать больше къ области краснорѣчія, нежели къ области поэзіи и, поэтому, представляютъ собою ложные образцы поэзіи, которые никакимъ образомъ не могутъ быть даже и сравниваемы съ лучшими пѣсами Державина, хотя и далеко превосходятъ послѣднія со стороны языка и вообще технической отдѣлки. Художественные переводы Жуковскаго (особенно изъ Шиллера, каковы: «Орлеанская Дѣва», «Торжество Побѣдителей», Жалобы Цереры»)

и многие другие) относятся къ Пушкинской эпохѣ русской поэзіи. Почти въ то время, какъ Жуковскій началъ вносить романтику въ содержаніе русской поэзіи, — Батюшковъ началъ вводить ее до художественности въ формѣ. Талантъ Батюшкова гораздо меныше таланта Державина, но, мимо всакихъ сравненій, это былъ замѣчательно сильный талантъ. Благодаря услугамъ, оказаннымъ языку и стиху русскому Карамзиномъ, Дмитріевымъ, Озеровымъ и собственной наклонности къ классической поэзіи древняго міра, Батюшковъ въ художественности формъ ушелъ несоразмѣрно дальше Державина. Можно сказать, что художественный элементъ впервые выглянуль въ поэзіи Державина, а въ поэзіи Батюшкова онъ уже силился взять перевѣсь надъ бельетристикою и риторикою. Но до полной художественности Батюшкову не дано было дойдти: это было дѣло гения, а не таланта, хотя бы и большаго. Явился Пушкинъ — и русская поэзія перестала быть стремленіемъ къ поэзіи, какъ у Державина; перестала быть бельетристикою, какъ у Карамзина, Дмитріева, Озера; перестала быть исключительно поэзію одного только рода, какъ у Крылова; перестала быть одностороннимъ романтическимъ стремленіемъ къ неопределенному и туманному, какъ у Жуковскаго; перестала быть стремленіемъ къ художественности, какъ у Батюшкова; но явилась истинною, художественною, творческою поэзіею.

Вотъ этотъ-то элементъ, который такъ сильно стремился развиться въ русской поэзіи, и который въ поэзіи Пушкина сдѣлался самостоятельнымъ и, подобно свѣту проницающему кристаллъ, проникъ всѣ другіе элементы его поэзіи, — этотъ-то элементъ и есть произведеніе непосредственной способности поэтически воспринимать впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ, дѣятельностю фантазіи, въ поэтическихъ образахъ, — способности, которая составляетъ творческій та-

лантъ. Этотъ талантъ проявляется и въ концепціи цѣлаго созданія, и въ идеяхъ, и въ чувствахъ, и въ стихѣ, которые прежде всего должны быть поэтическими. Поэзія и стихотворство — двѣ вещи совершенно различныя, потому-что въ стихѣ бывають достоинства виѣшнія и внутреннія: можно поддѣлаться подъ стихъ Пушкина, но легче создать свой собственный стихъ, неуступающій его стиху, нежели усвоить его стихъ, потому что сила, энергія, упругость, гибкость, прелесть, грація, полнота, звучность, гармонія, живописность и пластичность его стиха происходить не отъ виѣшней его отдѣлки, а отъ внутренней его жизненности, которую вдохнула въ него творческая власть и сила поэта.

Вотъ мысли, на которыхъ невольно навело насть чтеніе стихотвореній г. Губера. Въ этихъ стихотвореніяхъ мы увидѣли хорошо обработанный стихъ, много чувства, еще больше неподдѣльной грусти и меланхоліи, умъ и образованность; но, признаемся, очень мало замѣтили поэтическаго таланта, чтобы не сказать,—совсѣмъ не замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, вездѣ умъ, который не столько мыслитъ, сколько рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ чувствахъ и собственныхъ мысляхъ, — и нигдѣ фантазіи, которая творить! Субъективности, какъ выраженія сильной личности, которая на все кладетъ свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своею самодѣятельностію, нѣтъ и слѣдовъ и признаковъ въ стихотвореніяхъ г. Губера; а между-тѣмъ, сколько найдется критиковъ, которые назовутъ его субъективнымъ поэтомъ, не понимая значенія этого эпитета! И не мудрено: г. Губеръ воспрѣваетъ больше свои собственные страданія, свои ощущенія, свои чувства, свою судьбу, словомъ — самого себя. Но это совсѣмъ не субъективность, хотя въ то же время совсѣмъ и не объективность: это скорѣе опоэтизированный эгоизмъ. «Могила Матери», «На Кладбищѣ», «Три Сновидѣнія», «Стрем-

леніе», «Путь Жизни», «Три Клада», «Первое Признаніе», «Печаль Вдохновенія», «Друзья», «Моя Гробница», «Перепутіе», «Душъ», «Ревность», «Молитва», «Благовѣсть», «Одиночество», «Мертвая Красавица», «Жалоба», «Въ минуту скорбныя и гиѣва и волненій», «На покой», «Могила», «Безсонница», «Когда въ годину испытанія», «Пѣсня», «Разсчетъ», «Князю Д. П. Салтыкову», «На чужой Могилѣ», «Проклятие», «Странникъ»: вотъ 29 стихотвореній (изъ числа 50-ти, составляющихъ всю книжку), въ которыхъ авторъ говоритъ о самомъ себѣ. Да какой же поэтъ больше всего не говоритъ о самомъ себѣ? Вѣдь поэтъ потому и поэтъ, что онъ всю дѣйствительность проводить чрезъ свое Я, чтобы она прошла изъ него какъ очищенное золото изъ горнilla? — Такъ; но на это нужно имѣть право. А не то толпа какъ разъ скажетъ поэту: «Вы несчастны? — а намъ какое дѣло? Мы тоже несчастны». Въ самомъ дѣлѣ, что вы, поэтъ, скажете о себѣ столь интереснаго, чтобы васъ могли съ участіемъ выслушать вотъ эти люди, которые сидятъ вмѣстѣ съ вами въ этой комнатѣ, и каждый изъ нихъ занятъ своимъ разговоромъ, своимъ интересомъ? Вотъ этотъ изъ нихъ тоже рыдалъ надъ могилою матери; этотъ оплакалъ кончину любимой женщины, составлявшей счастіе его жизни; этотъ глупо влюблялся, нелѣпо тратилъ силы души; этотъ страдалъ по непреклонной красавицѣ, хотѣлъ застрѣлиться, а кончилъ женильбою по разсчету и охладѣлъ къ женщинамъ и къ любви; этотъ обманулся въ своихъ идеалахъ, а этотъ въ расчетахъ своего самолюбія, и все они, каждый по своему, озлоблены противъ жизни, людей и самихъ себя...».

Что вы скажете имъ о себѣ такого, за что бы признали они васъ выше самихъ себя? Нѣтъ, они скажутъ вамъ:

Какое дѣло намъ, страдаль ты или нѣтъ!

А не то, отвѣтятъ вамъ вашими же стихами:

Какое дѣло намъ до суетныхъ желаній  
 Любви восторженной твоей,  
 Или до жалкихъ ранъ, до мелочныхъ страданій  
 Твоихъ безсмысленныхъ страстей?

Да прогрематъ они больному поколѣю  
 Глаголы гнѣва и стыда:  
 Да соберутъ они бездѣйствіемъ и лѣни  
 Изнеможенныхъ стада!  
 Въ годину тажкую, въ минуту близкой браны  
 Мы ждемъ возванія къ мечу;  
 Но вы, щедущіе пѣвцы своихъ страданій,  
 Вы дѣти, вамъ не по плечу!  
 Что общаго у насъ? Намъ ваши пѣсни чужды,  
 Намъ ваши жалобы смѣшины,  
 Вы плачете шутя, а намъ другія нужды,  
 Другія слезы намъ даны.

Мы не хотимъ ни слезъ, ни вздоховъ воціющихъ,  
 Долой, пустые воркуны!  
 Вы не нарушите святой, судебъ грядущихъ  
 Глубоко-полной тишины.

Это будетъ жостко съ ихъ стороны; но не забудьте, что, подобно вамъ, они люди озлобленные, и о кладбищѣ и смерти думаютъ чаще, нежели о счастіи, любви и другихъ обманахъ сердца и фантазіи...

Поэты тогда только имѣеть право говорить толпѣ о себѣ, когда его звуки покоряютъ ее невѣдомою силою, знакомятъ ее съ иными страданіями, съ инымъ блаженствомъ, нежели какое знала она, и даже ея собственное, знакомое ей страданіе и блаженство передаютъ ей въ новомъ, облагороженнѣи и очищенномъ видѣ. Но для этого надо стоять цѣлою головою выше этой толпы, чтобы она видѣла васъ не наравнѣ съ собою... Таковы бываютъ истинно субъективные поэты... Опоэтизированный эгоизмъ, вѣчно роющійся въ пустотѣ своего скучнаго существованія и выносящей оттуда одни стоны, хотя бы и искренніе, теперь никому не новость, и всѣмъ кажется пошлымъ.

Для повѣрки нашего сужденія о поэзіи г. Губера прочтите хоть піесы «Печаль Вдохновенія», «Разсчетъ» и «Проклятие — не одна ли и та же это пѣсня? А одно и то же, воля ваша, наскучаетъ... Въ нихъ есть и хороший стихъ (который, впрочемъ, такъ обыкновененъ въ наше время), есть и чувство, если хотите, даже много чувства, и мы вѣримъ искренности поэта, вѣримъ его страданію; но гдѣ же поэзія? гдѣ же фантазія? гдѣ созданные ею образы?

Объективныя піесы г. Губера всего лучше подтверждаютъ справедливость нашего сужденія. Вотъ одна изъ нихъ.

### Волга.

Какъ младенецъ боязлива,  
Одинока и дика,  
То тиха, то говорлива,  
Просыпается рѣка  
Оглинулась и выходитъ, —  
Даль чужая передъ ней:  
Бура рѣчи съ ней заводить,  
Вѣтеръ пѣсни шепчетъ ей.  
Вотъ она волной стыдливой,  
Чуть колыша въ первый разъ,  
Какъ ребенокъ боязливый  
Выступаетъ на показъ.  
Вотъ пошла и зашумѣла —  
Ей попытка удалась,  
Вотъ волнами закипѣла  
И потокомъ разлилась.  
Необъятная, какъ море,  
Широка и глубока,  
Разгулялась на просторѣ  
Наша царская рѣка.  
Передъ ней края чужбины —  
Но она не измѣнить;  
Никогда чужой долины  
Свѣжий токъ не напоить.  
За предѣлъ родной державы  
Наша Волга не пойдетъ;

Свѣтлый ионъ русской славы  
Чуждыхъ странъ не обойметъ.

Видите ли: какъ скоро попробовалъ поэтъ выйтти изъ самаго себя и посмотрѣть на міръ и на жизнь, — въ его стихахъ не стало и чувства, а явились однѣ фразы, да и тѣ довольно бѣдныя значеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, неужели это мысль, а не фраза, что Волга течетъ тамъ, гдѣ она течеть, а не тамъ, гдѣ она не течетъ?...

У г. Губера нѣсколько піесъ посвящены поэту, т. е. характеристикѣ поэта. Онъ смотрѣть на него, правда, какъ на человѣка очень хорошаго и почтеннаго, но только поэта мы въ немъ все-таки не видимъ. Намъ кажется, что значеніе поэта не довольно вѣрно, ясно и отчетливо понятно г. Губеромъ...

Нѣтъ, въ наше время трудно быть поэтомъ, — такъ же трудно, какъ легко писать стихи!...

#### СТИХОТВОРЕНІЕ ПЕТРА ШТАВЕРА. Спб. 1845.

Г. Петръ Штаверъ — извините нашу нескромность — долженъ быть молодой, даже очень молодой человѣкъ — можетъ-быть, не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрились мы чрезъ впечатлѣніе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобы автору было никакъ не больше пятнадцати лѣтъ, потому что, въ такомъ случаѣ, мы имѣли бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нечто въ родѣ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленія къ мысли, — а это не шуточное дѣло! Но что жь тутъ до лѣтъ, какая нужда въ метрикѣ автора, когда его стихотворенія сами за себя говорятъ?... Метрика иногда много значитъ не въ однихъ вопросахъ о званії и наслѣдствї, но и

въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатилѣтній малой, наметавшійся въ лавкѣ, ловко и скоро сводитъ счеты, складываетъ и вычитаетъ, множить и дѣлить, принимаетъ и сдаетъ,— тутъ нѣтъ ничего удивительного, нѣтъ рѣчи ни о геніи, ни о талантѣ: тутъ только способность, развитая навыкомъ и рутиною. Но когда семилѣтній ребенокъ, который имѣеть полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по пальцамъ и простымъ соображеніемъ умѣеть разсчесть сумму, наприм., во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дѣля, тогда, если вы и не увидите въ немъ генія математики, то все таки подивитесь въ немъ необыкновенной природной способности. Выйдетъ ли со временемъ изъ этого мальчика замѣчательный математикъ, или ничего изъ него не выйдетъ—это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ дѣтей, ничего необѣщающихъ, выходятъ гениальные люди, а изъ гениальныхъ дѣтей — дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Извѣстно, что, имѣя болѣе или менѣе вѣрный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдѣлаться не только сноснымъ музыкантомъ, но даже и сочинять кой-какія фантазійки: обыкновенно до этого доходятъ уже въ лѣта возмужалости, при охотѣ къ музыкѣ, при знакомствѣ со множествомъ музыкальныхъ произведеній. Но это еще не значитъ быть ни музыкантомъ-артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилѣтнее, или еще болѣе малолѣтное дитя, обнаруживаетъ способность запомнить и вѣрно пропѣть всякую музыкальную піесу, какую удастся ему услышать: въ томъ дитяти, конечно, еще нельзя навѣрное увидѣть будущаго Моцарта, или будущаго Листа, но по крайней мѣрѣ на его счетъ простительно ошибиться въ такихъ неумѣренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значеніи метрики въ отношеніи къ поэзіи. Умѣніе писать стихи —

конечно еще не талантъ, но все же способность; этою способностью владѣть многое-множество дѣтей, и она-то заставляетъ многихъ изъ нихъ видѣть въ себѣ талантъ поэтическій. И вотъ, когда такой, владѣющій способностью стихотворства человѣкъ поначитается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то, въ известныя лѣта, ему ничего не стбить перевѣдывать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другие не подозрѣваютъ въ немъ вороны въ павлиныхъ перьяхъ. Въ наше время, чувство и мысли — ни-почемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имѣть Пушкина и Лермонтова, чтобы владѣть неизчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Возьмите любой стихъ изъ того или другаго — и вотъ вамъ тѣма, на которую потянутся у васъ нескончаемыя варьаціи... Но вариюровать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можетъ только человѣкъ возмужалый, развившійся; безбородый же юноша, тѣмъ болѣе отрокъ, никогда не съумѣеть не фальшивя пѣть съ чужаго голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли онъ непремѣнно исказитъ, изуродуетъ. И потому, если въ стихахъ слишкомъ молодаго человѣка замѣтно что-то въ родѣ оригинальности, чувства и мысли, — явный знакъ, что у него есть талантъ. Даже его неумѣніе сладить съ непокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ, — не только не портить дѣла, но еще придаетъ ему ту прелестъ, которою такъ исполненъ несвязный лепетъ младенца.

Намъ показалось (и мы бы были рады, еслибы послѣдствія доказали что мы не ошиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворенія г. Штавера носятъ на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремся опредѣлять степень этого дарованія, ни предсказывать границы его развитія, потому что неопределенность составляетъ главный характеръ слишкомъ

юныхъ дарованій. Они могутъ развиться—и могутъ изчезнуть, не давъ цвѣта. Въ нихъ не должно видѣть что-то непремѣнно великое въ будущемъ. Стихотворенія Пушкина-ребенка были довольно плохи, и по нимъ трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. И такъ, говоря о стихотвореніяхъ г. Штавера, ограничимся настоящимъ, не забѣгая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можетъ быть и можетъ не быть.

Всѣ стихотворенія г. Штавера довольно слабы, и если мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стояло бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человѣка поражаетъ слабостью таланта, или просто посредственностью, которая хуже бездарности, — то самое въ опытахъ слишкомъ молодаго человѣка можетъ быть признакомъ таланта неподдельного, но еще неовладѣвшаго собственною силою. Намъ кажется, что нельзя не видѣть этого, напримѣръ, вотъ хоть въ пись— «На Кладбищѣ». Въ этомъ стихотвореніи есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бѣденъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вѣеть чѣмъ-то милѣтскимъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняетъ  
Мертвцевъ безстрастныхъ ледъ,—

даже эти стихи, возбуждая въ читатель улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благосклонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книжкѣ г. Штавера надо признать «Желаніе».

Я не хочу, чтобъ всѣ меня любили,  
Я не хочу вездѣ встречать друзей,  
Хочу, чтобы враги меня язвили  
Безсильной злобой своей!

Пусть возстаютъ! Я каждый шагъ побѣдный  
Готовъ своею кровью залить!

Пусть упаду измученный и блѣдный,  
Но только прежде побѣдить!

Пусть за моей побѣдной волею  
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ:  
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—  
И хоръ завистниковъ затихъ!

Но не для славы жажду я боренья,  
А потому, что для моей души  
Потребны страсти, бури и волненья,  
Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилѣ сталь сильнѣе закалится,  
Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтѣтъ;  
Вода чиста, доколь она струится,  
Въ покой — тиной заастетъ.

Крѣпись, душа! Познай свое значенье,  
Познай себя, познай свою всю мочь,  
И ты поймешь, какъ сладостно мученье,  
Когда есть сила превозмочь!

И скажешь ты: „за тѣмъ даны страданья,  
Чтобъ согрѣвать остывшія сердца,  
И назначенье жизни не мечтанье,  
А дѣятельность мудреца.

„Мечта,—ты скажешь,—дѣтская забава,  
Занятье мужа истинаго — трудъ!  
„Не за мечты дается въ мірѣ слава,  
Ее страданьями берутъ!“

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ человѣкомъ,— оно было бы плохо въ эстетическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразѣрствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія, въ нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа, еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности,—

оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработанномъ, невыдержанномъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которымъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которою оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это—дѣтская мысль.

Вотъ что сказали бы мы г. Штаверу, если бы онъ захотѣлъ настъ послушать:

Жаль, любезный поэтъ, что вы поторопились издать въ свѣтъ книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко могла бы обойдтись, и не подождали болѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній, которыя для всѣхъ были бы интереснѣе. Но дѣло сдѣлано, и да проститъ васъ за него Богъ! Но впередъ не торопитесь ни писать, ни печататься, особенно—печататься. Если у васъ есть талантъ, и призваніе ваше велико въ будущемъ—успѣхете написаться и напечататься; если же это окажется не болѣе какъ, «кипѣнiemъ крови и избыткомъ силъ»,—ваша преждевременная книжка будетъ вамъ досадна, какъ грѣхъ юности, какъ ошибка самолюбія. Но намъ пріятнѣе думать, что у васъ есть сѣмья таланта, которое со временемъ можетъ выrosti и разростись. Приготовьте себя къ этому, и не погубите сѣмени. Въ наше время, поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что наше время отъ каждого—следовательно, и отъ поэта,—требуетъ, чтобы онъ прежде всего и больше всего былъ—человѣкомъ. Не заботьтесь же о себѣ какъ о поэте, и воспитывайте въ себѣ человѣка. Не говорите, что вы не хотите, чтобы васъ всѣ любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей, и жаждете имѣть враговъ: это чувство ложное и парадное, которое извиняется только его юностью. Не покупайте любви людей измѣною истинѣ, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дорожить ею или презирать ее: любовь близкихъ, законно и разумно приобрѣтенная—благо, которое выше всѣхъ благъ. Вѣрьте, что люди совсѣмъ

не такъ хороши, и совсѣмъ не такъ дурны, какъ дѣлаеть ихъ фантазія поэтовъ, которые то любятъ въ нихъ восхищаться собственою своею особою, то позволяютъ себѣ вымешать на нихъ свои недостатки, или раны своего самолюбія, клеймя ихъ презрѣніемъ. Вообще, люди, по своей натурѣ, болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь — дѣлаютъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона, только трудно подсмотрѣть и открыть ее. Послѣднее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принаслѣжитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же, какъ ему же принадлежитъ по праву пресловѣдованіе ложныхъ и неразумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди — братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято признаніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей! Имѣть враговъ, источникъ этого желанія заключается въ эгоизмѣ и самолюбивой увѣренности быть лучше и выше всѣхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породить высокихъ поэтическихъ созданій! Побѣдить врага пріятно: обѣ этомъ ни слова, — однакожь врага, котораго мы не вызывали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнѣе сдѣлать себѣ врага другомъ: это лучшая изъ побѣдъ! Человѣкъ имѣетъ право ненавидѣть въ другомъ ложь и порокъ, но человѣкъ не имѣетъ права ненавидѣть человѣка, подъ опасеніемъ ужаснѣйшаго изъ наказаній — перестать быть человѣкомъ. Имѣть враговъ своей мысли, своему убѣжденію и бороться съ ними до послѣднихъ силъ, — въ этомъ есть свое величіе, своя прикрасная сторона; но ничего иѣть хуже, какъ имѣть личныхъ враговъ: этого никто не пожелаетъ себѣ, и высочайшее несча-

стіе для человѣка — носить въ сердцѣ свое мъ личную вражду къ человѣку: это болѣзнь, манія, почти сумашествіе, отъ котораго надо лѣчиться. Бѣдить на побѣдной колесницѣ, конечно, пріятно; но только тогда, когда, вмѣстѣ съ вами, торжествуетъ правое дѣло; иначе вы — Марій или Силла, которые купались въ крови безсильныхъ враговъ... Что жь тутъ хорошаго? Но вы, любезный поэтъ, говорите въ свое оправданіе:

Но не для славы жажду я боренья.  
А потому, что для моей души  
Потребны страсти, бури и волненья,  
Чтобы не замереть въ тиши,  
Въ горнилѣ стала сильнѣе закаляться,  
Въ страданьяхъ — грудь всю силу обрѣтать;  
Вода чиста, довольна она струится,  
Въ покоѣ — тиной заастаетъ!

Прекрасно! но что бы вы сказали о человѣкѣ, который для того, чтобы его члены и мускулы не ослабли въ бездѣйствіи и неподвижности, пошелъ бы по улицѣ, да и ну колотить встрѣчнаго и поперечнаго? Не правда ли, это смѣшио?... Нѣть, любезный поэтъ, не заботьтесь о врагахъ и страданіяхъ; напротивъ, употребляйте всѣ силы избѣгать ихъ, потому что враги и страданья являются сами — ихъ никто не избѣгалъ. Обратите прежде всего вниманіе на самого себя, и постараитесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться съ самимъ собою, чтобы со временемъ не найти въ себѣ собственнаго своего врага, — а это самый опасный, самый жестокій изъ враговъ! Не льстите себѣ и будьте съ собою строги, чтобы найти въ себѣ друга разумнаго и честнаго, а не предателя коварнаго. Тогда одержите вы самую великую и блестящую побѣду надъ злѣйшимъ изъ враговъ своихъ: это побѣда! Она будетъ стоять много труда и большой борьбы, которая не дастъ вамъ «замереть въ тиши»... Но это еще не все, чтобы спастись отъ душев-

наго застоя, отъ нравственной апатіи: передъ вами жизнь и міръ — полюбите ихъ и наслаждайтесь ими! Для этого также важны трудъ и борьба. Жизнь, природа, человѣкъ, человѣчество, наука, искусство — какое обширное, великое, безконечное поприще для борьбы благородной, для упражненія юныхъ и свѣжихъ силъ! Зачѣмъ говорить:

Пусть за моей побѣдной колесницей

Всегда сѣдѣть толпа враговъ моихъ.

Я понесусь на небо вольной птицей, —

И хоръ завистниковъ затихъ?..

Въ небѣ, т. е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми — «въ тѣснотѣ люди живутъ»... Только гордость, основанная на самолюбіи и эгоизмѣ — одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ, — только гордость гонитъ человѣка изъ общества ближнихъ его, и стремить его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находитъ жалкое наслажденіе видѣть подъ собою «хоръ завистниковъ». Сказать: я имѣю завистниковъ, — не значитъ ли это: какой я замѣчательный человѣкъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ, — не значитъ ли это обнаружить то мелкое и пошлое чувство, которое свойственно только маленьkimъ великимъ людямъ — этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нѣтъ, истинно хорошему, дѣльному человѣку, горько имѣть завистниковъ, для него это — несчастіе. Онъ хочетъ имѣть таланты и достоинства, хочетъ много знать, много смѣть и много мочь, но не для потѣхи своего самолюбія, не для жалкаго удовольствія пріобрѣсть враговъ и завистниковъ, а для разумнаго и законнаго наслажденія жизнью, потому что чѣмъ болѣе онъ имѣеть, знаетъ, смѣеть и можетъ, — тѣмъ болѣе онъ живетъ. Его никогда не порадуетъ, но всегда огорчить ничтожество окружающихъ его людей, — и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имѣеть, поднять

ихъ еще выше самого себя. Благороднаа душа, исполненная великодушныхъ стремленій, не терпитъ вокругъ себя ни рабовъ, ни угодниковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тѣсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ съ нею узами симпатіи ко всему разумному и человѣческому. Для нея жизнь— богатая и роскошная трапеза, которую она хотѣла бы разделить со всѣми, чтобы тѣмъ болѣе самой насладиться ею... Да, любезный поэтъ, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ— оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимъ поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое— просто и скромно; оно цѣломудренно стыдится своего достоинства, какъ красота цѣломудренно стыдится наготы своей и оттого дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ,— какъ внутренно-драгоценное само по себѣ, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто щеголяетъ въ немъ, удивленіе и зависть толпы. Человѣкъ сильный, могущественный, огромный — еще не всегда въ то же время и великий человѣкъ. Нѣть спора, что какъ воитель, Наполеонъ не имѣть себѣ соперниковъ въ исторіи человѣчества; но въ глазахъ истинно-мудрыхъ, простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ въ тысячу разъ болѣе всѣхъ возможныхъ Наполеоновъ имѣть право на имя великаго человѣка. Только невѣжественная толпа, тупая чернь и жалкое суемудріе преклоняютъ колѣни и обожествляютъ гнетущую ее наглую силу, отражающуюся на безсовѣстности, обманѣ, вѣроломствѣ и злодѣйствѣ... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блеститъ; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона бельведерскаго и раскрашенную восковую куклу: онъ удивится куклѣ, не обративъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей и невѣждѣ между такъ называе-

мыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Бойтесь, любезный поэтъ, попасть въ число этихъ людей, — и чтобы избѣжать такого несчастія, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутаго, ложнаго, прозрачнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселіе — грусти, наслажденіе — страданію. Сносите все горькое мужественно и благородно, когда горе постыдить васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которые бояться унизить свое достоинство глубокихъ и высшихъ натуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хныкать и предавшись веселому влечению минуты. Смотрите на жизнь, какъ на наслажденіе, и умѣйте, наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастія и упованія, и какъ жалки слѣпые романтические клеветники жизни, которые все смотрятъ куда-то туда, сами не зная куда... И пусть руководять вами на пути жизни любовь, которая все прощаетъ, все очищаетъ, все облагороживаетъ и освящаетъ, — и смѣлый, свободный разумъ, который не боится мукъ сомнія и, многимъ рискуя, много завоевываетъ для счастія... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистниковъ, и что безъ борьбы съ ними, вамъ будетъ чѣмъ наполнить свою жизнь, не дать очерствѣть чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, пѣсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, плодородны; а если и не будете поэтомъ — чѣмъ же! вы будете человѣкомъ, а это, право, стоять всякаго поэта...

**ФИЗІОЛОГІЯ ПЕТЕРБУРГА, составленна язъ тлудовъ русскихъ литераторовъ, подъ редакціею Н. Некрасова, (Съ политипажами). Часть II. Спб. 1845.**

Лѣто—всегда глухая пора въ русской литературѣ. Тутъ, обыкновенно, даже и журналы какъ-будто устаютъ, истощаются, дѣлаются вялыми, даже тонѣютъ, за исключеніемъ развѣ «Отечественныхъ Записокъ», на здоровую толстоту которыхъ не дѣйствуютъ и лѣтніе жары. Но оригиналныхъ русскихъ повѣстей уже не ищите въ эту пору ни въ одномъ журналѣ. Если найдется хоть одна какая-нибудь плохонькая, то и ею журналистъ запасся еще съ зими. Наши романисты и нувеллисты вообще не заслуживаютъ на малѣйшаго упрека въ излишней дѣятельности, или многописаніи. Мало пишутъ они зимию и осенью, почти не пишутъ и весною, какова бы ни была весна въ Петербургѣ, хотя бы хуже самой дурной осени; но лѣтомъ — пусть оно будетъ хуже самой дурной зими, они ни за что въ свѣтѣ не станутъ писать. Да и когда?—Они на дачѣ, они наслаждаются прелестями петербургскаго лѣта, гуляютъ по лужамъ, въ которыхъ отражается небо, тоже похожее на лужу; или съ горя играютъ въ преферансъ. Сверхъ-того, русскій человѣкъ, какъ извѣстно, тяжель на подъемъ. Для того, чтобы приняться за работу, ему нужно гораздо больше времени, нежели кончить ее. Русскому литератору никогда не понять досужести французскихъ писателей, которые успѣваютъ бывать на балахъ, на гуляньяхъ, въ театрахъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, присутствовать въ засѣданіяхъ палаты депутатовъ и, при этомъ, иногда управлять министерствомъ, — и въ то же время издавать многотомныя исторіи. Французскій литераторъ ѿдетъ на лѣто изъ Парижа въ деревню, отдохнуть, полѣниться, повеселиться; а въ Парижъ изъ деревни привозить съ собою нѣсколько рукописей, издание ко-

торыхъ по объему, иногда можетъ сравняться съ полнымъ собраниемъ сочиненій самаго дѣятельнѣйшаго русскаго литератора. Какъ они это дѣлаютъ — русскій человѣкъ — я этого рѣшительно не понимаю, и никогда не пойму. Говорить будто бы это происходитъ оттого, что трудъ и занятіе составляютъ для Европейца такое же необходимое условіе жизни, какъ воздухъ, — нѣтъ, больше, чѣмъ воздухъ — какъ лѣни и бездѣлѣствіе для русскаго человѣка. Говорятъ, будто бы для Европейца и самый отдыхъ есть только нѣсколько ослабленная дѣятельность, потому что для него быть вовсе безъ занятія, безъ дѣла, безъ труда, значитъ — не жить, и будто бы ужъ онъ такъ пріученъ съ малолѣтства... Не знаемъ, правда ли это. Должно быть, не правда! Славны бубны за горами: не такъ ли, читатель? Какъ русскій человѣкъ, вы, вѣрио, махнете рукою, повторивъ эту чудесную поговорку, благодаря которой вамъ можно ничего не дѣлать, живя на бѣломъ свѣтѣ? Благодѣтельная поговорка! вѣчная память тому, кто изобрѣлъ ее: съ нею жизнь такъ проста, ни къ чему не обязываетъ — ни къ труду, ни къ самосовершенствованію...

Но нынѣшній годъ, какъ нарочно Петербургъ посѣтило такое лѣто, о какомъ онъ и мечтать не смѣлъ, помня, что на святой недѣли, которая была во второй половинѣ апрѣля, онъѣздили на санахъ... Сухое и теплое, почти жаркое лѣто, каково нынѣшнее, должно бы быть порою совершенной засухи для литературной дѣятельности. Кого теперь засадишь за дѣло? И чѣмъ бы можно было засадить? — развѣ голодомъ! Пора теперь глухая: у книгопродавцевъ, какъ говорятъ они, лѣтомъ ни копейки, потому что русская публика лѣтомъ книгъ не покупаетъ, да и въ городѣ никого теперь не найдешь — все и все на дачахъ. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонутъ, а работаютъ, для нихъ нѣтъ капикуль, какъ для полицейскихъ и извощиковъ нѣтъ праздниковъ.

Поэтому, въ нынѣшнее лѣто, нечего бы и ожидать появленія че-го-нибудь похожаго на спосную книгу. Но вышло иначе: весною появились — «Тарапасъ», «Вчера и Сегодня» и первая часть «Физіологии Петербурга», въ іюнѣ, среди лѣта, началось издашіе романовъ Валтеръ Скотта «Квентиномъ Дорвардомъ», а теперь вышла вторая часть «Физіологии Петербурга». Но все это совсѣмъ не весеннія и не лѣтнія произведенія, а запоздалыя зимнія. Извѣстное дѣло: на Руси все дѣлается безъ торопливости и съ проволочкою. Объ иной тяжѣ каждый день говорятъ: завтра рѣшился; а глядишь это «завтра» тянется лѣтъ пятьдесятъ, иногда и больше. Такъ точно, обѣ иной книгѣ полгода твердятъ: на дняхъ выйдетъ; самъ издатель крѣпко убѣждень въ этомъ, а между тѣмъ, книга обѣщенная въ январь, глядишь, появится въ іюль, и притомъ не всегда того же года. Какъ и отчего это дѣлается — Богъ знаетъ!... Да то ли еще дѣлывалось у насъ! Бывало, журналистъ объявляетъ къ новому году подписку на свой журналъ, съ обѣщаніемъ «въ скорѣйшемъ времени» додать пять книжекъ за предпро-шлый и семь книжекъ за прошлый годъ, — для чего, гово-рить онъ, — приняты имъ самыя дѣятельныя мѣры; а гля-дишь: въ февральской книжкѣ, напримѣръ, 1844 года, явля-ются моды и политическія извѣстія за іюль 1842 года... Те-перь въ журналистицѣ снова воскресаютъ милыя, пастораль-ные и наивные обычаи старины. Недавно одинъ плохой жур-налъ, издававшійся года три, и только въ концѣ третьяго года догадавшійся о себѣ, что онъ никуда не годится, — принялъ благое намѣреніе исправиться на 1845 годъ, т. е. сдѣлаться умнымъ, дѣльнымъ и интереснымъ. Пышная программа, съ обѣщаніемъ коренной реформы, вышла въ свѣтъ за тѣмъ, чтобы журналъ могъ въ четвертый разъ поймать въ силки «почтен-нѣйшую» публику. И въ самомъ дѣлѣ, первыя три книжки были и пogramотнѣе и, будто, подѣльнѣе, но съ четвертой дѣло

пошло прежнимъ порядкомъ, а реформы нѣть и слѣдовъ, такъ же, какъ и слѣдовъ таланта, или смысла... Пятая же книжка отличалась одною изъ тѣхъ старыхъ новостей, къ которымъ, впрочемъ, этотъ журналъ прежде не прибѣгалъ; но, видно, ему пришлось плохо, потому что «почтеннѣйшая» то не допустила въ четвертый разъ поймать себя, вполнѣ удовлетворившись тремя первыми разами; на пятой книжкѣ выставлены числа V и VI, въ знакъ того, что эту книжку, которая, несмотря на чудовищную толстоту бумаги, вышла какъ то тоньше первыхъ четырехъ, должно считать за двѣ книжки... Обертка извѣщаетъ, что такимъ же точно образомъ выйдетъ и шестая книжка, которую подписчики этого журнала (подѣломъ имъ пусть не подписываются впередъ на плохіе журналы!) волею или неволею, а должны принять за седьмую и восьмую... Все это дѣлается для того, чтобы не отставать отъ времени, которое, какъ извѣстно имѣетъ преглупую привычку идти да идти себѣ, не дожидаясь остальныхъ книжекъ плохихъ журналовъ... По истинѣ, легкій, дешевый и выгодный способъ не только не отставать отъ времени, но и опережать его!...

И такъ, вторая часть «Физіологіи Петербурга» должна одна составить собою всю собственно русскую лѣтнюю литературу нынѣшняго года... нѣть—чуть было не забыли! — нынѣшнее лѣто необыкновенно богато книгами бельетрическаго содержанія: недавно вышелъ третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Книга, какъ сами можете видѣть изъ ея названія, столько же важная, сколько и толстая: изъ трудовъ цѣлой сотни литераторовъ, хотя бы и русскихъ, можно выбрать много хорошаго, много такого, что можетъ эту книгу сдѣлать представительницей русской литературы. Итакъ, еще разъ, да здравствуетъ лѣто 1845 года! Сухое, теплое, бездождливое, оно оставило насъ вовсе безъ грибовъ, но за то надѣлило книгами.

О «Сто Русскихъ Литераторахъ» мы говорили (Ч. IX стр. 439), зайдемся же второй частью «Физиологии Петербурга»

Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ, или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нечто въ родѣ повѣстей и очерковъ, а иногда и взглядовъ, изложенныхыхъ въ формѣ журнальной статьи, мѣстами серьёзныхъ, но всегда оттѣненныхъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей — познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и, можетъ-быть, еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль? — На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣтить утвердительно. Не должно забывать, что «Физиология Петербурга» первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучшій изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались, — потому едва ли не лучшій, что, во первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и неѣсть статей плохихъ, а во вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собою нечто цѣлое, несмотря на то, что они писаны разными лицами. Первая часть «Физиологии Петербурга» имѣла большой успѣхъ. И не удивительно: статьи — «Дворникъ» и «Петербургскіе Углы» могли бы украсить собою всякое изданіе; статья — «Петербургскіе Шарманщики» не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи «Петербургъ и Москва», ее прочли всѣ, многіе оцѣнили выше, нежели чего она стоить въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его: это, по нашему мнѣнію, успѣхъ. Замѣчательнѣе всего отзывы журналовъ о «Физиологии Петербурга». Одна газета выписала изъ статьи «Петербургъ и Москва» пять строкъ, заключающихъ въ себѣ мысль одного великаго нѣмец-

каго философа, назвала эту мысль вздорною и неспособою, а вмѣстѣ съ нею и всю статью. Такимъ же точно образомъ выписала она нѣсколько строкъ изъ «Петербургскихъ Угловъ» и коротко, безъ изложенія содержанія статьи, безъ доказательствъ, объявила, что статья плоха, исполнена сальностей, грязи и дурнаго тона. «Дворникъ» — этотъ превосходный физиологически-юмористической очеркъ, оскорбилъ въ газетѣ аристократическое чувство и заставилъ ее подивиться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворникахъ! Но никакой истинный аристократъ не презираетъ, въ искусствѣ и литературѣ, изображенія людей низшихъ сословій и вообще такъ называемой низкой природы, — чему доказательствомъ картины галлереи вельможъ, наполненныя, между прочимъ, и картинами фламандской школы. Ужь нечего и говорить о томъ, что люди низшихъ сословій прежде всего — люди же, а не животныя, наши братья по природѣ и о Христѣ, — и презрѣніе къ нимъ, особенно изъявляемое печатно, очень неумѣстно. Хорошъ также отзывъ одного журнала о первой части «Физиологии Петербурга». Хотѣлось ему обнаружить къ ней равнодушное презрѣніе, да не удалось выдержать притворнаго тона: изъ каждого слова такъ и видно, что *bon homme* сердится. Хотѣлось ему также и съострить *a la* баронъ Брамбеусъ, да вмѣсто остроты у него вышло какъ-то ложное обвиненіе въ преступлениі: натура-то сказалась! Въ предисловіи къ первой части «Физиологии Петербурга», между прочимъ, сказано, что у насъ, въ литературѣ, болѣе хорошихъ произведеній, означеніи которыхъ печатью художественности, нежели хорошихъ бельетристическихъ произведеній,—болѣе геніальныхъ талантовъ (какъ, впрочемъ, ни мало ихъ), нежели обыкновенныхъ талантовъ, которыхъ дѣятельность удовлетворяла бы насущнымъ потребностямъ читающей публики. Журналъ, о которомъ мы говоримъ, выдумалъ, будто-бы въ предисловіи сказано, что

у насъ все таланты, а нѣтъ посредственности, и что «Физиология Петербурга» рѣшилась сдѣлаться сборникомъ посредственныхъ статей. Изъ этого видно, что бѣдный журналъ не здоровъ и страждеть разстройствомъ печени. И не мудрено: его давно ужь не читаютъ и, чтобы привлечь къ себѣ подписчиковъ, онъ рѣшился изъ одной своей книжки дѣлать иногда двѣ книжки, выставляя на оберткѣ по двѣ цифры. Слогъ остроумной статьи о «Физиологии Петербурга» напоминаетъ свою несвязанностью, сухостью и безталантностью статью того же журнала о поэмѣ г. Тургенева — «Разговоръ», где это прекрасное произведение наповалъ разругано за то, что оно написано не въ славянофильскомъ духѣ. — а слогъ статьи о «Разговорѣ» напоминаетъ собою слогъ брошюроки о «Мертвыхъ Душахъ», которая, года три назадъ, наемѣшила весь читающій міръ нелѣпостю мыслей и бездарностю изложенія. Разумѣется, за подобныя статьи издателю «Физиологии Петербурга» остается только благодарить и газету и журналъ, потому что, прочитавъ такую статью, опытный читатель сейчасъ пойметъ, въ чемъ дѣло, и захочетъ прочесть книгу, о которой намѣреваются писать хладнокровно, а пишутъ съ сердцемъ, и скажетъ: *Tu te saches. Jupiter, d' ne tu as tort.*

Вторая часть «Физиологии Петербурга» содержитъ въ себѣ статьи: «Александрынскій театръ», «Чиновникъ», «Омнибусъ», «Петербургская Литература», «Лоттерейный Балъ», «Петербургскій Фельетонистъ». Самая лучшая изъ нихъ — «Чиновникъ»; самая слабая — «Петербургская Литература». Послѣдняя могла бы незамѣтно пройти въ журналѣ, даже имѣть въ немъ какое-нибудь значеніе; но въ книгѣ она какъ-то неумѣстна. «Чиновникъ» — піеса въ стихахъ, г. Некрасова, есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своею вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соответствующей ей формѣ, такъ что никакой,

самый предпримчивый критикъ, не зацѣпится ни за одну черту, которую могъ бы онъ похулить. Піеса эта написана въ юмористическомъ духѣ и вѣрно воспроизводить одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга—чиновника:

Какъ человѣкъ разумной средины,  
Онъ многаго въ сей жизни не желалъ:  
Передъ обѣдомъ пилъ настойку изъ рябины  
И чихирѣмъ обѣдъ свой запивалъ.  
У Кинчерфа закладывалъ одежду,  
И съ давнихъ поръ (простительная страсть!)  
Питалъ въ душѣ далекую надежду  
Въ коллежскіе ассессоры попасть,—  
За тѣмъ, что былъ онъ крови не боярской  
И не хотѣлъ, чтобы въ жизни кто-нибудь  
Дѣтей его породой семинарской  
Осмѣялся надменно попрекнуть.

Сиротъ и вдѣвъ онъ не былъ благодѣтель,  
Но пищимъ иногда давалъ гроши,  
И называлъ святую добродѣтель  
Первѣйшимъ украшеніемъ души,  
Объ ней твердилъ въ семействѣ безпрерывно,  
Но не во всемъ ей сдѣдовалъ подчасъ,  
И извинялъ грѣшки свои наивно  
Женой, дѣтьми, какъ многіе изъ насы.  
По службѣ велъ дѣла свои примѣрно  
И не бывалъ за взятки подъ судомъ,  
Но (на жену, какъ волится,) въ Галерной  
Купилъ давно пяти-этажный домъ.  
И радовалъ родительскую душу  
Сей прочный домъ—спокойствія залогъ.  
И на Ѹому, Ванюшу и Феклушу  
Безъ сладкихъ слезъ онъ посмотрѣть не могъ...

Въ недѣлю разъ, пресытившись игрой,  
Въ театръ Александрійскій ради скучи,  
Являлся нашъ почтеннѣйший герой.  
Удвоенной цѣной на бенефисы  
Отечественный геній поощрялъ,  
Но званіе актера и актрисы

Постыдныть по преданію считалъ.  
 Любилъ пальбу, кровавые сюжеты,  
 Гдѣ при концѣ карается порокъ...  
 И слушая скромныя куплеты,  
 Толкалъ жену тихонько подъ бочокъ.  
 Любиль шѣпнуть въ антрактѣ толстой дамѣ—  
 (Всему научить хитрый Петербургъ) —  
 Что страсти и движенья нужны въ драмѣ  
 И что Шекспиръ—великій драматургъ,—  
 Но, впрочемъ, не былъ твердо въ томъ увѣренъ  
 Черезъ часъ другое подтверждалъ:  
 По службѣ былъ всегда благонамѣренъ,  
 Онъ проче другимъ предоставлялъ.  
 За то, когда являлася сатира,  
 Гдѣ авторъ—тунеядецъ и нахалъ—  
 Честь общества и украшенье міра  
 Чиновниковъ за взятки порицалъ,—  
 Свирипствовалъ онъ, не жалѣя груди,  
 Дивился, какъ допущена въ печать  
 И какъ благонамѣренные люди  
 Не совѣстятся видѣть и читать.  
 Съ досады пилъ (сильна была досада!)  
 Въ удвоенномъ количествѣ чихирь,  
 И говорилъ, что авторовъ бы надо  
 За дерзости подобныхъ—въ Сибирь!...

Выписывая эти мѣста, мы выбирали не то, что лучше, а то, что короче, слѣдовательно, читатели вполнѣ могутъ судить, по этимъ выпискамъ, о цѣлой піесѣ. Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: «что за предметъ! и какъ можно восхищаться піесою, которая изображаетъ такой предметъ!» Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которыя изображаютъ все предметы высокіе и колоссальные. Что же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія прежде всего по ихъ выполнению, а потомъ уже по ихъ содержанию, предмету и цѣли. Послѣднее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ однако хорошо выполненныхъ произведеній, чтобы определить ихъ относительную другъ къ

другу цѣнность. Поэтому, для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшій изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять, напримѣръ, съ «Онѣгінимъ» Пушкина: тутъ ограчная, неизмѣримая разница въ достоинствѣ «Онѣгина» предъ баснею,—и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не въ формѣ, или, лучше сказать, выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать «Чиновника» г. Некрасова ни съ какимъ извѣстнымъ произведеніемъ, тѣ и скажемъ просто, что эта піеса—одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года. — Изъ прозаическихъ статей, лучшая во второй части «Физіологіи Петербурга»—статья г. Панаева: «Петербургскій Фольклористъ», Она уже была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но здѣсь перепечатана иѣсколько переправленная и пополненная,—отъ чего она много выигрила въ достоинствѣ. Она очень идетъ къ «Физіологіи Петербурга», потому что вѣрно изображаетъ одно изъ самыхъ характеристическихъ петербургскихъ явлений. Есть у г. Панаева еще статья «Тля», напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 года, которая такъ и просится въ «Физіологію Петербурга»,—и еслибы къ ней можно было сдѣлать картинки получше, то она произвела бы сильный эффектъ, хотя и была бы уже не новымъ произведеніемъ.—«Лоттерейный Балъ» г. Григоровича—статья не безъ занимательности, но, кажется, слабѣе его же «Шарманщиковъ», помѣщенныхъ въ первой части «Физіологіи». Она слишкомъ сбивается на дагерротипъ и отзыается его сухостью—«Омнибусъ» г. Кульчицкаго (Говорилина)—статья совершенно дагерротипическая, вѣрный списокъ съ случая, и лишенный занимательности. Ее упрекаютъ многіе за сальность въ изображеніи безпрестанно рыгающаго купца-бороды. По нашему мнѣнію, писатель, изображающій дѣйстви-

тельность, только въ двухъ случаяхъ можетъ впадать въ сальность и грязность: или когда онъ самъ тѣмъ болѣе восхищается своими картинами, чѣмъ грязнѣе онѣ, — по своей личной любви ко всему грязному; или, когда онъ впадаетъ въ противоположную крайность, и черезчуръ рѣзкимъ изображеніемъ грязи, несмягченнымъ художественностью выраженія, старается выразить свое отвращеніе отъ грязи. Послѣднее нерѣдко бываетъ съ людьми, которыхъ чувства и образованность выше таланта. Можеть-быть, въ этомъ отношеніи, г. Кульчицкій немножко и погрѣшилъ противъ вкуса въ своемъ «Омнибусѣ»; но все-таки его купецъ-борода и герой очень похожи на действительныхъ людей этого разряда, — и потому «Омнибусъ» для насъ все-таки много лучше множества произведеній съ изображеніями великихъ и колоссальныхъ предметовъ, а купецъ-борода и герой въ тысячу разъ интереснѣе Греминыхъ, Звонскихъ, Лидинихъ, Зоричей и тому подобныхъ такъ называемыхъ «идеальныхъ» созданій. — Въ статьѣ: «Александрийский театръ», собрано все, что уже было говорено и сказано новаго объ этомъ театре, — такъ что теперь едвали уже можно сказать о немъ что-нибудь, чего уже не было бы сказано. Особенно любопытно въ этой статьѣ сравненіе петербургскаго русскаго театра съ московскимъ, въ отношеніи къ ихъ артистамъ.

Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ «Физіология Петербурга», была бы замѣчательнымъ явленіемъ, и не будучи первымъ опытомъ, — была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія.

**ГРАММАТИЧЕСКИЯ РАЗЫСКАНИЯ.** В. А. Васильева. 1) *О буквѣ ё.* 2) *Об образованіи именъ уменьшительныхъ родовъ мужескаю и женскаю.* Спб. 1845.

Появленіе книжки г. Васильева очень порадовало нась. Въ самомъ дѣлѣ, давно бы уже пора приняться намъ за разработаніе русской грамматики. А то — вѣдь стыдно сказать! — грамматика полагается у насъ въ основаніе ученію общественному и частному,—а между тѣмъ у насъ нѣтъ рѣшительно ни одной удовлетворительной грамматики! И какъ же бы могла она явиться у насъ, когда теорія языка русского почти не начата, и для грамматики, какъ систематического свода законовъ языка, не приготовлено никакихъ данныхъ? Оттого, если сличить двѣ русскія грамматики разныхъ составителей, напримѣръ, грамматику г. Греча съ грамматикою г. Востокова, — подумаешь, что каждая изъ нихъ разсуждаетъ обѣ особенности языка, или что онѣ отдѣлены одна отъ другой большими промежутками времени. Каждый пишущій въ Россіи руководствуется своею собственою грамматикою; нововведеніямъ, этимологическимъ, синтаксическимъ и ореографическимъ, нѣть числа и мѣры: всякий молодецъ на свой образецъ! И между тѣмъ, несмотря на вопли нѣкоторыхъ старыхъ писакъ противъ этой грамматической анархіи, въ которой они видятъ злоупотребленіе и чуть не разбой, — при настоящемъ положеніи русского языка, эта грамматическая анархія неизбѣжна и необходима — даже полезна и благотворна... Русскій языкъ еще не установился, — и дай Богъ, чтобы онъ еще какъ можно дольше не установился, потому что чѣмъ дольше будетъ онъ устанавливаться, тѣмъ лучше и богаче установится онъ. Есть люди, которые вѣрятъ, или только дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ, будто Карамзинымъ русскій языкъ совершенно утвердился и дальше идти не можетъ: много благодарны за этотъ

языкъ-скороспѣлку, которому только безъ году недѣля, а онъ ужь и состарѣлся! Какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ развитія русскаго языка, мы принимаемъ Карамзинскій языкъ съ любовью,уваженiemъ, благодарностью и даже, если хотите съ удивленiemъ; но намъ и даромъ не нужно Карамзинскаго языка, если въ немъ должно видѣть совершенно установленнійся языкъ русскій... Мы думаемъ, что если Крыловъ и обязанъ Карамзину чистотою своего языка, то все же языкъ Крылова во сто разъ выше языка Карамзина, по той простой причинѣ, что языкъ Крылова до pes plus ultra языкъ русскій, тогда какъ языкъ Карамзина только въ «Исторіи Государства Россійскаго» обнаружилъ стремленіе быть языккомъ русскимъ, а до тѣхъ поръ обнаруживалъ стремленіе только не быть славяно-латинско-немецкимъ, или Ломоносовскимъ языккомъ (что и было со стороны Карамзина великою заслугою). Но сфера языка Крылова сама по себѣ довольно ограничена, и потому не въ ней русскій языкъ могъ достичь своего установленія, и не на басиѣ остановиться. Ему надо было идти, и онъ пошелъ впередъ, содѣйствиемъ Жуковскаго, Батюшкова, Гнѣдича, самого Карамзина, который, въ своей «Исторіи Государства Россійскаго», говорилъ со всѣмъ другою манерою, нежели прежде, — правда, манерою еще болѣе искусственною, но зато и болѣе полезною для успѣха русскаго языка. Явился Пушкинъ — и русскій языкъ обрелъ новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное — сталъ развязенъ, естественъ, сталъ вполнѣ русскимъ языккомъ. Поэтому, слушая людей, которые наивно утверждаютъ, что Карамзинъ кончилъ, такъ сказать, воспитаніе русскаго языка, и совсѣмъ умалчиваютъ о Пушкинѣ, какъ будто бы, въ дѣлѣ языка, онъ не заслуживаетъ и упоминанія, — невольно вспоминаешь стихъ Крылова, обратившійся въ пословицу:

Слона-то я и не замѣтилъ!

Теперь посмотрите: Ломоносовъ установляетъ славяно-латинско-немецкую форму русского языка, всѣми принятую безусловно; но въ писателяхъ Екатерининского вѣка уже видѣнъ въ ходѣ языка значительный успѣхъ: Державина и Фонъ-Визина, по отношенію къ языку, уже никакъ нельзя сравнивать съ Ломоносовымъ. Карамзинъ, такъ сказать, убиваетъ на-смерть языкъ Ломоносова, съ одной стороны, представивъ образцы новой прозы, а съ другой, вмѣстѣ съ Дмитріевымъ, представивъ образцы стиха, далеко, въ отношеніи къ языку (а не поэзіи), опередившаго стихъ Державина. Мало этого: лишь только проза его сдѣлалась образцовою и начала развиваться далѣе содѣйствіемъ Жуковскаго, какъ онъ самъ отрекается отъ нея и, въ своей «Исторіи», силится создать совсѣмъ другаго рода прозу. О Крыловѣ мы говорили. Стихъ Жуковскаго и Батюшкова неизмѣримо далеко оставляетъ за собою стихъ Дмитріева и Карамзина; Гиѣдичъ создаетъ русскій гекзаметръ и дѣлаетъ русскій языкъ способнымъ для воспроизведенія изящной древней рѣчи эллинской. Кажется, много сдѣлано? Трудно повѣрить, чтобы можно было идти дальше? И что же?— Пушкинъ является полнымъ реформаторомъ языка, увлекаетъ за собою Крылова, писателя, опередившаго его цѣлою четвертью вѣка, увлекаетъ Жуковскаго. Вмѣстѣ съ Пушкинымъ, является Грибоѣдовъ и создаетъ языкъ русской стихотворной комедіи, какъ Крыловъ создалъ языкъ русской басни. Самъ Пушкинъ не стоялъ на одномъ мѣстѣ: съ «Полтавы» вышедшей въ 1829 году, началась для его поэтической дѣятельности новая эпоха въ отношеніи и къ творчеству и къ языку. Прозою онъ писалъ до того времени мало, но и въ его прозаическихъ отрывкахъ (особенно въ «Арапѣ Петра-Великаго») видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сдѣжалось въ какія-нибудь девяносто лѣтъ, считая отъ первой оды Ломоносова — «На Взятие Хотина», написанной

правильнымъ тоническимъ размѣромъ, навсегда утвердившимся въ русской поэзіи (1739), до «Полтавы» Пушкина (1829)!... Какая же могла тутъ явиться грамматика? Вѣдь грамматика есть абстракція языка, существующаго въ созданіяхъ литературы, а литература измѣнялась съ каждымъ годомъ? При такихъ условіяхъ, какую ни напишите грамматику,—она успѣеть отстать отъ языка литературы, пока вы будете печатать ее.

Но почему же, спросятъ наасъ, мы говоримъ все о языкѣ литературы, а не о языкѣ народа? По самой простой причинѣ: масса народа отстала отъ образованнаго общества, и языкъ ея сдѣлался для общества слишкомъ бѣднымъ и неудовлетворительнымъ: вѣдь не у всякаго же достанетъ духа объясняться маленько-мужицкимъ слогомъ. Языкъ же общества безпрестанно измѣнялся вмѣстѣ съ литературою.

Однакожъ и Пушкинъ не кончилось развитіе русскаго языка, который и теперь еще далекъ отъ того, чтобы установиться. Особенно бѣденъ доселъ разговорный, общественный русскій языкъ. Для поэзіи, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державинымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ) сдѣлано было много, а Пушкинъ довершено ихъ дѣло. И не мудрено: русскій языкъ необыкновенно богатъ для выраженія явлений природы, и, по своему близкому сродству съ древне-церковнымъ славянскимъ языкомъ, причастенъ генію древнихъ классическихъ языковъ, способенъ къ передачѣ произведеній древне греческой и латинской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, какое богатство для изображенія явлений естественной дѣйствительности заключается только въ глаголахъ русскихъ, имѣющихъ виды! «Плавать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплывать, заплыть, приплыть, уплывать, уплыть, наплывать, наплыть, подплывать, подплыть, поплавать, поплыть, расплываться, расплы-

ться, наплаваться, заливаться»: это все один глагол для выражения двадцати оттенков одного и того же действия!

Степь раздельная  
Далеко вокругъ,  
Широко лежить,  
Ковылемъ травой  
*Разстилается!*  
Ахъ, ты степь моя,  
Степь привольная,  
Широко ты, степь,  
Пораскинулась,  
Къ Морю Черному  
*Понадвинулась!*

На какомъ другомъ языке передали бы вы поэтическую прелесть этихъ выражений покойного Кольцова о степи: «разстилается, пораскинулась, понадвинулась»?...

Да, благодаря уже самому свойству русского языка, поэзия природы, поэзия чувствъ и мыслей, не означененныхъ ни печатию абстракціи, ни печатию общественности, навсегда установилась у насъ Пушкинымъ, и языкъ для нея вполнѣ выработался,—такъ что дальнѣйшій прогрессъ для языка будетъ уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержанія. Но такой прогрессъ возможенъ не только для юнаго русского языка, еще далеко не во всѣхъ отношеніяхъ вышедшаго изъ пеленъ, но и для вполнѣ развивавшагося слишкомъ два вѣка назадъ французского языка. Каждый вновь появляющійся великий писатель открываетъ въ своемъ родномъ языке новые средства для выражения новой сферы созерцанія. Такъ, напримѣръ, въ грамматическомъ отношеніи, нѣтъ почти никакой разницы между языками Руссо и Жоржъ-Занда; но за то какая разница между тѣмъ и другимъ языкамъ въ отношеніи къ ихъ содержанию! Въ этомъ отношеніи, благодаря Лермонтову, русскій языкъ далеко подвинулся впередъ послѣ Пуш-

кина, и такимъ образомъ онъ не перестанетъ подвигаться впередъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ на Руси являться великие писатели.

Но за то, какъ еще бѣденъ русскій языкъ для выраженія предметовъ науки, общественности,—словомъ, всего отвлеченаго, всего цивилизованнаго, глубоко и тонко развитаго, даже ежедневныхъ житейскихъ отношений! И причина этой бѣдности заключается, къ несчастію, не въ томъ только, что русскій языкъ молодъ, неразвитъ, необработанъ, но еще и въ историческомъ развитіи русского народа. Какъ богаты передъ нимъ, въ этомъ отношеніи, языки народовъ Западной Европы! — А почему? — Потому, что они образовались большею частію изъ обломковъ латинскаго, черезъ который приняли въ себя не малое число даже греческихъ словъ. Исключеніе остается за нѣмецкимъ языкомъ, какъ самостоятельнымъ; а попробуйте исключить изъ него всѣ взятая Нѣмцами латинскія и греческія слова,— и вы увидите, какъ страшно обѣднѣеть онъ. Вмѣстѣ съ словами искаженнаго латинскаго языка, тевтонскіе варвары взяли отъ Римлянъ и тѣ понятія, тѣ идеи, которыя могла породить и развить только гуманическая классическая древность, и которыя не могли бы инымъ путемъ достаться варварамъ. Отъ этого, напримѣръ, французскій языкъ такъ богатъ словами, которые заключаютъ въ себѣ философскій смыслъ, и которыя, несмотря на то, употребляются въ самомъ простомъ житейскомъ разговорѣ: «Субъектъ, объектъ, индивидуумъ, индивидуальный, абсолютный, субстанція, субстанціальный, конкретный, универсальный, абстрактный, категорія, рационализмъ, рациональный, обскурантизмъ, индифферентизмъ, специальный, специализмъ, коллизія»; всѣ эти слова считаются у насъ книжными, смѣшными и дикими, и навлекаютъ на себя глумленіе невѣждъ, если употребляются и не въ разговорѣ, а въ разсужденіяхъ объ умственныхъ предметахъ. Оно отчасти

и понятно: ихъ не было въ русскомъ языке, потому что въ русской цивилизациі до Петра-Великаго не было выражаемыхъ ими понятій; а во французскомъ языке они существуютъ какъ весьма обыкновенныя слова: «*l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualité, absolut, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalité, abstrait, la categorie, le rationalisme, rationnel, l'obscurantisme, l'indifférentisme, le specialisme, la collision*»... Такихъ словъ мы не перечли здѣсь и сотой доли. Всѣ такія слова мы по неволѣ должны брать цѣлкомъ у иностранцевъ; многія изъ нихъ совершенно обрушили, и мы такъ привыкли къ нимъ, что какъ-будто и не считаемъ ихъ за чужія: «коммерція, монополія, манифестъ, декларація, прокламація, инстинктъ, фабрика, мануфактура, брильянтъ, поэзія, проза, музыка, гармонія, мелодія, администрація, губернія, мастеръ, мастерство, маляръ, кучеръ, солдатъ, офицеръ, и пр. и пр. и пр. Такихъ словъ мы не исчислили здѣсь и тысячной доли. Многія изъ иностранныхъ словъ удачно переведены на русскій языкъ и получили въ немъ право гражданства: «правительство, промышленность, предметъ, личность (не оскорблениe, а *personnalité*), дѣвственность, любезность, воспроизведеніе (*reproduction*), вліяніе, отношение, заключеніе (*conclusion*), изложеніе (*éxposition*)», и пр. Нечего уже говорить, что, чрезъ столкновеніе русскаго ума съ доселе чуждыми ему идеями, русскій языкъ сталъ богаче словами, которыхъ умножились, этимологическимъ производствомъ, для выражения оттѣнковъ уже существовавшихъ понятій. Такимъ образомъ, произошло неизчислимое множество словъ въ родѣ слѣдующихъ: «враждебность, количественность, творчество, знаменитость (въ смыслѣ славнаго чѣмъ-нибудь человѣка, *célébrité*), множественность, письменность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, письменность, грамотность» и т. п. Но, несмотря на то, во французскомъ языке остается множество

словъ, въ значеніи которыхъ мы не можемъ не нуждаться, но которыхъ, въ то же время, не можемъ ни перевести (потому что у насъ нѣтъ соответствующихъ имъ словъ), ни взять цѣликомъ (потому что они какъ-то не вошли сами въ нашъ языкъ). Впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ мы по неволѣ мѣшаемъ въ свой русскій разговоръ, къ величайшему неудовольствію туристовъ, которыхъ ограниченность не видитъ въ нихъ нужды; таковы: «compromettre, solidarit , alternative, charit , exag rer, se prononcer, pretendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initier, initiation, initiative, varier, remonter, pr pond rance, chance, camaraderie, association, attribut,  taler, detailler, assortir, revanche и пр. (компрометтировать, эксажерировать, прононсироваться, претендовать, концепція, гарантировать, эксплуатировать, варировать, ремонтировать, препондерансъ, шансъ, ассосіація, аттрибути,  таліровать, детальировать, сортировать, реваншъ). Нѣчего говорить о богатствѣ французской фразеологии, о гибкости французского языка, способнаго на выраженіе всевозможныхъ тонкостей и оттѣнковъ мыслей. Выписанныя нами выше слова важны еще и по определенности, съ какою выражаютъ они заключенное въ нихъ понятіе: поэтому, многія изъ нихъ можно было перевести, да только переводъ будетъ неточенъ — то же, да не то. Такъ, напримѣръ, «charit » можно перевести словомъ «милосердіе», а будеть не то: схвачено понятіе, но потеряны нѣкоторые оттѣнки его; « taler — выставлять, раскладывать на показъ — опять близко, но не то; «revanche — возмездіе»: похоже, а не совсѣмъ! Вотъ почему французскій языкъ не у однихъ у насъ въ такомъ употреблениі. Можно быть въ немъ не слишкомъ сильнымъ, — и несмотря на то, подлинникъ хорошаго французскаго сочиненія понимать лучше, нежели превосходный переводъ его по русски. Писать по-русски письма — просто мученіе: фраза выходитъ тяжела, пахнетъ грамматикою и семинарію, обороты не-

улюжи. Пишете, мараete—и кончите тѣмъ, что сразу напишите по французски—и выйдеть хорошо. Говорить по русски, не вмѣшивая фразъ и словъ французскихъ, очень трудно. Наши литераторы и такъ называемые патріоты упрекали и теперь упрекаютъ высшее общество въ равнодушіи и даже презрѣніи къ русскому языку и русской литературѣ, въ пристрастіи и даже страсти къ французскому языку и французской литературѣ: обвиненіе несправедливое и въ высшей степени мѣщанско! Наше высшее общество, вдругъ столкнувшись, такъ сказать, съ Европою, увидѣло, что для его новыхъ потребностей, идей и общественныхъ отношеній русскій языкъ бѣденъ и недостаточенъ, хотя для своего общества (до временъ Петра-Великаго), онъ, какъ и естественно, былъ не только удовлетворителенъ, но еще и очень богатъ. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однакожъ, то немногое, что было, оно читало: при Екатеринѣ-Великѣй, оно читало Державина и Богдановича, смотрѣло въ театрѣ трагедіи Сумарокова и комедіи Фонъ-Визина; при Александрѣ I-мъ оно не по однимъ слухамъ знало о Карамзинѣ, Дмитріевѣ, Озеровѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ. Но ато вѣдь еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованнаго общества: годовой бюджетъ произведеній всѣхъ этихъ писателей едва могъ ставать на недѣлю чтенія. Явился Пушкинъ—высшее общество прочло его. Въ наше время, оно не только про чло Гоголя и Лермонтова, но перелистываетъ иногда и не столь-крупныхъ писателей, заглядываетъ даже въ журналы. Въ чёмъ же упрекаютъ его? —Развѣ въ томъ, что оно не проглатываетъ всего, что производить досужество россійскихъ сочинителей? —Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индигестіи... Но оно не говоритъ по русски? —Правда; и это оттого, что, какъ сказалъ Пушкинъ,

Доселъ гордый нашъ языкъ  
Къ почтовой прозѣ не привыкъ.

и оттого, что онъ еще менѣе привыкъ къ разговору: мѣстоименія его такія длинныя, напримѣръ, который, безъ кото-раго, между тѣмъ, нельзя составить фразы; а его причастія, и дѣйствительныя и страдательныя, тѣкъ долговязы, главное же — тѣкъ отзываются «высокимъ слогомъ»; его фраза такъ пахнетъ книгою.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятствій, еще очень мало сдѣлано и высшимъ обществомъ и литературою; но «мало» не значитъ еще «ничего». Немного сдѣлано, но уже дѣлается: съ одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говорить по-русски; а когда русская литература будетъ ежегодно производить хорошаго и интереснаго столько же, сколько ежегодно производить французская литература, или хоть около того, — тогда наше высшее общество будетъ и читать и говорить по-русски, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ по-французски. А то вѣдь согласитесь сами — двѣ или три, много-много пять порядочныхъ повѣстей въ годъ, романъ въ иной годъ, да десятокъ журналовъ, которые больше чѣмъ наполовину наполняются переводами, и изъ которыхъ развѣ только два удобны для чтенія,—согласитесь, что такая литература, если только она и въ самомъ дѣлѣ — литература, немного времени возьметъ у самого жаднаго до чтенія, но хотя немного разборчиваго читателя? Съ другой стороны, русская литература теперь на доброй дорогѣ для того, чтобы выработать изъ языка книги языкъ общества и жизни. Она давно уже стремится къ этому, — съ тѣхъ поръ, какъ заговорили о важности такъ называемой легкой поэзіи и легкой литературы. Перебирая нашихъ дѣятелей въ этомъ отношеніи, пропустимъ Сумарокова, Богдановича, даже Хем-вицера, и начнемъ съ Фонъ-Визина, потомъ упомянемъ Кры-

лова и Дмитріева (басни и сказки; въ особенности «Модная Жена»); отъ нихъ перейдемъ къ безсмертному созданію Грибоѣдова, «Горе отъ Ума», къ «Евгенію Онѣгину» и «Графу Нулину» Пушкина, при чёмъ упоминается о прозаическихъ опытахъ Пушкина (преимущественно объ «Арапѣ Петра-Великаго»). Съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, которая, въ лицѣ этого ганіального писателя, обратилась преимущественно къ изображенію русского общества. Пуристы, грамматоѣды и корректоры нападаютъ на языкъ Гоголя, и—если хотите не совсѣмъ безосновательно: его языкъ точно неправиленъ, нерѣдко грѣшилъ противъ грамматики и отличается длинными періодами, которые изобилуютъ вставочными предложениями; но совсѣмъ тѣмъ, онъ такъ живописенъ, такъ ярокъ и рельефенъ, такъ опредѣлителенъ и точенъ, что его недостатки, о которыхъ мы сказали выше, скорѣе составляютъ его прелесть нежели порокъ, какъ иногда нѣкоторыя неправильности чертъ, или веснушки, составляютъ прелесть прекраснаго женскаго лица. Возьмите самый неуклюжій періодъ Гоголя: его легко поправить, и это съумѣеть сдѣлать всякой грамотѣй десятаго разряда; но поуситься на это значило бы испортить періодъ, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь далъ направленіе прозаической литературѣ нашего времени, какъ Лермонтовъ далъ направленіе всей стихотворной литературѣ послѣдняго времени. И направленіе, данное Гоголемъ, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые по этому учатся и научатся хорошо говорить о простыхъ вещахъ, и уже не поучать, какъ прежде, торжественно и важно публику, а бесѣдовать съ нею. Съ другой стороны, еще съ появленія «Московскаго Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина, наша журнальная литература оказала стремленіе объясняться съ публикою не параднымъ языккомъ книги, а живымъ языккомъ общества. Но Карамзинъ не долго дѣйство-

валь на журнальномъ поприщѣ,—и потому только съ появленія «Московскаго Телеграфа» начинается періодъ настоящей журнальной дѣятельности, полезной и для общества и для языка. И нельзя сказать, чтобъ, въ этомъ отношеніи, журналистика наша не сдѣлала съ тѣхъ поръ значительныхъ успѣховъ.

Но какъ бы ни былъ языкъ неразвить и необработанъ,—онъ все же вѣдь имѣть свой геній, свой духъ, свои законы и свои, только ему свойственныя, характеръ и физіономію: изслѣдоватъ, опредѣлить,—словомъ, привести ихъ въ ясное сознаніе, есть дѣло грамматики. Взглянемъ же на то, что сдѣлала у насъ для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзіи и русской литературѣ вообще, русская грамматика несколько не была русскою, но представляла какой-то странный сколокъ съ латинской, французской и нѣмецкой грамматики. Наши грамматисты, отъ Мелетія Смотрицкаго до Ломоносова и бывшей Академіи Россійской, составляя русскую грамматику, какъ-будто ничего другаго не дѣлали, какъ только переводили латинскую,—и потому они въ русскихъ глаголахъ, кромѣ трехъ временъ—настоящаго, прошедшаго и будущаго, дѣйствительно существующихъ, нашли еще «неопределеннное прошедшее (прходящее), совершенно-прошедшее, давно-прошедшее, неопределенно-будущее, совершенно-будущее и другія, при каждомъ глаголѣ открыли по нѣсколько неокончательныхъ наклоненій. Такоже неудовлетворительна была грамматика, изданная Россійской Академіею. Впрочемъ, за это облатыненіе русской грамматики не должно строго судить нашихъ старинныхъ грамматѣевъ: вся ихъ вина состояла въ томъ, что они начали съ начала, по естественному ходу человѣческаго ума. Вследствіе реформы Петра-Великаго у насъ все русское неизбѣжно должно было обѣниостраниться. Наконецъ, знаменитый лингвистъ, Нѣмецъ Фатеръ, первый про-

никнувъ въ особенные свойства русскихъ глаголовъ, положилъ твердое основаніе русской грамматикѣ, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ ее возможною. Онъ доказалъ, что совершающееся въ глаголахъ другихъ языковъ посредствомъ множества временъ у насъ дѣлается черезъ виды, что каждый русскій глаголь имѣеть нѣсколько видовъ, что каждый видъ имѣеть только одно неокончательное наклоненіе, и что глаголы неопределенаго и многократнаго вида имѣютъ три времени—настоящее прошедшее будущее, а глаголы совершенного (или определеннаго) и многократнаго вида имѣютъ только два времени—прошедшее и будущее (послѣднее спрягается совершенно такъ, какъ настоящее время глаголовъ неопределенаго и многократнаго видовъ). Объ этомъ самомъ писалъ покойный профессоръ Болдыревъ, котораго обвиняли въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ мысли Фатера. Справедливо ли это, мы решить не можемъ; а лучше скажемъ, что профессоръ Болдыревъ написалъ еще прекрасное разсужденіе о «степеняхъ сравненія русскихъ прилагательныхъ», въ которомъ доказалъ, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на *айший* и *тьиший*, есть, напротивъ, сравнительная степень полной формы прилагательныхъ, тогда какъ степень, которая одна считалась сравнительною и которая оканчивается на *ье*, *тьи* и *е*, есть только сравнительная усѣченной формы прилагательныхъ. Потомъ, мы помнимъ еще небольшую, но дѣльную статейку профессора И. И. Давыдова «О Порядкѣ Словъ». Имя г. Востокова по справедливости должно быть упоминаемо съ почетомъ, какъ автора лучшей доселѣ русской грамматики. Но все это —не корень, не начало. Прежде составленія грамматики, необходимо аналитическое изслѣдованіе русского языка, глубокое проникновеніе въ анатомію, въ физіологію, въ тайну организма языка. Надо начать съ звука, съ буквы. Это и сдѣлалъ знаменитый фило-

логъ нашъ, Г. П. Павскій, который одинъ стоитъ цѣлой академіи. Его «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка» положено прочное основаніе филологическо-му изученію русскаго языка, показанъ истиинный методъ для этого изученія. Это превосходное сочиненіе еще не кончено; но мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что послѣдняя, шестая, часть его приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертою и пятою не замедлитъ поступить въ печать. Первые три части этого творенія уже всѣ распроданы и выйдутъ вторымъ изданіемъ, когда окончатся печатаніемъ три послѣднія части. Это успѣхъ, успѣхъ блестящій и славный тѣмъ болѣе, что у насъ нѣтъ еще публики для ученыхъ сочиненій, и что журналы не оцѣнили великій трудъ о. Павскаго, какъ слѣдуетъ, — а не оцѣнили потому, что для него, какъ сочиненія совершенно самобытнаго и оригинальнаго, которое первое полагаетъ основаніе русской филологии, не нашлось цѣнителей, достаточно сильныхъ для подобной оцѣнки. Но прийдетъ время, когда сочиненіе о. Павскаго сдѣлается классическою и настольною книгою для всякаго ученаго, который посвятитъ себя изученію русскаго языка. Ужъ и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой авторъ, при ея составленіи, много и крѣпко не посовѣтовался бы съ «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка».

«Грамматическая Разысканія» г. Васильва явились вслѣдствіе книги г. Павскаго и написаны по указанному ею методу и въ ея духѣ. Не сомнѣваемся, что найдутся остряки, забавники и потѣшники: они будутъ смеяться надъ ничтожностью и мелочностью предмета, о которомъ такъ серьѣзно хлопочетъ книжка г. Васильева. Пусть глумятся на здоровье себѣ и на потѣху своимъ читателямъ! Положимъ что книжка г. Васильева порождена даже педантизмомъ; но развѣ не такому педантизму обязаны Французы удивительною разработкою своего языка?

Что бы ни говорили, но грамматика именно учитъ не чѣму другому, какъ правильному употребленію языка, т. е. правильно говорить, читать и писать на томъ или другомъ языкѣ. Ея предметъ и цѣль—правильность, и ни до чего остального ей неѣть дѣла. Съ педантическою кропотливостью задумывается она надъ тѣмъ, какъ правильнѣе произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, словомъ, употреблять то или другое слово,—и все это иногда для того, чтобы, добившись цѣли своихъ изысканій, сказать: «такъ должно бы по правилу употреблять это слово, но такъ употребляется оно въ живомъ языке общества!» Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и въ то же самое время можно говорить и, особенно, писать дурно: это правда; но также можно хорошо и говорить и писать, и въ то же самое время не знать языка. А между тѣмъ, теоретическое знаніе языка важно и полезно, даже необходимо, и безъ приложенія. Грамматика есть логика, философія языка, и кто знаетъ грамматику своего языка, для того, по крайней мѣрѣ, возможно знаніе всеобщей грамматики—этой прикладной философіи слова человѣческаго. Сверхъ того; люди, которые только и по инстинкту хорошо говорятъ или пишутъ на своемъ языкѣ, по необходимости часто ошибаются противъ духа языка, въ ущербъ своему успѣху на поприщѣ изустной или письменной изящной рѣчи. И неѣть никакого сомнѣнія, что когда къ инстинктивной способности хорошо говорить или писать, присоединяется теоретическое знаніе языка,—сила способности удвоется, утраивается. Грамматика, не даетъ таланта, но даетъ таланту большую силу; а грамматику только тотъ знаетъ, кто знаетъ, какъ следовало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которымъ живая власть употребленія (*usus*—*fugannus*) дала неправилную форму. Сидѣльцы овощныхъ лавокъ и кухарки говорятъ и пишутъ, руководствуясь толь-

ко употреблениемъ, а отнюдь не грамматикою; но потому-то иногда смѣшно слышать ихъ говорящими и всегда такъ трудно понимать написанное ими...

Грамматика не даетъ правилъ языку, но извлекаетъ правила изъ языка. Общее незнаніе этихъ правилъ, т. е. незнаніе грамматики, вредитъ языку народа, дѣлая его неопределѣннымъ и подчиняя его произволу личностей: тутъ всякий моло-децъ говоритъ и пишетъ на свой образецъ. Въ формахъ языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгимъ изслѣдованиемъ, какъ правильнѣе должно говорить или писать то или другое. Это исканіе правильно-сти должно быть доведено до педантизма—для успеха самого языка. Пусть будутъ тутъ злоупотребленія: они отвергнутся обществомъ, и живое слово не покорится имъ; но за то, все истинное и полезное, но несвязывающее языка мелочными и ненужными правилами, будетъ принято всѣми. Посмотрите на русскую ореографію, что́ это такое! Въ этомъ отноше-ніи русскій языкъ представляетъ собою странное исключеніе изъ общаго правила: у насъ столько же ореографій, сколько книгъ, сколько журналовъ, сколько литераторовъ,—и потому нѣтъ никакой ореографіи. Неужели это хорошо? А между тѣмъ, за это никакъ нельзя никого винить: виноватаго нѣтъ! И такъ, вмѣсто того, чтобы пѣть іереміады противъ нововво-дителей,—не лучше ли было бы приняться за разработку орео-графіи, за изслѣдованіе—какой ореографіи должно держаться, сообразно съ духомъ языка и его правилами. Объ этомъ стоитъ разсуждать и спорить. Пусть въ этихъ разсужденіяхъ и спо-рахъ наговорено будетъ много странного и нелѣпаго, лишь бы только результатомъ всего этого было, рано или поздно, удо-влетворительное решеніе вопроса. Но видно, обвинять и бра-нить другихъ гораздо легче, нежели доказать, почему они оши-баются и какъ имъ надо писать, чтобы писать правильно...

Вотъ почему мы очень рады появлению брошюрки г. Васильева. Можетъ-быть, ею начинается безконечный рядъ филологико-грамматическихъ брошюръ, разсужденій, полемическихъ статей и статеекъ, которыми должна разработатьсь наша грамматика и прийти въ единство наша ореографія. Брошюрка г. Васильева раздѣляется на двѣ части. Въ первой онъ пытается решить, правы ли тѣ, которые, вмѣсто почетный, счетъ, въ чёмъ, черный, пишутъ: почетный, счетъ, въ чомъ, черный,— и правы ли тѣ, которые нападаютъ на нихъ, какъ это дѣлаетъ фольетонистъ «Сѣверной Пчелы». Г. Васильевъ несогласенъ ни съ тою, ни съ другою стороною. Онъ говоритъ, что наши грамматисты, гг. Востоковъ и Гречъ, ошибаются, утверждая, будто бы буква ё не можетъ слѣдовать за зубными буквами: їс, и, ѿ, є, или, по крайней мѣрѣ, произносится послѣ нихъ не какъ ё, но какъ о; но что если внимательнѣе прислушаться въ произношеніи словъ: счетъ и счотъ, щетка и щотка, жёлтый и жолтый, то нельзя не увѣриться, что слова эти, при звукахъ ё и о, совсѣмъ не одинаково произносятся, и что, слѣдовательно, должно писать въ этихъ словахъ не о, а е. Съ другой стороны, онъ не согласенъ съ доводами фольетониста «Сѣверной Пчелы», который, въ употребленіи буквы о въ помятутыхъ словахъ видитъ нарушеніе искони соблюдавшагося правила. Г. Васильевъ справедливо замѣчаетъ, что искони писали: Оскверненніи, отшедшия, про-дающыи, идущыи, россійстїи, распеншіи, денми, и что «Библіотека для Чтенія» слѣдуетъ кореннай древней, хотя и неправильной привычкѣ русскаго народа, утвержденной вѣками, употребляя дательный падежъ вмѣсто родительного, между тѣмъ, какъ фольетонистъ «Сѣверной Пчелы» нападаетъ же за это на «Библіотеку для Чтенія».

Спорныя буквы е и о суть бѣглыя, т. е. такія, которыхъ то изчезаютъ, то опять появляются въ словѣ, какъ напримѣръ:

ледъ, льда, орель, орла, близкій, близокъ. Г. Павскій говоритъ, что когда надъ этими буквами должно стоять удареніе, то ихъ должно употреблять по правиламъ сочетаемости буквъ, т. е. *о* ставить послѣ согласныхъ тупыхъ, а *е*—послѣ согласныхъ острыхъ. Г. Васильевъ, напротивъ, утверждаетъ, что бѣглая гласная, находясь между двумя согласными и имѣя на себѣ удареніе, должна угождать обѣимъ,—такъ что, если послѣднія въ словѣ требуютъ передъ собою *е*, а предыдущія *о*,—то такъ какъ обѣихъ поставить нельзя, должно поставить среднюю между *о* и *е*, то-есть *ё*. Основываясь на этомъ правилѣ, г. Васильевъ положительно утверждаетъ, что слова: дружекъ, лужекъ, мужичекъ, колпачекъ, кружекъ, и т. п. должно писать черезъ *e*, а не черезъ *o*.

Прекрасно! Но чѣмъ же дѣлать съ выговоромъ-то и употребленіемъ? Чѣмъ ни говорите, а далеко не во всѣхъ словахъ звукъ *ё* отличается въ произношеніи отъ *о*. Въ словѣ жолтый не слышно ни какого *ё*, а слышно одно чистое *о*; то же должно сказать о словѣ хорошо, которое, какъ усѣченіе слова хороше, должно бы и писаться: хороше, а произноситься хорошѣ; но—вопреки правилу, по прихоти употребленія, ни то ни другое невозможно,—поэтому оно и пишется и говорится хорошо, а не хорошѣ. Мы согласны, что въ словахъ: «щетка, счетъ, въ чемъ, черный, щелокъ, щеголь», слышится звукъ болѣе похожій на *ё*, нежели на *о*, и что, слѣдовательно, нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать щотка, счотъ, въ чомъ, чорный, щолокъ, щоголь. Но такъ же точно, сколько ни прислушивайтесь къ словамъ: «лицо, крыльцо, яйцо, кольцо, словцо, жолтый, шорохъ, шопотъ, кружокъ, лужокъ, отцомъ»—а воля ваша, звука *ё* въ нихъ вы не услышите; если же и услышите, то вамъ трудно будетъ выговаривать эти слова, и этотъ звукъ оскорбитъ вашъ слухъ,—слѣдственно, нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать: лице, крыльце, яйце,

кольце, желтый, шепотъ, кружекъ, лужекъ, отцемъ. Въ первомъ случаѣ, буква, *o*, какъ говорится, деретъ глаза; во второмъ то же дѣйствіе производить буква *e*. Согласны: правило г. Васильева вѣрно, да та бѣда, что употребленіе попортило его цѣлость, такъ что теперь, избѣгая педантизма, который иногда бываетъ хуже невѣжества, необходимо уступить деспотической волѣ употребленія, и изъ одного старого правила сдѣлать два, т. е. помириться на серединѣ: съ буквами *щ* и *ч*. писать *e*, а съ буквами *жс* и *ш*, писать *o*. Возьмите слово: плече,— и произносите на концѣ острое ё: вы выговорите его такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ выговаривается, следовательно, нѣть никакой нужды нарушать общаго правила и писать *o* (плечо); но въ словѣ: лицо какъ ни старайтесь выговаривать ё, не выговорите, а если выговорите, вамъ самимъ будетъ смѣшно своего усиля, равно какъ и звука, который вымучите вы изъ своихъ губъ. Остановимся на серединѣ, избѣгая равно и педантизма и произвольности: обѣ крайности равно нехороши. Что жь дѣлать, если духъ новаго русскаго языка часто бываетъ въ противорѣчіи съ духомъ стараго русскаго языка, и если всѣ акустическія и ореографическія преданія разорваны такъ, что иногда и слѣдовъ нельзя отыскать? Тутъ остается только покориться необходимости.

Мы не обратили бы особеннаго вниманія на брошюру г. Васильева, еслибы въ ней было сказано только то, въ чёмъ мы съ нею не согласились. Нѣтъ, въ ней, кроме этого, много дѣльного и интереснаго, какъ, напримѣръ, критика мнѣній разныхъ грамматистовъ и изслѣдованіе, въ какихъ случаяхъ буква *e* выговаривается какъ ё. Послѣднее изслѣдованіе стояло автору большихъ трудовъ: чтобы повѣрить справедливость своихъ выводовъ, онъ долженъ былъ перечесть весь лексиконъ русскій. Хлопотливо и тяжело, — а нельзя иначе при подобныхъ изслѣдованіяхъ, если не хотите нагромоздить кучу про-

извольныхъ правилъ, которыхъ языкъ и не думалъ признавать. Г. Васильевъ приводитъ въ своей брошюре разительный примеръ подобной произвольности, происшедшей отъ легкости въ работе. Г. Гречъ говоритъ: «Если надъ буквою *e* находится ударение и гласная (также полугласная), то она я произносится какъ *ио* (т. е. какъ *ë*); напримѣръ елка, твердо, дерну, блеклый, медъ. То же бываетъ, когда *e* находится въ концѣ слова: житье, сине, мое» («Практ. Русская Грамматика», 1834 г., стр. 416). Г. Васильевъ приводитъ множество словъ въ опроверженіе этого правила: «верба, векша, жертва, трапеза, горе, ложе, море, поле», и проч. Но изложеніе правилъ, открытыхъ (числомъ 12) г. Васильевымъ обѣ употребленій буквы *ë*, было бы излишне въ нашей статьѣ. Наше дѣло указать хорошее, а кто хочетъ увидѣть его самъ, можетъ обратиться къ самой брошюрѣ.

Очень интересно и второе разысканіе: «Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго», —интересно, какъ по разбору мнѣній гг. Гречи и Востокова обѣ этомъ предметѣ, такъ и по выводамъ самого автора. Вообще, брошюра г. Васильева такого рода, что ни одинъ будущій составитель грамматики не обойдется безъ того, чтобы, при трудѣ своемъ, не принять ея къ свѣдѣнію, а иногда даже и не пословѣтоваться съ нею.

Слова на оберткѣ брошюры: «первый выпускъ», обѣщаютъ намъ продолженіе трудовъ г. Васильева по части разработанія русской грамматики: очень рады!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЛОДЫ БЕЗСОННИЦЫ. Соч. барона Александра Боде. Спб. 1845.

Это книга ископаемая, допотопная! Помилуйте, да кто же теперь рѣшится прочесть книжонку, которую кому-то вздумалось накропать отъ безсонницы? И кто теперь пишетъ отъ безсонницы? Отъ безсонницы не пишутъ, а читаютъ плохія книги и славянофильскіе журналы. Теперь пишутъ отъ потребности что нибудь высказать, а не то—изъ денегъ, или изъ самолюбія; но и въ послѣднихъ двухъ случаяхъ всегда говорятъ, что пишутъ оттого, что просится наружу мысль, что не даетъ покоя излишество таланта... А баронъ Боде изволить писать отъ безсонницы, да еще стихами, да еще какими—чудовищными! Баронъ Боде признается, въ предисловіи къ своей книжкѣ, что онъ не знаетъ русскаго языка: вѣримъ, по тому что предисловіе написано безграмотно; онъ говоритъ, что это ему, какъ иностранцу, никогда неучившемуся русскому языку, извинительно: согласны! Но вѣдь это было ему извинительно, пока онъ писалъ статьи по части сельскаго хозяйства: дѣльность и полезность ихъ содержанія, еслибы онъ были дѣйствительно дѣльны и полезны, могла бы заставить забыть неизящество ихъ слога; но чѣмъ же извинится баронъ Боде передъ здравымъ смысломъ въ томъ что, незнай русскаго языка, принялъся писать стихи на этомъ языке! — Ужъ не безсонницею ли? — Вотъ какъ пишетъ баронъ Боде русскою прозою: «Приязанія на изящность слога я не могъ имѣть, потому что не родился въ Россіи, т. е. родился не въ Россіи и никогда не обучался русскому языку; а все, что знаю изъ этого языка, есть плодъ самоучки, подкрепленная памятью и слухомъ».... Не только не лучше этого, но гораздо хуже пишетъ баронъ Боде стихами.

**РУССКОЕ ЧТЕНИЕ.** *Отечественные исторические памятники XVIII и XIX столѣтія, издаваемые Сергеем Глинкою. Часть I. Спб.*

**РУССКОЕ ЧТЕНИЕ,** издаваемое Сергеем Глинкою. Выпускъ второй(о)й: *отечественные исторические памятники XVIII и XIX столѣтія. Спб. 1845.*

Въ этомъ странномъ изданіи, которое, по нумеровкѣ, со-  
ставляетъ одну, а по заглавію—две книжки, нѣтъ никакихъ  
историческихъ и отечественныхъ памятниковъ, а если и есть,  
они составлены не современниками, а г. Сергеемъ Глинкою.  
Онъ разсказываетъ большую частію всѣмъ известное о Петре  
Великомъ, о князѣ Юрии Владимировичѣ Долгорукомъ, о По-  
темкинѣ, и разсказываетъ разумѣется, по своему—съ отсту-  
пленіями, страннымъ языкомъ, темно, сбивчиво, нескладно,  
хотя и съ амфазомъ, какъ-будто въ вдохновенномъ упоеніи.  
Подъ первомъ литератора, болѣе даровитаго и менѣе упоешаго  
восторгомъ, эти разсказы могли бы имѣть большую заниматель-  
ность .Правда, они и подъ первомъ г. Сергея Глинки имѣютъ  
нѣкоторую занимательность, но уже не сами по себѣ, а по от-  
ношенію къ сочинителю. Онъ все тотъ же, какимъ былъ въ  
то время, какъ началъ издавать свой «Русскій Вѣстникъ», на-  
задъ тому болѣе четверти вѣка; никакъ не измѣнился, хо-  
тя вокругъ него измѣнились—и люди, и языкъ и литература,  
и понятія, и обычаи, и нравы. Еслибы подобное окаменѣніе  
постигла литератора съ замѣчательнымъ талантомъ,—его со-  
чиненія никогда не перестали бы быть интересными для но-  
выхъ поколѣній, какъ мемуары о старинѣ, какъ живые памят-  
ники старины; но... г. Сергей Глинка «чѣмъ богатъ, тѣмъ и  
радъ»... Человѣкъ русскій, радушный и гостепріимный, онъ  
всегда готовъ васъ угождать своимъ добромъ; вы давно уже сы-  
ты по горло отъ другихъ кушаній, а онъ все вамъ кланяется да

говорить: «прошу покорно; чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ». Вы смотрите: страшно было бы и на голодный желудокъ, а дѣлать нечего, берете изъ вѣжливости; о слѣдствіяхъ печего и говорить... И—когда г. С. Глинка молчитъ, молчить такъ, что вы думаете, что его восторгъ прошелъ совсѣмъ, и онъ уже больше не будетъ писать; глядь: онъ, вдругъ, говоря его собственнымъ языкомъ, «предъявить» вамъ такой «погромъ», что вы, подобно юокѣ Крылова,

Скорѣй въ охапку  
Кушакъ и шапку...

Но мы, несчастные рецензенты, мы не можемъ этого дѣлать и ъдимъ всякую уху, какую ни заварить досужество старого или молодаго литератора...

PÉTROUSSA. (*Moeurs russes.*) Par Hippolyte Auger (петруша. Русские нравы. Соч. Ипполита Оже) Спб. 1845.

Г. Ипполитъ Оже обязателенъ и любезенъ, какъ истинный Французъ. Ему, видно, понравилось наше гостепріимство, и онъ рѣшился отблагодарить насъ изображеніемъ, въ формѣ романа, нашихъ нравовъ, которые ему, какъ видно изъ его книги, такъ понравились. Благодарны за честь, очень благодарны! Но, чтобы благодарность наша не осталось на однихъ словахъ, какъ не осталась на однихъ словахъ благодарность г. Оже, рѣшаемся сдѣлать ему нѣсколько совѣтовъ, которые будутъ ему очень полезны, если ему угодно будетъ имъ послѣдовать. Первый совѣтъ: благодарность — прекрасное чувство, но она не можетъ замѣнить таланта, который необходимъ для того, чтобы писать романы. Второй совѣтъ: нельзя изображать нравовъ народа, о которомъ мы имѣемъ только легкое и поверхностное

понятіе. Есть русская пословица: чтобъ узнатъ человѣка, надо съ нимъ сѣсть куль соли. Народъ – не одинъ человѣкъ, и его въ тысячу разъ труднѣе узнатъ, нежели человѣка. Въ романѣ г. Ожѣ такъ же нѣтъ русскихъ нравовъ, какъ и нѣтъ характеровъ и лицъ; а если что въ немъ есть, такъ это развѣ общія мѣста, блѣдныя описанія, риторика и скука, да еще русскія именна, каковы: Iegor, Ivan Alexi vitch, P tre Ivanovitch, Natalie Antonovna, Roman Ilitch Velcanoff, Dmitri Borissovitch и т. п. Скажемъ еще по секрету г-ну Ожѣ, что мы, Русскіе, несмотря на молодость, незрѣлость и даже бѣдность своей литературы, довольно избалованы романами и повѣстями, и въ этомъ родѣ на нась не такъ-то легко угодить. «Петруша» г. Ожѣ написанъ въ родѣ романовъ дѣвицы Марыи Извѣковой; онъ, если хотите, не хуже ихъ; но когда вспомните, что романы дѣвицы Марыи Извѣковой писаны назадъ тому болѣе тридцати пяти лѣтъ, то признаетесь, что романъ, который написанъ въ 1845 году, и который достоинствомъ не выше посредственныхъ романовъ, писанныхъ въ 1806 и 1809 годахъ, долженъ быть далеко ниже ихъ...

**СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СТРУГОВЩИКОВА, заимствованыя изъ Гёте и Шиллера. Книга первая. Спб. 1845.**

Г. Струговщиковъ давно уже снискалъ себѣ въ нашей литературѣ лестную извѣстность замѣчательнымъ талантомъ, съ какимъ передаетъ онъ на русскій языкъ сочиненія Гёте. О его счастливыхъ переводахъ говорили, спорили и писали; словомъ, г. Струговщиковъ въ короткое время сдѣлалъ себѣ имя этими трудами. Въ самомъ дѣлѣ, нисколько не увлекаясь пристрастиемъ, можно сказать что нѣкоторыя піесы Гёте усвоены

русской литературѣ г. Струговщикомъ; «Римскія Элегіи», «Пѣснь Маргериты», «Молитва Маргериты», «Пѣснь Клары», «Фантазія Клары» и, въ особенности, исполинское произведеніе генія Гёте — «Прометей»: всѣ эти піесы воспроизведены переводчикомъ по-русски съ блестящимъ успѣхомъ, который могъ внушить всѣмъ смѣлую надежду, что, можетъ-быть, нѣкогда лучшія произведенія Гёте, а можетъ быть и весь Гёте, явятся въ достойномъ ихъ русскомъ переводѣ. Особенную честь таланту г. Струговщика дѣлаетъ его переводъ «Прометея»: одного такого перевода достаточно, чтобы переводчикъ сдѣлалъ себѣ имя въ литературѣ. Таково было почти общее мнѣніе о переводныхъ трудахъ г. Струговщика и о прекрасныхъ надеждахъ для русской литературы, которыя они подавали въ будущемъ. Но стали замѣчать, что г. Струговщикъ не всегда переводить, иногда и передѣливаетъ. Даже самъ г. Струговщикъ не старался скрывать этого; напротивъ, онъ гдѣ-то печатано сказалъ, что, по его мнѣнію, переводить иностранного писателя значить заставлять его творить такъ, какъ онъ самъ бы выразился, еслибы писалъ по-русски. Подобное мнѣніе очень справедливо, если оно касается только языка; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, оно болѣе, нежели несправедливо. Кто угадаетъ, какъ бы сталъ писать Гёте по-русски? Для этого самому угадывающему надобно быть Гёте. Кто имѣеть право модифицировать, измѣнить, укоротить, распространить мысль генія, передѣлать его созданіе? — развѣ только такой же геній! Какая цѣль перевода? — дать возможно близкое понятіе объ иностранномъ произведеніи, такъ какъ оно есть. Въ такомъ случаѣ, если вы своими придѣлками и передѣлками сдѣлали его даже и лучше, нежели какъ оно написано авторомъ, — переводъ невѣренъ, слѣдовательно, нехорошъ. Но это случается только съ слабыми произведеніями; хорошаго же произведенія великаго поэта нельзѧ сдѣлать въ переводѣ лучшимъ про-

тивъ подлинника: поправки и передѣлки только портятъ его. Въ переводѣ изъ Гёте мы хотимъ видѣть Гёте, а не его переводчика; еслибъ самъ Пушкинъ взялся переводить Гёте, мы и отъ него потребовали бы, чтобъ онъ показалъ намъ Гёте, а не себя. Говорятъ: переводчикъ въ прозѣ—рабъ, переводчикъ къ стихахъ—соперникъ. Послѣднее справедливо только въ половину: соперникъ по языку, слогу и стиху, словомъ—по выражению, но не по мысли, не по содержанию. Тутъ онъ рабъ. Талантъ переводчика есть талантъ формы, разумѣется, при способности вникать въ духъ чужихъ произведеній и чувствовать ихъ красоты. Это человѣкъ, который мастеръ разсказывать, но который, въ тоже время, лишенъ дара изобрѣтенія, и вѣчно ищетъ сюжетовъ.

Какъ бы то ни было, если г. Струговщико́въ и оставилъ свое убѣжденіе касательно переводовъ, то не для того, чтобъ воротиться назадъ, а для того, чтобъ пойти дальше. Это доказываетъ вышедшая теперь книжка его стихотвореній. На первомъ заглавномъ листкѣ сказано просто: «Стихотворенія Струговщикова»; на второмъ заглавномъ листкѣ: «Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера», Но въ предисловій еще яснѣе высказалась задушевная мысль автора: «Стараясь» говорить онъ: «оставаться вѣрнымъ подлиннику въ поэзіи повѣстовательной и драматической, не допускающей произвола и исключающей, такъ сказать, въ переводчикѣ всякое творчество, я не могъ и не хотѣлъ покоряться тому же условію, когда вступилъ въ очаровательную область лиризма. Убѣжденія, что для произведеній лирической поэзіи переводовъ не существуетъ, примиряло меня съ чувствомъ ответственности передъ лицомъ геніевъ, избранныхъ мною въ руководители. Здѣсь, забывая и отбрасывая иногда подробности, я былъ напутствуемъ одними главнѣйшими впечатлѣніями подлинника: такъ иногда воспоминанія дѣйствуютъ на душу

сильнѣе самыхъ явлений»... Это откровенное объясненіе со стороны автора избавляетъ насть отъ труда объяснять идею его произведеній.

Это — поэтическія варьаціи, разыгрываемыя на темы, взятые изъ Гёте и Шиллера. Такой способъ творчества имѣеть свою выгодную сторону: питаясь чужимъ вдохновеніемъ, заимствователь, въ то же время, обнаруживаетъ и свое собственное вдохновеніе, и самъ является какъ-будто творцомъ. Но этотъ способъ творчества имѣеть также и свою невыгодную сторону, которая хорошаго заимствователя ставить ниже хорошаго переводчика: послѣдній, какъ неимѣющій претензій на творчество, выказываетъ самостоятельную способность формы, обогащающую родную литературу сокровищами иностранныхъ; тогда какъ талантъ первого есть не болѣе, какъ «плѣнной мысли раздраженье», —не говоря уже о томъ, что заимствователь обязанъ выдерживать соперничество съ великими поэтами. Но г. Струговщикова, кажется, думаетъ объ этомъ иначе, какъ это можно заключить по двустишію «Переводчику поэту»:

Ежели твой переводъ пересталъ переводомъ казаться  
Ставь свое имя въ чалѣ, самъ за себя отвѣчай.

Конечно, всякий воленъ и правъ въ выборѣ своей дороги, потому именно, что не воленъ въ немъ. Г. Струговщикова тоже правъ въ своемъ стремлениѣ такъ же, какъ были бы неправы всѣ тѣ, которые не захотѣли бы признать законности этого стремленія. Теперь посмотримъ, какъ осуществляеть г. Струговщикова свою теорію.

Признаемся откровенно, муга г. Струговщика не совсѣмъ удовлетворяетъ насть съ этой стороны. Вновь перечли мы съ новымъ наслажденіемъ его переводы изъ Гёте; но переводы и заимствованія изъ Шиллера показались намъ не совсѣмъ удачны, отчасти по выполненію, отчасти по выбору. Такъ, напри-

мѣръ, піесы: «Поззія жизни», «Три Слова», «Женщину чтите», «Величіе Вселенной», «Надежда», «Колумбъ», «Олимпійскіе Гости», «Къ Радости», «Три Заблужденія», «Іліада», «Раздѣль», «Сбиралися тучи», выбраны удачно, но въ ихъ исполненіи мы не узнаемъ Шиллера: въ нихъ мало художественности, и мысль высказывается съ какою-то прозаическою наготою. Нѣкоторыя измѣнены противъ оригинала очень неудачно, особенно «Величіе Вселенной». Шиллеръ говоритъ въ этомъ стихотвореніи не о величіи, а о великости, безконечности вселенной, die Grösse der Welt; что же до выполненія, то предоставляемъ самимъ читателямъ быть судьями въ этомъ дѣлѣ, и для того просимъ ихъ сравнить переводъ г. Струговщикова съ переводомъ г. Шевырева.

Но піесы Шиллера: «Крестоносцы», «Пегасъ» (впрочемъ, прекрасно переведенный), «Панорама Свѣта», «Фортуна и Мудрость», до такой степени не въ духѣ нашего времени, что нельзя похвалить ихъ выборъ. Особенно же удивилъ насть выборъ такихъ піесъ изъ Гёте, каковы: «Водвореніе правъ» и «Пляска мертвцевъ», особенно послѣдняя. Кому ее читать?— развѣ старой нянѣ дѣтямъ, для того, чтобы запугать ихъ фантазію чудовищными образами, порожденными невѣжествомъ? Взрослымъ смѣшны эти пустяки, въ какіе бы стихи ни были облечены они...

Къ чему также переведена изъ Уланда баллада — «Слуга Убійца»? Она уже была переведена Жуковскимъ въ то еще время, когда поэтическія бредни среднихъ вѣковъ были въ ходу, и переведена была превосходно. Сравнимъ первыя двустишія обоихъ переводовъ, — Жуковскаго:

Измѣнной слуга паладина убиль:  
Убійцѣ завидѣнѣ сань рыцаря быль.

Г. Струговщиковъ:

Завидѣнѣ слугъ господинъ.  
Слугою убить паладинъ.

Пиеса эта всѣмъ извѣстна по превосходному переводу Жуковскаго, и потому не выписываемъ ее всю. Слуга убилъ рыцаря, надѣль на себя его доспѣхи и, переѣзжая рѣку, утонулъ отъ тяжести панцыря. Какая мораль этой піесы?—Та, что слабосильный слуга, убивъ рыцаря, не долженъ надѣвать на себя его панцыри, изъ опасенія утонуть. И стояло такую нелѣпницу переводить дважды!...

Изъ антологическихъ піесъ г. Струговщикова многія прелестны и по мысли и по выполненію; но есть между ними и такія, которыхъ какъ-то странно видѣть въ печатной книгѣ: напримѣръ:

#### Совершенствованіе.

Какъ достигать совершенства? Этому учить растенье:  
Волей стремися къ тому, чѣмъ *мимо воли* оно.

Это что-то темновато! Не знаемъ, что хорошаго въ двустишіяхъ: «Тайна», «Гекзаметръ и Пентаметръ», «Претензія...

Странное впечатлѣніе производитъ на читателя манера г. Струговщикова обращаться съ старыми стихотвореніями, какъ будто съ написанными сегодня. Онъ переводитъ піесу Шиллера и пишетъ на нее отвѣтъ. Вотъ переводъ его «Антиковъ въ Парижѣ» и отвѣтъ на эту піесу:

#### Антики въ Парижѣ.

Что искусство создавало  
Въ вѣкъ Элады золотой,  
Забираетъ онъ, грабитель,  
Святотатственной рукой:  
Вѣковыми образцами  
Наполняетъ свой музей —  
И боговъ Олимпа  
Кажеть какъ трофеи.

Но они съ своихъ подножий  
На паркеты не сойдутъ

И въ сердца бессмертной жизни  
 Прометея не вздохнуть;  
 Тотъ лишь бога понимаетъ,  
 Въ комъ огонь его горить—  
 Музы и Хариты  
 Вандалу — гранить.

## Отвѣтъ.

Въ вѣкъ судбою обреченный  
 Въ жатву будущимъ вѣкамъ,  
 Шлетъ она, предтечей міра,  
 Изумленнымъ племенамъ  
 Сына съ волей необъятной,  
 Съ всеобъемлющимъ умомъ—  
 Неисповѣдимымъ  
 Онъ идетъ путемъ.

Онъ сооружаетъ съ царствомъ  
 Благо Франції своей,  
 И громъ полсвѣта ставитъ  
 Границы деспоту морей —  
 И грабитель изчезаетъ  
 Передъ геніемъ, какъ тѣнь  
 Мимолетной туки  
 Въ лучезарный день.

Не говоря уже о томъ, что неумѣстно и странно отвѣтить на вопросъ по истечениіи почти полувѣка,—отвѣтъ г. Струговщика совсѣмъ не приходится на вопросъ. Шиллеръ этой піесою не столько мѣтилъ въ грабителя, сколько во французскій народъ, который онъ хотѣлъ огласить варваромъ, Скиѳомъ въ дѣлѣ искусства. До некоторой степени Шиллеръ былъ правъ: Франція при Наполеонѣ до того, была исполнена грубо-солдатского духа, что чувство изящнаго должно было въ ней до времени притаяться и какъ бы изчезнуть, вмѣстѣ съ литературою и всѣми науками, развивающими въ человѣкѣ мыслительность: такъ нужно было самовластию цивилизованнаго Атиллы XIX вѣка. Ясно, что стихотвореніе Шиллера внушило минутою, обстоятельствами, по прекращеніи которыхъ оно потеряло

все свое значение. Г. Струговщиковъ въ отвѣтъ на него написалъ въ защищеніе цѣлой націи отъ несправедливаго навѣта одного человѣка, а апологію Наполеона, которая такъ же хорошо можетъ идти и къ Тамерлану, какъ и къ Наполеону. Къ чemu все это?

Страннымъ еще показалось намъ, почему изъ своего превосходнаго перевода Гётева «Прометея», г. Струговщиковъ помѣстилъ въ «Стихотвореніяхъ» тотъ небольшой отрывокъ, неимѣющій никакого интереса, а не всю піесу.

Въ заключеніе скажемъ, что книжка стихотвореній г. Струговщикова во всякомъ случаѣ пріятное явленіе въ нашей литературѣ. Правда, въ ней нѣтъ этого жгучаго, охватывающаго интереса, потому что нѣтъ ничего современнаго, жизненнаго, но все исключительно посвящено искусству. Это что-то въ родѣ академической антологіи, рядъ блестящихъ и прекрасныхъ замѣтокъ объ искусствѣ; это не поэзія жизни, но поэзія кабинета. Въ этомъ ея главный недостатокъ, но въ этомъ же и ея главное достоинство.

Книга издана прекрасно.

---

*на сонъ грядущій. Отрывки изъ вседневной жизни. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Изданіе второе. Спб. 1845.*

У насъ часто жалуются то на равнодушіе публики къ русской литературѣ, то на злонамѣренные, будто-бы, толки нѣкоторыхъ журналовъ, поддерживающіе въ публикѣ ея равнодушіе къ произведеніямъ роднаго слова. Справедливы ли эти жалобы? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ! Книжная торговля наша пала, публика на покупаетъ книгъ, — правда; да что же бы стала она покупать, если въ цѣлый годъ выходитъ едва

пять-шесть хорошихъ книгъ? И эти пять-шесть книгъ она раскупаетъ цѣлыми изданіями. Книга графа Соллогуба служить однимъ изъ многихъ доказательствъ этой истины. Повѣсти этого писателя всѣ первоначально помѣщались въ periodическихъ изданіяхъ, и тамъ были всѣ прочтены. Несмотря на то, когда онѣ были изданы отдельно, все изданіе тотчасъ же разошлось,—и вотъ теперь второй томъ «На Сонъ Грядущій» выходитъ вторымъ издашеніемъ, несмотря на то, что новаго, нигдѣ прежде напечатаннаго въ немъ было и есть только одинъ рассказъ, занимающій собою какихъ-нибудь 37 страницъ. Говорить о содержаніи этого тома мы не считаемъ нужнымъ, потому что въ свое время говорили о каждой шестѣ особенно. Прекрасный талантъ графа Соллогуба всѣмъ извѣстенъ, всѣми признанъ и не имѣть нужды въ похалахъ à propos.

И такъ, все хорошее по части литературы у насъ расходится. Откуда же эти вопли противъ людей, будто-бы съ умысломъ унижающихъ русскую литературу, непризнающихъ никакихъ достоинствъ въ-ея представителяхъ и тѣмъ самыемъ охлаждающихъ публику къ чтенію русскихъ книгъ? Гдѣ эти хулители, кто они?—А вотъ тѣ (отвѣтятъ вамъ иные), что бранятъ Державина, не признаютъ заслугъ Карамзина. Но нѣть никакой возможности повѣрить фактами этого обвиненія; вмѣсто браны и униженія, удивленный читатель нашелъ бы только уваженіе, основанное на сознаніи, оцѣнку строгую, но беспристрастную, отрицаніе заслугъ небывалыхъ и признаніе заслугъ дѣйствительныхъ. Итакъ, не вѣрьте этимъ крикамъ и воплямъ. Мнимые поклонники Державина и Карамзина думаютъ только о себѣ, прикрывая этими великими именами досаду своего мелкаго самолюбія. Не за то сердятся они, что не отдаютъ, будто-бы, должной справедливости Державину и Карамзину, а за то, что не хватать издѣлій ихъ собственной посредственности. Они кричатъ о мирѣ, о согласіи между

литераторами, какъ единственномъ вѣрномъ средствѣ возвысить русскую литературу, и для этого хотѣли бы составить литературную лигу, роль заговора на карманъ «почтеннѣйшей публики»: этотъ миръ и согласіе состояли бы въ томъ, чтобы литераторы выхвалили другъ друга, а публика раскупала бы ихъ сочиненія... Нѣтъ, мы не хотимъ такого мира, не будетъ у насъ мира съ посредственностью, шарлатанствомъ и торгаществомъ, и дурное мы всегда будемъ называть дурнымъ, такъ же какъ хорошее — хорошимъ,—и пусть клевета посредственности и бездарности изливается на нась безсильный ядъ свой...

---

**РОМАНЫ ВАЛЬТЕРА СКОТТА.** Томъ третій. АНТИКВАРІЙ. Съ послѣдними примѣчаніями и прибавленіями автора. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею А. А. Краевскаго. Спб. 1845.

Немного было въ русской литературѣ предпріятій, которыя были бы такъ интересны сами по себѣ и обѣщали бы столь прекрасныя слѣдствія, какъ этотъ переводъ романовъ Вальтера Скотта; и потому, вѣроятно, всякий пожелаетъ отъ всей души счастливаго окончанія этому изданію — окончанія не столько зависящаго отъ издателей, сколько отъ публики. Объ успѣхѣ его судить еще нельзя, потому что изданіе едва начато, и только въ дѣкабрѣ нынѣшняго года кончится первая его серія; и хотя, несмотря на выходъ «Квентина Дорварда» въ лѣтнюю пору, всегда глухую для нашей книжной торговли, этотъ романъ привлекъ къ себѣ много читателей,—однако, по обширности изданія заранѣе требующаго отъ издателей весьма значительныхъ издержекъ, только по выходѣ четвертаго романа,

«Гей-Менинга», можно будетъ предвидѣть успѣхъ или неуспѣхъ этого, по нашей литературѣ, огромнаго предпріятія, дѣлающаго истишную честь предпріимчивости г. Ольхина и его товарища, г. Жернакова. Впрочемъ, за успѣхъ тысяча вѣроятностей противъ неуспѣха. Вѣдь публика платила же по двадцати и болѣе рублей ассигнаціями за романы Вальтера Скотта, нерѣдко въ чудовищныхъ, безсмысленныхъ переводахъ, дурно изданныхъ. Теперь каждый романъ, совѣстливо и литературно переведенный съ подлинника, красиво, даже изящно напечатанный въ одной книжѣ, стоить семь рублей ассигнаціями, а для тѣхъ, которые купятъ цѣлую серію, обойдется по шести рублей двѣнадцати копѣекъ ассигнаціями. Вальтеръ Скоттъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые прочитываются разъ и потомъ навсегда забываются. Не одинъ разъ въ жизни можетъ человѣкъ возобновить невыразимое очарованіе впечатлѣній отъ чтенія романовъ Вальтера Скотта. Это не то, что знакомый вамъ писатель: это неизмѣнныи другъ всей вашей жизни, обаятельный бессѣда котораго всегда утѣшитъ и уладитъ васъ. Это поэтъ всѣхъ половъ и всѣхъ возрастовъ, отъ отрочества, едва начинающаго пробуждаться для сознанія, глубокой старости. Онъ для всѣхъ равно увлекательнъ и назидателенъ; чтеніе его романовъ, унося человѣка въ міръ роскошныхъ, хотя и дѣйствительныхъ явлений, проливаетъ въ его душу какое-то бодрое и вмѣстѣ съ тѣмъ кроткое, успокойтельное чувство; очаровывая фантазію, образовываетъ сердце и развиваетъ умъ, потому что поэзія Вальтера Скотта не эксцентрическая, не драматическая, не мечтательная и не болѣзненная: она всегда здѣсь, на землѣ, въ дѣйствительности; она—зеркало жизни исторической и частной. Для молодыхъ людей особенно полезны романы Вальтера Скотта: увлекая ихъ въ міръ поэзіи, они не только не отвлекаютъ ихъ отъ науки, но еще воспитываютъ и развиваютъ въ нихъ исто-

рическое чувство, безъ котораго изученіе исторіи бесплодно, пробуждаютъ въ нихъ охоту и страсть къ этому первому и величайшему знанію нашего времени.

---

**СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА.** *Біографія писана Н. А. Полевымъ.*  
*Іздание Д. П. Штукина. Спб. 1845.*

При жизни Державина и въ продолженіи двадцати - пяти лѣтъ, протекшихъ со дня его смерти, было только одно полное (и то не совсѣмъ) изданіе его сочиненій. Четыре первыя части были изданы самимъ имъ, въ 1808 году, пятая вышла въ 1816, который былъ годомъ его смерти. Сверхъ того, въ разныя времена были издаваемы отдѣльные сборники его стихотвореній, какъ-то: «Четалагайскія Оды»; «Анакреонтическія Оды»; «Иродъ и Маріамна», трагедія; «Лира Державина». Второе изданіе сочиненій Державина въ четырехъ томахъ, было напечатано г. Смирдинымъ въ 1831 году; оно же, безъ перемѣны, было перепечатано имъ въ 1834 году. Въ 1841 году, кончилось двадцатипятилѣтіе отъ смерти Державина, и право изданія сочиненій этого поэта сдѣлалось общимъ. Первый воспользовался имъ книгопродавецъ г. Глазуновъ: въ 1842 году, онъ напечаталъ четвертое изданіе сочиненій Державина, которое было полнѣе первыхъ трехъ тѣмъ, что въ него вошла трагедія «Иродъ и Маріамна». Теперь выходитъ пятое изданіе, напечатанное книгопродавцемъ г. Штукинымъ. Оно несравненно лучше первыхъ четырехъ. Во первыхъ, оно компактное, въ одной книгѣ, напечатанной въ два столбца, — выгода неоцѣнимая для публики: и дешевле и меньше мѣста занимаетъ. Потомъ, оно полнѣе всѣхъ прежнихъ изданий; въ него вошли: «Четалагайскія» (или Читалагарскія) Оды», которые считались потерянными, «Разсказъ Терамена» (изъ

Расина), «Ода на смерть Кутузова» и «Разсуждение о лирической поэзии». Не худо было бы, еслибы къ этому изданию приложены были. «Ключъ къ Сочиненіямъ Державина» (Спб. 1821) и «Объясненія на сочиненія Державина» (Спб. 1834), изданныя гг. Остолововымъ и Львовымъ. Говорятъ, у г. Бороздина, которому супруга Державина завѣщала всѣ бумаги своего мужа, хранится нѣсколько неизвѣстныхъ драмъ (вѣроятно, трагедій) и огромная тетрадь записокъ Державина; увѣряютъ даже, что г. Бороздинъ намѣренъ напечатать эти записи. Дай-то Богъ, чтобы это была правда! «Записки» Державина должны имѣть величайшій интересъ, какъ въ отношеніи къ его личности, столь мало еще знакомой намъ, такъ и въ отношеніи къ его времени, отъ которого теперь мы отдѣлены какъ-будто нѣсколькими вѣками, и которое, вѣроятно, не могло не отразиться въ нихъ съ болѣе или менѣе яркою истиной и вѣрностью. Немалую услугу окказалъ бы г. Бороздинъ русской литературѣ, если-бы, кстати ужъ, напечаталъ все, что у него есть, и что онъ можетъ достать изъ неизданныхъ сочиненій Державина, не принимая въ разсчетъ эстетического достоинства и руководствуясь только мыслію, что все, написанное Державинымъ, не можетъ не имѣть исторического интереса.

Если-бы г. Бороздинъ, къ общему ожиданію и удовольствію всѣхъ любителей русской литературы, выполнилъ это желаніе, котораго мы не смѣемъ назвать нашимъ, потому что оно принадлежитъ не однимъ намъ,—тогда, послѣ отдельного изданія «Записокъ» и новыхъ неизданныхъ сочиненій Державина, потребовалось бы шестое изданіе сочиненій великаго поэта Екатерининского времени. И еслибы это шестое изданіе было лучше напечатано и лучше редактировано, нежели пятое, то мы имѣли бы не только красивое, съ толкомъ сдѣланное, но и полное изданіе его сочиненій. Если мы сказали, что пятое изданіе лучше и полно четырехъ прежнихъ,—это вовсе еще

не значить, чтобъ оно было хорошо. Нѣтъ, оно очень далеко того, чтобъ быть хорошимъ! Во первыхъ, бумага сѣровата и толстовата; печать какая-то блѣдная, слѣпая, чтò и некрасиво и трудно для глазъ; буквы довольно заслуженные, т. е. довольно избитыя; орографія варварская: страница такъ и пестритъ невѣроятнымъ множествомъ безъ нужды наставленныхъ заглавныхъ буквъ. Въ послѣднемъ отношеніи, вотъ для примѣра два стиха:

Левъ именемъ — звѣринный Ц(ц)арь,  
Ты родомъ богатырь, сынъ Б(б)арскій.

Къ изданію приложенъ портретъ Державина, рисованный г. Жуковскимъ, и имъ же сдѣланный заглавный листъ, съ изображеніемъ гробницы Державина; въ началѣ книги политипажная виньетка съ картины Рафаэля, и въ концѣ изображеніе, памятника, воздвигаемаго Державину въ Казани. Портретъ, говорятъ, похожъ, гравированъ на стали, въ Лондонѣ, и съ этой стороны о немъ, кромѣ хорошаго, сказать нечего; но нарисованъ онъ плоховато. Политипажная виньетка въ началѣ книги, хотя и взята съ картины Рафаэля, но нисколько не соответствуетъ величию своего сюжета. Вотъ все, что относится до виѣшнихъ качествъ изданія; взглянемъ на внутреннія.

Въ корректурномъ отношеніи, мы уже указали на изобиліе безъ всякой причины, вопреки здравому смыслу натыканыхъ заглавныхъ буквъ; но не этимъ только ограничивается корректурное достоинство пятаго изданія сочиненій Держивина. Заглянувъ, между прочимъ, въ оду «на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи», мы вдругъ встрѣтили, въ девятой строфѣ, трехстопный стихъ:

«Какъ блещутъ чешуею».

Чтò такое? Заглядываемъ въ Смирдинское изданія 1831 года, и видимъ, что тамъ этотъ стихъ напечатанъ такъ:

«Какъ блещутъ *пестрой* чешуею».

Это одинъ только примѣръ корректурной исправности изданнаго г. Штукинымъ Державина; но, можетъ-быть, мы нашли бѣ такихъ примѣровъ и еще нѣсколько, если бы имѣли время внимательнѣе пересмотрѣть изданіе. Такъ какъ къ нему не приложено, въ концѣ, опечатокъ, то купившему его не мѣшаетъ имѣть и Смирдинское изданіе, чтобы прибѣгать къ нему для возстановленія пропусковъ и искаженій новаго изданія. Это также очень удобно и выгодно для покупателей...

Однимъ изъ важнѣйшихъ внутреннихъ недостатковъ этого изданія должно считать расположение піесь по родамъ. Вотъ что говорить объ этомъ г. Полевой, авторъ біографіи Державина:

«Многіе считаютъ хронологическія изданія самыми лучшими для твореній поэта. Мы можемъ изучить въ его изданіяхъ жизнь, и обратно въ его жизни его созданія, говорить намъ. Но не получите ли вы безобразнаго хаоса впечатлѣній изъ такого изученія, и не потеряете ли идеи поэта? Систематическое распределеніе, безспорно, представляетъ неудобство всякой системы — произволь, руководствующій систематика. Стараясь примирить обѣ крайности, мы представили для любителей хронологического порядка отдельный списокъ, гдѣ по возможности указано время сочиненія каждой піесы Державина, но въ самомъ расположеніи ихъ приняли слѣдующее раздѣленіе: стихотворенія духовныя, гдѣ вдохновляло поэта чувство вѣры и блажестіе христіанства. За ними, подъ именемъ поэтической лѣтописи, слѣдуютъ Фелица, три другія, принадлежащія къ ней стихотворенія, внушенныя Державину современными событиями, отъ Рожденія Порфирородного Отрока до взятія Парижа, и всѣ стихотворенія, писанныя въ разныи особамъ, изображающія частную жизнь и отношенія поэта. Потомъ слѣдуютъ отдѣленія: стихотворенія элегическія, сказки, поэтическія картины, стихотворенія сатирическія, антологическія, вакхическія, переводы и подражанія. За ними, подъ именемъ Поэтической Автобіографіи, собрали мы все что сказаль поэтъ о самомъ себѣ и жизни своей. Даѣ, мелкія стихотворенія, три драматическія сочиненія, прологи, описание праздника Потемкина, небольшая драматическая шутка. Все заключается разсужденіемъ о лирической поэзіи, двумя стихотвореніями, пропущенными въ другихъ изданіяхъ, и Читалагарсими Одами, напечатанными, безъ всякаго изиѣненія, съ изданія 1774 года» (стр. XIII).

Это дивное, хаотическое раздѣленіе показываетъ только желаніе хоть хитрить, да по своему; тутъ же, кстати, примѣ-

шалась и охота примирить романтизмъ съ классицизмомъ... Пора! Г. Полевой ужъ столько времени и съ такою ревностю подвизался за романтизмъ противъ классицизма, такъ жестоко бранилъ бѣдняжку-классицизмъ, — а вѣдь Богъ знаетъ за что: внутренно онъ съ нимъ вовсе не былъ во враждѣ! Это было какое-то странное недоумѣніе. Все дѣло стало изъ спора за слова, плохо понятыя, за нѣкоторыя виѣшнія формы. Отъ этого примиреніе совершилось очень естественно, само собою, почти безъ вѣдома г. Полеваго. Оно началось съ той эпохи, когда г. Полевой началъ нападать на Пушкина, кото-раго прежде превозносилъ. Восхвалялъ же онъ Пушкина за его первые опыты, отчасти и за его переходныя произведенія; то какъ скоро Пушкинъ сталъ великимъ поэтомъ, художни-комъ, мастеромъ во всемъ смыслѣ слова, — г. Полевой объ-явилъ, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка (т. е. отъ «Москов-скаго Телеграфа»), выписался, палъ, увлекшись ничтожною фѣтскою жизнью... Видите ли, какой это былъ романтизмъ! Удивительно ли, что, нѣкогда съ ожесточенiemъ нападая на Баттѣ и Лагарпа, теперь г. Полевой располагаетъ сочиненія Державина по штицѣ Аполлоса, классифириуетъ ихъ словно экземпляры произведеній минерального царства, подбирая одно къ одному по строгой системѣ, по родамъ и видамъ и снабжая каждый ярлычкомъ съ надписью и номеромъ?... Хронологиче-ское распределеніе пугаетъ его хаосомъ: въ самомъ дѣлѣ, есть чего испугаться тому, для кого не существуетъ единства въ раз-нообразіи! Въ хронологическомъ изданіи поэта, мы видимъ на чало, первые опыты его таланта, слѣдимъ за его развитіемъ, видимъ вліяніе на него современныхъ обстоятельствъ, слѣ-димъ за его собственнымъ развитіемъ; словомъ, видимъ поэта, человѣка и историческое лицо. Творенія его, въ такомъ изда-ніи, представляются намъ садомъ, который болѣе плѣняетъ своимъ разнообразіемъ, нежели наводитъ тоску мертвую пра-

вильностью. И у кого станет охоты и терпѣнія читать сплошь и рядомъ, напр., одни духовныя стихотворенія, или однѣ торжественныя оды? Жизнь слагается изъ разнообразныхъ впечатлѣній, а поэзія — зеркало жизни. Поэтъ пишетъ піэтическое стихотвореніе, и вслѣдъ за нимъ эротическое: какъ это дѣлается, какъ мѣшаются между собою такія противоположные впечатлѣнія, — намъ до этого нѣтъ дѣла; но что они мѣшаются — это фактъ. Другое дѣло отдѣлить въ авторѣ лирическія произведенія отъ эпическихъ, а эти — отъ драматическихъ, потому что смысь мелкихъ піесъ съ большими неестественнага.

Не говоря уже о томъ, что разделеніе г. Полеваго ложно, произвольно, сбивчиво и уродливо, оно еще невѣрно и самому себѣ. Къ «поэтической лѣтописи» отнесены піесы, писанныя Державинымъ къ разнымъ особамъ, изображающія частную жизнь и отношения поэта; кроме того, что онъ смѣшаны некстати съ піесами, внушенными Державину историческими современными обстоятельствами, — онъ безъ нужды отдѣлены отъ піесъ, въ которыхъ поэтъ говоритъ о самомъ себѣ и которыхъ помѣщены въ отдѣлѣ автобіографіи. Потомъ г. Полевой нашелъ у Державина элегіи, которыхъ тотъ никогда не писалъ и не могъ писать, потому что элегія есть по преимуществу романтическій родъ: она оплакиваетъ не смерть историческихъ лицъ, а горькія утраты поэта, только для него важная — смерть милой, друга, обманы страстей и надеждъ, и т. п. ея колоритъ и тонъ — чисто романтическія, а Державинъ былъ совершенно чуждъ романтизма. Даже «Водопадъ» попалъ у г. Полеваго въ разрядъ элегій! Ода на смерть Мещерскаго — это могущественное произведеніе скептическаго духа, эта страшная оргія отчаянія, въ которой все — вопль и вопросъ вмѣстѣ, но въ которой нѣтъ ни одного унылаго тона, ни одного задушевнаго звука, — эта ода тоже обратилась у

г. Полеваго въ элегію!... Замѣчательно также изобрѣтеніе г. Пелевымъ какихъ-то «поэтическихъ картинъ», къ которымъ онъ отнесъ піесы: «Ласточка», «Соловей», «Павлинъ», «Пѣничка», «Чечотка», «Радуга» и проч. Удивительная классификація! Тѣнь Тредьяковскаго должна возрадоваться: и самому почтенному профессору злоказенціи и хитростей пітическихъ не выдумать бы такой школьной и мелочной пітики!... И вотъ вамъ пятое изданіе сочиненій Державина: читайте, покупайте и восхищайтесь!...

Но самое поразительное изъ отрицательныхъ достоинствъ этого изданія составляютъ приложенная къ нему статья г. Полеваго: «Державинъ и его творенія». Это уже тысяча первый неудачный опытъ стараго журналиста, когда-то имѣвшаго въ русской литературѣ сильный голосъ и считавшагося отличнымъ критикомъ, удержать за собою право этого голоса и поддержать въ настоящее время идеи и взгляды, хронологически устарѣвшіе цѣлыми пятнадцатью годами, а исторически цѣлымъ полувѣкомъ. Но хуже всего въ этой статьѣ то, что ея авторъ позволилъ себѣ забыть важность предмета, о которомъ безъ оглядки принялъся судить и вкривь и вкось, и въ свои отсталыя сужденія о Державинѣ вмѣшалъ мелкую журнальную полемику, вслѣдствіе досадъ и огорченій, испытанныхъ имъ отъ успѣховъ нашего времени и отъ уроковъ, полученныхъ имъ отъ людей новаго поколѣнія. Извѣстное дѣло, что, вмѣстѣ съ г. Булгаринымъ и некоторыми другими старыми литераторами, г. Полевой видитъ въ Гоголя не больше, какъ безграмотнаго писаку, а въ его «Ревизорѣ» — грубый фарсъ. Положимъ такъ: всякий понимаетъ вещи какъ можетъ и какъ умѣетъ. Почему же и г. Полевому не понимать Гоголя по своему? Это вѣдь старая история: Карамзина молодое поколѣніе встрѣтило восторгомъ, а старое — бранью; Пушкина молодое поколѣніе встрѣтило чуть не идолопоклонствомъ, а ста-

рое — ожесточеною враждою. Почему же и Гоголю не раздѣлить участи такихъ людей, какъ Карамзинъ и Пушкинъ? — это доказываетъ только его великость, какъ поэта. И почему же г. Полевому не смотрѣть на Гоголя по-старчески? — это доказываетъ только его отсталость отъ вѣка и близорукость, какъ критика. Но вотъ что худо: зачѣмъ мѣшать Гоголя въ біографію Державина? зачѣмъ, восхваляя Державина, бранить Гоголя?... Это значитъ некстати вмѣшивать свою личность туда, гдѣ о ней не можетъ быть рѣчи, — досаду и раздраженіе, мелочныя и ничтожныя, прищѣплять къ великому имени... Это ли уваженіе и благоговѣніе къ имени Державина, которыя г. Полевой вмѣняетъ себѣ въ такую заслугу?... Вотъ что, между прочимъ, говоритъ онъ на VI-й страницѣ своей злополучной статьи: «Веревкинъ (директоръ Казанской Гимназіи, въ которой воспитывался Державинъ) учредилъ даже театръ, ибо и самъ онъ былъ драматическій писатель, и заставлялъ хохотать своимъ Такъ и Должно не менѣ Филатокъ и Ревизоровъ пынѣшнихъ»... Какъ! «Ревизоръ» наравнѣ съ Филатками! Но съ чѣмъ же, послѣ этого, можно сравнить «Парашу Сибирячку», Елену Глинскую», «Черезполосныя Владѣнія», «Ѳедосью Сидоровну» и другія изящныя произведенія, которыми досужество г. Полеваго обогатило сцену Александрынскаго театра?... Если «Ревизоръ» — «Филатка», то что же онѣ, эти піесы, эти побочные дѣти искусства, которыхъ народила досужая фантазія г. Полеваго?...

Но не однимъ этимъ достается Гоголю: увидимъ нѣчто получше; увидимъ, что и не одному Гоголю достается. Уже тысячу-тысячу разъ повторилъ г. Полевой, что «Пушкинъ смѣнилъ поэзію на прозу и увлекся ничтожною свѣтскою жизнію»: это же повторено и въ біографіи Державина (стр. IV). Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ Пушкинъ увлекся ничтожною

свѣтскою жизнью, а не увлекся великою мѣщанскою жизнью? Но на Пушкина г. Полевой не до конца разгневался: онъ говоритъ, что послѣ Державина у насъ былъ одинъ истинный поэтъ — Пушкинъ (стр. XIV). Полно те!... Но эти слова явно порождены скромностию автора статьи: иначе онъ нашелъ бы на Руси и третьяго «истиннаго» поэта: напримѣръ, хоть знаменитаго автора «Клятвы при Гробѣ Господнемъ», «Аббаддона», «Живописца», «Блаженства Безумія», «Параси Сибирячки», «Федосы Сидоровны» и другихъ во-истину поэтическихъ созданій...

Статья г. Полеваго раздѣляется на двѣ части: въ одной — собственно біографія Державина, въ другой — сужденіе о Державинѣ. За исключеніемъ пятень, о которыхъ мы говорили и которыми кой-гдѣ позапачкана біографія Державина, — она такъ себѣ, и за неимѣніемъ лучшей, годится. Вѣдь всякий пишетъ какъ можетъ и какъ умѣеть; должно быть снисходительнымъ. Но вторая, критическая часть статьи возбуждаетъ только состраданіе и жалость. Тутъ видно не одно отсутствіе опредѣленной, ясной, хотя бы и ложной мысли: тутъ видно желаніе и, въ то же время, безсиліе остановиться на какой-нибудь мысли. И усиливъ перекричать всѣхъ, и уступочки, и храброванье, и смиренномудрая боязнь, и брань на противниковъ и искаженіе ихъ мнѣній, и самодовольство, и много словъ, и мало дѣла, и въ заключеніе — ровно ничего... Наговоривъ много и не сказавъ ничего, авторъ, собравши съ силами и сдѣлавъ *tour de force* отчаянной храбрости, въ такихъ выраженіяхъ пускается на брань и полемику:

«Къ сожалѣнію, многіе критики наши, не понимая Державина, говорять иначе (т. е. не такъ, какъ говорить г. Полевой — именно, *къ сожаленію!*). Какъ безусловно хвалили его въ старину, какъ по ложной мѣркѣ классицизма размѣривали прежде его творенія, такъ нынѣ, когда обязанностью критика многіе считаютъ непремѣнное осужденіе, когда каждый предметъ, подвергнутый критическому воззрѣнію, многіе почитаютъ чѣмъ-то въ родѣ обвиненія

го, призванного къ допросу передъ прокурора журнального, и великая тѣнь Державина призывается къ пигмейскому суду, и осуждается по статьямъ мир-мидонского журнального уложения. Примѣры не далеко. Не упоминая именъ, вспомнимъ о критикѣ, который, послѣ долгаго мудрованія, осудилъ Державина за недостатокъ художественности, стоя на колѣнѣхъ передъ жалкими произведеніями новѣйшихъ романтиковъ (?), и съ восторгомъ разсматривая «онючую грязь какою-нибудь малограмотнаю романиста». Такія сужденія не стоили бы другаго отвѣта, кромѣ улыбки сожалѣнія, ибо время и безъ насъ смываетъ ихъ, какъ грязныя пятна, съ истинно великаго, но намъ жаль, если подобная близорукія сужденія увлекаютъ юное поколѣніе».

Читая эти строки, невольно думаешь, что читаешь выходки старыхъ поборниковъ такъ называвшагося въ старину «классицизма» противъ г. Полеваго, когда онъ ратовалъ за такъ называвшійся въ тѣ блаженныя времена «романтизмъ». Тотъ же слогъ, тотъ же языкъ, та же манера, тѣ же уловки и та же враждебность противъ всего новаго, противъ всякаго движенія впередъ, противъ всякаго успѣха! Напрасно же г. Полевой въ то время отцімалъ у своихъ антагонистовъ всякое дарованіе, всякую заслугу: вѣдь вотъ пригодились же они, пріилось же и ему теперь играть ихъ роль, которая тогда ему казалась такою жалкою! Но разберемъ сказанное г. Полевымъ.

Напрасно избѣгаешь онъ упоминать имена, особенно тамъ гдѣ они сами собою выставляются и бросаются въ глаза каждому, кто не слѣпъ. Мы скажемъ, о какомъ критикѣ-пигмѣ вспоминаетъ нашъ критикѣ-колоссъ, критикѣ-великанъ; скажемъ, передъ какими жалкими произведеніями и какихъ новѣйшихъ романтиковъ заставляетъ критикѣ-исполнинъ становиться на колѣни критика-пигмея; скажемъ, наконецъ, какую грязь и какого малаго грамотнаго романиста критикѣ-гигантъ заставляетъ съ восторгомъ разсматривать критика-пигмея. Разгадать все это очень нетрудно. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года, былъ напечатанъ критический разборъ сочиненій Державина, по случаю изданнаго г. Глазуновымъ собранія твореній этого поэта. Въ означенной

статьѣ, авторъ, или, если угодно, критикъ-пигмей, равно удаляясь отъ дѣтского, безочетно восторженного удивленія къ Державину, и отъ ложной гордости успѣхами современности,— гордости, которая мѣшаетъ отдавать должную справедливость заслугамъ прошедшаго, — попытался взглянуть на сочиненія Державина и съ эстетической и съ исторической точки зрѣнія. Результатомъ его изслѣдованій было то, что, со стороны естественнаго, непосредственнаго таланта, Державинъ—гораздо болѣе, нежели необыкновенный талантъ, что въ сочиненіяхъ его брызжутъ искры гениальности; но что эпоха, въ которую онъ жилъ, не могла ни воспитать такого таланта, ни дать бо-гатаго содержанія для его творческой дѣятельности, и потому сочиненія Державина, удивляя насъ страшною силою естественнаго таланта, мгновенными вспышками и проблесками гениальности, въ то же время бѣдны внутреннимъ содержаніемъ, часто до совершенной пустоты, мотивы ихъ вертятся на виѣшностяхъ и отзываются газетными реляціями; и что, наконецъ, почти ни одна піеса Державина не выдержана въ цѣломъ, не чужда риторики, и всѣ онъ бѣдны художественностью. Все это въ статьѣ было развито, на все приведены были до-казательства, скрѣпленные выписками стиховъ Державина. Статья была замѣчена публикою (которая давно уже привыкла только въ «Отечественныхъ Запискахъ» замѣтить критическая статьи, вѣроятно, по особенной любви ея къ критикамъ-пиг-меямъ, и по совершенному равнодушію къ критикамъ-исполи-намъ) и произвела большое волненіе въ литературномъ мірѣ, неумолкающее и теперь. Это естественно: успѣхи пигмееевъ особенно должны раздражать гигантовъ, на которыхъ никто не обращаетъ вниманія... Такъ вотъ о какомъ критикѣ-пигмѣѣ вспоминаетъ г. Полевой, есть критикъ-атлѣтъ! Въ «Отечест-венныхъ Запискахъ» съ вниманіемъ и любовью слѣдятся всѣ современные дарованія; но особенное ихъ вниманіе всегда было

обращено на два великия явления нашей эпохи—Лермонтова и Гоголя: знайте же, что передъ жалкими произведеніями этихъ-то двухъ современныхъ романтиковъ г. Полевой становить на колѣни критика-пигмея. Что же касается «до вонючей грязи какого-нибудь малограмматнаго романиста», знайте, что дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ Гоголя...». Еслибъ г. Полевої замѣтилъ намъ, что мы угадываемъ невѣрное,—мы готовы представить ему печатныя доказательства вѣрности нашихъ отгадокъ—именно, множество точно такихъ же фразъ самого г. Полеваго на счетъ Лермонтова, Гоголя вообще и его «Мертвыхъ Душъ» въ особенности,—фразъ, взятыхъ изъ «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ, мирно скончавшихся... Не считаемъ за нужное разувѣрять г. Полеваго въ его по-истинѣ достойномъ сожалѣнія мнѣніи о Лермонтовѣ и Гоголѣ: это былъ бы трудъ лишній; г. Полеваго не переувѣришь—ему уже поздно переучиваться; притомъ, къ безсильной отсталости надо имѣть снисхожденіе... Но пусть же его мнѣніе и говорить само за себя и за него: въ этомъ мнѣніи наше оправданіе и его обвиненіе...

Однако въ чёмъ же, скажите, вина критика-пигмея? гдѣ, съ его стороны, грязное пятно на русскую литературу? Нежели въ недостаткѣ художественности, который онъ находить въ сочиненіяхъ Державина? Вамъ это кажется несправедливымъ: докажите, и тогда уже бранитесь, если вы не можете не браниться... Странно! тѣмъ болѣе странно, что самъ г. Полевой съ голоса критика-пигмея, находить уже въ Державинѣ и недостатки, которыхъ прежде не находилъ, какъ-то: преобладаніе виѣшности, исключительное увлеченіе тѣми интересами и мнѣніями своего времени, которые теперь уже мертвы для насъ, и пр. Конечно, эти у критика-пигмея занятые мысли высказаны г. Полевымъ такъ робко и нерѣшительно, и смѣшаны съ собственными его фразами и возгласами такъ нѣ-

умѣстно, что ихъ и не замѣтишь съ первого взгляда; но все же г. Полевому слѣдовало бы быть нѣсколько попризнательнѣе къ критику пигмею. Г. Полевой уже въ другой разъ судитъ и рѣдитъ о Державинѣ, но въ этой послѣдней статьѣ уже меньше риторики и пустыхъ фразъ, въ родѣ: «потомокъ Багрина, въ его поэзіи разсыпаются брильянты, яхонты, сапфиры, рубины, топазы, бирюза» и т. п. И за это слѣдовало бы поблагодарить критика-пигмeya, вмѣсто того, чтобы ругать его ни за что, ни про чѣто...

Отдѣлавъ критика-пигмeya, г. Полевой бросается на г. Шевырева за его слова о Державинѣ, что «Россія вѣка Екатерины была Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камни, полуудикая, полуварварская, полу-грамотная» и что «такова поэзія Державина во всѣхъ ея красо-тахъ и недостаткахъ». Мы не поборники мнѣній г. Шевырева,—это всѣмъ извѣстно; но что касается до этого его мнѣнія, оно истинно и дѣльно въ высочайшей степени. Еслибъ г. Полевой принялъ его и за парадоксъ, — все-таки онъ долженъ бы былъ увидѣть въ немъ одинъ изъ тѣхъ парадоксовъ, которые можно опровергать, но надъ которыми не должно глумиться. Вмѣсто этого, г. Полевой «съ христіянскимъ смиреніемъ посыпаетъ критику отпущеніе въ невольномъ грѣхѣ его — не вѣсть бо что творитъ». Отдѣлавъ г. Шевырева, г. Полевой, чтобы лучше доказать свое благоговѣніе къ генію Державина, заключаетъ свою статью слѣдующею бранью на г. Галахова:

Какой-то литературуный судья сшилъ недавно *Русскую Хрестоматію*, въ послѣ сора и грязи, выметенныхъ изъ современной литературы, которые кажутся ему образцовымъ<sup>1)</sup> удостовѣрять нѣсколько стихотвореній Державина, отмѣтивъ ихъ какъ устарѣлые, звѣздочкиами. За такой подвигъ столло бы поставить звѣздочку на челеѣ собирателя *Хрестоматіи*.

<sup>1)</sup> Г. Галаховъ не помѣстилъ въ своей Хрестоматіи ни одного отрывка изъ «драматическихъ представлений» г. Полеваго.

Разумѣется, что подобная смѣлость уже не подходитъ подъ судъ здраваго смысла, но грустно думать, если собиратель Хрестоматіи назначалъ свою книгу для юныхъ читателей, и ему могутъ повѣрить не только они, но и учитель ихъ, не дерзающій сомнѣваться въ томъ, что напечатано (стр. XVI)».

Въ этомъ случаѣ, г. Полевой быль бы совершенно правъ, еслибъ только онъ умышленно не исказилъ факта. Г. Галаховъ, при изданіи своей «Хрестоматіи», имѣлъ въ виду только образцы правильнаго и чистаго языка, не болѣе, и потому въ нее законно могли войти піесы даже слабыя въ эстетическомъ отношеніи, но лишь бы замѣчательныя по правильности и чистотѣ языка. Можно оспоривать пользу подобнаго сборника; но нельзя не согласиться, что г. Галаховъ, желая быть вѣрнымъ идеѣ своего изданія, какова бы она ни была, былъ совершенно правъ, что, соблазнившись красотами нѣсколькихъ стихотвореній Державина, принялъ ихъ въ свой сборникъ и, чтобы загладить отступленіе отъ плана изданія; отмѣтилъ ихъ звѣздочками, «какъ устарѣлые по языку». Неужели же это преступленіе—назвать піесы Державина устарѣлыми по языку? Боже мой! изъ какихъ пустяковъ затѣялъ г. Полевой такую шумную исторію! Неужели это изъ благоговѣнія къ имени Державина? Нѣтъ, скорѣе изъ досады, изъ старой журнальной привычки къ журнальнымъ схваткамъ и перебранкамъ. А пора бы, кажется, оstepениться, и, вмѣсто того, чтобы играть роль задорливаго юноши, только что начинаящаго писать, пора бы показывать собою молодымъ людямъ примѣръ умѣренности,уваженія къ себѣ и другимъ, личнаго достоинства; пора бы изъ полемического гладіатора сдѣлаться литераторомъ, котораго литературное поведеніе соотвѣтствовало бы почтеннымъ лѣтамъ... А какой тутъ примѣръ для юношей: г. Полевой печатно, и притомъ вслѣдствіе должно представленнаго имъ факта, хочетъ поставить господину Галахову «звѣздочку на лбу»!... Послѣ этого, г. Галахову остается печатно

же изъявить желашіе поставить г. Полевому какіе-нибудь другіе знаки на какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ,— чего, впрочемъ, мы увѣрены, г. Галаховъ никогда не позволитъ себѣ сказать, изъуваженія къ самому себѣ, къ публикѣ и къ литературѣ...

Г. Полевой говоритъ, что двѣнадцать лѣтъ назадъ, онъ безпристрастно опредѣлилъ значеніе Державина въ русской литературѣ, и «имѣлъ наслажденіе видѣть, что съ выводами его согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ, большинство мнѣній,— имѣлъ счастіе слышать свое мнѣніе повтореннымъ другими, писавшими послѣ того о Державинѣ», и поэтому, не изъ ничтожнаго тщеславія осмѣливается считать свое мнѣніе не вовсе ошибочнымъ, и что, наконецъ, двѣнадцать лѣтъ размышленія и опыта жизни не измѣнили основной его мысли о Державинѣ.

Удивительное постоянство — надо согласиться! Однакожъ, его нельзя назвать безпримѣрнымъ: Мерзляковъ (умершій въ 1830 году) тоже въ двѣнадцать (даже больше) лѣтъ не измѣнилъ своего мнѣнія, что Ломоносовъ выше Пушкина; Каченовскій оставался вѣренъ этому мнѣнію лѣтъ двадцать слишкомъ. И эти люди имѣли еще то преимущество передъ г. Полевымъ, что знали, въ чёмъ состоится ихъ мнѣніе... Въ статьѣ г. Полеваго о Державинѣ, написанной имъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, кроме «потомка Багрима, щедрою рукою разсыпавшаго въ своей поэзіи разныя ювелирскія издѣлія», и тому подобныхъ фразъ, доказывавшихъ безотчетный восторгъ, — ничего другаго не было. Но съ нею, говорить онъ, согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній: правда ли это? Вѣдь когда-то г. Полевой сказалъ же, что «онъ знаетъ Русь и Русь знаетъ его»; а вѣдь оказалось же, что это знакомство было только шапочное, — плачевное обстоятельство, вслѣдствіе котораго «Исторія Русскаго Народа» не могла достигнуть вожделѣннаго конца и остановилась на серединѣ. Но положимъ, что многіе

и согласились съ статьею г. Полеваго, такъ какъ другой тогда не было: но вѣдь это было двѣнадцать лѣтъ назадъ; много воды утекло, многое измѣнилось въ двѣнадцать лѣтъ; публика стала не та и не тѣ стали ея требованія. «Телеграфъ» давно уже забытъ: его помнить только тѣ, которыми нужно заглядывать, для справокъ даже въ «Вѣстникѣ Европы»... Но видно, самолюбіе писателей похоже на самолюбіе кокетокъ: ни тѣ, ни другія никогда не признаются въ старости... Мнѣній г. Полеваго о Державинѣ никто не повторялъ, потому что послѣ того никто не писалъ о Державинѣ: этотъ фактъ изобрѣтенъ авторскимъ самолюбіемъ.

Но довольно; вспомнимъ русскую пословицу о лежачемъ, и оставимъ г. Полеваго въ покое, чтобы сказать нѣсколько словъ о предметѣ гораздо поважнѣе — о самомъ Державинѣ.

Державинъ истинно великий поэтъ, но въ возможности, а не въ дѣйствительности. Природа создала его гениемъ, но эпоха, въ которую онъ жилъ, обрѣзала ему крылья: видимъ могучій взмахъ, видимъ смѣлые и быстрые порывы въ небо, но ровнаго и спокойнаго паренія не видимъ: взлетитъ — и опустится, упадетъ — и опять ринется вверхъ... Если ужъ пошло на сравненія, Державинъ — могучій дубъ, котораго вершина должна бы уйтти wysoko въ небо, а широкія вѣтви покрыть густою тѣнью необъятное пространство, но который никогда не могъ развиться до размѣровъ и до могучей красоты, назначенной ему природою, потому что корни его встрѣтили каменистую почву, которая не дала имъ ни углубиться, ни найти для себя достаточнаго питанія. Какъ! — скажутъ — блестящее царствованіе Екатерины II было безплодною почвою для поэзіи?... Отвѣчаемъ: царствованіе Екатерины II потому и было велико и плодотворно для русской земли, что оно первое приготовило почву для всѣхъ благоуханныхъ и раскошныхъ цвѣтовъ гражданственности и общественности, слѣдовательно и поэзіи; поэзія и не замед-

лила явиться въ благословенное царствование Александра I, на закатѣ котораго она развернулась, въ лицѣ Пушкина, пышнымъ цвѣтомъ. Все на свѣтѣ начинается не съ середины и не съ конца, а съ начала: истина простая, но въ приложеніи немногими понимаемая. Посредствомъ извѣстнаго химическаго раствора, до невѣроятной степени можно ускорить выходъ изъ земли и развитіе нѣкоторыхъ растеній; но для гражданственности, общественности и поэзіи нѣтъ такого химическаго раствора. Екатерина II именно тѣмъ и много сдѣлала для внутренней жизни Россіи, что многое начала, не торопясь видѣть результаты своихъ начинаній. Она могла способствовать началу, возникновенію русской литературы, но русской литературы создать не могла, хотя русская литература и обязана своимъ быстрымъ развитіемъ тѣмъ попеченіямъ, которыя великая монархія прилагала о ея возникновеніи. Литература и поэзія — растенія, которыя требуютъ, чтобы для нихъ была приготовлена почва, потомъ положены въ нее зерна, и тогда они сперва всходятъ стебелькомъ, потомъ опушаются листомъ, потомъ долго растутъ прежде, нежели дадутъ цвѣтъ и плодъ. Тутъ скачковъ не можетъ быть.

И вотъ, этотъ-то законъ постепенности и послѣдовательности въ развитіи осудилъ Державина не достигнувъ полнаго обладанія огромными силами, данными ему природою. Въ его время не было и не могло быть истиннаго понятія о поэзіи уже потому только, что не было въ обществѣ потребности въ поэзіи. О ней тогда знали только чрезъ Ломоносова, и то потому, что она обратила на него вниманіе и милости монарши и изъ низкаго званія довела его до большихъ чиновъ. Еслибъ въ то время за стихи не давали чиновъ, о стихахъ никто и знать не хотѣлъ бы... Сами поэты того времени понимали поэзію, какъ воспѣваніе, въ смыслѣ восхваленія сильныхъ земли, и поэзія была риторикою. Такъ понималъ ее и Державинъ, съ чувст-

вомъ смиренія удивлявшійся паренію Ломоносова, Хераскова и даже Петрова. Чѣмъ дало Державину известность и славу въ тогдашней Россіи: его талантъ, его гений, его творенія—Нисколько! На него обратила вниманіе Императрица, которую «Фелица» его восхитила до слезъ; онъ получилъ отъ Фелицы драгоценную табакерку съ червонцами; онъ, бѣдный, ничтожный дворянинъ и чиновникъ, вскорѣ послѣ того былъ представленъ Императрицѣ, которая, проходя мимо его остановилась, пристально на него посмотрѣла и молча дала ему поцѣловать свою руку. Этого было достаточно, чтобы все и все признали стихи Державина за геніальныѣе произведеніе, каковы бы эти стихи не были... Какая же поэзія могла быть въ такомъ обществѣ и на что ему была поэзія? О Державинѣ заговорилъ дворъ, и гуль этого говора болѣе или менѣе отозвался глухо тамъ и сямъ въ среднемъ дворянствѣ и ученомъ классѣ. Достоинство стиховъ Державина измѣряли важностю данныхъ ему наградъ, гений мѣряли чиномъ... Но развѣ, скажутъ намъ, это Державину могло мѣшать быть геніемъ и писать геніальные стихи: вѣдь его поэтомъ сдѣлала природа, а не общество? — Такъ; но въ томъ то и худо, что только природа участвовала въ его художественномъ образованіи, а тогдашнее общество только убивало въ немъ талантъ и мѣшало ему развиваться. Поэтъ столько же зависитъ отъ общества, сколько и отъ природы: и какъ одно общество безъ приоры, такъ и природа безъ общества не могутъ создать полнаго поэта. Державинъ служить самыемъ блестящимъ и самыемъ разительнымъ доказательствомъ этой истины. Г. Полевой какъ-будто ставитъ Державину въ вину, что въ немъ всю жизнь его чиновникъ боролся съ поэтомъ, и что онъ, во чѣмъ бы ни стало, хотѣлъ быть дѣловымъ человѣкомъ и бросалъ поэзію для приказныхъ бумагъ. Мы, напротивъ, нисколько не винимъ въ этомъ Державина, потому что онъ не могъ иначе чувствовать, мыслить и дѣйствовать, и ему дѣляетъ

великую честь то, что въ немъ, наконецъ, поэтъ побѣдилъ чиновника, хотя и поздно. Еще и теперь, въ наше время, когда правительство давно уже затрудняется не наборомъ чиновниковъ, а ихъ излишествомъ, когда на каждое самое ничтожное мѣсто является по сту кандидатовъ и искателей, и когда деньги смѣло уже соперничествуютъ съ чиномъ,—и теперь, говоримъ мы, кто не служить, не имѣть чина, на того всѣ смотрятъ съ такимъ удивленіемъ и такимъ любопытствомъ, какъ стали бы смотрѣть на человѣка, который лѣтомъ, въ жары, ходить въ медвѣжьей шубѣ, а зимою босикомъ, въ одной рубашкѣ... Вотъ какіе глубокіе корни пустила бюрократія въ русскую жизнь, вотъ какъ хорошо принялась на русской почвѣ германская табель о рангамъ!... Что же въ этомъ отношеніи, должно было быть во времена Державина? Тогда никакой геній, какъ бы онъ ни былъ огроменъ, не могъ имѣть къ себѣ ни малѣйшаго уваженія до тѣхъ поръ, пока не видѣлъ себя въ чинѣ по крайней мѣрѣ статского совѣтника... И это очень просто, очень естественно. Развѣ Байронъ, этотъ либеральный поэтъ, не гордился своимъ аристократическимъ происхожденіемъ болѣе, нежели своимъ поэтическимъ геніемъ? А почему?—потому что онъ былъ Англичанинъ. Какъ же было Державину не увлечься общею заразою чиновничества? Человѣку невозможно жить безъ людей, а подъ какимъ званіемъ вошелъ бы въ ихъ кругъ Державинъ—неужели подъ званіемъ поэта? Но тогда такого званія не было, а если и было, то чѣмъ-то похожимъ на званіе шута, или скомороха. Званіе же чиновника тогда не только было, но и находилось въ почетѣ: и вотъ, чтобы войдти къ людямъ и выйті въ люди, Державинъ захотѣлъ быть чиновникомъ. Не самъ ли бiографъ Державина говоритъ: «Дивились, что дѣла поручаются пiйтѣ, стихоплету, или, какъ они себя великолѣпно называютъ,—говоритъ Кургановъ въ своемъ Письмовнику: стихотворцу, и что чины и деньги даютъ—

за стихи» (стр. IX). Чѣмъ же званіе шута, или скомороха было тогда выше званія поэта?..)

Этотъ духъ чиновничества, насквозь проникавшій тогдашнее общество, наложилъ свою печать и на поэзію Державина. Это поэзія хвалебная, воспѣвателнаа, преисполненная богами и полубогами, которые теперь все сдѣлялись простыми людьми, а некоторые и вовсе забыты. Это поэзія исполненная аффекціи, искрення въ отношеніи къ самому, поэту, но лицемѣрная въ отношеніи къ эпохѣ, — этой эпохѣ меценатовъ, милостивцевъ, поклонниковъ и прихлебателей. Это поэзія риторическая, криклива до хрипоты и надрыва груди, поэзія, разсужденавшая въ стихахъ и располагавшая торжественные оды по правиламъ схоластической дессертаціи. Пусть критики-исполнены нашего времени, говорять, что, при извѣстіи о взятіи Измаила, Державинъ грянулъ одою: мы, критики-пигмеи, только съ трудомъ можемъ дочитывать до конца эту длинную «похвальную рѣчь въ стихахъ», где, въ видѣ риторики, фосфорическимъ блескомъ всыхиваютъ мѣстами искры поэзіи. Пусть люди, привыкшіе по преданію видѣть въ одѣ «Богъ» какое-то колоссальное произведеніе, величаютъ Державина пѣвцомъ Бога; но мы въ этой одѣ видимъ много виѣшиаго блеска, хорошие по своему времени стихи, больше же всего холодной декламаціи. Пѣвецъ «Водопада», — другое дѣло! Тутъ Державинъ великъ. Многіе не знаютъ какъ и восхвалить Державина за «Оду на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи»: а между тѣмъ, что въ ней? — сперва резонѣрство въ холодныхъ стихахъ, потомъ не совсѣмъ вѣрныя и живыя (даже поэтически) картины Кавказа. Что такое, напримѣръ, эти стихи:

Ты видѣлъ, какъ въ стечи средь зною  
Огромныхъ змѣй стога кишать,  
Кавъ блещутъ пестрой чешую  
И лютѣ, шипя, друзъ въ друга яд.

Въ тѣ времена поэту не было никакого дѣла до дѣйствительности; онъ опирался только на свою фантазію. Чѣмъ ему за дѣло, что Кавказъ — не Индія, и въ немъ нѣтъ огромныхъ змѣй, что змѣи нигдѣ не кишатъ стогами, что въ стога складывается только сѣно, и что змѣи никогда не забавляются переливаниемъ яда другъ въ друга? Но возьмемъ піесу «Русскія Дѣвшушки». Не будемъ ея выписывать — она и такъ слишкомъ всѣмъ извѣстна, потому что написана прекрасными стихами. Если вы видѣли въ деревняхъ «рussiйскихъ дѣвшушекъ», то знаете, какъ граціозно онѣ пляшутъ, и знаете, что онѣ пляшутъ не въ башмачкахъ, а въ котахъ, а иногда и въ лаптяхъ, въ сарафанахъ, которые вовсе не граціозно перерѣзываютъ поперегъ имъ грудь, съ головами, умащенными коровьимъ масломъ, съ красными и заскорузлыми руками, незнакомыми съ мыломъ; знаете, какъ богаты онѣ «златыми лентами» и «драгими жемчугами»; знаете, что такое «russiйскій» пастушокъ и его свирѣль: сравните же то, что вы знаете, съ тѣмъ, что описалъ Державинъ, и въ восторгѣ воскликните, вмѣстѣ съ нимъ, къ Анакреону:

Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,  
Ты бѣ Гречанокъ позабылъ,  
И на крыльяхъ сладострастныхъ  
Твой эротъ прикованъ былъ.

Несчастный Анакреонъ, счастливый Державинъ!...

И, однажды, Державинъ въ свое время все-таки былъ великій поэтъ: чѣмъ бы онъ былъ, еслибы явился въ наше время? Время много значить, но при талантѣ природномъ. Тредьяковскій и въ наше время былъ бы плохимъ поэтомъ. Державинъ кропаетъ плохіе стихи, смиренно удивляется недостижимому генію Ломоносова и Хераскова, — и вдругъ решается проложить себѣ особый путь, и пишетъ «Фелицу», произведеніе до того самобытное и оригинальное, исполненное ума и

поэтической грации, что эстетики сбились съ толку, не зная, къ какому роду сочиненій отнести его. Для «Фелицы», Державину не было образцовъ ни въ русской и ни въ какой другой литературѣ. Кикъ бы онъ много выигралъ, еслибы никогда не сходилъ съ «своего особаго пути!» Но на одной струнѣ не много наиграешь, а другихъ не было. Да и не такое тогда было время, чтобы поэтъ могъ всегда идти своею дорогою, не забѣгая на чужія: Державинъ, этотъ колосъ не только въ сравненіи съ какимъ-нибудь Херасковымъ, но и съ самимъ Ломоносовымъ никогда не переставалъ смотрѣть на нихъ, какъ на высшіе образцы.

И удивительно ли это, если Дмитріевъ, поэтъ уже другаго несравненно болѣе образованнаго поколѣнія, сказалъ о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца въ зонлахъ ноютъ;  
Хераскову они вреда не нанесутъ;  
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ  
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Все это доказываетъ только, что поэзія не является вдругъ готовою: поэзіи нужно время для развитія. Державинъ былъ только первымъ ея проблескомъ и провозвѣстникомъ на Руси. Дѣлаемое г-мъ Полевымъ раздѣленіе поэтовъ на истинныхъ и ложныхъ совершенно произвольно. Ложный поэтъ такое же ложное выраженіе, какъ и холодный огонь, сухая вода. Одинъ поэтъ можетъ быть выше, другой ниже, и такъ до безконечности; но какъ бы ни малъ былъ поэтъ, онъ уже не ложный поэтъ, если только онъ поэтъ. И потому, мы никакъ не можемъ согласиться съ г. Полевымъ, чтобъ на Руси было два поэта — Державинъ и Пушкинъ. Мы считаемъ поэтами (само собою разумѣется, истинными) не только Крылова, Жуковскаго и Батюшкова, но Хемницера, Фонъ-Визина, Карамзина, Дмитріева, Озерова, и думаемъ, что русская поэзія, послѣ

Державина, должна была пройти чрезъ всѣхъ ихъ, чтобы дойти до полнаго своего развитія въ Пушкинѣ. По нашему, Державинъ, это—Пушкинъ, не перешедшій черезъ рядъ поименованныхъ нами поэтовъ и черезъ поколѣнія, которыхъ они были выразителями; Пушкинъ, это — Державинъ, перешедшій черезъ нихъ. Разумѣется, этого сравненія, сдѣланнаго для поясненія нашей мысли, нельзя принимать буквально, уже и потому, что Пушкинъ, и въ отношеніи къ естественному таланту, былъ выше, глубже и многостороннѣе Державина: его талантъ обнималъ и лирику, и эпопею, и драму, и во всѣхъ странахъ мѣрабылъ у себя дома. Вспомните «Галуба», «Каменного Гостя», «Египетскія Ночи», «Мѣднаго Всадника», «Русалку», «Сцену изъ Фауста», «Моцарта и Сальери», «Пиръ во время Чумы», опыты восточной поэзіи, антологическая стихотворенія: — какое разнообразіе!...

Если у Державина нѣть ни одной піесы, которая была бы художественна, т. е. вполнѣ выдержанна, т. е. во время и на мѣстѣ заключена, окончательно отдѣла на, чужда прозаическихъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, охлаждающихъ чувство читателя, чужда риторики, неточныхъ словъ и фразъ, всего лишняго; если у него такъ много піесъ на половину хорошихъ, на половину плохихъ, и еще больше совершенно плохихъ,—въ этомъ, повторяемъ, виноватъ не онъ, а его время; это происходило не отъ слабости таланта, а отъ времени. На долю Державина выпало неудобство быть начищающимъ и явиться въ неблагопріятное для поэзіи время: вотъ причина всѣхъ недостатковъ его поэзіи, тогда какъ всѣ ея красоты принадлежать одному ему и составляютъ его неотъемлемую заслугу.

Но какъ бы то ни было, теперь его уже не читаютъ; теперь его поэзія болѣе предметъ изученія, нежели наслажденія. И въ этомъ отношеніи, онъ вполнѣ поэтъ классиче-

скій: немного есть писателей (и не у однихъ нась), изученіе которыхъ можетъ быть такъ поучительно для юношества. Таково свойство генія: его недостатки такъ же поучительны, какъ и достоинства. Только для изученія Державина, одна эстетическая точка воззрѣнія никуда не годится; его должно изучать и съ эстетической и съ исторической точки зрѣнія.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ благомыслящихъ людей: что въ нашемъ сужденіи о Державинѣ, еслибъ даже оно было и совершенно ошибочно и ложно, что въ немъ оскорбительного его памяти Державина и для чести русской литературы, какъ угодно находить его нашему критику, г. Полевому?...

*СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ, книжка третья, составленная княземъ  
В. Ф. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Спб. 1845.*

«Сельское Чтеніе» составляетъ собою эпоху въ исторіи едва начинающагося у насъ образованія низшихъ классовъ. Правда, книжка эта уже не первая попытка заохотить простой народъ къ чтенію; но это первая удачная попытка въ этомъ родѣ. Можна указать еще на «Письмовникъ Курганова», разошедшийся по Россіи въ числѣ, можетъ-быть, тоже не одного десятка тысячъ экземпляровъ; но то была книга не для низшихъ собственно классовъ, а для всего полуграмотнаго міра, заключавшаго въ себѣ и дворянъ, и чиновниковъ, и купцовъ, и мѣщанъ, но не поселянъ. Успѣхъ «Письмовника» былъ основанъ не на цѣли и удачномъ ея достижениіи, а на необразованности тогдашняго читающаго люда. Онъ не былъ приоровленъ къ понятіямъ или потребностямъ какого-нибудь класса общества, но былъ изданъ, какъ книга веселая, съ рассказами и анекдотами,—и полезная, съ чѣмъ-то въ родѣ энциклопедического из-

ложењія нѣкоторыхъ знаній; онъ былъ больше вульгаренъ, не-жели народенъ, и потому успѣль необычайно и принесъ много пользы.

«Сельское Чтеніе»—несмотря на его огромный успѣхъ, основанный на достоинствѣ содержанія и изложенія,—и теперь отнюдь не исключаетъ потребности новаго «письмовника», составленного сообразно съ успѣхами нашего времени; но этотъ новый «письмовникъ» уже не долженъ быть ни столь специальнымъ, какъ «Сельское Чтеніе», ни столь универсальнымъ, какъ Кургановскій письмовникъ: подобно послѣднему, онъ долженъ быть изданъ для мало-образованныхъ, полуграмотныхъ, но въ будущемъ образованіи которыхъ не предполагается никакихъ опредѣленныхъ границъ. Здѣсь разумѣются люди, которымъ нужна не столько ученость, сколько образованность, и которые, по неимѣнію средствъ, не иначе могутъ обозоваться, какъ черезъ собственные усилия, посредствомъ чтенія. И цѣль такого нового письмовника должна состоять не въ томъ, чтобы образовать этихъ людей, но въ томъ, чтобы помочь имъ образоваться, направивъ ихъ вкусъ въ чтеніи, оторвать ихъ отъ «Еруслана Лазаревича» и романовъ Орлова, познакомивъ ихъ съ произведеніями литературы, на первый случай, по содержанію, доступными уму неразвитому, но въ то же время отличающимся высокимъ литературнымъ достоинствомъ. Это долженъ быть огромный альманахъ, раздѣленный на двѣ части: энциклопедію наукъ, искусствъ, ремеслъ, открытій и т. д., и на бельетристику—повѣсти, сказки, рассказы, стихотворенія, анекдоты, и т. п. Все это не должно быть ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко: тутъ не должны быть сочиненія въ родѣ «Фауста», «Манфреда», «Моцарта и Сальери», «Цыгансъ» и т. п.; но почему бы не войти туда, напримѣръ, «Полтавѣ» и «Русалкѣ» Пушкина? Энциклопедія должна быть изложена языкомъ самымъ простымъ и яснымъ, но столько же

не простонароднымъ, сколько и не книжнымъ. Если къ этому будутъ призваны на помощь политицажи,—это могущественное средство для распространенія популярнаго образованія: какая бы это вышла книга для чтенія купцовъ, мѣщанъ, и даже людей, принадлежащихъ къ нѣсколько вышему противъ нихъ классу, но не болѣе ихъ образованныхъ!

«Сельское Чтеніе»—изданіе чисто специальное, и въ этомъ его великое достоинство. Оно назначено для крестьянъ земледѣльцевъ и приоровлено къ ихъ быту и потребностямъ. Были и прежде «Сельского Чтенія» опыты для такого рода изданій; люди, бравшиеся за нихъ, не имѣли никакого понятія о низшихъ классахъ, и потому опыты ихъ не имѣли никакого успѣха. Нѣкоторые, взманенные успѣхомъ «Сельского Чтенія», начали издавать книжки въ этомъ родѣ, думая, что вѣдь барину легко учить мужика; но вышло иначе: спекуляція осталась спекуляціею, и печатный вздоръ пошелъ на растопку печей. Колossalный успѣхъ «Сельского Чтенія» основанъ былъ на глубокомъ знаніи быта, потребностей и самой натуры русскаго крестьянина, и на талантѣ, съ какимъ умѣли издатели воспользоваться этимъ знаніемъ. Поэтому, въ два года разошлось до тридцати тысячи двухъ первыхъ книжекъ «Сельского Чтенія». Подобный успѣхъ имѣть великое значеніе, свидѣтельствуя, что издатели «Сельского Чтенія» умѣли угадать, что нужно для чтенія простому народу, а во всякомъ важномъ дѣлѣ, для котораго не было прежде образца, въ томъ то и состоить все дѣло, чтобы угадать...

О первыхъ двухъ книжкахъ мы говорили въ свое время; теперь поговоримъ о третьей. Какъ и въ первыхъ двухъ, въ ней статьи раздѣляются на два разряда: статьи (большею частію въ разсказахъ) нравственнаго содержанія, и статьи, до быта и хозяйства крестьянскаго касающіяся. Тѣ и другія равно необходимы, потому что нравственность тѣсно связана съ мате-

ріяльнымъ бытомъ, и успѣхъ одной невозможенъ безъ успѣха другаго. Крестьянинъ, котораго жилище не лучше хлѣва, который раздѣляетъ его съ домашними животными, и который дурно одѣтъ, дурно ъстъ, — такой крестьянинъ не можетъ быть нравственнымъ человѣкомъ: если онъ и не воръ, то лѣнтий, и во всякомъ случаѣ существо оскотинившееся. Добродѣтель въ нищетѣ есть явленіе исключительное, достояніе тѣхъ сильныхъ организацій, тѣхъ энергическихъ характеровъ, которые такъ же рѣдки, какъ и гений. Добродѣтель гораздо хуже уживается съ нищетою, чѣмъ съ чрезмѣрнымъ богатствомъ, хотя она и рѣдка въ богатствѣ. Съ другой стороны, если крестьянинъ живеть чисто и въ довольствѣ, будучи безнравственнымъ человѣкомъ, — его благосостояніе выгодно только для него самого, но не для общества, — не говоря уже о томъ, что оно не всегда прочно. Изъ этого двоякаго рода статей въ «Сельскомъ Чтеніи», самъ собою, по законамъ необходимости, выходитъ третій рядъ статей, которыя способствуютъ развитію интеллек-туальности и знакомятъ крестьянина съ понятіями и фактами, доселѣ вовсе ему недоступными. Чтобы научить его обращаться съ хлѣбомъ и травою, необходимо познакомить его съ свой-ствами растительнаго царства вообще; слѣдовательно, иѣкото-рымъ образомъ ввести его въ созерцаніе природы, въ міръ естествознанія. Такова статья г. Заблоцкаго въ третьей книжкѣ «Сельского Чтенія» — «О томъ, что такое растеніе, какъ оно живеть и чѣмъ оно питается». Жалѣемъ, что не можемъ по-знакомить съ нею нашихъ читателей: безъ выписокъ этого слѣ-дить нельзя, а вырывать ее клочками, только портить: ее надо читать всю. Это образецъ яснаго изложенія, вполнѣ доступнаго для крестьянина, понятій не совсѣмъ общихъ и не такъ-то про-стыхъ! Такова же статья князя Одоевскаго: «Что такое вы-ставка сельскихъ произведеній, на что она, и какая отъ неї польза, и что было на прошедшей выставкѣ». Это лучшая ста-

ты въ третьей книжкѣ «Сельского Чтенія». Послѣ нихъ замѣчательны статьи: «Разсказъ дяди Иринея о томъ, что вокругъ человѣка, и о человѣкѣ» князя Одоевскаго; «О томъ, какъ съ домашнею скотиною надобно обращаться» г. Заблоцкаго и «Записки для памяти» князя Одоевскаго.

Изъ нравственныхъ разсказовъ особенно замѣчательны два: «Какъ дядя Ириней разсказывалъ о томъ, что такое чистота и къ чему она пригодна» князя Одоевскаго, и «Нечистая Сила» графа Соллогуба. Первая особенно важна тѣмъ, что она имѣеть цѣллю искорененіе гибельнаго и наиболѣе свойственнаго русскому простонародью порока — неопрятности. Впрочемъ, опрятность и у городскихъ нашихъ жителей не можетъ считаться особенною добродѣтелью. Баня и чистая рубаха въ субботу — у нашего простонародья больше какой-то обрядъ, какой-то мистической долгъ, какъ омовеніе у мусульманъ, нежели требованіе опрятности и чистоплотности, не говоря уже о томъ, что перемѣна бѣлья одинъ разъ въ недѣлю — плохая опрятность. И потому, въ такой книгѣ, какъ «Сельское Чтеніе», особенно надо дорожить статьями, когда, будучи хорошо написаны, они имѣютъ предметомъ искорененіе не общихъ, всѣмъ людямъ равно свойственныхъ недостатковъ, а пороковъ, составляющихъ какъ-бы исключительную болѣзнь класса, для котораго издается «Сельское Чтеніе». Такие пороки суть: пьянство, неопрятность, лѣнь, непредусмотрительность и авось, которое простой народъ иронически называетъ а воськой. «Нечистая Сила» — мастерской разсказъ графа Соллогуба, удачно воспользовавшагося известнымъ анекдотомъ, чтобы сдѣлать изъ него столько же занимательную, сколько и поучительную для простыхъ умовъ повѣсть.

Послѣ нихъ, можно указать на разсказы: «Отчего крестьянинъ Демьянъ себѣ ноги оз nibиль и навѣкъ калекой пошелъ» князя Одоевскаго; «Плохо тому, кто не умѣеть жить

въ своемъ дому», г. Заблоцкаго, и юмористической, въ народномъ духѣ разсказанный анекдотъ «Ось и Чека» г. Даля.

Но, признаемся, мы не желали бы больше встрѣтить въ «Сельскомъ Чтеніи» такихъ статей, какъ «Кто такой Давыдъ Ивановичъ, и за что люди его почитаютъ» и «Что легко наживается, то еще легче проживается». Въ первой описанъ какой-то герой добродѣтели безъ образа и лица, безъ всякихъ признаковъ характера; и не мудрено: онъ описанъ, а не представленъ; за него говорить самъ авторъ, а самъ онъ ничего не говоритъ. Такими мертвыми идеями никого не убѣдишь ни въ чемъ: имъ никто не повѣритъ. Въ другой пись представлень бѣдный перевощикъ, который, неожиданно получивъ отъ дальняго родственника, купца, огромное наслѣдство, и не умѣя управляться ни съ торговыми дѣлами, ни съ деньгами, все спустилъ въ короткое время и опять сталъ голъ какъ соколь. Какая мораль этого разсказа? неужели та, что отъ наслѣдства надобно отказываться? Ну, а еслибъ кто написалъ повѣсть, что одинъ бѣднякъ, получивъ большое наслѣдство, съумѣлъ имъ распорядиться и къ своей и къ чужой пользѣ, и издатели «Сельскаго Чтенія» помѣстили бы этотъ разсказъ рядомъ съ писью «Что легко наживается, то еще легче проживается»: чему бы тогда долженъ былъ вѣрить грамотный крестьянинъ?... Судя по заглавію разсказа, мы думали, что дѣло идетъ о пріобрѣтеніи черезъ воровство, грабежъ, или разбой: тогда бы— другое дѣло! Но положимъ, что авторъ и тутъ правъ: все-таки трудно повѣрить, чтобы его разсказъ убѣдилъ кого-нибудь отказаться отъ законнаго наслѣдства...

Многіе возстаютъ противъ «Сельскаго Чтенія» за простонародность его языка, «маленько-мужицкаго», утверждая, что къ такому языку въ книгѣ простой народъ недовѣрчивъ, поддаваясь охотнѣ обаянію книжнаго языка. Признаемся откровенно, мы не считаемъ такого мнѣнія ложнымъ, и готовы были

бы рѣшительно обвинить «Сельское Чтеніе» въ простонародности языка, какъ, въ недостаткѣ, еслибъ въ тридцати тысячахъ экземплярахъ этой книжки, разошедшихся въ два года, не видѣли факта, слишкомъ оправдывающаго издателей въ ихъ манерѣ говорить печатно съ простолюдинами. Стало-быть, это еще вопросъ, который можетъ быть рѣшенъ только фактически; надо издать для народа книжку, написанную городскимъ, образованнымъ языкомъ: если она будетъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и «Сельское Чтеніе», вопросъ будетъ рѣшенъ не въ пользу издателей послѣднаго; а до тѣхъ поръ... подождемъ. Одно, что мы можемъ не похвалить въ «Сельскомъ Чтеніи», — это употребленіе презрительно - уменьшительныхъ собственныхъ именъ: Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка, и т. п. «Сельское Чтеніе» должно способствовать истребленію, а не поддержанію отвратительного обычая называть себя не христіянскими именами, а кличками, унижающими человѣческое достоинство...

Впереди времени много, и, при знаніи дѣла и талантѣ издателей «Сельского Чтенія», недостатки этого изданія, конечно, скоро из消нутъ, а достоинства еще болѣе возвысятся. Много уже сдѣлано этими тремя книжками, и ихъ содержаніе нельзя будетъ вполнѣ изчерпать и тридцатью; а сколько еще сторонъ нетронутыхъ, напримѣръ, отношенія, въ которыхъ женскій полъ находится въ простомъ быту къ мужскому: и наоборотъ! Русскій человѣкъ вообще не умѣеть уважать женщину, а у крестьянъ женщина — рабъ, скотъ, нѣчто въ родѣ домашняго животнаго. За то, посмотрите въ деревняхъ на мужиковъ: сколько между ними красивыхъ лицъ, а женщины, за весьма рѣдкими исключеніями — воплощеніе безобразіе, и въ тридцать лѣтъ уже старухи. И не диво: выполняя всѣ тяжелыя мужскія работы, онѣ еще несутъ тягости беременности и родовъ... Вообще, семейный бытъ долженъ быть однимъ изъ главнѣйшихъ

предметовъ «Сельскаго Чтенія». Какъ можно больше статей объ обращеніи съ дѣтьми, о необходимости часто мыть ихъ, беречь отъ грязи, отъ простуды, объ уходѣ за больными! Сколько умираетъ дѣтей оттого, что за ними дурно смотрятъ во время оспы, кори. Топится печка—въ избѣ сверху дымъ, внизу холодъ, дверь отворена: какъ тутъ уцѣлѣть и взрослому больному, и родительницѣ, которая, сверхъ того, вчера родила, а сегодня таскаетъ дрова и воду!...

---

*СТОЛѢТИЕ РОССИИ, съ 1745 до 1845 года, или историческая картина достопамятныхъ событий въ Россіи за столѣтіе. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтия юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голенищева-Кутузова Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полеваго, Часть первая. 1845.*

Во всякой литературѣ должно отличать двѣ стороны—ученную и художественную, и беллетристическую. Къ первой принадлежать произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обоихъ случаяхъ—плоды труда обдуманнаго, зрѣлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производятъ по случаю, кстати (*à propos*), на-заказъ, къ сроку. И потому оба они творять не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толпы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ, не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ, желая успѣха при жизни, желаетъ, чтобы и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Но ученые и художники, особенно великіе — аристократы человѣчества: они трудятся не для всѣхъ, а только для избранныхъ. Это осо-

бенно относится къ обществу, въ которомъ просвѣщеніе и образованіе не равно разлиты по всѣмъ его классамъ, но однимъ доступны больше, другимъ меньше, а третьимъ и вовсе недоступны. Однакожь благодѣяня литературы—этого могущественного средства къ образованію массъ, должны простираяться на всѣхъ. Не всякий можетъ и долженъ быть ученымъ, но всякий долженъ имѣть общія познанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслажденіе прекраснымъ. Для этого, наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толпы пьедестала, и, черезъ это, приближены къ понятію массъ. Эта, въ одно и то же время, и мелкая и великая роль принадлежитъ бельетристикѣ. И наука и искусство имѣютъ свою бельетристику и своихъ бельетристовъ. (Что такое бельетристъ? Слово «бельетристъ» происходитъ отъ *belles-lettres*, т. е. изящная словесность; слѣдовательно, въ первоначальномъ своемъ значеніи, слово бельетристъ есть тоже, что литераторъ, занимающійся изящною словесностью,—то же, что стихотворецъ, писатель, романистъ. Но какъ, въ послѣднее время, изящество изложенія сдѣлалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, непринадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сдѣлала популярность изложенія необходимымъ условіемъ науки, то, вслѣдствіе этого, литература приняла новый характеръ: съ одной стороны, она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угодная вкусу и потребностямъ всѣхъ и каждого, она перешла, такъ сказать, въ руки дѣятелей болѣе скоро и много, нежели прочно пишущихъ, болѣе многочисленныхъ, нежели замѣчательныхъ по силѣ таланта: эти то люди и должны называться бельетристами. Бельетристъ относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводить: вла-

дѣя своимъ собственнымъ талантомъ, онъ все-таки живетъ чужимъ умомъ, чужимъ геніемъ. Наука и искусство никогда не бывають ремесломъ; бельлетристика тоже не ремесло — она выше ремесла, но ниже искусства: она середина между ними. Бельлетристика къ поэзіи относится какъ диллантантизмъ къ художественной дѣятельности; къ наукѣ — какъ образованіе къ просвѣщенію. Чтобы быть бельлетристомъ, надо имѣть призваніе, страсть, талантъ, особенно талантъ, но не геній. Можно сказать, что всякий поэтъ, всякий ученый, у кого-то есть талантъ, но нѣтъ генія, — бельлетристъ. Поэтому, главное, существенное различие между произведеніями ученаго и художника и между произведеніями бельлетриста состоить въ томъ, что первые пишутъ для вѣковъ, а послѣдній — для минуты. Есть ученая сочиненія, давно потерявшія цѣну, вслѣдствіе дальнѣйшаго развитія и большихъ успѣховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоять, какъ вѣхи, указывающія путь, по которому шла наука, разстоянія, которыхъ она достигала. Несуществующіе для толпы и диллантовъ, эти старые труды геніевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Чѣмъ касается до произведеній искусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него пріобрѣтаютъ свой букетъ. Для произведеній же бельлетристики, время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производить ихъ тысячами, — время и пожираетъ ихъ тысячами. Бельлетристъ торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно утомлять вниманіе публики, и онъ изумляетъ ее своею дѣятельностью, какъ-бы зная, что забывъ его на минуту, она совсѣмъ его забудеть. Бельлетристъ пишетъ легко и скоро; онъ на все способенъ, талантъ его гибокъ; его дѣятельность можно подстрекать и,

такъ сказать, покупать. Ему можетъ сказать и журналистъ и книгопродавецъ; «напишите мнѣ то, или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ и къ такому-то времени», и онъ возьмется и напишетъ. Извѣстно, что «Вѣчный Жидъ» написанъ Эженомъ Сю по заказу журнала *Constitutionnel*, и Тьеръ, мнѣній котораго этотъ журналъ есть органъ, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романѣ — напасть на іезуитовъ, напомнить о поэзіи Наполеоновскаго солдата и т. д.; вотъ бельетристъ! Жоржъ Зандъ тоже печатаетъ свои романы въ фельетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу, и не торгуется за романъ, который еще не написанъ, или только пишется: вотъ художникъ! «Вѣчный Жидъ» надѣлалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели, напримѣръ, «Теверино»; «Вѣчный Жидъ» нравился толпѣ, — «Теверино» восхищаетъ немногихъ; но за то, первый уже умеръ въ самой Франціи, ельва успѣвъ дойти до конца, а торжество втораго еще впереди, и все больше и больше...

Однако же, было бы нелѣпымъ педантизмомъ смотрѣть на бельетристику и бельетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершаютъ великое дѣло. Безъ нихъ, умственныя наслажденія и — результаты этихъ наслажденій — развитіе ума, образованіе сердца, не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натурѣ, или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ истиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ «Вѣчный Жидъ» — колоссальное твореніе, идеалъ романа; и которыхъ эстетическія требованія никогда не пойдутъ дальше этой сказки: пусть же они читаютъ ее, вѣдь и имъ надобно же что нибудь читать! Есть другие: они начнутъ «Вѣчнымъ Жидомъ», а кончать «Теверино», отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому «Вѣчному Жиду», за что все — таки спасибо «Вѣчному» же «Жиду»...

Бельетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатою и блестящею. Доказательствомъ тому служитъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ всѣ другія европейскія литературы.

Вотъ почему одинъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоится въ томъ, что у насъ почти нѣтъ бельетристики и больше гениевъ, нежели талантовъ (что бы ни говорили и какъ бы ни издѣвались надъ этой мыслю невѣжды, умѣющіе приидратиться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей!). Чтобы убѣдиться въ этомъ, стопъ только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до временъ Екатерины, Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонъ-Визинъ,—и всѣ они равно слыли за великихъ писателей, за гениевъ,—а между тѣмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какою-нибудь известностью. Въ Карамзинскую эпоху явились уже и бельетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были бельетристы по таланту, а не по дѣятельности, и почти всѣ они писали такъ мало, что ихъ можно было счесть скорѣе за литературныхъ наѣздниковъ, нежели за дѣятельныхъ и плодовитыхъ бельетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ: это—гг. Полеваго и Кукольника. Вотъ бельетристы въ истинномъ значеніи слова! Г. Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ за десятерыхъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ; г. Полевой — по крайней мѣрѣ за сто... Такъ какъ предметъ этой статьи—г. Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Многіе дивятся, когда

успѣваетъ онъ писать книгу за книгою, статью за статьею, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, драму за драмою: удивлѣніе не совсѣмъ основательное! Оно больше шло бы къ Пушкину (еслибъ Пушкинъ такъ много писалъ), нежели къ г. Полевому. Г. Полевой — бельетристъ: этимъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классические писатели, біографические, исторические и энциклопедические словари: материалъ готовый, источники неизчерпаемые, — а онъ вѣдь не создаетъ: онъ только пересказываетъ сказанное, передѣлываетъ сдѣланное, но пересказываетъ и передѣлываетъ такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братіи, чающей движенія воды, которая стоитъ въ преддверіи храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта дѣятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь беспокойная, если не энергическая и не могущественная, столь шумливая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная,—эта дѣятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженичество, не торгащество, какъ у иѣкоторыхъ писакъ, которые готовы перебить у другаго всякое предприятіе и вошлють о своихъ заслугахъ, своей благонамѣренности и безкорыстіи при всякомъ чужомъ успѣхѣ, отнижающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... И такъ, несмотря на наше решительное несогласіе со взглядами г. Полеваго, высшими и низшими, на всѣ предметы, подлежащіе вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки противъ нашихъ мнѣній, мы все-таки скажемъ, что желаемъ русской литературѣ побольше такихъ бельетристовъ, какъ г. Полевой; но вмѣстѣ съ тѣмъ, желаемъ, чтобъ, для ея чести и пользы, они чаще смынялись новыми, и тѣмъ избавляли бы русскую литературу отъ устарѣлыхъ мнѣній, отсталыхъ понятій и безсильныхъ, возбуждающихъ болѣзненное состраданіе попытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мірѣ новыхъ поколѣній...

Новая книга г. Полеваго—«Столѣтіе Россіи», есть чисто-бельетристическое произведение. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день—иѣть, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самъ г. Полевой расскажетъ вамъ это событіе:

Сѣверная русская столица, освѣщенная свѣтомъ *невечерью* лѣтняго вечера, кипѣла жизнью, когда задумчиво остановился я передъ изваяніемъ великаго *вождена начальника*, архистратига *Дванадесятаго года*, князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душѣ моей мельнула мысль: *сто лѣтъ!*

„*Сто лѣтъ*“, думалъ я, смотря на изваяніе русскаго воеводы: „*сто лѣтъ* совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великий! Сто лѣтъ, въ которые совершилъ ты свои подвиги (?!), и уже тридцать два года, какъ почилъ ты среди потухшихъ громовъ!“

Правду говорять иные, что поэзія—врагъ логики: по словамъ г. Полеваго—«*сто лѣтъ, въ которые совершилъ ты свои подвиги*»—можно подумать, что Кутузовъ началъ свои подвиги съ первого же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ—для красоты слога... Далѣе, тѣмъ же слогомъ описывается, какъ г. Полевой стоялъ на колѣняхъ, подлѣ могилы великаго полководца и, облокотясь на ея решотку, плакалъ, думалъ и мечталъ...

Теперь посмотрите, что такое бельетристъ. У ученаго подобная книга была бы плодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, дѣльного, серьѣзнаго, обдуманнаго. У г. Полеваго это было дѣломъ минуты: лѣтомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять—и не было бы книги. Послѣ этого удивляйтесь, что паденіе яблока съ дерева было причиной великой теоріи Ньютона о тяготѣ земли!... Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу столѣтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ—спаситель Россіи, мужъ доблестный и великий—это аксиома; но все таки важны и велики его подвиги, а совсѣмъ не день его рожденія, который никакъ не могъ быть эпохой

въ исторії Россіи. Но бельетристу нуженъ только поводъ, случай, придирка къ составленію книги. Г. Полевой придрался — и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь Норманновъ до царствованія императрицы Анны Іоанновны, которое у него уже не просто обозрѣно, а разскано, и съ котораго до конца разсказъ становится все подробнѣе и подробнѣе.

Разбирать книгу г. Полеваго нѣтъ надобности: это чисто-бельетристическое произведеніе, что-то похожее на компилиацію кстати, или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ возврѣніяхъ нѣтъ ничего новаго, ничего такого, чтѣ не было много разъ говорено г. Кайдановымъ и подобными ему бельетристами исторіи. Ученый (а не бельетристъ) не сталъ бы писать такую книгу, еслибы видѣлъ, что онъ не умѣеть или не можетъ сказать въ ней ничего новаго. Г. Полевой не затруднился, а какъ будто бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сдѣлалъ! Отъ него, какъ отъ бельетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тѣмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторяютъ, для памяти, читанное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнаютъ то, чего прежде не знали... Итакъ, для публики новая книга, для журналовъ новая пожива, для литературы какъ-будто новое движение: чего же болѣе? Да здравствуетъ бельетристика! А тамъ, глядишь, выйдетъ и вторая часть «Столѣтія Россіи». Чѣ же будетъ въ ней? — Мечты. — Какъ? чѣ такое? — Мечты! Покрайней мѣрѣ вотъ какъ выразился самъ авторъ: «Нѣсколько мыслей будущему— мыслей, которая могутъ назвать мечтами». Это, вѣроятно, невольная дань прошедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и разсказы подъ названіемъ: «Мечты и Были»; это название (а особенно выраженная имъ мысль) такъ

шонравилось г. Полевому, что онъ рѣшился возобновить его,— и въ первой части «Столѣтія Россіи» предлагаетъ публикѣ Были, а во второй предлагаетъ ей то, что можно назвать Мечтами...

---

**ІСТОРІЯ КОНСУЛЬСТВА И ИМПЕРІИ**, соч. Тьера, бывшаго президента Совѣта Министровъ, члена Палаты Депутатовъ и Французской Академіи. Перевелъ съ франц. И. Д. — б. Часті I, II и III. Спб. 1845.

Несмотря на огромный успѣхъ, который имѣлъ во всей Европѣ новый историческій трудъ г. Тьера — «Исторія Консульства и Имперіи», — это сочиненіе не принадлежитъ къ разряду произведеній, запечатлѣнныхъ достоинствомъ науки. Это произведеніе чисто бельетристическое. Для Наполеона уже настаетъ потомство, и уже не далеко время, когда будетъ возможна его исторія; но пока она еще невозможна. Низвергнутый съ вершины могущества, Наполеонъ былъ чернѣмъ и унижаемъ даже тѣми, которые недавно еще были его униженіѣшими слугами. Партия бурбонистовъ имѣла причину и ненавидѣть и бояться даже тѣни Наполеона, и бурбонистъ Шатобріанъ справедливо сказалъ, что стдитъ только, на западномъ берегу Франціи, воткнуть палку и надѣть на нее сѣрый сюртукъ съ трехъ-угольною шляпою Наполеона, чтобы взволновать весь міръ. Поэтому, партия бурбонистовъ во Франціи должна была вести ожесточенную борьбу не только съ либералами, настаивавшими на дѣйствительность конституціи, и республиканцами, еще незабывшими Конвента и Якобинского клуба, но и еще болѣе съ бонапартистами: человѣкъ, сидѣвшій въ плѣну на островѣ Св. Елены, до того былъ облитъ съ ногъ до головы лучами

чудеснаго, что никто и не думалъ, чтобы для него было что-нибудь невозможн... Но вотъ онъ умеръ; французское правительство отдохнуло: герцогъ рѣхштадскій былъ для него опасностью уже въ десять разъ меньшою; а другихъ народовъ онъ никакъ не беспокоилъ. Тогда началась эпоха какого-то идолопоклонническаго восторга къ Наполеону. Когда же на французскомъ престолѣ явилась новая династія, почти всѣ партии во Франціи единодушно сошлись въ обожаніи этого огромнаго имени. Франція забыла бѣдствія, которыми онъ терзалъ ее столько времени, забыла темные пути, по которымъ этотъ сынъ судьбы пробирался къ владычеству, — все забыла!... Онъ сталъ героемъ, полубогомъ! Но теперь и круговоротъ идей мчится съ невѣроятною быстротою: забвеніе начало проходить, память начала возвращаться, и число обожателей и восторженныхъ поклонниковъ Наполеона со дня на день уменьшается, а безотчетныя фразы о его безупречномъ величіи остались на долю только крикунамъ и фразёрамъ. Это особенно произошло оттого, что стали иначе смотрѣть на «политику» и не хотятъ болѣе уважать въ ней вѣроломства, а хотятъ, чтобы она соединялась съ нравственностью; успѣхъ и право, вслѣдствіе этого, сдѣлались для всѣхъ понятіями особенными, а не тождественными. Какъ возвысился Наполеонъ? Однимъ ли своимъ геніемъ? — Нисколько! При всемъ своемъ геніи, онъ не далеко бы ушелъ, еслибъ не одаренъ былъ отъ природы весьма гибкою, уступчивою и говорчivoю совѣстью. Онъ подбивается въ милость къ гнусному, безчестному и развратному Баррасу, оказываетъ Конвенту важную услугу, при помощи Якобинцевъ, хитростью, интригами уничтожаетъ Пятисотенный-Совѣтъ, разыгрываетъ роль жертвы будто бы едва ускользнувшей отъ кинжаловъ республиканцевъ, дѣлается консуломъ и назначаетъ играть республикансскую комедію, замышляя объ императорской коронѣ. Послѣдняя интрига до того исполнена коми-

зма, что самъ г. Тьерь, запоздалый обожатель Наполеона, не могъ придать ей ни исторического, ни героического величія: вспомните о неловкихъ продѣлкахъ жалкаго и ничтожнаго Камбасереса, бывшаго посредникомъ между Наполеономъ и сенатомъ!... Наконецъ, онъ императоръ Франціи, протекторъ Германскаго-Союза, а его братья — короли большей части европейскихъ государствъ и въ же время васаллы раздавателя скіпетровъ. Сколько было въ душѣ и сердцѣ Наполеона уваженія къ правамъ человѣчества и законности, — это онъ вполнѣ показалъ, разстрѣлявъ герцога энгіенскаго и, въ египетскомъ походѣ, велѣвъ умертвить четыре тысячи Турковъ, которыхъ по договору, имъ же утвержденному, онъ долженъ былъ выпустить изъ Яффы живыми и невредимыми. Самъ г. Тьерь, отъявленный поклонникъ Наполеона, не могъ одобрить послѣднаго изъ этихъ поступковъ, хотя и старается уменьшить его винющую несправедливость. Онъ говоритъ, что, не имѣя средствъ отослать этихъ плѣнниковъ въ Египетъ подъ надежнымъ прикрытиемъ, и не желая, чтобы они увеличили собою непріятельскую армію. — «Bonaparte se decida à une mesure terrible, et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare il en avait involontairement adopté les moeurs: il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi, l'exécution qui lui était commandée.» То-есть: «Бонапарт рѣшился на ужасную ме́ру, которая была его единственнымъ жестокимъ дѣйствіемъ во всю жизнь его» (а смерть герцога энгіенскаго?...). «Очутившись среди варварской страны, онъ противъ воли усвоилъ себѣ ея нравы: онъ приказалъ переколоть плѣнниковъ. Армія исполнила приказаніе съ покорностю, но и съ отвращеніемъ». О нарушении же договора г. Тьерь без пристрасти оумалчиваетъ. Но нарушать святость договоровъ Наполеонъ считалъ дѣломъ выс-

шай политики и высшей мудрости: не даромъ говорилъ онъ, что «эта старая Европа наскучила ему»... Всѣ его дѣйствія, и злые и добрыя, выходили изъ его личнаго эгоизма, и потому, можетъ-быть, они были для него самого такъ безплодны. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ хотѣлъ? Сдѣлать Францію могуществен-нѣйшею землею въ мірѣ, чтобъ, опираясь на ея порабощеніи, самому деспотически владычествовать надъ всѣмъ міромъ, ругаясь надъ народнымъ правомъ, и упрочить это владычество за своею династіею. А чего достигъ онъ? — Разоренія, обезлюдненія и позора Франціи, а себѣ тюрьмы на безплодной скалѣ Атлантическаго океана.

И однакожь, онъ нуженъ былъ міру — и міръ увидѣлъ и вос-трепеталъ его... Будучи врагомъ духа времени, грозя, новый Бриарей, задушить его въ своихъ сторукихъ объятіяхъ, — онъ, самъ того не зная, былъ только его послушнымъ орудіемъ... Духъ времени воспользовался имъ, сколько было ему надобно, и потомъ бросилъ его какъ уже ненужное орудіе, — и тщетно тогда развертывалъ онъ всю силу своего гenія, всю неисто-щимость своихъ титаническихъ силъ и средствъ — ни что не по-могало, и онъ палъ...

Есть люди, которые, разъ остановившись на чёмъ-нибудь, уже не двигаются впередъ, и въ другую эпоху, въ міръ новыхъ страстей и убѣжденій, переносятъ съ собою свой запоздалый восторгъ къ идеямъ старого времени. Къ такимъ людямъ при-надлежитъ г. Тьеръ. Считая себя великимъ политическимъ и государственнымъ человѣкъ, г. Тьеръ считаетъ себя еще во-еннымъ геніемъ первой величины. Поэтому, Наполеонъ — его идеалъ во всѣхъ отношеніяхъ. «Исторію Французской Револю-ціи» г. Тьеръ написалъ въ духѣ оппозиціи правительству воз-становленныхъ Бурбоновъ; «Исторію Консульства и Имперіи» составилъ онъ въ духѣ оппозиціи нынѣшнему французскому правительству, котораго, впрочемъ, онъ раздѣляетъ всѣ при-

ципы, кромъ одного—миролюбія, не понимая, что на немъ то оно больше всего и держится. Цѣль его книги была — напомнить Французамъ бурное время ихъ «блестательного позора», какъ сказаль нашъ Пушкинъ, ихъ побѣдъ и завоеваній. Г. Тьерь — великий воитель, истинный Наполеонъ въ карикатурѣ<sup>1)</sup>), — и будь онъ опять министромъ, въ Европѣ запылало бы пламя войны, при заревѣ котораго г. Тьерь выгодно игралъ бы на биржѣ въ ажіотажъ; но потому-то, вѣроятно, онъ теперь и не министръ... И вотъ онъ пишетъ исторію Наполеона, чтобы апоеозою генія войны колънуть миролюбивые умы правителей Франціи. Но — странное дѣло! — у него изъ апоеозы Наполеона какъ-то выходитъ, совершенно противъ его воли и намѣренія, совсѣмъ другое, потому что какъ ни силится онъ софизмами оправдать его дѣйствія, истина такъ и блещетъ сквозь эти софизмы. И не мудрено, во первыхъ, прошло уже время для безотчетнаго восторга къ Наполеону, а во вторыхъ, нѣтъ ничего опаснѣе для оправданія дурныхъ дѣлъ исторического лица, какъ апологистъ, котораго нравственный убѣжденія составились и укрѣпились на биржѣ, въ министерскихъ и въ палатскихъ интригахъ. Такимъ образомъ, самый злой ожесточенный врагъ Наполеона не могъ бы оказать ему такой дурной услуги, порицая его, кукую оказалъ ему г. Тьерь, превознося, почти обожествляя его...

Многіе критики въ Европѣ уличили г. Тьера въ искаженіи слишкомъ известныхъ фактовъ. Конечно, это искаженіе не умышленное, происшедшее отъ поспѣшной работы, но все же оно не возвышаетъ цѣны его историческаго труда. Еще важ-

<sup>1)</sup>) Намъ случилось видѣть преостроумную и презную карикатуру г. Тьера: онъ изображенъ въ видѣ Наполеоновской статуи на вандомской колоннѣ, въ Наполеоновскомъ сюртуке, въ Наполеоновской трехугольной шляпѣ, а внизу подписано: Monsieur Tiers (Thiers), ainsi appellé par ce qu'il ne fait pas la moitié d'un grand homme.

нѣе искаженіе истинъ нравственности и справедливости, во имя оправданія человѣческой слабости...

---

**ЧАСТНАЯ РИТОРИКА, Н. Кошанского. Изданіе шестое.**  
**Спб. 1845.**

**УМОЗРИТЕЛЬНЫЯ И ОПЫТНЫЯ ОСНОВАНІЯ СЛОВЕСНОСТИ ВЪ IV ЧАСТЬХЪ. Соч. А. Глаголева. Изданіе второе. Спб. 1845.**

Вотъ двѣ книги — два ужаснѣйшіе анахронизма, — книги, которыя, среди книгъ нашего времени то же, что былъ бы ме-  
жду людьми нашего времени человѣкъ въ напудренномъ па-  
рикѣ съ пуклями до плечь, съ кошелькомъ на затылкѣ, съ  
корабликомъ на головѣ, въ красномъ камзолѣ и голубомъ ка-  
фтанѣ, въ чулкахъ до колѣнъ и башмакахъ съ золотыми пря-  
жками и высокими красными каблуками... Здравствуй, лѣду-  
шка, привѣтъ тебѣ, выходецъ съ того свѣта, житель другаго  
мира! Поговори съ нами о твоемъ времени, въ которое было  
сдѣлано такъ много великаго, сказано такъ много умнаго! Мы  
готовы тебя слушать! Твой нарядъ намъ не смѣшонъ, а только  
любопытенъ; и не смѣяться, а учиться у тебя хотимъ мы. Мы  
такъ интересуемся твоимъ временемъ, съ такою жадностію  
изучаемъ его въ книгахъ. Но чѣмъ книга! Твоя живая рѣчь бу-  
детъ лучше всякихъ книгъ! Говори же! Но чѣмъ же ты такое  
заговорилъ? ты рассказываешь намъ не о себѣ самомъ, а о  
насъ, не о твоемъ времени, а о нашемъ! Ты разсуждаешь о  
Пушкинѣ, тагда какъ мы хотѣли услышать отъ тебя о Сумар-  
иковѣ и Херасковѣ, о Державинѣ и Богдановичѣ! ты увѣря-  
ешь насъ, что и Петровъ великий лирикъ, и Пушкинъ отли-  
чный поэтъ... А мы ожидали, что ты съ восторгомъ будешь  
говорить о Державинѣ и ничего хорошаго не найдешь въ Пу-

шкинѣ, еслибъ мы, твои правнуки, вздумали тебѣ читать его. Но ты такъ же не сынъ того времени, какъ и не сынъ нашего, ты междуумокъ, недоросль изъ словесниковъ, педантъ, который равно не понимаетъ ни того, ни нашего времени. Ты надѣлъ напудренный парикъ и накрылъ его корабликомъ потому только, что эти вещи остались тебѣ по наслѣдству еще отъ дѣдушки; истаскавъ ихъ, ты нарядишься по нашему—вѣдь тебѣ все равно! Поди же прочь съ твоимъ болтаньемъ — мы не хотимъ тратить времени на разговоръ съ тобою!

Такое, или почти такое чувство возбуждаютъ въ читатель двѣ книги, заглавіе которыхъ выписано въ началѣ этой статьи. О риторикѣ г. Кошанскаго нечего и говорить; вотъ уже въ шестой разъ является она учить писать такъ, какъ никто теперь не пишетъ, учить тому, чему нельзѧ выучиться изъ книгъ. Она вѣрна своей роли — придавлять способности несчастныхъ, обязанныхъ твердо знать всѣ пустяки, всѣ вздоры, всѣ нелѣпости, изъ которыхъ она сшила. Честь и слава ея постоянству! Бѣда и горе тѣмъ, которые учатъ и учатся по ней! смѣхъ и потѣха тѣмъ, которые читаютъ ее для развлеченія, по охотѣ прочесть иногда что-нибудь курьёзное, добродушно-нелѣпое, искренно-пошлое! Вотъ другое дѣло — книжица г. Глаголева: она еще только въ другой разъ (?) является въ свѣтѣ... Но если и такъ, — зачѣмъ вышла она теперь на бѣлый свѣтъ изъ мрака сырыхъ погребовъ. Ужь не за тѣмъ ли, чтобы ей снова было доказано, что ея мѣсто тамъ, въ подвалахъ? Если такъ, мы готовы послужиться ей этимъ.

Прежде всего, любопытно происхожденіе на свѣтѣ этой книжицы. Самъ сочинитель говоритъ, что «этотъ ученый (?) трудъ выходитъ изъ круга его настоящихъ занятій и родился у него случайно». Московскій университетъ обнародовалъ, въ началѣ 1831 года, программу о конкурсѣ для занятія кафедры краснорѣчія, стихотворства и языка русскаго. «Трудность»

предложенныхъ въ программѣ задачъ (говоритъ г. Глаголевъ) возбудила во мнѣ особенное любопытство: я старался разгадать ихъ рѣшеніе, и углубляясь въ соображенія, непримѣтнымъ образомъ составилъ въ умѣ нечто цѣлое, имѣвшее систематическую послѣдовательность». Признаемся, несмотря на увѣреніе самого сочинителя, мы въ его книгѣ не замѣтили ни малѣйшихъ слѣдовъ чего-либо похожаго на систему или послѣдовательность. И не мудрено. Что за наука словесность? Ее выдумали педанты, школяры, которые стихотворство смысливаютъ съ поэзіею, а краснорѣчіе считаютъ искусствомъ, въ смыслѣ художества, творчества, и ораторовъ, слѣдовательно, почитаютъ артистами, художниками, творцами. Г. Глаголевъ подъ словесностью, какъ наукою, разумѣетъ грамматику, риторику и пітику: такъ думали люди только во времена варварской схоластики, рабски подражая во всемъ древнимъ, которыхъ они не понимали. Но подобные предразсудки не стоять опроверженія, и потому лучше представимъ читателямъ самыя курьёзныя диковинки изъ книжцы г. Глаголева.

На V-й страницѣ предисловія, г. Глаголевъ приводить слѣдующій примѣръ римскаго краснорѣчія:

„Въ попы иѣсяца октября (,) въ предверіи храма Беллоны (,) Марцій и Спурій Постумій, консулы, въ присутствіи сената, слушали *предложеніе* Клавдія, Валерія и Минуція о празднествахъ баухосовыхъ (слѣдуютъ пункты предложения). Въ заключеніе приказали: объявить о семъ всенародно въ продолженіе трехъ иунінъ. Если же кто поступитъ вопреки вышеписанному, того предавать суду уголовному; а для всенароднаго свѣдѣнія вырѣзать СІЕ постановленіе на мѣдной доскѣ и выставить ОНОЕ во всѣхъ публичныхъ иѣстахъ».

И такъ, вотъ что разумѣетъ г. Глаголевъ подъ словомъ краснорѣчіе?... Но погодите смѣяться: самое забавное впереди. Вотъ оно:

«Въ нашихъ дѣловыхъ бумагахъ кроется *все* древнее краснорѣчіе со *всеми* его видами: судебнымиъ, совѣщательнымиъ и описательнымиъ; различіе состоить

лишь въ томъ, что древніе декламировали свои рѣчи въ собраніяхъ народныхъ или въ сенатѣ, а у насъ секретари читаютъ свои записки въ присутствіяхъ, начальники отдѣленія передъ министрами, оберъ-секретари въ сенатѣ и т. д.»

Въ примѣчаніи, между предисловіемъ и вступленіемъ, Шишковъ, авторъ «Разсужденія о Старомъ и Новомъ Слогѣ», краснорѣчиво произведенъ г. Глаголевымъ въ «Катоны нашей грамматики»; на 72 стр. второй части, о немъ же г. Глаголевъ выразился не только краснорѣчиво, но и очень грамотно, такъ: «Ученыя Извѣстія Россійской Академіи, коей онъ есть президентомъ» и пр. На 30 и 31 страницахъ четвертой части, г. Глаголевъ утверждаетъ, что «появленіе Риторики г. Рижского, которая въ первый разъ издана въ свѣтѣ въ 1706 году, составило новую эпоху въ исторіи русской литературы, по части теоріи краснорѣчія», и что «Правила Словесности г. профессора Толмачева также заслуживаютъ вниманія». На страницѣ 40, г. Глаголевъ говоритъ: «По части учебной достоинны уваженія труды: Тредьяковскаго, Ломоносова, Соколова, Борна, Рижскаго, Никольскаго, Талызина, Левитскаго, Кошанскаго (!?), Остолопова, Могилевскаго, Балига, Плаксина (?!)». Всѣмъ сестрамъ по сергамъ! Въ самомъ дѣлѣ, изъ всѣхъ нашихъ холастовъ, учившихъ въ школѣ писать такъ, какъ никто не пишетъ въ свѣтѣ, самые замѣчательные, безспорно, суть гг. Тредьяковскій, Рижскій, Толмачовъ, Кошанскій, Плаксинъ и — Глаголевъ... На стр. 53, г. Глаголевъ говоритъ, что «Шишковъ украсилъ періодами лучшія изъ своихъ сочиненій въ высшемъ дипломатическомъ родѣ». Вообще, г. Глаголевъ большой поборникъ мѣрной и плавной періодической рѣчи на манеръ древнихъ, столь не свойственной духу новѣйшихъ языковъ, и большой врагъ такъ-называемой «отрывистой», или, лучше сказать, естественной рѣчи, столь свойственной духу новѣйшихъ языковъ: всѣ холасты крѣпко держатся этого мнѣнія, и искусственный, надутый слогъ похвальныхъ рѣчей

Ломоносова считаютъ за образцовый... Но забудемъ слогъ и вкусъ схоластического «словесника», и замѣтимъ только, что его книга является теперь въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ вышла въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда забытыя теперь «Повѣсти Бѣлкина» (Пушкина) были свѣжею новостью, когда Гоголь издалъ только още свои «Вечера на Хуторѣ близь Ди-каньки», а повѣсти Марлинскаго считались геніальными произведеніями. Неужели же съ тѣхъ поръ ничего не измѣнилось въ литературныхъ понятіяхъ и взглядахъ? И что такое исторія какой бы то ни было литературы, прерывающаяся слишкомъ за десять лѣтъ до минуты, въ которую она выходитъ изъ типографіи? Не следовало ли бы г. Глаголеву поправить и пополнить свою книгу, выдавая ее въ свѣтъ въ другой разъ, чрезъ десять слишкомъ лѣтъ послѣ ея первого изданія? Хотя для схоластовъ нѣтъ прогресса, и время ничто не измѣняетъ въ ихъ фразахъ, которыя они, зазубривъ разъ въ школѣ, твердятъ всю жизнь свою, однако же тутъ есть и другая причина: вторымъ изданіемъ чуть ли не напечатали только заглавный листокъ залежавшейся въ подвалахъ книги г. Глаголева; самая же книга вовсе не перепечатывалась вторымъ изданіемъ...

---

**КОВАРСТВО.** Сочиненіе М. Черняевскаго. Спб. 1845. Въ двухъ частяхъ.

Въ Москвѣ сочинители пятнадцатаго класса любятъ изображать «Таньку Ростокинскую», «Стеньку Разина» и всякихъ другихъ разбойниковъ и разбойницъ, которыхъ или выкапываютъ въ исторіи, или изобрѣтаютъ при помощи пылкаго воображенія. Петербургская же тля чрезвычайно наклонна къ изображенію аристократическаго быта, и въ своихъ мараньяхъ

почитаетъ для себя унизительнымъ имѣть дѣло съ кѣмъ-нибудь кромѣ князей и графовъ. Страсть у этой тли изображать расписанные плафоны, мраморныя колонны съ капителями такого-то и такого то ордена — коринескаго, или тамъ и еще помудренѣй; знай-дескать нашихъ! Героини ихъ всегда восхитительно «полулежатъ на роскошномъ гамбсовскомъ пате съ англійскимъ кипсекомъ въ рукахъ; герои ихъ всегда завиты «художественною рукою мосье Геліо» и раздушены благоволіями отъ Марса (по понятіямъ тли, аристократъ непремѣнно долженъ быть завитъ и раздушенъ; для нея амбрѣ такое же необходимое условіе аристократизма, какъ пожилой супругъ городничаго Сквозника-Дмухановскаго)... Наконецъ, разговоръ ихъ героеvъ и героинь... о! что касается до разговора... Но образчики разговора ниже будуть приведены на лицо. Прежде нужно сказать, что «Коварство», сочиненіе г. М. Чернявскаго — романъ изъ аристократической жизни. Дѣйствіе начинается въ домѣ князя Александра Бѣльского. «Мраморныя колонны съ вызолоченными коринескаго ордена капителями, поддерживали расписной плафонъ. Мебель совершенно соотвѣтствовала пышности и вкусу, съ которыми были уbraneы какъ зала, такъ и всѣ прочіе покои роскошнаго жилища богатаго вельможи». У окна сидѣла дочь князя дѣвица Елена. «Когда родители ея жили въ столицѣ, то Елена была одною изъ примѣчательныхъ дѣвицъ аристократического общества и умѣла привлечь къ себѣ вниманіе и уваженіе какъ знатныхъ почтенныхъ особъ, такъ и кавалеровъ высшаго тона». Елена сказала (въ комнатѣ никого не было, но уже у аристократовъ такой обычай, что онѣ за неимѣніемъ слушателя разговариваютъ съ мраморными колоннами и расписаннымъ плафономъ) — она сказала:

„Роскошь, богатство!... а въ душѣ грусть, тоска! — вакъ не соотвѣтствуетъ вы одно другому! Блескъ первыхъ и тѣжесть послѣднихъ не гармонируетъ въ разстроенной душѣ моей! Пышная темница моей матери! ты ужасна для меня.“

Блескъ первыхъ и тяжесть послѣднихъ! Вотъ и образчикъ аристократического разговора. Такъ говорить княжна Елена, обращавшая на себя вниманіе какъ знатныхъ почтенныхъ особъ, такъ и кавалеровъ высшаго тона. Еще лучше говорила и писала ея мать. Но она умерла... Ея устное краснорѣчіе сошло съ нею въ могилу; за то княгиня оставила Еленѣ рукопись, изъ которой можно видѣть, какъ она писала. Дѣло идетъ о бабушкѣ Елены.

„Ея желаніе было купить на южномъ берегу въ Крыму одно изъ значительныхъ имѣній, какъ по выгодамъ своимъ, такъ и по отличному мѣсто-положенію, разстилающемуся на берегу Чернаго моря. Тамъ думала она соорудить на лучшемъ мѣстѣ домъ новѣйшей архитектуры, и любоваться виноградными лозами, наслаждаясь вполнѣ какъ превосходнымъ климатомъ, такъ и такой природой, которая способна привести духъ человѣка въ восторженное состояніе. Всѣ эти превосходныя фантазіи образованной дамы, вполнѣ обладающей какъ изяществомъ вкуса, такъ и возвышенностью чувствъ...“

Какъ-такъ! какъ-такъ! какъ-такъ! Не правда ли, хорошо? музыкально? Но мы поговоримъ о слогѣ княгинь и графинь г. Чернявскаго и вообще объ его слогѣ — ниже. Нужно рассказать вамъ романъ

Князь пришелъ къ дочери и сказалъ ей, что хочетъѣхать въ Петербургъ, а ее оставить въ домѣ друга своего графа О\*\*. «Это будетъ зависѣть отъ васъ, почтенный родитель» отвѣчала Елена. Князь, тронутый такимъ нѣжнымъ знакомъ покорности, сказалъ ей: «Всевышній даритъ меня отрадною расположенностю къ тебѣ», и повелъ ее къ графу О\*\*. У графа было нѣсколько дочерей и сынъ — «стоющій (?) молодой человѣкъ и поэтъ въ душѣ, котораго имя и фамилія могли безъ зазрѣнія совѣсти печататься подъ его стихотвореніями». Гости были приглашены въ гостиную и «усѣлись чинно: старшіе на диванѣ, а младшіе заняли кресла». (Такъ! точно такъ! Надо вовсе не знать аристократовъ, надо сроду не бывать дальше аристократической прихожей, чтобы оспоривать столь вѣрное

замѣчаніе!) Князь уѣхалъ, а дочь его влюбилась въ «стоющаго молодаго человѣка», который принялъся читать ей свои стихи.

Поэть тотъ счастливъ, кто для лиры  
Въ душе имѣеть идеаль,  
Кто не одинъ блуждаетъ въ міръ  
Кто самъ въ себѣ его созналъ  
*Чи* фантазіи родятся  
Въ созвучіи любви прямой  
И чьи мечты, носясь кружатся  
Надъ грудью дѣвы молодой.

Подъ такими стихами, по мнѣнію г. Чернявскаго, можно безъ зазрѣнія совѣсти печатать свое имя!... По прочтеніи стиховъ «Ксения только успѣла лечь въ постель какъ изаснула; а съ Еленою было совсѣмъ не то: ей пришла охота помечтать». Изъ этого читатель можетъ видѣть, на сколько одна изъ этихъ дѣвицъ глупѣе другой. На другой день «стоющій молодой человѣкъ» заговорилъ съ Еленой о любви, на что образованная аристократка отвѣчала ему:

„Согласна съ вами, Петръ Владиміровичъ, что взаимная любовь, конечно, можетъ дѣлать людей благополучными. Понять другъ друга и уважать, чрезвычайно должно быть пріятно для людей“ и пр.

Петръ Владиміровичъ сталъ просить руки ея.

„Петръ Владиміровичъ!“ сказала она: я не ожидала, чтобы нашъ разговоръ завелъ васъ такъ далеко: должно объяснить вамъ, что я рукою своею владѣть не могу, и очень сожалѣю, что вы дали волю чувствамъ и словамъ не узнавъ прежде будуть ли предположенія ваши и взаимная наша любовь пріятны моему родителю: но вы можете быть увѣрены въ моемъ къ вамъ уваженіи... и вотъ милая Ксения знаетъ расположеннность, которую душа моя полна къ вамъ.“

Такъ объяснились Елена и Пьеръ! Но не достанетъ никакого терпѣнія разсказать подробно всю ералашь, которая затѣмъ еще происходила. Доскажемъ какъ можно короче: князь возвратился изъ столицы и привезъ съ собою Жоржа, которому обѣщали руку Елены. Но Елена и слышать не хочетъ о

Жоржъ. Тогда князь благословляетъ ее на бракъ съ возлюбленнымъ, съ тѣмъ только, чтобы онъ прежде поѣхала въ Петербургъ и послужилъ годика три. Разъяренный Жоржъ соединяется съ Вѣрою — сестрой Петра Владимирова, которая поклялась разстроить союзъ Елены и своего брата... Зачѣмъ?... А ужъ такъ было надобно сочинителю. Жоржъ прикидывается влюбленнымъ въ Ксенію... словомъ, начинаются различныя козни и ухищренія, но къ концу романа все раскрывается: поэтъ женится на Еленѣ, Вѣру выгоняютъ изъ родительского дома; только Ксенія сходитъ съ ума, но и то для того больше, чтобы растрепать косу и провизжать нѣсколько патетическихъ монологовъ...

Конецъ! Пятьсотъ слишкомъ страницъ прочли и пересказали мы, и, признаемся, никакой романъ, никакая «Жизнь, какъ она есть», — словомъ, никакая книга бездарнѣйшаго изъ бездарнѣйшихъ не утомила насъ столько, не казалась намъ до такой степени скучною, пустою, безталанною. Языкъ варварскій. Видно, что, сочинитель съ достодолжною ревностію затвердилъ риторику г. Кошанского и, простодушно повѣривъ вздорамъ, которые въ ней разсказываются, ни на шагъ не отступалъ отъ нея въ своемъ слогѣ. Фразы его обыкновенно начинаются съ не только, за которымъ всегда слѣдуетъ *но* *и*; напримѣръ: «Этотъ сочинитель не только безталаненъ, но и простодушио убѣжденъ въ своей даровитости». Частицы какъ и отвѣтствующая ей такъ — любимыя его частицы. Онъ у него почти въ каждомъ періодѣ. Напримѣръ: «Онъ подвергнется осмѣянію какъ умныхъ людей, такъ и глупцовъ» и т. под. Изъ самой книги можно бы привести сотни примѣровъ, но довольно и тѣхъ, которые попались выше сами собою. И такимъ мертвымъ, надутымъ, семинарскимъ языкомъ заставляетъ сочинитель говорить княженъ, графовъ и прочихъ своихъ аристократовъ! Хороши аристократы! Нечего и гово-

рить о содержаніи, о характерахъ. Содержаніе бѣдное, пошлое, истасканное; характеровъ не найдете и слѣда, какъ ни ищите. Замѣтите только жалкую претензію безталантности, довольной собою; почувствуете скучу смертельную, досаду невыносимую. Жаль бумаги, на которой напечатанъ этотъ вздоръ! жаль бѣдныхъ типографскихъ буквъ, которымъ, несмотря на ихъ свинцовую натуру, вѣроятно и теперь еще совсѣмъ, что они принуждены были перепутаться, сложиться и выровняться въ такую жалкую форму, что изъ нихъ вышла галиматья рѣдкая и въ Россійской литературѣ!

---

**БУКЕТЫ (,) ИЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЦВѢТОБЪСІЕ.** Шутка въ одномъ дѣйствiи. Соч. гр. В. А. Соллогуба. Спб. 1845.

Драматическая русская литература представляетъ собою странное зрѣлище. У насъ есть комедіи Фонъ-Визина, «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, «Ревизоръ», «Женитьба» и разныя драматическія сцены Гоголя — превосходныя творенія разныхъ эпохъ нашей литературы, — и, кромѣ нихъ, нѣть ничего, решительно ничего хоть сколько-нибудь замѣчательнаго, даже сколько-нибудь сноснаго. Всѣ эти произведенія стоятъ какими-то особняками, на неприступной высотѣ, и все вокругъ нихъ пусто: ни одного счастливаго подраженія, ни одного удачнаго опыта въ ихъ родѣ. «Бригадиръ» и «Недоросль» породили много подражаній, но до того неудачныхъ, пошлыхъ и вздорныхъ, что о нихъ нельзя и помнить. Еще прежде Фонъ-Визина, нѣкто Аблесимовъ проговорился, обмолвился какъ-то прелестнымъ, по своему времени, народнымъ водевилемъ «Мельникъ», и, кромѣ этого водевиля, не написалъ ничего порядочнаго. Были ли подражанія «Мельнику», не знаемъ, но

если и были, то навѣрное уродливыя и пошлые, а потому и забытыя. Кащенко написалъ «Ябеду»—комедію, замѣчательную болѣе по цѣли, нежели по исполненію. Отъ «Ябѣды» должно перейдти прямо къ «Горе отъ Ума», а отъ него къ драматическимъ опытамъ Гоголя, потому что все написанное въ эти два промежутка времени рѣшительно не стдитъ упоминовенія.

То же самое можно сказать и о нашей трагедіи, или патетической драмѣ. Еще изъ классическихъ трагедій, и оригинальныхъ и переводныхъ, найдется нѣсколько такихъ, которые заслуживали вниманіе и послѣ трагедій Озерова. Но когда классическая трагедія у насъ пала, съ тѣмъ, чтобы никогда уже не вставать,—мы до сихъ порь имѣемъ только «Бориса Годунова» Пушкина, да его же драматическія сцены: «Пиръ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость». И, подобно комедіямъ Фонъ-Визина, Грибоѣдова и Гоголя, эти произведенія Пушкина тоже стоять въ грустномъ одиночество, сиротами, безъ предковъ и потомковъ. Но касательно трагедіи, дѣло по крайней мѣрѣ понятное: наша дѣйствительность еще не довольно развилась, чтобы поэты могли извлекать изъ нея матеріалы для патетической драмы. И потому, это пока возможно, болѣе или менѣе, только привилегированнымъ геніямъ; для талантовъ же рѣшительно невозможно. Но вотъ вопросъ: почему и наша комедія сдѣлалась тоже какою-то привилегіею одного генія и не дается таланту? Развѣ есть въ мірѣ такое общество, которое не представляло бы, въ своихъ нравахъ, богатыхъ матеріаловъ для комедіи? Развѣ наши поэты и бельлетристы не находятъ ихъ въ изобилии и не пользуются ими болѣе или менѣе удачно, когда дѣло идетъ о повѣсти? Повѣсть хорошо принялась на почвѣ нашей литературы: лучшее доказательство въ томъ, что повѣстю у насъ занимаются съ успѣхомъ и таланты и даже полуталанты — не одни геніи... А комедія?... Гдѣ она у насъ? — нигдѣ!..

Узнавъ, что графъ Соллогубъ пишетъ что-то для театра, мы порадовались, что человѣкъ съ умомъ, талантомъ и свѣтскимъ образованіемъ (которое въ дѣлѣ драматической литературы иногда можетъ быть своего рода талантомъ) рѣшился попробовать силы на поприщѣ, которымъ издавна завладѣли посредственность и бездарность. Но вотъ новое произведеніе графа Соллогуба давно и на театрѣ, куда съѣхалось для него почти все высшее общество; вотъ наконецъ вышла и книжка... и мы все-таки не знаемъ, что сказать о «Букетахъ»... Въ заглавіи, «Букеты» названы шуткою: въ этомъ нѣтъ ничего дуриаго и хорошая шутка, хороший фарсъ въ тысячу разъ лучше плохой трагедіи, или комедіи. Но для шутки тоже нуженъ драматической талантъ, и въ ея основаніи должна лежать истина, хотя бы и преувеличеннага для возбужденія смѣха. Мы не скажемъ, чтобы въ основаніи шутки графа Соллогуба вовсе не было истинъ, равно какъ и болѣе или менѣе дѣйствительно вѣрныхъ и смѣшныхъ чертъ; но все это у него испорчено преувеличеніемъ. Хуже всего то, что пьеса основана на избитыхъ пружинахъ такъ-называемаго русскаго водевиля. Чиновникъ, изъ угощенія своему начальнику, бросаетъ букетъ, но не той пѣвицѣ, партизаномъ которой считалъ себя его начальникъ; за это онъ лишается мѣста. Если это шутка, то нельзя не согласиться, что очень смѣлая. Но бѣдному Тряпкѣ мало было лишиться мѣста: авторъ лишилъ его еще и невѣсты, и все по поводу букетовъ. Надо было въ это вмѣшаться любви, и вотъ «влюбленный» перебиваетъ у Тряпки его невѣсту, благодаря глупости ея матери, провинциальной барыни... Но на чёмъ же вертятся всѣ наши водевили, какъ не на этой бѣдной интригѣ, съ вѣчнымъ пожилымъ женихомъ, надъ которымъ къ концу торжествуетъ юный, хотя и глупый любовникъ?... Странно, что графъ Соллогубъ, съ его умомъ и талантомъ, не придумалъ чего-нибудь болѣе оригинальнаго! Мы уже не говоримъ о томъ, что эта шутка есть

шутка заднимъ числомъ: петербургское цвѣтобѣсіе происходило прошлой зимою, а шутка надъ нимъ явилась почти чрезъ годъ.

Не такъ понимаютъ *à propos* Французы: чтобы пошутиТЬ кстати на ихъ манеръ, графу Соллогубу слѣдовало бы написать свою шутку въ одинъ вечеръ, пріѣхавъ домой изъ итальянской оперы, а черезъ недѣлю вечеромъ этой шуткѣ должно бы смѣшить цвѣтобѣсіемъ публику Александрынскаго театра, въ то самое время, какъ на Большомъ-театрѣ цвѣтобѣсіе разыгрывалось бы на самомъ дѣлѣ. Тогда шутка была бы по крайней мѣрѣ кстати...

Впрочемъ, все это такъ неважно, что не стояло бы и словъ, еслибы тутъ не вмѣшились два обстоятельства — имя автора «Букетовъ» и некоторые фельетонные толки, порожденные «Букетами». Такъ, напримѣръ, по поводу этого водевиля «Сѣверная Пчела» обвинила всю современную русскую литературу въ злостномъ стремлѣнии унижать полезный и почтенный классъ чиновниковъ, и изображать ихъ не иначе какъ людьми безнравственными и глупыми. Первою причиною этого направления современной русской литературы «Сѣверная Пчела» считаетъ Гоголя... Если эта газета позволяетъ себѣ взводить напраслину на современную литературу (изъ которой она себя не безъ основанія исключаетъ), то мы не менѣе ея считаемъ себя въ правѣ защитить современную литературу отъ такихъ несправедливыхъ навѣтовъ. Это даже нашъ долгъ.

Надобно сказать, что «Сѣверная Пчела», неимѣющая похвальной привычки держаться одного и того же мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, сперва расхвалила «Букеты» графа Соллогуба, — въ чёмъ любопытные читатели могутъ удостовѣриться сами изъ фельетона 253 нумера ея, вышедшаго 8 ноября; гроза надъ «Букетами» и надъ современною русскою литературою разразилась въ 261 нумерѣ, вышедшемъ 17 ноября, —

ровно чрезъ десять дней... Этотъ обвинительный фельетонъ начинается такъ:

«Несомнѣнныи признакъ образованности и общежительности каждого человѣка въ особенности и народа вообще — это умѣніе понимать шутку и отличать сатиру отъ пасквиля. Литература и общество, не терпящія шутокъ и легкой, умной насмѣшки (*causticitѣ*), то же, чтоб пища безъ соли, вино безъ букета, красавица безъ выраженія въ лицѣ и огня въ глазахъ. Нигдѣ болѣе не шутить и не колять, какъ въ Англіи и Франціи, и никто тамъ за это не гнѣвается. Холодные и чинные по наружности Англичане обладаютъ неподражаемымъ качествомъ, юморомъ (*humour*), одушевляющимъ и ихъ рѣчи и ихъ литературу. Французы умѣютъ во всемъ найти смѣшную сторону, даже въ дѣлахъ самыхъ серьѣзныхъ.

Все это очень справедливо и не разъ говорилось въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» повторилъ эти мысли, чтобы вывести изъ нихъ заключеніе діаметрально противоположное тому, какое изъ нихъ само собою естественно должно выходить. Опираясь на томъ, что шутка должна имѣть границы, онъ хочетъ совершенно уничтожить въ русской литературѣ шутку и юморъ и, для этого, силится восстановить противъ нихъ цѣлое сословіе. Во первыхъ, какъ могутъ развиться шутка и юморъ, когда имъ заранѣе предписываются границы? Англійскій юморъ и французская шутливость потому и процвѣтаютъ, что не боятся переходить за границы. И это очень естественно: какъ можно заставить чѣловѣка быть веселымъ, сказавъ ему заранѣе, что онъ будетъ тотчасъ оштрафованъ, какъ скоро хоть немного зайдетъ за черту позволенной веселости! Какъ объясните вы ему, гдѣ эта черта?... Ужь хоть бы на Англичанъ-то не ссылался г. фельетонистъ; если только сказать нашей чинной публикѣ, какъ позволяютъ себѣ Англичане шутить, такъ она пришла бы въ ужасъ... И немудрено: Англичане имѣютъ привычку, вошедшую въ ихъ нравы и обратившуюся въ обычай, печатать не только то, что они говорятъ, но и что они думаютъ, — и не объ однихъ теорети-

ческихъ предметахъ, но и о лицахъ... Очевидно, что нашъ фёльетонистъ писалъ по наслышкѣ объ Англійскомъ юморѣ. Сомнѣваемъ ему справиться, напримѣръ, хоть о томъ, какъ разыгрывался юморъ Байрона насчетъ Соутэ... Потомъ, словоохотливый фёльетонистъувѣряетъ, будто-бы лучшій и чистѣйшій образецъ шутки и юмора въ русской литературѣ должно видѣть—въ «Иванѣ Выжигинѣ», и что этотъ романъ, написанный самимъ фёльетонистомъ, который по этому поводу одинъ и превозносить его, лучше «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» Гоголя!

«Въ сатирическихъ статьяхъ (говоритъ фёльетонистъ) я никогда не имѣлъ передъ глазами какого-нибудь лица, но всегда бралъ съ мѣра по нитку. Въ моемъ *Иванѣ Выжигинѣ*, выставляя пороки и злоупотребленія, я помѣщалъ ихъ всегда рядомъ съ добродѣтелью и честностью. Въ *Иванѣ Выжигинѣ* вы встрѣчаете хорошаго помѣщика рядомъ съ дурнымъ, честнаго чиновника въ противоположность злоупотребителю, благороднаго судью возлѣ взяточника.»

Затѣмъ, г. фёльетонистъ, скромно предоставляя публикѣ сказать, хорошо или дурно разрѣшилъ онъ эту задачу, присовокупляетъ, что правила его вѣрны, и что молодое поколѣніе писателей, отвергнувъ эти правила, дѣйствуетъ по китайски, т. е. пишетъ безъ тѣней. Какъ на поразительный примѣръ этой китайской живописи въ литературѣ, указываетъ г. фёльетонистъ на «Ревизора» и «Мертвые Души», говоря, что всѣ дѣйствующія лица въ нихъ — хищныя враны, идіоты, паяцы, невозможные въ дѣйствительной жизни...

Но намъ что-то крѣпко сдается, что г. фёльетонистъ хлопочеть тутъ больше о себѣ, нежели о чиновникахъ. Это не трудно доказать. Онъ разсуждаетъ объ искусствѣ по китайски, и тѣхъ, кто понимаетъ искусство по человѣчески, называетъ Китайцами. Онъ извлекъ эстетическія правила, которыя почитаетъ вѣрными и непогрѣшительными, изъ сочиненій, которыхъ мы нисколько не считаемъ образцовыми. Поэтому,

очень естественно, если онъ думаетъ, что романы и комедіи можно писать по рецепту, т. е. подлѣ взяточника поставьте безкорыстнаго судью, подлѣ лѣниваго хозяина — трудолюбиваго, подлѣ вора — честнаго человѣка, и т. д. и выйдетъ хорошо. Такъ писать легко! Но, къ сожалѣнію такъ писать теперь уже невозможно, потому что такихъ «нравственно-описательныхъ» романовъ публика уже не читаетъ и не покупаетъ. Вотъ это-то горестное обстоятельство и вооружаетъ устарѣлую посредственность и бездарность противъ молодаго поколѣнія писателей. Имъ, т. е. посредственности и бездарности, хотѣлось бы не тѣмъ, такъ другимъ, не мытьемъ, такъ катаньемъ, воспрепятствовать молодому поколѣнію писать съ талантомъ; имъ хотѣлось бы заставить его писать какъ писывали прѣжде, т. е. вмѣсто живыхъ лицъ выводить куклы, съ ярлычками на лбу: вотъ это, молъ, безкорыстіе, это благонамѣренность, это взяточничество, и т. д. Такъ и былъ написанъ «Иванъ Выжигинъ»: почему всѣ дѣйствующія лица его и носятъ характеристическія названія Благонравовыхъ, Честоновыхъ, Вороватиныхъ, Ножовыхъ и т. д. И «Выжигинъ» имѣлъ успѣхъ, хотя и минутный потому что въ то время, когда онъ явился, еще не совсѣмъ прошла мода на такую восковую и картонную литературу, еще не всѣ забыли романъ Измайлова, въ подражаніе которому былъ написанъ «Выжигинъ», и который назывался «Евгений, или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества»: въ немъ дѣйствующія лица также носятъ характеристическія названія Негодяевыхъ, Развратиныхъ, Вѣтровыхъ и т. д. Но этотъ самый успѣхъ и погубилъ «Ивана Выжигина», потому что обѣ немъ всѣ заговорили и начали судить, и такимъ образомъ скоро дошли до лучшихъ воззрѣній на романъ, какъ произведеніе искусства. Всему свое время, и романъ Измайлова былъ хорошъ для своего времени. Мы не скажемъ, чтобы и «Выжигинъ» воспользовался совершенно незаслуженнымъ успѣхомъ, равно какъ не скажемъ и того,

чтобъ онъ незаслуженно пришелъ въ скорое и конечное забвение. Его заслуга именно въ томъ и состояла, что онъ спасъ нашу литературу отъ наводненія подобными романами, которые такъ легко писать, не имѣя таланта, не зная ни дѣйствительности, ни людей. Послѣ «Выжигина» въ нашей литературѣ пошумѣлъ не одинъ романъ многое получше «Выжигина»; но гдѣ они теперь все?... А между тѣмъ, всѣ они были необходимы и принесли большую пользу въ отношеніи къ нашей юной литературѣ, они были ея черновыти тетрадями, по которымъ она учились писать. Теперь она выучилась писать, и публика не хочетъ знать ея черновыхъ тетрадей, писанныхъ по линейкѣ. Теперь русскій романъ и русская повѣсть уже не выдумываются, не сочиняются, а высказываютъ факты дѣйствительности, которые, будучи возведены въ идеалъ, т. е. отрѣшены отъ всего случайного и частнаго, болѣе вѣрны дѣйствительности, нежели сколько дѣйствительность вѣрна самой себѣ. Теперь романъ и повѣсть изображаютъ не пороки и добродѣтели, а людей, какъ членовъ общества, и потому, изображая людей, изображаютъ общество. Вотъ почему теперь требуется, чтобы каждое лицо въ романѣ, повѣсти, драмѣ, говорило языкомъ своего сословія, и чтобы его чувства, понятія, манеры, способъ дѣйствованія, словомъ, все оправдывалось его воспитаніемъ и обстоятельствами его жизни. Фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» довольно справедливо называетъ Гоголя основателемъ теперешней литературной школы; но совсѣмъ несправедливо упрекаетъ Гоголя въ томъ, будто бы онъ оскорбляетъ цѣлое сословіе, изображая нѣкоторыхъ его членовъ негодлями и глупцами. Что же касается до того, что всѣ его герои будто бы дураки, — это рѣшительная неправда. Въ «Ревизорѣ» глупы только Бобчинскій съ Добчинскимъ, да Хлестаковъ; простовать немногого наивный почтмейстеръ; остальные всѣ умны, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, городничій, даже очень умны. О нихъ

можно сказать, что они грубы, невежды и невежи, но никакъ нельзя сказать, что они глупы. Въ «Мертвыхъ Душахъ» глупъ одинъ Маниловъ и простоваты предсѣдатель и почтмейстеръ, а все остальные очень умны, положимъ, умны по своему, но все-же умы, а не глупы. Потомъ, еслибъ Гоголь и изображалъ только однихъ негодяевъ и глупцовъ, это бы отнюдь не значило, что онъ дурнаго мнѣнія о цѣломъ сословіи, не значило бы только, что онъ мастеръ изображать однихъ негодяевъ и глупцовъ, которыхъ довольно во всякомъ сословіи. Кто можетъ сказать поэту, зачѣмъ онъ изображаетъ то, а не это? Кто можетъ сказать живописцу, зачѣмъ онъ пишетъ ландшафты, а не историческія картины, или зачѣмъ, пиша ландшафты, изображаетъ деревья кривыя и сухія, а не прямыя и пышно зеленѣющія?... Когда талантъ проявляеть себя въ произведеніяхъ исключительно одного рода, называйте его, если хотите, одностороннимъ, но не дѣлайте изъ его односторонности уголовнаго преступленія...

Г. фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» говоритъ:

„Смотря на выведенныхъ на сцену чиновниковъ въ новой піесѣ: *Букеты; или петербургское цветоблюстie*, у насъ сердце обливалось кровью при мысли, что на представление этой піесы явился весь большой свѣтъ (который—замѣтимъ мы отъ себя—не явился на представление „Шкуны Нюкарлеби“), и что многіе, особенно многія изъ этого большаго свѣта, не имѣя понятія о чиновникахъ, подумали, что это списано съ натуры! Нѣть, милостивыя государыни и милостивыя государи, Mesdames et Messieurs, такихъ чиновниковъ, какихъ, вы видите въ *Ревизорѣ*, въ *Цвѣтоблюстiu*, и т. п. нѣть, а между чиновниками могутъ быть и смѣшные, и дурные люди, какъ вездѣ. Съ людьми, называющими себя *писателями нового поколѣнія*, я не намѣренъ ссориться: они должны быть превосходные писатели, потому что безпрестанно то сами себя, то другъ друга ужасно расхваливаютъ; скажу только: простите имъ, добрые люди, не вѣдаютъ бы чтобъ творять!“

Не понимаемъ, какое отношеніе нашелъ г. фѣльетонистъ между «Ревизоромъ»—превосходнѣйшимъ произведеніемъ генія, и «Букетами»—шуткою таланта? Вотъ другое дѣло, еслибъ

онъ поставилъ «Букеты» па одну доску съ «Выжигинымъ»: конечно, всѣ отдали бы преимущество первымъ... А потомъ: съ чего вздумалъ г. фельетонистъ обвинять графа Соллогуба въ намѣреніи оскорблять чиновниковъ? Положимъ, онъ невѣрно изобразилъ ихъ; но это вина таланта, а не человѣка. Вѣдь г. Булгаринъ еще хуже изобразилъ въ своемъ «Выжигинѣ» всѣ сословія въ Россіи, — такъ худо, что даже добродѣтельныя лица его романа вышли необыкновенно безобразны; однажъ, всѣ критики, и съ ними публика единодушно приписали этотъ недостатокъ рѣшительному отсутствію въ сочинителѣ поэтическаго таланта, а отнюдь не какимъ нибудь особыніемъ намѣреніямъ... Далѣ: какіе писатели новаго поколѣнія хвалятъ безпрестанно то сами себя, то другъ друга? Помилуйте! это дѣлаютъ только нѣкоторые писатели равно и стараго и новаго поколѣнія, потому что самохвалы есть вездѣ. Говорить о себѣ ежедневно: «я стою за правду, я готовъ умереть за правду», или плохой и забытый романъ свой ставить выше геніальныхъ произведеній,—вотъ это значитъ безпрестанно хвалить себя, — и это нехорошо. Но еще хуже приписывать другимъ дурныхъ намѣренія,—единственно изъ зависти къ чужому успѣху и въ надеждѣ дать литературѣ насильственный поворотъ...

---

*ПЕТЕРБУРГСКІЯ ВЕРШИНЫ, описанныя Я. Бутковымъ. Книга первая. Спб. 1845.*

Справедливо говорить латинская пословица, что у книгъ есть своя судьба. «Петербургскія Вершины» г. Буткова — живое доказательство этой истины: о нихъ было писано и говорено еще прежде ихъ появленія; появленіе же встрѣчено разными толками. И между тѣмъ, эти толки нисколько не от-

носились къ книгѣ г. Буткова: говоря о ней, говорили о Гоголѣ, а не о г. Бутковѣ. Но это самое и послужило въ пользу книги; она сдѣлалась черезъ это болѣе замѣчательнымъ явленіемъ, нежели сколько замѣчательна она на самомъ дѣлѣ. Спорьте послѣ этого противъ важности нѣкоторыхъ литературныхъ именъ! Имя Гоголя такъ велико въ нашей литературѣ, что стоять только кого-нибудь, изъ шутки или изъ зависти къ Гоголю, поставить наравнѣ съ Гоголемъ или выше его, — и этотъ кто-нибудь — уже знаменитое лицо въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ хоть на столько времени, пока шутка или сплетня не забудутся. Это напоминаетъ намъ всѣмъ извѣстную басню Крылова, въ которой паукъ, прицѣпившись къ хвосту орла, взлетѣлъ съ нимъ на вершины — не Петербурга, а Кавказа, и величался и хвастался на нихъ передъ орломъ — до первого порыва вѣтра, который опять сбросилъ его въ низменную долину. Такъ можно и маленьkimъ именамъ прицѣпляться къ именамъ великимъ и на мгновеніе подняться съ ними на всякия вершины. Но г. Бутковъ и не думалъ прицѣпляться къ имени Гоголя: по крайней мѣрѣ, этого не замѣтно въ его книгѣ. Не самъ онъ прицѣплялся, а его прицѣпили нѣкоторые мнимые его доброжелатели. Жаль, очень жаль, что г. Бутковъ, при первомъ появлениі на литературное поприще, сдѣлался невинною жертвою, — тѣмъ болѣе жаль, что онъ человѣкъ не безъ таланта, какъ это ясно видно изъ его книги...

Вотъ чѣмъ было напечатано о книгѣ г. Буткова, тотчасъ по ея выходѣ, въ фѣльетонѣ 242 N «Сѣверной Пчелы»:

«Еслибъ судьба дала г. Буткову столько золота, или даже столько искусства жить въ свѣтѣ, сколько дала ему ума, чистаго юмора и наблюдательности, то при выходѣ въ свѣтѣ этого томика поднялся бы шумъ и крикъ (конечно!), и томикъ расхватали бы въ одинъ день. Когда г. Гоголь назвалъ собраніе своихъ повѣстей *Вечера(ми)* близъ *Диканки*, онъ доказалъ, что климатъ Малороссіи, хотя не столь нѣжный какъ климатъ Италіи, все же способству-

етъ всѣмъ тонкостямъ (какимъ же это?...) Диванка, село вельможи, всѣмъ извѣстное, возбудило общее вниманіе, и доставило покровительство автору (чье?...). *Петербургскія Вершины*, при всемъ умѣ своемъ (!), не возвысить автора (*жаль!*), потому что у него взглядъ самостоятельный, юморъ неподдѣльный, и достоинство не въ грязныхъ картинахъ, а въ истиннѣ. Г. Гоголь смѣшить карикатурами, и сидя на высотѣ (?), пишетъ картины *грязью*; г. Бутковъ сидѣть внизу (?), но рисуетъ съ натуры и свѣтлыми красками. Мы не сравниваемъ (а чѣмъ же вы дѣлаете?) двухъ писателей, но это одинъ родъ (*именно!*), съ тою разницею, что языкъ г. Буткова чистъ и правиленъ и картины свѣтлы, и что онъ не рѣшится назвать своей повѣсти *поэзій*, и не найдеть пріятеля (*не знаемъ истиннаго или ложнаго, но ужъ нашелъ!*), который бы звалъ его Гомеромъ. Рекомендуемъ книгу г. Буткова всѣмъ любителямъ забавнаго, остроумнаго чтѣнія. Г. Бутковъ постигнула вполнѣ (*неужели?*), что такое юморъ, и заставляя хохотать, заставляетъ въ то же время и мыслить и чувствовать. Прочтите *поэзіалуйста!*) *Петербургскія Вершины*; второй книги г. Буткова мы уже не станемъ рекомендовать: вы и сами иоторопитесь купить. Нѣкоторые журналы, разумѣется, употреблять все свое усиліе, чтобы уничтожить г. Буткова за то, что Сѣверная Пчела его хвалитъ (а это ужасное преступленіе!) и за то что при его имени вспомнили имя т. Гоголя, какъ творца натуры 15-го класса; но это и должно радовать г. Буткова. Это ему новый предметъ къ изученію, жалкій, но поучительный!»

Мы нисколько не удивляемся тому, что «Сѣверная Пчела» не можетъ ни о чёмъ говорить не вспоминая Гоголя. Это понятно: чѣмъ у кого болѣтъ, тотъ о томъ и говоритъ. По старому теперь писать нельзя...

Еще разъ повторяемъ: мы нисколько не удивляемся этой неутомимой враждѣ къ Гоголю; но вотъ чѣму мы удивляемся—безсилію вражды къ нему, крайней неловкости нападокъ на него. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, повѣрить «Сѣверной Пчелѣ», что она не признаетъ никакого таланта въ писателѣ, который имѣлъ такой огромный успѣхъ, который далъ новое направление русской литературѣ и котораго она безпрестанно зацѣпляетъ? Чѣмъ виноватъ Гоголь, что одинъ изъ неловкихъ, восторженныхъ его почитателей (всѣ восторженные почитатели бывають неловки и смѣшны) провозгласилъ его Гомеромъ?

Но Гоголь пишетъ свои картины грязью, говоритъ «Сѣверная Пчела»: еслибъ это было и такъ, что жь тутъ худаго, когда его картины, писанныя грязью, лучше картинъ, писанныхъ красками? Говорятъ, Микель-Анджело разъ начертить на стѣнѣ углемъ фигуру головы,—и этотъ очеркъ былъ недосягаемо выше миллионовъ картинъ, писанныхъ не углемъ на стѣнѣ, а дорогими красками на холстѣ... Дѣло не въ матеріалахъ, а въ творчествѣ, въ исполненіи. Какой-нибудь Держиморда изъ «Ревизора» конечно, не герой, не Александръ Македонскій; но, какъ художественно очерченное лицо, онъ въ тысячу разъ выше Годунова, Димитрія Самозванца, Мазепы и другихъ каррикатуръ, намалеванныхъ авторомъ «Выжигина» красками, а не углемъ, не мѣломъ, не грязью... Намъ даже жаль «Сѣверную Пчелу», что она такъ неловко ратуетъ противъ Гоголя. Посмотрите, какъ ловко, напримѣръ, «Иллюстрація», по поводу все тѣхъ же «Петербургскихъ Вершинъ» заступилась за Гоголя...

„Всѣ четвертые, пятые и шестые этажи столичнаго города С. Петербурга, попали подъ неумолимый ножъ г. Буткова. Онъ взялъ отрѣзаль ихъ отъ низовъ, перенесъ домой, разрѣзаль по составчикамъ (,) и выдалъ въ свѣтъ частичку своихъ анатомическихъ препаратовъ. Скользкій путь! Мы тяжлы на сатиру (*правда*), которую едва ли жалуетъ наша публика (*не правда!*). Вотъ каррикатуры приспособленныя ко времени, наша страсть. Чѣмъ можетъ быть не правдоподобиѣ покойныхъ Выжигиныхъ, а Иванъ читался (*опять правда!*); Петръ Ивановичъ прошелъ даже не замѣченнымъ, а дальнѣйшія каррикатуры того же автора (*сочинителя?*) не возбудили даже улыбки (*трижды правда!*). Конечно, талантъ не старѣется; сочиненія Н. В. Гоголя также представляютъ, не сатиру, а каррикатуры современаго міра (*неужели? — это новость!*). Того нельзѣ въ природѣ, что онъ описываетъ (*полноте — что за шутки!*). Типы его — созданія веселой фантазіи; но дѣло мастера боится. Каррикатуры Гоголя читались съ удовольствіемъ, читаются и будуть читаться. *Иллюстрація*, № 31, стр. 490).

Рѣшительно, Гоголь — это вся русская литература! О литературѣ ли русской кто хочетъ заговорить, — непремѣнно

хоть что нибудь скажетъ о Гоголѣ; о самомъ ли себѣ захочеть иной поговорить,—опять говорить о Гоголѣ... Но одинъ говорить неловко, не умѣя скрыть, что, толкуя о Гоголѣ, хлопочеть о самомъ себѣ; другой дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ловче: онъ хвалитъ Гоголя... хотя и не больше, какъ даровитаго каррикатуриста... Онъ говоритъ, что того нѣтъ въ природѣ, что Гоголь описываетъ; но что все-таки у Гоголя есть талантъ, и его съ удовольствиемъ читали, читаютъ и будутъ читать... Какимъ образомъ можно съ талантомъ описывать то, чего нѣтъ въ природѣ,—объ этомъ не спрашивайте; не говорите и о томъ, что сама каррикатура есть только преувеличеніе истины въ смѣшномъ видѣ, что безъ сходства съ оригиналомъ она ничего не стбнть, и что, наконецъ, только бездарные писаки описываютъ то, чего нѣтъ въ дѣйствительности,—не говорите ничего этого: тутъ дѣло идетъ не объ истинѣ, а о чёмъ-то другомъ...

Обратимся къ книжкѣ г. Буткова. Несмотря на всѣ ея недостатки, мы прочли съ удовольствиемъ—если не всю ее, то иѣкоторыя статьи въ ней. По всему видно, что г. Бутковъ только что выступаетъ на литературное поприще и еще не осмотрѣлся на немъ, не привыкъ къ нему. Но это недостатокъ неважный, отъ которого скоро могутъ избавить его трудъ и дѣятельность. Большая часть недостатковъ его книги, самыхъ важныхъ, происходитъ отъ свойства его таланта. Это, во первыхъ, талантъ болѣе описывающій, нежели изображающій предметы, талантъ чисто-сатирическій и нисколько не юмористический. Въ немъ не достаетъ ни глубины, ни силы, ни творчества. Но тѣмъ не менѣе, въ авторѣ видны умъ, наблюдательность и, мѣстами, остроуміе и много комизма. Онъ умѣетъ замѣтить смѣшную сторону предмета и схватить ее. Этого мало: у него не только видѣнъ умъ, но и сердце, умѣющее сострадать ближнему, кто бы и каковъ бы ни былъ этотъ близний, лишь бы только былъ несчастенъ.

Гоголь имѣлъ сильное вліяніе на талантъ г. Буткова. Особенно часто образъ Акакія Акакіевича (изъ повѣсти «Шинель») отражается на герояхъ г. Буткова. Чибукеvичъ, герой первой повѣсти его, называющейся: «Порядочный Человѣкъ», сперва является очень близкимъ подобіемъ Акакія Акакіевича, но уже потомъ, какимъ-то чудомъ, извѣстнымъ только одному автору, дѣлается тонкимъ, смѣлымъ и наглымъ плутомъ. Герои повѣстей: «Ленточка» и «Сто Рублей» — опять сколки съ Акакія Акакіевича. Мы очень желали бы, чтобъ эта подражательность поскорѣе замѣнилась въ г. Бутковѣ самостоятельностью. Самая худшая изъ всѣхъ статей, составляющихъ первую часть «Петербургскихъ Вершинъ», есть «Почтенный Человѣкъ»: это что-то до того блѣдное, вялое, растянутое, плоское и скучное, что трудно повѣрить, чтобъ оно могло быть написано человѣкомъ съ талантомъ. Самая лучшая статья — «Сто Рублей». Это не повѣсть, а очеркъ, разсказъ, что-то даже въ родѣ анекдота; но тутъ много хорошаго. Особенно понравилось намъ явленіе безвакантнаго Авдѣя въ контору господъ Щетинина и компаний и его пребываніе въ этой конторѣ. Тутъ много подмѣчено кое-что рѣзко-характеристического. Но всего лучше въ этомъ разсказѣ физиологически очерченъ характеръ Ерша.

И другие разсказы не лишены достоинства. Жаль только, что они не ровны, т. е. хороши мѣстами, но въ цѣломъ не выдержаны. И потому, мы не скажемъ, чтобъ статьи: «Порядочный Человѣкъ», «Ленточка» и «Битка» были хороши, но скажемъ, что въ нихъ много хорошаго. Такъ, напримѣръ, въ «Порядочномъ Человѣкѣ», кромѣ самого героя, который сначала является естественнымъ, а потому и интереснымъ, очень рѣзко, хотя мѣстами и грязновато, описанъ мотъ изъ купеческихъ сыновъ. Очень недуренъ и разсказъ половаго въ гостинницѣ на Вознесенскомъ проспектѣ.

Вообще, языкъ автора «Петербургскихъ Вершинъ» мѣстами бываетъ довольно мѣтокъ и цѣлопокъ, и г. Бутковъ иногда умѣеть говорить довольно оригинально о вещахъ самыхъ простыхъ. Но, повторимъ еще разъ, у г. Буткова во всемъ и вездѣ неровности. За выражениемъ сильнымъ и характеристическимъ слѣдуютъ вялые и безцвѣтныя; за яркою страницею—страницы блѣдныя. Правда, за то надо сказать, что и въ самомъ плохомъ разсказѣ — «Почтенный Человѣкъ», кое-гдѣ блещутъ искорки ума и остроумія. Но какъ достоинства, такъ и недостатки сочиненій г. Буткова происходятъ прямо изъ сущности его таланта. Какъ талантъ чисто-сатирическій и описательный, а не юмористический и творческий онъ часто бываетъ колокъ, остроуменъ, но часто и гоняется за остроуміемъ. Такъ, напримѣръ, въ книгѣ своей г. Бутковъ множество разъ, безъ всякой нужды и вовсе некстати, употребилъ слово са-мость, вездѣ отмѣчая его курсивомъ, какъ бы думая, что это ужь и Богъ знаетъ какъ зло и остроумно. Мѣстами въ языке замѣтна и небрежность и стремленіе къ неудачнымъ нововведеніямъ: такъ, напримѣръ, отъ слова каста онъ произвелъ небывалый эпитетъ кастической.

Во всякомъ случаѣ, мы душевно рады появленію новаго таланта. Разовьется ли талантъ г. Буткова, или заявятъ самъ собою отъ слабости своего корня, выйдетъ ли изъ него что-нибудь важное, или такъ что-нибудь, или ничего не выйдетъ, — объ этомъ мы погодимъ разсуждать. Пока скажемъ только, что у г. Буткова есть умъ и дарованіе, и пожелаемъ ему всевозможныхъ успѣховъ на поприщѣ нашей литературы, не только не богатой, но вовсе бѣдной бельетристическими талантами.

**КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА. ГРАФЪ МОНТЕ-КРИСТО,** романъ Александра Дюма. Полный переводъ В. М. Строева. Часті перва, вторая и третья. Спб. 1845.

**ГРАФЪ МОНТЕ-КРИСТО.** Романъ Александра Дюма. Выпускъ 1. 2, и 3. Спб. 1845.

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. ТРИ МУШКАТЕРА.** Романъ Александра Дюма. Часть I. Спб. 1845.

**КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА. ТРИ МУШКАТЕРА** Романъ Александра Дюма. Полный переводъ, разсмотренный В. М. Строевымъ. Часть первая и вторая. Спб. 1845.

Чтò бы ни говорили о нась остроумные противники наши, но мы не перестанемъ повторять, что въ русской литературѣ больше геніевъ, нежели талантовъ, больше художниковъ, нежели бельетристовъ. Изъ этого, впрочемъ, еще не слѣдуетъ, чтобъ у нась геніевъ и художниковъ было очень много, даже просто много; но они замѣтнѣе и долговѣчнѣе талантовъ, и потому ихъ имена у всѣхъ на языкѣ. А таланты бельетристические такъ же быстро изчезаютъ у нась, какъ и рождаются. Притомъ же, они такъ мало пишутъ! Пушкинъ, умершій еще въ порѣ силъ, одинъ написалъ больше, нежели всѣ его подражатели, вмѣстѣ взятые. Да и кто теперь читаетъ крохотныя книжечки сочиненій этихъ подражателей? Новые бельетристы, смѣнившіе ихъ, тоже и мало пишутъ и скоро выписываются. Отъ этого и читать нечего, ибо геніи не рождаются десятками.

Бельетристика есть мѣрка богатства всякой литературы. И ни одна литература въ мірѣ не можетъ равняться въ этомъ отношеніи съ французскою. Искусство писать до того развилось во Франціи, что какъ-будто сдѣлалось второю природою Французовъ. Оттого во Франціи есть что читать, да и вся Европа читаетъ французскихъ писателей, всѣ европейскія литературы живутъ перѣводами съ французского. Въ самомъ

дѣлѣ, чтò такое всѣ эти романы — «Матильда», «Парижскія Тайны». «Вѣчный Жидъ», «Королева Маргѣ», «Монте-Кристо» «Ночи на Кладбищѣ Отца Лашеза», если не блестящія произведенія бельетристики, наполненные всевозможными натяжками, не естественностями, эффектами, и въ то же время, мѣстами, блистающія вдохновеніемъ, умомъ, мыслю, всегда живыя и занимательныя? Они недолговѣчны, потому что ихъ авторы — обыкновенно таланты, не геніи, и пишутъ не для потомства, не для вѣковъ, а только для того года, въ который пишутъ. Всѣ эти романы и повѣсти, пошумѣвъ на бѣломъ свѣтѣ, скоро забудутся, но смѣненные другими,—и такимъ образомъ публикѣ всегда есть чтò читать. Если вы не любите эфемерныхъ произведеній бельетристики, любя только художественные созданія,—не читайте ихъ, но и не браните, не презирайте бельетристики: она и безъ васъ найдетъ себѣ множество читателей и будетъ имъ полезна, благотворно дѣйствуя на ихъ образованіе и доставляя имъ умное и благородное развлеченіе. Пусть аристократы искусства читаютъ только своихъ привилегированныхъ авторовъ: масса публики тоже должна имѣть свою литературу. И если какая-нибудь литература удовлетворяетъ вдругъ тому и другому требованію,—тѣмъ больше ей чести и славы!...

Мы ни слова противъ переводовъ французскихъ романовъ и повѣстей; мы даже отъ души рады имъ; но наше дѣло отличить хорошіе отъ дурныхъ. «Карманская Библіотека», выходящая маленькими красивыми книжками, представляетъ переводы полные и вѣрные, а не передѣлки; со стороны языка, они не оставляютъ ничего желать. — Но чтò такое «Экономическая Библіотека»? Почему она экономическая? О кухнѣ что ли разсуждаетъ она? Нѣтъ, она представляетъ переводы тѣхъ же романовъ, какіе и «Карманская Библіотека», но переводы плохіе, искаженные съ пропусками и перемѣнами. «Графъ

Монте-Кристо», изданный въ 8-ю долю листа и содержащій въ себѣ три выпуска, есть не что иное какъ отдельно отпечатанные листки перевода первыхъ частей этого романа, помещеннаго въ одномъ изъ русскихъ журналовъ нынѣшняго года. Переводъ этотъ нѣсколько сокращенъ, но въ отношеніи къ языку хорошъ. — Что за роскошь! одинъ и тотъ же романъ въ нѣсколькихъ переводахъ! Это не роскошь, а соревнованіе, конкуренція, которая, впрочемъ, должна принести успѣху дѣла не пользу, а вредъ. У насъ обыкновенно куда одинъ, туда и всѣ, за что одинъ, за то и всѣ, какъ-будто выгода всѣхъ заключается только въ томъ, что придумалъ одинъ для своей выгоды! Неужели теперь во Франціи только и романовъ что «Монте-Кристо», да «Три Мушкетера»...

**КОЧУБЕЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ.** Историческая повѣсть.  
Николая Сементовскаго. Спб. 1845.

Посредственность хуже бездарности. Бездарность, по крайней мѣрѣ, смѣшитъ читателя; посредственность наводитъ на него апатію. Это не сонъ, успокаивающей и освѣжающей, а тяжелая дремота, родъ какого-то озѣрененія, слишкомъ хорошо знакомаго людямъ, которые обязаны читать всякий печатный вздоръ. Увы! пишущій эти строки читалъ «Кочубея, генеральна г судью», и крѣпко сердился на него, зачѣмъ онъ погубилъ доброго Самуиловича, зачѣмъ позволялъ женѣ дратъ себя за чупрыну и цѣловалъ у ней за это руку, зачѣмъ подавалъ Петру-Великому нелѣпо составленный доносъ на Мазепу: не дѣлай онъ ничего этого, — и г. Сементовскій не написалъ бы плохой повѣсти, а я, несчастный рецензентъ, не прочелъ бы ее, не испыталъ бы въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ давленія кошемара, не спалъ бы съ открытыми глазами и не

думалъ бы съ ужасомъ, что читаемое мною въ книгѣ есть мой собственный бредъ отъ начинаящейся горячки... О, Кочубей! ты дважды страдалецъ: разъ погибъ ты отъ Мазепы, другой — отъ г. Сементовскаго... Но я-то, за что же я погибаю тутъ? Вѣдь я невиненъ въ гибели Самуиловича, я не дѣлалъ доноса на Мазепу, я вообще не люблю никакихъ доносовъ, даже литературныхъ, которые считаются самыми невинными, считаются даже особеннымъ родомъ литературы, существующимъ замѣнить собою вышедшую изъ употребленія дидактическую поэзію... И ничего, ничего для моего вознагражденія за прочтение книги въ 8-ю долю листа въ 377 страницъ! Я даже ни разу не засмѣялся при живописныхъ описаніяхъ, какъ шадане Кочубей таскала资料а своего мужа за чупрыну, а онъ благодарила ее за науку...; Одно только мѣсто поразило меня, но не какъ фактъ поэзіи, а какъ фактъ славянофильской цивилизациі, славянофильскихъ нравовъ: это описание, какъ Любонко Кочубей свою «доню Мотреньку» стегала... нѣтъ бишь — «катовала» казацкою нагайкою по спинѣ и по прочему... Во всемъ остальномъ ничто не заняло меня, — ни Юлія, которая сдѣлала Мазепу набожнымъ и кроткимъ (я счелъ это за сказку, и притомъ довольно вздорную), ни высокій слогъ описаній утренней и вечерней погоды, которыми начинается каждая глава этой повѣсти, — щобъ ей лышечко! — ни низкій слогъ казацкихъ разговоровъ — врагъ бы побралъ ихъ душу! Я никакъ не могъ понять, о чёмъ и зачѣмъ толкуютъ эти люди; мнѣ даже казалось, что это не люди, а марionетки, плохо вырѣзанныя изъ картона и еще хуже размалеванныя... Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, виновать не сочинитель, а дремота и зѣвота, съ какими я услаждалъ себя чтеніемъ этой несравненной исторической повѣсти; но кто же нагналъ на меня эту дремоту, если не самъ сочинитель, г. Сементовскій?... Богъ ему судья!...

*МОГИЛА ИНОКА. Иностранное происшествие XIX столѣтія. Сочинение Ф. Садовникова. Спб. 1845.*

Вотъ г. Садовниковъ совсѣмъ не то, чтб г. Сементовскій! Г. Садовникову я очень благодаренъ: онъ разбудилъ меня отъ дремоты, которою магнетически оковалъ меня г. Сементовскій. Истинное происшествіе XIX столѣтія — презабавная книжка, она же и не велика. Читая ее, вы безпрестанно смеетесь, и тамъ, гдѣ герои ея страдаютъ, плачутъ и говорятъ высокимъ слогомъ, и тамъ, гдѣ они шутятъ и смеются до низкаго слога, или выражаются среднимъ. «Могила Иноха» доставила намъ такое удовольствіе, что мы рѣшаемся подѣлиться имъ съ нашими читателями, — тѣмъ болѣе, что они самой книги, конечно, не прочтутъ и даже не увидятъ. И такъ, слушайте!

*„Челена мрака исчезла съ эфирнаю небосклона, и утро во всемъ блескѣ испадало на окрестности Петербурга. По островамъ было слышно пѣніе птицъ, и до чувства обонянія доходило благоуханіе цветовъ, иль невольно до сердца долетаютъ звуки тихаго инструмента, сливаются... теряются... и, (запята!) замираютъ! .. Безпечный рыбакъ закидываетъ неволю, слышешь его родную пѣсню, и такъ мило... восхитительно. Рыбакъ на утломъ членокѣ несется къ берегу, таша бичеву въ водѣ; поспѣшио закидываетъ на плоть, привязываетъ членъ и принимается за работу; чрезъ вѣсколько минутъ вытаскиваетъ неволю, и множество рыбы вытряхиваетъ въ корзину: онъ доволенъ,—благодарить Бога!“*

Чтб за перо у г. Садовникова! Какъ онъ пишетъ! Мило... восхитительно! И какая обстоятельность въ его сочиненіяхъ! Чтобъ иной недогадливый, или необразованный читатель не подумалъ, что благоуханіе цветовъ доходило до чувства слуха, зрѣнія, вкуса или осязанія, г. Садовниковъ предупреждаетъ его, что оно доходило именно туда, куда ему слѣдуетъ доходить, т. е. до чувства обонянія! Вотъ это сочинитель!...

Свидѣтелемъ этой милой и восхитительной картины былъ Булатъ, а Булатъ былъ мирный Черкесъ, принявшій присягу

и сдѣлавшійся «кровный Русскому». У Булата былъ другъ Селимъ, тоже Черкесъ, и была дѣва неземная, Варвара, а у Варвары была другиня, тоже дѣва неземная, Елена. Съ Булатомъ случилось весьма забавное, но тѣмъ не менѣе «истинное» происшествіе, о которомъ онъ такъ разсказывалъ своему другу; «Я видѣлъ могилу инока, и на зеленомъ дернѣ стояла на колѣняхъ дѣва простирая руки къ небу... взоръ ея былъ устремленъ въ тотъ горній край, и лицѣ прекрасной озарялъ полный мѣсяцъ; она молилась, и роскошная грудь ея высоко вздымалась, рыданія оглашали кладбище!... облака неслись быстро, и порывомъ вѣтра сорвало съ чела ея покрывало, и я узналъ...»— Кого?— «Вариньку... произнесъ глухо Булатъ» (стр. 14—15). Между тѣмъ, дѣва Варвара читала записки Булата, и ей особенно понравилось въ нихъ слѣдующее мѣсто:

„Булатъ сидѣлъ на камнѣ; у ногъ его клокотали валы Каспійскаго моря; онъ (,) глядя на бурную стихію и погруженный въ раздумье (,) произнесъ: неужели счастье въ подземномъ мірѣ не ожидаетъ меня!... Неужели тысяча миллионовъ лѣтъ пройдутъ, и лучъ солнца не согрѣяетъ мою сирую душу?! Но гдѣ же тотъ дивный міръ, въ которомъ такъ счастливо живутъ люди? Можетъ ли духъ мой поселиться въ той благодатной странѣ?! Но въ эти минуты Булата выводить изъ міра очарованій громкій выстрѣль; Булатъ бросается на коня, быстро несетъ конь его, перепрыгивая глубокія ущелья, за нимъ погоня Русскихъ, пули визжатъ около его ушей, но его не ранили. Булатъ скрывается... пропадаетъ въ вечерней мглѣ...“

Прочтѣ эти строки, дѣва Варвара сказала, дѣвѣ Еленѣ: «Онъ мушка съ душой... можетъ любить пламенно, нѣжно». Потомъ она самому Булатову сказала, что его записки ей нравятся; на что онъ ей отвѣчалъ: «Очень радъ... я не надѣялся, чтобъ моя мораль могла доставить вамъ удовольствіе». Потомъ Булатъ начисто объяснился въ любви съ дѣвою Варварою и поцѣловался съ нею, а дѣва Елена упала въ обморокъ отъ ревности и растянулась на полу во весь ростъ, впрочемъ, въ приличномъ положеніи. Булатъ принялъ христіянскую вѣру и явился къ

отцу лѣвы Варвары съ предложеніемъ. Тутъ произошла препатетическая, т. е. пресмѣшная сцена. Сперва стариkъ, ни съ того ни съ сего гонитъ Булата съ глазъ долой, а потомъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, обнимаетъ его какъ жениха своей дочери. Нѣжные голубки обручились. Но въ это время Наполеонъ позавидовалъ ихъ счастію и пошелъ съ своими полчищами на Москву. Булатъ оставилъ лѣву Варвару и выступилъ изъ Петербурга съ гвардіею. Этимъ оканчивается первая часть «истиннаго происшествія» г. Садовникова.

Во второй части, въ бородинской битвѣ убили одного барона, который обожалъ лѣву Полину. Убитый, какъ слѣдуетъ на сраженіи, т. е. наскоро простился съ Булатомъ и попросилъ его отдать записку лѣвѣ Полинѣ. Прочтя эту записку, Полина тутъ же взяла да умерла. Сцена вышла пресмѣшная... Булатъ былъ раненъ, вылечился, пріѣхалъ въ Петербургъ и пошелъ къ лѣвѣ Варварѣ. «Сердце... утихни... не бейся такъ сильно! душа... не воспламеняй мои фантазіи! не потрясай мои нервы!... остановись... остановись... застынь кровь въ жилахъ моихъ!... дай... дай хладнокровно любоваться на это зрелище» (Ч. II, стр. 81). Но вотъ входитъ Варвара, но уже не лѣва — вѣроломная, она жена Селима! «Нѣть силъ!... простональ Михаиль» (онъ же и Булатъ) глухо: «самъ сатана со всей адской силой... потрясаетъ тверть земную подъ пятой моей!... спѣши... спѣши искуситель праотцевъ нашихъ... возьми... вырви адскими когтями мое бѣдное сердце!... растерзай его на тысячи частей... и раздай его завистливымъ врагамъ..... Боже... зачѣмъ... почто ты допустилъ зависть... алчность человѣка, отравить мое благополучіе?!!... послѣднюю отраду похитили у меня! мои радости украли изъ-подъ руки моей... и кто же... другъ мой... неблагодарный Селимъ!!...» (стр. 91).

Сказавъ таковы слова, Булатъ упалъ въ обморокъ, и раны его открылись. Селимъ отвезъ его въ Измайловскій полкъ,

откуда взяла его дѣва Елена и привезла къ себѣ домой. Выздоровливая, онъ влюбился въ эту неземную дѣву, а выздоровѣвъ, женился на ней. Они «обожали» другъ друга, и на портретѣ *ci-devant* дѣвы Варвары Булатъ не могъ смотрѣть: «Черты ея казались ему чертами искусителя праотцовъ нашихъ» (стр. 109). И Варвара, переставъ быть дѣвою, стала несчастна: Селимъ не любилъ ея и женился на ней изъ денегъ — такой извергъ! Но и счастіе Булага продолжалось не долго: жена его, *ci-devant* дѣва Елена, скоро умерла чахоткою, съ горя онъ пошелъ въ монахи и умеръ; Варвара, тоже сдѣлавшись монахинею, плакала по почамъ на его могилѣ. И вотъ вамъ — «Могила Инока»!...

Но «истинное происшествіе» и тутъ еще не оканчивается: г. Садовниковъ, въ видѣ эпилога, приложилъ объясненіе, какими хитростями Селимъ успѣлъ разорвать два любящія сердца, какъ перехватывалъ ихъ письма иувѣрялъ дѣву Варвару, что Булатъ убитъ на сраженіи...

И вотъ какія произведенія не перестаютъ еще появляться въ русской словесности!... Въ октябрѣ появилось «Коварство» г. Чернявскаго; въ ноябрѣ вышла «Могила Инока» г. Садовникова: что-то еще явится въ этомъ родѣ въ продолженіи декабря?... Спасибо имъ хоть за то, что смѣшны, и рецензентъ можетъ перелистывать ихъ для потѣхи; особенно хорошо дѣйствуютъ они на расположение духа рецензента...

III.

**ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.**

EMPEROR WILLIAM

## 1.

### РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ НѢКОТОРЫХЪ ЯВЛЕНИЙ ВЪ ИНОСТРАННОЙ ЖУРНАЛИСТИКѢ.

Въ литературномъ, или, лучше сказать, журнальномъ мірѣ Западной-Европы часто случаются презабавныя исторіи. Какъ извѣсно, тамъ журналъ можетъ существовать и держаться только мнѣніемъ, и потому тамъ стараются имѣть литературное или политическое мнѣніе даже такие люди, которые способны имѣть только кухонное или туалетное мнѣніе. Многіе съ умысломъ хватаются за какую-нибудь явную нелѣпость и всѣми силами поддерживаютъ ее, вопреки приличію, нравственности и здравому смыслу, чтобы только казаться людьми съ мнѣніемъ. О такихъ людяхъ нечего и говорить: ясно, что это безсовѣстные промышленники. Но между ними есть и невинные люди, которые, по виѣшности, легко могутъ быть смѣшаны съ торговыми мнѣніями, но которыхъ, ради истины и справедливости, должно отличать отъ продавцовъ лжи. Это люди очень неглупые, иногда даже умные, съ познаніями и не безъ дарованій, но которые, при большомъ честолюбіи, не имѣютъ довольно силы, чтобы вырваться изъ-подъ уровня посредственности. Еслибъ ихъ самолюбіе не превосходило ихъ интеллектуальныхъ средствъ, они ограничились бы второстепенною ролью—развивать мнѣніе, основанное человѣкомъ выше ихъ, и эту роль они выполнили бы прекрасно и отличились бы въ ней отъ толпы, какъ люди съ умомъ и талантомъ,—потому что на свѣтѣ

гораздо больше генераловъ, которые весьма способны помочь полководцу одержать блестательную победу, а сами могут одержать верхъ развѣ только въ стычкѣ, гдѣ нужна личная храбрость, а не искусство стратига. И благо имъ, если они не претендуютъ на предводительство арміями, скромно остаются не предводителями, а участниками битвы! Но жизнь—комедія, люди — актёры, и рѣдкіе изъ нихъ такъ благоразумны, что честь—съ умомъ и талантомъ выполнить маленькую, или незначительную роль въ піесѣ, предпочитаютъ безчестію нелѣпо и бездарно выполнить въ ней первую роль... Обратимся къ литературнымъ актёрамъ, о которыхъ заговорили. Имъ хочется, во что бы ни стало, быть основателями доктрины; но она не рождается свободно изъ ихъ головы, подобно Палладѣ, вышедшей во всеоружіи изъ головы Зевса, хотя голова у нихъ болитъ не меньше Зевсовой, и они стучать по ней не легче Гефестова молота. Тогда они хватаются за первую нелѣпость, которая можетъ имѣть видъ, или призракъ истины. Если они не въ состояніи изобрѣсти новой нелѣпости, то даютъ особенный оттѣнокъ чужой, и силятся основать особую, отдѣльную секту въ сфере этой нелѣпости. Разумѣется, все это происходитъ въ предѣлахъ пріятельского кружка, и за эту роль берется главное лицо въ кружкѣ, первенствующее въ немъ своимъ нравственнымъ или умственнымъ превосходствомъ, или характеромъ. Кружокъ радъ, что у него есть свой гений, который долженъ прославить его въ вѣкахъ и преобразовать современную дѣйствительность. Надо издавать журналъ, безъ котораго пропаганда невозможна. Для журнала нужны деньги. Такія истории случаются только въ Германіи, гдѣ денегъ, какъ известно, не только куры не клюютъ, но и люди мало видятъ. Во Франціи и Англіи журналы издаются на акціяхъ, капиталистами, и характеръ журналовъ — по большей части политической. Въ Германіи, для торговли капиталы бываютъ, но на

журналы, которые, особенно теперь, имѣютъ характеръ теологической, капиталовъ тамъ не тратятъ. И потому, генію реформатору обѣщаютъ денежное содѣйствіе два или три члена кружка, если въ него замѣшаются и богатые люди. Геній принимается за дѣло; вся работа взваливается на него, особенно черновая; пріятели его пишутъ больше стишкі (въ Германіи до сихъ поръ свирѣпствуетъ ярость виршеплѣтства), и только изрѣдка разражаются тощими статейками въ прозѣ. Выходитъ книжка, двѣ, три, иногда и больше; журналъ отличается ультра-свирѣпостью: всѣ раздѣляющіе его мнѣніе — геніи; всякое дрянное стихотвореніе, перелагающее это мнѣніе на вирши, есть геніальное произведеніе; за то, противниковъ этого мнѣнія журналъ объявляетъ людьми бездарными, глупыми, низкими, спекулянтами, торгашами; всякое произведеніе, какъ бы ни было прекрасно и чуждо всякой котеріи, безпощадно разрушивается уже не за то, что оно противнаго мнѣнія, а за то только, что оно держится не его (журнала) мнѣнія. А мнѣніе? A force de forger, геній-реформаторъ больше и больше въ немъ убѣждается, потому что въ немъ дѣйствительно есть жажда убѣженія и способность къ нему, — словомъ, есть душа, есть сердце, и со дня на день онъ приходитъ въ большее и большее свирѣпство, глубже и глубже впадая въ нелѣпость, которую выдаетъ за мнѣніе; наконецъ, это мнѣніе дѣлается его idée fixe, и самъ онъ становится рѣшительнымъ мономаномъ. Искренно, добросовѣстно, безкорыстно, чисто, свято убѣжденъ онъ, что спасеніе мира только въ его мысли, и что всѣ, кто не раздѣляетъ его доктрины — погибшіе люди, а всѣ, кто отвергаетъ, оспариваетъ ее, или смѣется надъ нею — враги общественнаго спокойствія, враги человѣческаго рода, изверги и злодѣи... И bon-homme не замѣчаетъ, что основа его вѣрованія, столь искренняго, столь безкорыстнаго, заключается въ его самолюбіи, а не въ любви къ истинѣ, и что сила и энергія его убѣж-

денія выходятъ изъ болѣзненно-страстнаго желанія прославить-  
ся реформаторомъ... Человѣкъ добрый и любящій по натурѣ,  
онъ дѣлается теперь, по своимъ чувствамъ, настоящимъ ин-  
квизиторомъ и готовъ бы былъ доносить на своихъ противни-  
ковъ, жечь ихъ на кострахъ... да, къ счастію, вѣкъ инкви-  
зицій прошелъ, да и бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ...  
Но публика остается равнодушною къ «мнѣнію», пожимаетъ  
плечами и посмѣивается надъ геніемъ-реформаторомъ; подпи-  
счиковъ такъ мало, что третьей книжки журнала не на чѣ-  
выкупить изъ типографіи... Гешій-реформаторъ обращается къ  
богатымъ друзьямъ, которые, если вѣрить ихъ стишкамъ и  
статьямъ, готовы за «мнѣніе» пожертвовать женой и дѣтьми,  
жизнью и честью, не только всѣмъ своимъ имѣніемъ. Но, увы!  
какое разочарованіе! Вместо денегъ, ему даютъ—стихи! Мало  
этого: на него сыплются упреки, что онъ дурно повель дѣло,  
ошибся тамъ, не то сказалъ здѣсь, и т. д. Бѣдняку остается  
съ горя и отчаянія или удавиться, или—что еще хуже—на-  
чать писать стихи... Журналъ падаетъ, переходитъ въ другія  
руки, и съ четвертой книжки начинаетъ толковать уже со-  
всѣмъ о другомъ мнѣніи, а иногда и умираетъ медленною смер-  
тію просто безъ всякаго «мнѣнія». Публика смѣется, а враги  
«мнѣнія» лукаво повторяютъ:

Надѣлала синица славы,  
А моря не замѣла!

Вотъ какія забавныя исторіи случаются въ иностранныхъ  
литературахъ. Какъ счастливы мы, что наша литература со-  
вершенно чужда такихъ уродливыхъ явлений!

**НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ФЕЛЬЕТОНИСТЪ „СѢВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ“  
И О „ХАВРОНЬѢ.“**

Но, къ сожалѣнію, въ нашей литературѣ есть свои нелѣпости, которые стоять всякихъ другихъ. Къ числу ихъ принадлежитъ дурия привычка иѣкоторыхъ журналовъ и газетъ приписывать своимъ противникамъ такія мнѣнія, которыхъ тѣ никогда и не думали имѣть. Это особенно худо тѣмъ, что есть много читателей, которые добродушно вѣрятъ всему печатному и справокъ наводить не любятъ (да и всякой ли можетъ имѣть для этого время?), и прочтя будто бы выписанную изъ того или другаго журнала фразу, повторяютъ: «какъ нелѣпость! какъ не стыдно утверждать такие вздоры!» Или — что еще хуже—восклицаютъ: «какъ можно это печатать! какъ позволяютъ это печатать!» Въ прошломъ мѣсяцѣ мы представили печатныя доказательства, что нашему журналу приписываются мнѣнія совершенно противоположныя его мнѣніямъ. И что жъ? Какъ воспользовались этимъ урокомъ наши противники?—Они прибѣгли къ другому средству: вырвали тамъ и сямъ по нѣскольку строкъ изъ страницы, по нѣскольку словъ изъ фразы,— и дѣйствительно перепечатали наши слова, безъ всякихъ искаженій, или измѣненій, словомъ, поступили въ этомъ случаѣ возможною (для нихъ) добросовѣстностю; но худо то, что эти вырванныя фразы, будучи отдѣлены отъ цѣлой статьи, цѣлой страницы, цѣлаго періода, явились съ такимъ смысломъ, что, читая ихъ не въ нашемъ журналь, по неволѣ воскликнешь: «что за вздоръ!» или: «какъ это можно печатать!» Вотъ доказательства: въ фельетонѣ 106-го номера «Сѣверной Пчелы» вышедшаго 12 мая нынѣшняго года, вырвана изъ четвертой книжки «Отечественныхъ Записокъ» фраза: «Молодое поколѣ-

ние опыти<sup>е</sup> и мудр<sup>е</sup>е прежняго». Подобная фраза, взята отдельно, безъ связи съ статьею, изъ которой вырвана,— и рѣзка и нелѣпа. И потому да позволено намъ будеть вновь повторить наши слова вполнѣ, чтобъ читатели могли видѣть сами: то ли говорили мы, что приписываетъ намъ благонамѣренный фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы».

Самолюбіе играетъ большую и чуть-ли не главную роль въ нерасположеніи стариковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики обижжаются и говорять юношамъ: „что же мы глупѣе васъ, а вы умнѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набрались уму-разуму, богатѣли мудрою опытностью, чтобъ на старости лѣтъ неопытные мальчишки вздумали учить насъ?“ Люди молодаго поколѣнія должны были бы отвѣтить на это старикамъ: „каждый изъ насъ, отдельно взятый, можетъ-быть менѣе опытенъ и мудръ нежели каждый изъ васъ отдельно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложило свою собственную.“ Но, къ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои *молодые* слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои *старые* слабости и недостатки,— и почти каждый юноша готовъ смотрѣть на старика, какъ на ребенка, а на себя, какъ на взрослого человѣка, не понимая, что всѣ его заслуги и все преимущество передъ старикомъ состоять только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь совсѣмъ не заслуга... И такъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда не правы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ими не прекращается ни на минуту, и одно время рѣшаешь безъ лицепрѣятія, кто правъ, кто виноватъ, хотя немногіе доживають до рѣшенія своей тѣжбы, и старики по большой части умираютъ съ убѣждѣніемъ, что они правы, что ихъ тѣжба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло новою дорогою...“

Другая фраза: «Наполеонъ есть вверхъ ногами поставленный Карлъ Великій», надѣемся, никому не покажется странною, если ее прочтутъ не отдельно, а въ этомъ отрывкѣ:

„Непомню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинѣ о нѣмецкой философіи, статья не очень важная, но въ ней было премилое сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ — Мирабо, Фихте — Робеспьеръ, а Шеллингъ — Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности; я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинѣ. Ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга

устоять не могли — и по одной причинѣ: ни то, ни другое не было вполнѣ организовано и не имѣло въ себѣ твердости ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились миру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятіе ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ; пушечный дымъ не помѣшалъ наконецъ разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne, въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженній своими герцогами-солдатами — былъ *intermedia buffa*, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступилъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышленія и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направлений въ высшемъ единству, остался идеалистомъ; въ то время, какъ Окенъ учреждалъ Шеллинговское управление надъ всей природой, и „Изида“ — монитѣръ натурфилософіи, громко возвѣщала свои побѣды, Шеллингъ одѣвался въ Якова Бёма и начинай задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобы не сознаться, что онъ обойденъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ ногами поставленный Бёмъ, такъ какъ Наполеонъ вверхъ ногами поставленный Карль Великій. Это худшее, чтб можетъ быть, потому что чрезвычайно смѣшино.“

Прочитавъ эти строки, кто не согласится, что онъ написаны не фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы», а человѣкомъ новаго поколѣнія, который владѣеть умомъ, свѣдѣніями и талантомъ? Кто не согласится, что фельетонисту въ этой статьѣ все должно казаться нелѣпостью, потому что человѣческому, и особенно, старческому самолюбію отрадно считать вздоромъ все, что понять оно не въ состояніи...

Но самый смѣлый *ton sur de force* благонамѣренного фельетониста заключается въ выпискѣ словъ Наполеона и замѣчанія «Отечественныхъ Записокъ» на эти слова. Наполеонъ назвалъ народъ пескомъ и считалъ нужнымъ бросить въ этотъ песокъ гранитныя массы религіи и аристократіи. Мы замѣтили, что эти слова показываютъ въ Наполеонѣ отсутствіе чувства порядка, который у него былъ замѣненъ только чувствомъ дисциплины. Чѣмъ жь тутъ страннаго? Источникъ религіи — народъ, который совсѣмъ не песокъ, а плодотворная почва, изъ которой возникаютъ цвѣты всѣхъ нравственныхъ установленій. Рели-

гія не дается приказомъ. Такъ думать могъ только Наполеонъ, который уважалъ всѣ религіи изъ политическихъ разсчетовъ, даже мухаммеданскую, во время своего египетского похода, и льстилъ Арабамъ мыслю, что онъ можетъ сдѣлаться мухаммединомъ. Если во Франціи возстановился католицизмъ, то не волею Наполеона, а тѣмъ, что большая часть народа осталась вѣрна католицизму. Чего нѣть въ народѣ, того нельзя дисциплинировать. Доказательство — аристократія: несмотря на всѣ усилия Наполеона возстановить ее, несмотря на то, что онъ призвалъ во Францію эмигрантовъ и дѣлалъ своихъ солдатъ герцогами, — теперь господствующее и правительствувшее сословіе во Франціи не аристократія, а bourgeoisie. Неужели это неизвѣстно г. фельетонисту? Гдѣ же софизмы въ нашихъ словахъ? Неужели въ томъ, что «порядокъ основывается на удовольствіи, на равновѣсіи всѣхъ законныхъ интересовъ, всѣхъ жизненныхъ силъ»?...

Велика сила привычки: отъ нея не легко отставать! Сдѣлавъ такія выписки, фельетонистъ не могъ удержаться, чтобъ не приписать намъ кое-чего такого, чего мы вовсе не говорили, или не дѣлали. Ему почему-то очень не понравилась напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» басня «Хавронья». О вкусахъ спорить нечего! Онъ нашелъ крайне неприличными слова: «грязная щетина, запахъ и вонь». И объ этомъ не споримъ. Кому не извѣстно, что и басня Крылова «Свинья», въ блаженной памяти добре старое время, показалась неприличною, и что въ провинціальномъ обществѣ даже теперь, по свидѣтельству Гоголя, дамы, вмѣсто того, чтобъ сказать: «стаканъ воняетъ», говорятъ: «стаканъ дурно ведеть себя»; вмѣсто «высморкаться», говорятъ: «обойдтись посредствомъ платка»?... И потому, не будемъ объ этомъ спорить съ чопорнымъ и жеманнымъ вкусомъ нѣкоторыхъ людей; а замѣтимъ вотъ что: фельетонистъувѣряетъ, будто стихотвореніе «Хавронья» не

означено въ заглавії книжки, и будто страница, внесенная въ книгу послѣ стр. 326, не нумерована. Все это чистая выдумка: стихотвореніе «Хавронья» означено на оберткѣ четвертой книжки «Отечественныхъ Записокъ» и въ общемъ оглавлениі къ 39-му тому «Отечественныхъ записокъ»; слѣдующая за 325 (а не 326, какъ утверждаетъ фёльетонистъ) страница не означена это правда, но не по той причинѣ, чтобы басня не-законно явилась въ печати, а по той, что въ «Отечественныхъ Запискахъ», какъ во многихъ другихъ журналахъ, никогда не означаются цифрами тѣ страницы, на которыхъ начинается новая статья,— а такъ какъ на страницѣ, слѣдующей за 325-ю, напечатано стихотвореніе «Современная Ода», то 326-я страница и не означена цифрами,— и такъ какъ это стихотвореніе оканчивается на 326-й же страницѣ, а на 327-й начинается новое стихотвореніе, именно оскорбившая фёльетониста «Хавронья», то и 327-я страница тоже не означена цифрами. Зачѣмъ же выдумывать? Зачѣмъ стараться придавать криминальный характеръ такому вздорному дѣлу, какъ цифровка страницъ?... Поневолѣ вспомнишь эти смѣшные стихи:

Странная вещь!  
Непонятная вещь!

Г. фёльетонистъ выдумалъ еще, будто мы сказали, что «Гоголь гораздо выше Карамзина и всѣхъ писателей его эпохи» и даже имѣлъ смѣлость выставить, въ выносѣ, страницы (56 и 27 «Библіографической Хроники» 4-й книжки «Отечественныхъ Записокъ»), на которыхъ будто бы мы сказали это. Но ничего даже подобного нѣтъ ни на 26, ни на 27 и ни на какой другой страницѣ «Отечественныхъ Записокъ»: это чистая выдумка фёльетониста. Да и какъ бы мы могли сказать такую нелѣпость? Какъ можно Карамзина, литератора, журналиста, историка, сравнить съ поэтомъ Гоголемъ? Правда, Карамзинъ писалъ стихи и повѣсти, по своему времени очень

замѣчательныя и даже прекрасныя, но все-таки въ стихахъ и въ повѣстяхъ онъ былъ только литераторомъ, и совсѣмъ не поэтомъ. Гдѣ жь тутъ возможность какого-нибудь сравненія? Сказать, что Пушкинъ выше Державина — тутъ есть смыслъ, потому что Державинъ поэтъ и Пушкинъ поэтъ; но сказать, что Пушкинъ выше Карамзина — это чистая нелѣпость, потому что Карамзимъ былъ только стихотворецъ, а не поэтъ, а Пушкинъ былъ поэтъ. Сравниваются предметы однородные; можно сказать, что шампанское лучше донскаго, или, пожалуй, и рейнвейна (хоть это и совсѣмъ различныя вина); но нельзя сказать, что шампанское лучше шелка... Карамзинъ въ своихъ стихахъ былъ только стихотворцемъ, хотя и даровитымъ, но не поэтомъ; такъ точно и въ повѣстяхъ, Карамзинъ былъ только бельетристомъ, хотя и даровитымъ, а не художникъ,—тогда какъ Гоголь въ своихъ повѣстяхъ — художникъ, да еще и великий. Какое же тутъ сравненіе?... Фѣльетонистъ увѣряетъ, что «просвѣщенные Нѣмцы, Финляндцы и Поляки находятъ наслажденіе только въ чтеніи сочиненій Карамзина и писателей его эпохи и не могутъ постигнуть тѣхъ прелестей, которыми постоянно восхищаются наши журналы, служащіе отголоскомъ литературной партіи, называющейся новымъ поколѣніемъ, къ которому примкнули (?) иѣсколько старыхъ писателей, не имѣвшихъ успѣха во время полной своей дѣятельности». Мы не знаемъ, о какихъ это старыхъ писателяхъ, примкнувшихъ къ новому поколѣнію, говорить г. фѣльетонистъ, ни того, какая литературная партія называется у насъ новымъ поколѣніемъ, и какая старымъ,—а потому не будемъ разгадывать этихъ загадокъ. Равнымъ образомъ, мы не знаемъ и не можемъ знать, одного ли Карамзина и писателей его эпохи читаютъ просвѣщенные Нѣмцы, Финляндцы и Поляки, презирая новыхъ писателей, каковы Жуковскій, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ и Гоголь: кто знаетъ вкусъ

людей, разсѣянныхъ по лицу такихъ совсѣмъ немаленькихъ земель, какъ Польша, острзейскія губерніи и Финляндія? По крайней мѣрѣ мы за это не беремся. Если же это правда, мы поздравляемъ просвѣщенныхъ Нѣмцевъ, Финляндцевъ и Поляковъ, и не хотимъ имъ мѣшать въ такомъ невинномъ удовольствіи. Мы сами въ дѣтствѣ были такъ счастливы отъ чтенія Карамзина и современныхъ ему писателей, и даже теперь иногда заглядываемъ въ ихъ сочиненія, которыя интересуютъ насъ, какъ мемуары эпохи, которой мы не застали.

Далѣе, г. фѣльетонистъ говоритъ о зависти къ талантамъ и стремлѣніи къ ихъ униженію, намекая на насъ. Но какихъ писателей уничтожали мы? Назовите ихъ. Рѣшительно никакихъ, ни старыхъ, ни новыхъ. Крыловъ, конечно, не новый писатель, потому что пользовался славою въ то время, когда мы еще и не родились, — и по нашему мнѣнію, Крыловъ въ свое рођѣ, т. е. въ баснѣ, дошелъ до такого же совершенства, какъ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ и Гоголь въ своемъ родѣ. Если бы кто въ наше время сталъ писать басни по влечению таланта, мы первые посовѣтовали бы ему выучить наизусть «дѣдушку Крылова»; но въ другихъ родахъ, мы указали бы молодому таланту не на Карамзина, а на Пушкина, на Лермонтова, на Гоголя, совѣтуя не быть незнакомымъ ни съ Державинымъ, ни съ Фонъ-Визинымъ, ни съ Дмитріевымъ, ни съ Озеровымъ, и тѣмъ болѣе ни съ Жуковскимъ (какъ гениальному переводчикомъ, создавшемъ себѣ свой языкъ и свой стихъ, достойные глубочайшаго изученія) и Батюшковымъ, да кое съ кѣмъ еще и изъ новыхъ. Странно, однakoжъ! Г. фѣльетонистъ почему-то какъ-будто избѣгаетъ упоминать имя Пушкина и все толкуетъ, вотъ уже сколько времени, объ одномъ Карамзинѣ и современныхъ ему писателяхъ. Тутъ что-то не даромъ! И намъ сдается, что фѣльетонистъ хлопочетъ не столько о Карамзинѣ (который вовсе не нуждается въ его защитѣ),

а о другихъ писателяхъ, не столь старыхъ, но уже и далеко-  
не молодыхъ, — напримѣръ, объ авторѣ «Ивана» и «Петра  
Выжигиныхъ»... Право, такъ! Но кто же станетъ завидовать  
романамъ г. Булгарина? Въ свое время они могли на минуту  
показаться новыми, и потому воспользоваться минутнымъ ус-  
пѣхомъ; но имъ былъ нанесенъ страшный ударъ еще романами  
гг. Загоскина и Лажечникова, а появленіе Гоголя просто за-  
ставило публику даже совсѣмъ забыть, что были на свѣтѣ ро-  
маны г. Булгарина, и что она, публика, не то читала ихъ ко-  
гда-то и гдѣ-то, не то слышала о нихъ отъ кого-то. Неужели  
же молодое поколѣніе должно читать ихъ и поnimъ учиться  
писать?... Но довольно о романахъ г. Булгарина; мы люди  
снисходительные и слѣдуемъ латинской пословицѣ: *de mortuis aut bene, aut nihil...*

Къ довершенню всего, г. фёльетонистъ позволилъ себѣ от-  
пустить слѣдующую вѣжливую фразу на счетъ «Иллюстраці»,  
издаваемой г. Кукольникомъ, и «Отечественныхъ Записокъ»:  
нападая на дурной вкусъ «Иллюстраці», перепечатавшей изъ  
«Отечественныхъ Записокъ» стихотвореніе «Хавронья», фёлье-  
тонистъ говоритъ: «Мы бы не прикоснулись ни къ Иллю-  
страці, ни къ Отечественнымъ Запискамъ, чтобы не  
уподобиться Хавронью Крылова, искашшей только сора въ  
барскихъ палатахъ, еслибъ» и проч. Нельзя не согласиться,  
что эта фраза какъ-будто подслушана фёльетонистомъ у какой-  
нибудь Хавроньи... Далась же ему эта Хавронья! И за что  
это онъ такъ ополчился на нее, какъ-будто на самого страш-  
наго врага своего?...

3.

**СОВЪТЬ „МОСКВИТЯНИУ.“**

Чтò дѣлается въ современной русской литературѣ? спросять читатели. — Ничего особенаго, — отвѣтимъ мы. О библіографическихъ новостяхъ мы отдали читателямъ нашимъ полный отчетъ въ отдѣлѣ «Библіографической Хроники»; а изъ другихъ, замѣчательно только развѣ появленіе новой двойственной книжки «Москвитянина». Книжка одна, но въ двухъ нумерахъ: 7 и 8. Мы не обратили бы на это никакого вниманія, еслибъ самъ «Москвитянинъ» не явился къ намъ съ привѣтствиемъ. Извѣщая о выходѣ книжки пітическихъ стихотвореній какого-то англійскаго дьякона, между прочимъ, переведшаго стихами какое-то стихотвореніе г. Хомякова, «Москвитянинъ» замѣчаетъ въ выносѣ:

*„Отечественные Записки терпѣть не могутъ духа гг. Хомякова и Языкова, и ругаютъ ихъ во всякомъ нумерѣ. Ругательства ихъ для образованныхъ и благонамѣренныхъ замѣняютъ хвалу. Но есть еще толпа... для толпы мы помѣщаемъ это свидѣтельство, съ какой точки зрѣнія иностранцы смотрѣть на сочиненія г. Хомякова, Англичане, проглядывая имъ, какъ безпрестанно твердятъ „Отечественные Записки. Точно такъ въ Московскомъ Вѣстнике, 1828 г. помѣщено было свидѣтельство Гёте о критикѣ г. Шевырева, вопреки возгласамъ тогдашнихъ мародеровъ русской словесности. Одни отзывы стоятъ другихъ“ (стр. 112.)*

«Отечественные Записки» имѣютъ честь отвѣтить на это «Москвитянину», что онъ никогда и не думали не терпѣть духа гг. Хомякова и Языкова и еще менѣе думали когда-нибудь ругать ихъ. «Отечест. Записки» и не имѣютъ и не берутъ на себя права ругать кого-нибудь; онъ ограничиваются только законнымъ правомъ высказывать свое мнѣніе о сочиненіяхъ кого бы то ни было. Что сочиненія гг. Хомякова и

Языка, особенно первого, не нравятся «Отечественнымъ Запискамъ», — это должно быть прискорбно и «Москвитянину» и реченымъ стихотворцамъ: мы понимаемъ ихъ горе, но изъ уваженія къ правдѣ не можемъ помочь ему. А что какой-то Англичанинъ перевелъ на свой языкъ писсу г. Хомякова,— это ровно ничего не говоритъ въ пользу поэзіи и таланта этого русского стихотворца: вѣдь и сочиненія г. Булгарина (да еще почти всѣ) переведены, да еще не на одинъ, а на нѣсколько европейскихъ языковъ; но г. Булгаринъ тщетно ссыпался на это обстоятельство въ доказательство высокаго достоинства своихъ сочиненій: переводы не спасли ихъ отъ забвенія... Вообще, странно доказывать чей нибудь талантъ тѣмъ, что знакомый иностранецъ перевелъ какое-нибудь его произведеніе: само произведеніе должно отвѣтить за талантъ. Однакожъ, у насъ обыкновенно тутъ-то и прибѣгаютъ къ подобнымъ уловкамъ, когда въ сочиненіяхъ уже не обрѣтается и признаковъ таланта. Такимъ же образомъ, если Гёте, изъ вѣжливости, сказалъ ласковое слово о статьѣ г. Шевырева, въ которой онъ расхвалилъ междудѣйстіе ко второй части «Фауста», — это тоже ровно ничего не говоритъ въ пользу критического таланта г. Шевырева.

Отвѣтивъ «Москвитянину» sine ira et studio, отъ всей души даемъ ему добрый совѣтъ—не сердиться и не браниться изъ пустяковъ...

**ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНИЙ ГОГОЛЯ НА ФРАНЦУЗСКІЙ ЯЗЫКЪ.**

Въ Петербургѣ полученъ французскій переводъ пяти повѣстей Гоголя, изданный въ Парижѣ, въ нынѣшнемъ году господиномъ Луи Виардѣ, подъ названіемъ: «*Nicolas Gogol. Nouvelles russes, traduction fran aise, publi e par Louis Viardot. Tarasse Boulba. Les M moires d'un Fou. La Cal che. Un M nage d'autrefois. Le Roi des Gnomes*». Переводъ удивительно близокъ и, въ то же время, свободенъ, легокъ, изященъ; колоритъ по возможности сохраненъ, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому Русскому, по крайней мѣрѣ не изглажена. Разумѣется, въ томъ и другомъ отношеніи сдѣлано было все, что можно было сдѣлать: всего же сдѣлать было невозможно... Но таково свойство оригинального и самобытнаго творчества, означенованнаго печатию силы и глубокости: повѣсти Гоголя съ честію выдержали переводъ на языкъ народа, столь чуждаго нашимъ кореннымъ національнымъ обычаямъ и понятіямъ, и сохранили свой отпечатокъ таланта и оригинальности. Говорять, что этотъ переводъ, обративъ на себя большое вниманіе во Франціи, имѣлъ тамъ необыкновенный успѣхъ. И не удивительно: до сихъ поръ сколько ни переводили на французскій языкъ русскихъ писателей, Французы видѣли въ этихъ переводахъ не оригинальная созданія чужаго имъ народа, но блѣдныя подражанія ихъ же писателямъ. По этому Французы, а вмѣстѣ съ ними и вся Европа, никакъ не хотѣли вѣрить существованію русской литературы. Иначе и быть не могло. Что нашли бы иностранцы въ самыхъ лучшихъ переводахъ на ихъ языки — не говорю стихотвореній Ломоносова, но стихотвореній самого Державина? Одушевленіе, по-

леть, даже сила выражения — все это мало имѣетъ цѣны при отсутствіи содержанія, при недостаткѣ идей. Чѣмъ бы могли иностранцы найти въ переводахъ на ихъ языки сочиненій Карамзина? Чѣмъ для нихъ Озеровъ, когда у нихъ есть Корнель и Расинъ, и когда второстепенные ихъ трагики лучше Озерова? Жуковскій, поэтъ столь важный для насъ, для нихъ не имѣетъ значенія: они въ подлинникахъ могутъ читать такъ гениально переданныя имъ на русскій языкъ творенія нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Басни Крылова — непереводимы, и чтобы иностранецъ могъ вполнѣ оцѣнить талантъ нашего великаго баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить въ Россіи, чтобы освоиться съ ея житейскимъ бытомъ. «Горе отъ Ума» Грибоѣдова могло бъ быть переведено, безъ особенной утраты въ своемъ достоинствѣ; но гдѣ найти переводчика, которому былъ бы подъ силу такой трудъ? То же должно сказать о Пушкинѣ и Лермонтовѣ: переводить ихъ должно стихами; но какой же талантъ нужно имѣть переводчику! И при томъ, все таки эти поэты не могутъ имѣть для иностранцевъ полнаго интереса оригинальности, какъ поэты русскіе. Явились лучшія ихъ произведенія въ достойныхъ имъ переводахъ, — иностранцы не могли бы увидѣть въ нихъ подражателей своимъ поэтамъ, не могли бы не признать въ нихъ оригинальности, и самобытности, но они увидили бы въ нихъ оригинальность и самобытность больше таланта, нежели национальности. Возьмите любаго европейскаго поэта, даже не первой величины, — вы сейчасъ увидите, какой націи онъ принадлежитъ. Поэтъ французскій, англійскій, нѣмецкій, итальянскій — каждый изъ нихъ такъ же рѣзко отличается отъ другаго, какъ рѣзко отличаются одна отъ другой ихъ родныя земли. Вотъ этого-то рѣзкаго типа национальности и не достало бы лучшимъ произведеніямъ Пушкина и Лермонтова, даже превосходно переведеннымъ на иностранные языки. Гоголь, въ этомъ отношеніи,

составляетъ совершенное исключение изъ общаго правила. Какъ живописецъ преимущественно житейскаго быта, прозаической дѣйствительности, онъ не можетъ не имѣть для иностранцевъ полнаго интереса национальной оригинальности уже по самому содержанию своихъ произведеній. Въ немъ все особенное, чисто русское; ни одною чертою не напомнить онъ иностранцу ни объ одномъ европейскомъ поэту.

Въ свое время, мы отдалимы отчетъ читателямъ въ сужденияхъ французскихъ журналовъ о повѣстяхъ Гоголя и, можетъ быть, еще поговоримъ вообще объ этомъ предметѣ.

## 5.

### **СЪВЕРНАЯ ПЧЕЛА — ЗАЩИТНИЦА ПРАВДЫ И ЧИСТОТЫ РУССКАГО ЯЗЫКА.**

А что новаго въ нашей литературѣ, въ нашей журналистицѣ? Почти ничего. Если хотите, появился даже новый журналъ, но оттого не меньше все пошло по старому. О собственно литературныхъ новостяхъ поговоримъ въ первой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» будущаго года, въ статьѣ: «Русская Литература 1845 года». Въ этой статьѣ укажемъ мы на все, что являлось замѣчательнаго въ нашихъ журналахъ 1845 года; но собственно о журналахъ говорить не будемъ, за исключениемъ новыхъ, или, лучше сказать, новаго. Направленіе, духъ, достоинства и недостатки старыхъ журналовъ уже известны публикѣ, и новаго о нихъ сказать нечего. Пусть каждый изъ нихъ идетъ своею дорогою, не мѣшай намъ идти нашею. Но долгъ вѣжливости понуждаетъ насъ отвѣтить на всѣ прямые и косвенные вопросы, взгляды, прищѣпки и намеки, обращенные на нашъ журналъ и наши мнѣнія другими журналами. Это

мы всегда дѣлали и теперь сдѣлаемъ въ концѣ года, въ видѣ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ, обыкновенно помѣщаемыхъ нами въ отдѣлъ «Смѣси». Говорили же о насъ и нашихъ мнѣніяхъ только два журнала — «Москвитянинъ» и «Сѣверная Пчела». Съ первымъ мы объясняться не намѣрены... Другое дѣло — «Пчела»: она такъ любить насъ, такъ занята нами, что съ нашей стороны было бы очень невѣжливо за ея годовое къ намъ вниманіе не заплатить ей хотя минутнымъ вниманіемъ.

У «Пчелы», или «Пчёлки», какъ иногда она сама себя называетъ, много разныхъ претензій. Главнѣйшія изъ нихъ — правдолюбіе и отличное знаніе русскаго языка. Если повѣрить ей, то всѣ наши журналы терпѣть не могутъ правды, лгутъ на-пропалую, а по-русски не умѣютъ правильно написать двухъ фразъ; только она, только одна «Пчела» любить правду больше всего на свѣтѣ — ежеминутно готова умереть за правду и терпить за нее гоненія отъ всей литературной братіи; только она, только одна «Пчела» умѣеть писать по-русски, и безъ нея, русскіе литераторы давно бы сгубили русскій языкъ. Хорошо, или дурно пишемъ мы по-русски, — предоставляемъ судить публикѣ; но какъ пишетъ «Пчела», обѣ этомъ на сей разъ мы себѣ предоставляемъ судить... Нѣтъ, не хотимъ судить, а вместо этого просто представимъ здѣсь образчики языка и слога «Пчелы». «Куда бы онъ ни пошелъ, чтобы онъ ни дѣлалъ, таинственный человѣкъ тутъ какъ тутъ: въ театрѣ, за обѣдомъ, въ церкви, на гуляніѣ, полходя къ окну, когда просыпался, и затворяя его, когда ложился, вездѣ взоръ его встрѣчалъ неизбѣжнаго незнакомца» (№ 116). Каковъ възоръ «Сѣверной Пчелы»: онъ умѣеть подходить къ окну, ложиться, затворять окно, просыпаться!!... Удивительный взоръ! «Въ парижскихъ газетахъ исчисляютъ, чего стоять у нихъ дать концертъ какому-нибудь артисту» (№ 116). Парижскія газеты

даютъ концерты артистамъ!... «Сначала мнѣ отвели табачную контору, а черезъ нѣсколько дней откажутъ титулъ пера: нельзя же все сдѣлать вдругъ» (№ 148): откажутъ титулъ пера—по-каковски это? По-русски слѣдовало бы сказать откажутъ въ титулѣ пера... «Сынъ обоготвореннаго Белля, Нинъ, несчастный супругъ Семирамиды, основавшій Ниневію, надѣясь на свое могущество и богатство, вознамѣрился сдѣлать свой городъ столицею міра, царственный городъ, изъ котораго прославленные цари Оелгаѳаласаръ, Салманасаръ, Сеннахеривъ, Аархаддонъ и Навуходзносоръ водили полки свои на покореніе Іудеи, Сиріи, Палестины, Финикии, Мидіи, Египта, Нубіи, Эюопіи и наконецъ Вавилона, роскошествовалъ Вальтасаръ и утопалъ въ развратѣ Сарданапаль» (№ 183)... Какъ это хорошо сказано: царственный городъ, изъ котораго роскошествовалъ Вальтасаръ и утопалъ въ развратѣ Сарданапаль!...—«Какая великая наука исторія, если изучать ее философически! Разсматривая прошедшее и настоящее, будущее открывается само собою» (№ 183)... Будущее рассматривается прошедшее и настоящее и открывается само собою: что за галиматья!...—«У меня болитъ сердце, когда я вижу по городамъ разношниковъ саекъ, яблоковъ» и пр. (№ 174). Если яблоковъ, а не яблокъ, то должно писать: стекловъ, а не стеколь, соловъ, а не сель, яицовъ, а не яицъ и т. д.—«Все это кажется мелочи» (№ 185), вмѣсто: все это кажется мелочами.—«Какъ слышно, первоначальные смѣты будутъ превзойдены» (№ 199): что это такое?—«Замѣтимъ только, что вообще до сихъ поръ полагали, что артисты почитаются за честь утомляться для публики, изъявляющей свое удовольствіе тѣмъ, что требуетъ (кто—публика, или то, что?) повторенія піесы» (№ 207). Какъ это складно!...—«Зубной врачъ Д. Валленштейнъ привезъ съ собою столько драгоцѣнностей, что въ двѣ недѣли или болѣе, что онъ здѣсь, еще не

успѣлъ разобрать и разсортировать всего въ своей квартирѣ» (№ 207). Такого периода не разберешь и въ три недѣли!... «У г. Лемольта найдете огромную коллекцію нѣжнѣйшихъ медаліоновъ и бареліефовъ изъ этой массы, допускающей теперь за довольно дешевую цѣну украшать письменный столъ» и проч. (№ 207). — «Дороги Сѣверной Пчелѣ никто не заступить, и она довольно опытна для того, чтобъ знать, что на Руси простора вдоволь, и что хулою чужаго изданія не улучшить своего собственнаго» (№ 237). Какъ жаль, что «Пчела» не довольно опытна для того, чтобъ правильно и складно писать по-русски, или уже знать, что это искусство ей не далось, и что не ея дѣло учить другихъ тому, чтобъ другіе знаютъ лучше ея!... «Но, поступая съ величайшимъ безпристрастіемъ, и руководствуясь одною общею пользою, какъ то дѣлаетъ Сѣверная Пчела, этимъ средствомъ оказывается большая услуга публикѣ и вознаграждается искусство и честность. Какъ иногда затруднительно пріискать въ столицѣ, что намъ нужно, не взирая на тысячи вывѣсокъ и объявлений! Напримѣръ, мы, петербургскіе старожилы, пошли на дняхъ отыскивать нѣсколько вещей, нужныхъ для псовой охоты, и не нашедъ что намъ было нужно, рѣшились отыскать хорошаго слесаря и заказать ему вещи. Зашедъ въ послѣдній разъ въ одинъ магазинъ (на Невскомъ Проспектѣ), гдѣ на окнѣ стояли ружья, мы просили указать намъ искуснаго слесаря, но прикащикъ, узнавъ, что намъ нужно, сказаълъ: Извольте идти въ магазинъ г. Ржецицкаго, въ Большой Мѣщанской, въ домѣ Кракау, на заломѣ улицы, наискосъ Ломбарда: тутъ вы найдете все, что нужно для охоты» (нумеръ 255). Ай-да русскій языкъ — что ни слово, то Цицеронъ съ языка!... И эти ошибки мы случайно встрѣтили только въ девяти нумерахъ «Сѣверной Пчелы». Что же, еслибъ собрать всѣ 300 нумеровъ, составляющихъ годовое ея изда-

ніе? Какой бы отличный кодексъ русскаго языка можно было составить изъ нихъ для забавы читателей!...

Но такъ пишутъ, можетъ-быть, только сотрудники «Пчелы»: теперь посмотримъ, какъ правильно пишетъ главный редакторъ ея и великий русский грамматикъ, г. Гречь. «Достойно замѣчанія, что почти все здѣшніе полковые музыканты не природные Французы, а урожденцы нѣмецкой провинціи ея (кого?), Алзасії» (нумеръ 205). «Одинъ услужливый экзекуторъ добылъ намъ хорошее мѣсто, но, на бѣду нашу, окна этой залы идутъ на набережную Сены» (нумеръ 221). «Въ 1839 г. онъ сдѣлалъ второй банкротъ на островѣ Джерси» (тамъ же) Но довольно—всего не перечтешь, не выпишешь! А любопытно бы! Какая драгоценная книжка для примѣровъ какографіи набралась бы изъ фразъ «Пчелы,—этой, какъ она сама себя величаетъ (нумеръ 222),—хранительницы и блестительницы чистоты и правильности драгоценѣйшаго народнаго достоянія—русскаго языка!...

Постоянною цѣлью нападеній «Пчелы», по части искаженія русскаго языка, служитъ преимущественно «Библіотека для Чтенія», а по части изящной литературы и понятій о ней — Гоголь, «Отечественные Записки» и «Физіологія Петербурга»,

О «Физіологіи Петербурга» «Пчела» говорила нѣсколько разъ, и два раза разбирала ее. Приговоръ ея былъ тотъ, что эта книга иикуда не годится, что все напечатанное въ ней бездарно, пошло, глупо, плоско, грязно. Такъ изъ чего же бы и хлопотать? Стѣditъ ли нѣсколько разъ говорить о плохой книгѣ! Но у «Пчелы» своя логика! По ея мнѣнію, въ Россіи не было и нѣть писателя бездарнѣе и грязнѣе Гоголя, а между тѣмъ, ни о комъ кромѣ своихъ издателей, такъ много и такъ часто не говорить она... По ея мнѣнію, на Руси не было и нѣть журнала хуже «Отечественныхъ Записокъ», а между тѣмъ, только о нихъ и твердить она вотъ уже слишкомъ семь лѣтъ

Итакъ, довольно подозрительно, чтобъ «Физіология Петербурга» раздражила «Пчелу» своими недостатками, а не чѣмъ-нибудь другимъ. Мы даже можемъ сказать, чѣмъ именно. Во первыхъ, тѣмъ, что авторы статей, изъ которыхъ состоитъ «Физіология Петербурга», пишутъ въ духѣ современного направлениія русской литературы, а не такъ, какъ писали назадъ тому лѣтъ пятнадцать... Это первая причина; вторая заключается въ томъ, что большая часть статей «Физіологии Петербурга» принадлежитъ сотрудникамъ «Отечественныхъ Записокъ». Послѣ этого, кто-же не согласится, что «Пчела» не можетъ ничего хорошаго видѣть въ «Физіологии Петербурга»... И вотъ, въ 234 ея нумерѣ снова является грозная статья на эту книгу. Статья начинается изъявленіемъ удивленія, что г. Некрасовъ могъ быть редакторомъ этой книги. А почему же бы онъ не могъ быть ея редакторомъ, какъ и всякой другой? — спросите вы. «Пчела» отвѣтаетъ вамъ на это, что «быть редакторомъ сочиненія значить имѣть право исправлять и передѣлывать его». Вотъ новость! Въ «Сѣверныхъ Цѣстахъ», альманахѣ, издававшемся покойнымъ Дельвигомъ, помѣщались статьи Пушкина и Жуковскаго: значитъ Дельвигъ исправлялъ и передѣлывалъ ихъ? Не думаемъ! И г. Некрасовъ не почелъ себя въ правѣ коснуться ни одной статьи, напечатанной въ его сборникѣ. Редакторъ сборника — не то, что редакторъ журнала. По общему мнѣнію, быть редакторомъ сборника, значитъ набрать статей, сдѣлать имъ выборъ и расположить ихъ, а пототъ присмотрѣть за изданіемъ. Такъ и поступилъ г. Некрасовъ и для этого ему не нужно было имѣть никакихъ особыхъ правъ и преимуществъ. Доказавъ (выписками по двѣ строки, по нѣскольку словъ, а иногда и по слову изъ той, или другой страницы), что статья — «Петербургъ и Москва» (NB. написанная однимъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ записокъ») никуда не годится и хуже всего худаго

на свѣтѣ, рецензентъ «Пчелы» разбираетъ статью г. Некрасова — «Петербургскіе Углы», бранитъ ее и называетъ г. Некрасова «питомцемъ новѣйшей школы, образованной г. Гоголемъ, школы, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая еїны грязныя, черныя» (нумеръ 236).

Видите ли: во всемъ этомъ одинъ смыслъ, одна мысль, одно чувство, которое можно назвать болѣзненною досадою, безсильною злобою на существование Гоголя и «Отечественныхъ Записокъ»... Выставляя эти факты, мы не имѣемъ намѣренія ни спорить съ «Сѣверною Пчелою», ни защищаться противъ нея, и еще менѣе имѣемъ въ виду отстаивать отъ нея «Физіологію Петербурга». Въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, мы сказали наше мнѣніе объ этой книгѣ, при которомъ остаемся и теперь, не имѣя нужды ни измѣнять его, ни повторять... И всему этому причиною Гоголь, какъ поэтъ, давшій новое направление русской литературѣ, и «Отечественные Записки», своею критикою теоретически развивающія и поддерживающія это направление! Но слова «Сѣверной Пчелы» объ основанной Гоголемъ школѣ требуютъ нѣкоторыхъ поясненій. Что эта школа стыдится чувствительного — правда, потому что чувствительное или сантиментальное теперь — то же, что пошлое, и его любить только школа, которая мы не знаемъ кѣмъ основана, но которая поражаетъ нелѣпыя и вздорныя произведения въ родѣ «Аристократки» г. Леопольда Бранта и другихъ. Но чтобы основанная Гоголемъ школа стыдилась патетического, это рѣшительно ложь. Гдѣ больше патетического, какъ не въ сочиненіяхъ Гоголя: «Тарасъ Бульба», «Старосвѣтскіе Помѣщики», «Невскій Проспектъ» и «Шинель»? Чѣмъ же касается до грязи... свѣтскіе кружки средней руки вѣдь считаютъ же за непристойность то, что принято въ большомъ свѣтѣ за хороший тонъ, и считаютъ же за хороший тонъ, что въ большомъ свѣтѣ считается дурнымъ тономъ. Это бываетъ и въ литературѣ. Было

время, когда Французы называли Шекспира пьянымъ дикаремъ, а его творенія—навозными кучами, въ которыхъ случайно попадаются жемчужины...

Не менѣе забавна въ «Сѣверной Пчелѣ» рецензія на двѣ книжки «Библіотики для Чтенія» нынѣшняго года. Эта рецензія также помѣщена въ трехъ нумерахъ «Сѣверной Пчелы», и явно писана одною и тою же рукою, какъ и длинная рецензія на «Физиологію Петербурга». Она особенно наполнена жалобами на то, что большая часть вновь выходящихъ книгъ предается въ журналахъ безусловному осужденію. Особенно занимательны въ этой статьѣ строки: «Нѣкоторые авторы, почему-либо очень непонравившіяся инымъ журналамъ, преслѣдуются въ нихъ постоянно съ ожесточеніемъ систематическимъ и безпардоннымъ; этихъ писателей безпрерывно бранятъ, хотя бы они и ничего не издавали вновь: надобно же задать острастку!» (№ 252). Какъ слышится въ этихъ словахъ голосъ сочинителя, который на себѣ самомъ испыталъ всю горечь этой истины! Въ самомъ дѣлѣ, во всякой литературѣ есть эти несчастные сочинители, которымъ весь міръ—смертельный врагъ, но они сами виноваты: сами лѣзутъ на опасность, не переставая издавать сочиненіе за сочиненіемъ. Такъ иной сочинитель этого рода издастъ книжку плохихъ повѣстей—ее, *comme de raison*, раскритикуютъ: тутъ бы слѣдовало ему и замолчать—иѣтъ, куда! онъ пишетъ книгу противъ своихъ рецензентовъ, доказывая въ ней существованіе какого-то заговора противъ него, тогда какъ ни одинъ рецензентъ, до появленія плохихъ повѣстей, не зналъ о его существованіи. Потомъ сочинитель самъ дѣлается критикомъ и рецензентомъ, воспѣть о томъ, что русская литература упала отъ самихъ литераторовъ. Напрасно будете вы ему доказывать, что русская литература и не думала падать, а что пали только плохія его повѣсти; что иностранные литераторы тоже безпрестанно спорятъ и дажессорятся другъ съ другомъ,

и однажды тѣмъ не менѣе литература находится тамъ въ цвѣтущимъ состояніи; и что несправедливо требовать, чтобы русскіе литературы были не людьми, а ангелами и превосходили своими добродѣтелями литераторовъ всѣхъ другихъ странъ. Онъ вошѣть свое, и гордо выставляетъ въ примѣръ свою «добросовѣстность съ легкимъ оттѣнкомъ безобидной ироніи». Но публика не обращаетъ никакого вниманія на эти жалобы, и новыя сочиненія его дѣлаются добычею букинистовъ.

Такъ какъ, говоря о «Пчелѣ», мы преимущественно имѣемъ въ виду доставить материаля для будущаго историка русской литературы, то и заключаемъ нашу статью такимъ фактъмъ, за который не только будущій историкъ литературы, но и будущій историкъ просвѣщенія, образованія и нравовъ нашей эпохи будетъ намъ особенно благодаренъ. Это оригиналная мысли фельетониста «Сѣверной Пчелы» (Ѳ. Б.), возбужденная въ немъ по случаю сооруженія памятника Бетховену. Выписываемъ вполнѣ этотъ удивительный образецъ газетной философіи, фельетоннаго глубокомыслія (№ 219):

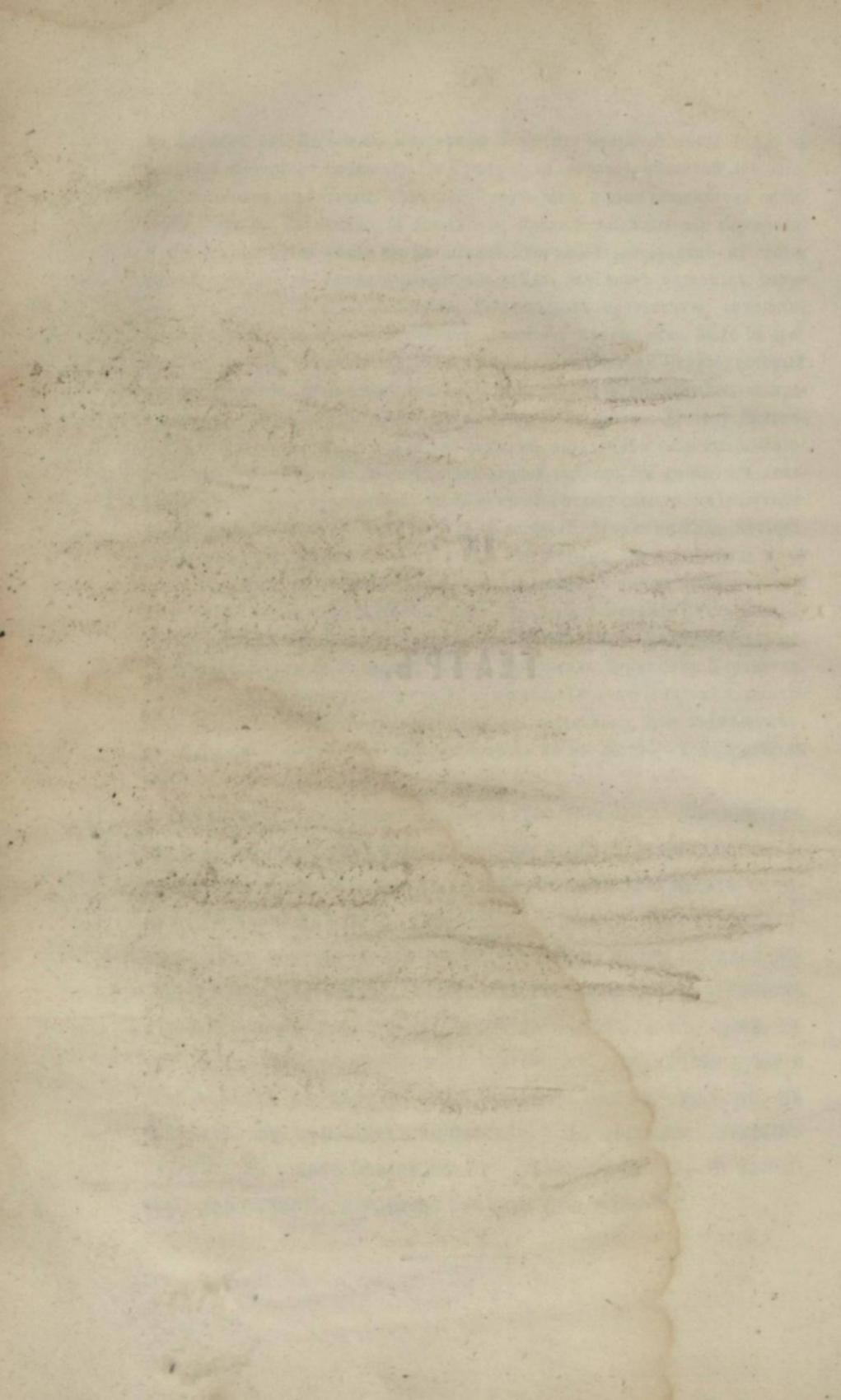
„При всей любви нашей къ музыкѣ, мы не раздѣляли вовсе печатныхъ восторговъ по случаю сооруженія памятника Бетховену, посреди городской площади, въ Бониѣ. Памятники на площадахъ, среди народа, должны воздвигаться только мужамъ съ народнымъ именемъ, защитникамъ отечества, благодѣтелямъ и просвѣтителямъ человѣчества. Ставьте памятники великимъ артистамъ и художникамъ въ музеяхъ, въ академіяхъ, въ театрахъ, словомъ, въ мѣстахъ, где собираются люди на торжество искусствъ—это дѣло; но на площади долженъ стоять памятникъ мужа, котораго подвиги или творенія были бы въ памяти потомства. Памятникъ на площади ставится для того, чтобы согрѣвать сердце, воспламенять умъ и служить урокомъ потомству. Тогда памятникъ священъ для народа, когда отецъ можетъ указать на него сыну, промолвивъ: вотъ примѣръ тебѣ! А что сказать, указывая на памятникъ Бетховена? Развѣ запѣсть мотивъ изъ *Фиделіо* (между нами—прескучной опера), или вспомнить какую-нибудь симфонію!!!—Когда въ Римѣ ставили памятники бойцамъ и смородинамъ, тогда уже Римъ отжилъ свою славу!—Цивилизациія, когда состарѣется, переходитъ въ дѣтство. Выставила ли Германія памятники всѣмъ своимъ героямъ отъ Арминія, или Германа, до поэта-воин-

на Кернера, отъ Лейбница, Кеплера до Гёте? Эта монументоманія дошла въ Западной Европѣ до смишнаго. Во Франціи, въ каждой мѣстечкѣ воздвигаютъ памятники извѣстнымъ чѣмъ-либо соотчичамъ, и даже воздвигнули памятникъ фермеру Пармантѣ, за введеніе во Франціи воздѣлыванія картофеля! Пусть-бы поставили бюстъ его въ первой Парижской ресторациѣ— ни слова; но если ставить на площади памятники, всѣмъ, кто ввѣль картофель, капусту, кто выдумалъ падовые пироги, или написалъ прекрасную симфонію, то истиннымъ героямъ ужъ надлежитъ воздвигать храмы, какъ было въ древности. Пусть-бы Франція воздвигнула памятникъ Доктору Паризе, который подвергалъ жизнь свою явной опасности, при изслѣдованіи средствъ къ пре-кращенію чумной заразы; пусть Англія ставить памятникъ Доктору Дженнери, за открытие прививанія коровьей оспы, мы преклонимъ чело предъ благодѣтелями человѣчества! Но памятники всякой извѣстности возвысить неизвѣстность. Хотите непреиѣнно, чтобы ликъ извѣстнаго вашего соотечественника украшаль площадь, поставьте его на колодезѣ (какъ памятникъ Моліера, въ Парижѣ) или въ нишѣ какого-нибудь богоугоднаго заведенія, тогда я не скажу ни слова. Наша юная Русская образованность весьма разборчива, и наши Русскіе памятники достойны славы народной. Монументъ Петра Великаго, Александровская Колонна, памятники Пожарскаго и Минина, Суворова, Румянцева, Кутузова, Барклай де-Толли, Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, суть памятники во славу Россіи и человѣчества! Я готовъ называть Бетговена необыкновеннымъ, удивительнымъ человѣкомъ, даже знаменитымъ, но великихъ мужемъ не назову. Величіе не въ нотахъ— а въ душѣ, въ умѣ!.. »

Восклицательный знакъ и нѣсколько точекъ!... Сочинитель какъ-будто самъ удивляется собственнымъ словамъ своимъ... Боже мой! Чего не терпитъ бумага, и какъ для иныхъ сочинителей хорошо, что съ подобныхъ мнѣній не береть пошлины... Надо поставить памятникъ Кёрнеру, поэту средней руки,— и не надо ставить памятника величайшему изъ геніевъ музыкального міра!... Величіе не въ нотахъ, а въ душѣ, въ умѣ! Видно фольетонистъ и не слыхивалъ, что иногда душа и умъ бываютъ въ нотахъ, какъ бываютъ они въ мраморѣ, въ краскахъ, въ печатныхъ буквахъ!... Но довольно! старыхъ матеріаловъ у насъ бездна, новые «Сѣверная Пчела» не замедлитъ представить, а впереди времени еще многого...

**IV.**

**ТЕАТРЪ.**



## РУССКИЙ ТЕАТРЪ ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Давно уже не говорили мы ни слова о современномъ движениі нашей драматической литературы. А между тѣмъ, оно ознаменовалось явленіями сколько разнообразными, столько и утѣшительными. Безъ всякихъ шутокъ: наша драматическая, или, лучше сказать, наша сценическая литература находится тѣперь въ самомъ лучшемъ, т. е., въ самомъ худшемъ положеніи. По правилу Маккіавелли, очень мудрому, иное положеніе бываетъ тѣмъ лучше, чѣмъ оно хуже: литература Александрынскаго-театра удивительно вѣрно подходитъ подъ это правило. Правда, она еще не дошла до апогея своего отрицательного достоинства: въ этомъ отношеніи, ей еще можно идти и развиваться дальше; но уже видѣнъ конецъ этого хода, видны геркулесовы столбы, за которыми уже нечего будетъ дѣлать нашимъ драматическимъ геніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто бы изъ нихъ могъ выдумать что-нибудь остроумнѣе «Шулера въ тискахъ и тещи въ малинѣ», назидательнѣе и трогательнѣе «Павла и Вингрія», вдохновеннѣе и возвышеннѣе «Импровизатора»? Положимъ даже, что и найдутся такие смѣльчаки и мастаки; положимъ даже, что и сами почтенные сочинители «Героевъ Преферанса», «Павла и Виргиніи», и «Импровиза-

тора» выдумаютъ еще что-нибудь остроумиѣ, чувствительнѣе и вдохновеннѣе, превзойдутъ самихъ себя (вѣдь кто же можетъ указать границы геню?); но неужели же не притупится удивленіе, не охладѣтъ восторгъ публики къ такимъ произведеніямъ нашего драматического генія? Неужели же по прежнему будетъ она вѣрить длиннымъ афишамъ бенефиціантовъ, по прежнему хлопать трагическимъ и водевильнымъ фарсамъ, по прежнему вызывать по одному разу сочинителей и по нѣсколько разъ—актеровъ? Положимъ, что и публика Александрынского-театра такъ же останется вѣрна своимъ вкусамъ и привычкамъ, какъ сценическая литература своейпустотѣ: за то, въ глазахъ людей, непринадлежащихъ ни къ этой литературѣ, ни къ этой публикѣ, та и другая должны получить значеніе опредѣленное, утвержденное, безспорное. Эти люди уже ничего не будутъ ждать, ничего не будутъ надѣяться и навсегда перестанутъ слѣдить за этой литературой, которая держится только посредственностью, а безъ нея должна умереть. Чтобъ театръ шелъ впередъ, измѣнялся,—необходима публика требовательная, капризная, которая бы хотѣла не новыхъ названий, а новыхъ піесъ, которой бы наскучило одно и то же, и которую бы уважали и актеры и авторы. Но такая публика можетъ составиться не изъ дѣловаго люда средней руки, которому послѣ канцелярскихъ бумагъ сегодняшняго утра и послѣ преферанса вчерашняго вечера, всякая піеса хороша. Это всегда такъ было и всегда такъ будетъ. Поэтому мы рѣшились слѣдить только за общностью этого прекраснаго направлениія драматической литературы нашего народнаго театра, не входя въ подробности; говорить только о замѣчательнѣйшихъ піесахъ, упоминая, или и совсѣмъ не упоминая о незначительныхъ, т. е. о такихъ, которые не имѣли особеннаго успѣха на сценѣ Александрынского-театра.

Итакъ, начнемъ. Во первыхъ, —

**ИМПРОВИЗАТОРЪ.** Оригинальная драма въ двухъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, и прозѣ, соч. Н. В. Кукольника.

Этюю удивительную драмою украшена одинадцатая книжка «Библіотеки для Чтенія» прошлаго года. Читая ее, мы не вѣрили глазамъ своимъ. Конечно, можно шутить съ публикою всякаго театра; но какъ же такъ шутить вообще съ русскою публикою? Вѣдь всему должна же быть мѣра. Отъ этого правила Чацкій не избавилъ даже Репетилова, сказавъ ему:

Послушай, ври, да знай же мѣру!

Какой-то нѣмецкій импровизаторъ, Германнъ, бросилъ, по бѣдности, жену и дочь, и пошелъ по бѣлу свѣту промышлять своимъ талантомъ. Воротился онъ домой уже черезъ нѣсколько лѣтъ. Такъ какъ всякий имправизаторъ прежде всего просто человѣкъ, то и естественно зрителю или читателю ожидать, что Германнъ заговоритъ съ женою и дочерью, во первыхъ, прозою, а не стихами, во вторыхъ, можетъ-быть не совсѣмъ складно отъ внутреннаго волненія, за то просто, безъ риторическихъ украшеній. И что же? этотъ человѣкъ, виноватый передъ женою, которую любилъ и бросилъ, передъ дочерью, которую оставилъ на жертву бѣдности, но, въ то же время, съ трепетомъ тоски и блаженства видящій милыхъ сердцу, ни съ того ни съ сего вдругъ начинаетъ нести стихами эту на-  
дутую галиматию:

Бывало слова будто утки плавутъ,  
Я въ звукахъ купаюсь, что въ морѣ;  
Языль и душа и сердце поютъ  
И въ звучномъ и сладостномъ хорѣ;  
Я радость чужую умѣль расказать,  
Я плакаль чужими слезами...  
За чѣмъ же живая стиховъ благодать  
Не движеть моими устами?...  
Зачѣмъ же такъ бьется сердце мое,  
Нѣмѣеть привѣтное слово?...

Нѣтъ, горе свое и блаженство свое  
Нѣмѣе и глубже чужаго.

Затѣмъ онъ дѣлаетъ стихами классификацию пѣсень, достойную эстетики пѣвцовъ извѣстнаго разряда, которыхъ вѣдь много:

Иная пѣснь съ клеймомъ нужды,  
Бродягой, милостыни просить;  
Ея постыдные слѣды  
Пескомъ забвенія заносить;  
Она безъ тѣни міръ пройдетъ,  
Воспоминаній не оставитъ,  
Какъ ирокаженная умреть...  
*Ее презрѣніе отравитъ(?)...*  
Иная пѣснь съ другимъ клеймомъ,  
Съ ошейникомъ позорной лести;  
Ту пѣснь казнить другимъ стыдомъ —  
Огнемъ неумолимой мести;  
Отъ смрадныхъ ранъ пѣвецъ умреть,  
Но ихъ забвенье не залечить...  
Ту пѣспь потомство проклянетъ  
Презрѣніе увѣковѣчить...

Какая разница между пѣснями и ужды и пѣснями лести — не знаемъ: это не по нашей части, это тайна сочинителя и его импровизатора, который потомъ замѣчаетъ, уже прозою, что «много-де тѣхъ постыдныхъ пѣсень извлекала изъ его усть нужда, но лесть — ни одной». Узнавъ, что его дочь обольщена однимъ барономъ, онъ приходитъ въ великую ярость, которую выражаетъ высокопарною рѣчью въ стихахъ и въ прозѣ; тащить свою дочь къ двору баварскаго курфистра и начинаетъ тамъ читать самые надутые и фразистые стихи, которые могутъ служить примѣромъ самой отчаянной риторики. Мы думали, что курфистръ велитъ посадить Германна въ домъ сумошедшихъ; но ни чуть не бывало: его свѣтлости стихи Германна до того понравились, что онъ приказалъ барону Рудольфу Огаю жениться на Матильдѣ, дочери Германна, и разрѣшаетъ

его невѣстѣ, а своей племянницѣ, Кунигундѣ, выйтти за барона Эмерса, съ которымъ она втайиѣ обожалась. Комедія оканчивается смѣшно. Въ ней три шута: № 1, самъ импровизатеръ, Германнъ; № 2, его дочь, Матильда; № 3, баронъ Шпирц-прунгъ.

Матильда несетъ высокопарную дичь, только прозою, тогда какъ ея отецъ некстати фразерствуетъ и въ прозѣ и въ стихахъ. Есть ли, напримѣръ, хоть сколько-нибудь похожаго на чувство, на страсть въ этой шумихѣ надутыхъ словъ, которыми Матильда упрекаетъ свою мать: «Ты — мнѣ мать! никогда! ты знала, что онъ не любить меня... Больше! ты знала, въ любви этой грѣхъ, проклятіе земли и неба. Все знала ты — и чуть сомнѣніе легкимъ облачкомъ набѣгало на мою совѣсть, кто разгонялъ святой вопросъ невинной души?... Ты! Ты! И ты мнѣ мать!.. Ярмо нищеты стало тебѣ въ тягость; ты продала меня за ничтожное довольство въ этой ничтожной жизни... Маргарита!.. (возвысивъ голосъ) ты ошиблась! Невинность моя при мнѣ! Преступленіе совершилось — но не я преступница. Я любила и вѣрила! Я любила — а ты приказывала мнѣ вѣрить (??!!)... Я любила въ первый разъ... а ты одобряла мою любовь... О! Боже мой! И какъ я любила! Теперь только я чувствую, когда перестала любить... Да мнѣ и не чѣмъ любить. У меня вырвали сердце! (?) Но, Маргарита, у меня еще осталось много; я могу ненавидѣть, мстить, проклинать... И проклятіе мое уже дрожитъ въ душѣ... губы его слагаютъ... А я не смѣю... Вотъ богатый образчикъ романической риторики! Да и вся эта драма, по неестественности ея содержанія, по ложности характеровъ, кромѣ уже надутости выраженія, есть великолѣпный образецъ риторики...

Но мы забыли сказать о шутѣ № 3-мъ этой комедіи, баронѣ Шпирцирунгѣ: это отчаянный пьяница, который без-

престанно толкуетъ о винѣ, чтобы, смѣша публику, не дать ей заснуть отъ кривляній Германна и Матильды. Впрочемъ, вся эта шутка уже черезчуръ перешучена: она не удержалась даже на сцѣнѣ Александровскаго-театра. — Вотъ другое дѣло —

*ПАВЕЛЬ И ВИРГИНИЯ.* Драма въ пяти дѣйствiяхъ, соч. Николая Полеваго.

Эту не могли затмить даже «Герои Проферанса» съ «Шуллеромъ въ тискахъ» и съ тещей въ малинѣ».

Кто не помнить романа Бернардена де-Сен-Пьера? кто не восхищался имъ въ юности? Это романъ немножко сантиментальный, немножко даже приторный, но романъ, написанный человѣкомъ съ талантомъ, романъ наивный, дышащий свѣжестью и не чуждый рационального направленія XVIII вѣка, который въ сближеніи (часто понимаемомъ ложно) видѣлъ средство къ эманципаціи человѣчества отъ оковъ преданія. Наконецъ и до этого романа, уже всѣми забытаго, дошла очередь — быть переложеннымъ на драму трудолюбивою рукою г. Полеваго.

Какъ выполнилъ эту задачу нашъ сочинитель, объ этомъ мы не будемъ распространяться. Скажемъ коротко: г. Полевой съ удивительнымъ успѣхомъ умѣлъ уважить законную собственность Бернардена де-Сен-Пьера: онъ не дотронулся ни до чего интереснаго и живаго въ романѣ, а воспользовался только его слабыми сторонами и, благодаря собственнымъ своимъ изобрѣтеніямъ, преимущественно состоящимъ въ сентенціяхъ и кукольныхъ характерахъ, умѣлъ слѣпить драму, въ которой все неправдоподобно, вяло, неестественно, сантиментально, скучно. Больше нечего сказать объ этомъ посредственномъ созданіи.

Третья пьеса —

**ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ, ИЛИ АРФИСТКА.** Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. Раупуха, передѣланная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

Баронъ Гольмъ влюбленъ въ дочь слѣшаго арфиста Бертрана и хочетъ сдѣлать ее своею любовницей. Бертранъ вызываетъ его на дуэль. Дерутся, но другъ въ друга не попадаютъ: баронъ по великодушію, Бертранъ — по слѣпотѣ. Обрадовавшись этому, баронъ изъ повѣсы дѣлается нравственнымъ молодымъ человѣкомъ, и хочетъ жениться на Кларѣ. Графиня фонъ-Даленъ, его бабка, ссорится съ нимъ за это, но онъ не уступаетъ ей. Между прочимъ, она говоритъ внучку, что уже прокляла одного изъ сыновей своихъ за неравный бракъ. Разумѣется, оказывается, что этотъ сынъ ея — Бертранъ, который сошелъ съ ума, оттого, что мать прокляла его за благородный съ его стороны поступокъ. Послѣ многихъ чувствительныхъ нѣмецкихъ штукъ, все оканчивается благополучно, всѣ дѣлаются счастливы и, вѣроятно, съ радости начинаютъ ѡесть картофель.

Кромѣ этихъ трехъ пьесъ была еще ужасная драма. «Незнакомецъ», оригинальная драма въ двухъ суткахъ; сутки первыя: «Разбойникъ по неволѣ»; сутки вторыя: «Грозный сватъ», — въ коей драмѣ г. Смирновъ 1-й пѣлъ пѣсню: «Не судите люди добрые», музыка г. Варламова. Эта двух-сutoчная драма принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ российскихъ сочиненій: эффектовъ въ ней бездна, смысла мало — вѣчная ей память!

Упомянемъ о водевиляхъ: «Маркизъ де-Караба»; «При счастьи бранятся, при бѣдѣ мирятся»; «Семь дней любви» (романъ-водевиль); «Женихъ, чемоданъ и невѣста»; «Домашнія обстоятельства, или кредиторы въ заперти»; «Французскій Гусаръ»;

«Дружба върнѣе любви»; «Дружеская лотерея съ угощеніемъ»; «Сюрпризы» (съ полькою). Нѣкоторыя изъ этихъ водевилей очень хороши — во французскихъ подлинникахъ и на Михайловскомъ-театрѣ, особенно — «Дружба върнѣе любви» (*Quand l'amour s'en va*).

Чуть-было не забыли русского народного водевиля: «Ямщики, или какъ гуляетъ староста Семенъ Ивановичъ». Удивительный водевиль: пьяно, пьяно, пьяно, а ужь какъ нелѣпо— и сказать нельзя!... Вотъ народность, такъ народность, — истинно ямщицкая!

**1846.**

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**

1848.

ОПРАВЛЕНИЯ ГАУЧИНА

I.

**КРИТИКА.**

ЛІБІДЬ

## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1845 ГОДУ.

Тихо и незабвенно еще канула годъ въ вѣчность, канула какъ капля въ море! И никто не пожалѣлъ о покойникѣ, никто не проводилъ его ласковымъ словомъ,— онъ былъ забытъ заживо, забытъ совершенно: въ декабрѣ, на него смотрѣли всѣ какъ на докучнаго, засидѣвшагося гостя, который только мѣшаетъ радостной встрѣчѣ съ вожделеннымъ новымъ годомъ. Старый годъ, въ своемъ послѣднемъ мѣсяцѣ, бываетъ похожъ на начальника, который подалъ въ отставку, но, за сдачею дѣлъ, еще не оставилъ своего мѣста. Разница только въ томъ, что о старомъ начальнике всегда жалѣютъ, если не по сознанію, что онъ былъ хороши, то по боязни, что новый будетъ еще хуже; новаго же года люди никогда не боятся: напротивъ, ждутъ его съ нетерпѣніемъ, какъ-будто въ условной цифре заключается талисманъ ихъ счастія. И все это для того, чтобы измѣнить ему, когда онъ состарѣется и снова возложить свои надежды на его преемника! Такимъ образомъ, непримѣтно уходитъ годъ за годомъ, — и только развѣ тогда, какъ человѣкъ почувствуетъ на плечахъ своихъ порядочное количество годовъ, впадаетъ онъ въ невольное раздумье, и уже не съ такою холодностью проживаетъ старый, и не съ такою радостью встрѣчаетъ новый годъ... Ему въ первый разъ приходитъ на умъ очень простая истина, что первое января, которымъ тѣ-

перь называется новый годъ, ничѣмъ не лучше первого сен-  
тября, которымъ прежде начинался годъ; что условныя вѣхи,  
столбы и станціи на безконечной дорогѣ жизни—въ сущнос-  
ти ничего незначать, и что для каждого лично всего лучше  
измѣрять свое время объемомъ своей дѣятельности, или хоть  
своихъ удачъ и своего счастія. Ничего не сдѣлать, ничего не  
достигнуть, ничего не добиться, ничего не получить въ про-  
долженіи цѣлаго года,—значить потерять годъ, значитъ не  
жить въ продолженіи цѣлаго года. А сколько такихъ годовъ  
теряется у людей! Не дѣлать—не жить; для мертваго это не-  
большая бѣда, но не жить живому—ужасно! И между тѣмъ,  
такъ многа людей живеть не живя, но только собираясь жить!  
Кто въ самомъ себѣ не носитъ источника жизни, т. е. источ-  
ника живой дѣятельности, кто не надѣется на себя, — тотъ  
вѣчно ожидаетъ всего отъ внѣшняго и случайнаго. И вотъ  
причина чествованія новаго года. Новый годъ даетъ то, чего  
не далъ прошлый... И вотъ —

Настали святки. То-то радость!

Гадаетъ вѣтреная младость,  
Которой ни чего не жаль,  
Передъ которой жизни даль  
Лежитъ свѣтла, не обозрима;  
Гадаетъ старость сквозь очки  
У гробовой своей доски,  
Все потерявъ невозвратимо;  
И все равно: надежда имъ  
Лжетъ дѣтскимъ лепетомъ своимъ.

Святочные гаданія всегда относятся къ новому году; люди  
убѣждены, что только въ новомъ году могутъ они быть сча-  
стливы. О томъ, достойны ли, способны ли они быть счаст-  
ливы, имъ и въ голову не приходитъ. Еще тѣ, которые ждутъ  
своего счастія отъ денегъ, отъ материальныхъ выгодъ, могутъ  
быть правы, не удалось въ прошломъ году — авось удастся

въ будущемъ! Притомъ же, люди этого сорта дѣятельны и крѣпко держатся пословицы: «на Бога надѣйся, самъ неплѣшай». Но романтическіе лѣнивцы, но вѣчно бездѣятельные, или глупо дѣятельные мечтатели думаютъ объ этомъ иначе: не брежно, въ сладкой задумчивости, опустивъ руки въ пустые карманы, прогуливаются они по дорогѣ жизни, глядя все впередъ, туда, въ туманную даль, и думаютъ, что счастіе гонится за ними, ищетъ ихъ и вотъ — того и гляди — наконецъ найдетъ ихъ и бросится въ ихъ объятія, чтобы никогда уже не разставаться съ ними. «О, чтѣ-то сулишь ты мнѣ, таинственный новый новыи годъ!» восклицаютъ они, въ стихахъ и въ прозѣ... А о томъ и не подумаютъ, что они перехитрились, перемудрились до того, что сами не знаютъ, чего имъ надо и чего не надо; что они утратили способность просто чувствовать, просто понимать вещи; что сдѣлались олицетвореннымъ противорѣчіемъ — *de facto* живутъ на землѣ, а мыслю на облакахъ; что стали ложны, неестественны, натянуты,

Съ своеї безнравственnoй душой  
Самолюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмѣрно,  
Съ своимъ озлобленнымъ умомъ,  
Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ...

Въ наше время, особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ, впрочемъ, не всегда можно сказать, чтобы они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни — вотъ въ чёмъ заключается ихъ жизнь... Нельзя не подивиться, что юморъ современной русской литературы до сихъ поръ не воспользовался этими интересными типами, которыхъ такъ много теперь въ дѣйствительности, что ему было бы где разгуляться! Это существа странныя, иногда жалкія, иногда достойныя участія, но всегда равно любопытныя для наблюденія. Ихъ зна-

ченіе у нась очень важно; они явились вслѣдствіе внутренней необходимости, какъ выраженіе нравственнаго состоянія общества. Еще недавно были они «героями своего времени». Теперь на нихъ мода проходитъ, но ихъ все еще много, и они еще не скоро переведутся. Притомъ же, они не столько переводятся, сколько измѣняются, принимая новыя формы. Поэтому, они раздѣляются на множество оттѣниковъ, заслуживающихъ подробнаго изслѣдованія.

Что же это за люди, что за типы? — Это высокія натуры, презирающія толпу: вотъ общее ихъ опредѣленіе, довольно полное и вѣрное. Что же касается до оттѣниковъ, начнемъ съ первого.

Онъ слезы лилъ, добросердечно

Бранилъ толпу.

И проклиналь безчеловѣчно

Свою судьбу.

Являлся горестнымъ страдальцемъ,

Писалъ стихки,

И не дерзаль вонуться пальцемъ

*Ез* руки.

Никакой натуралистъ такъ хорошо и полно не составлялъ исторіи какого-нибудь *genus* или *species* животнаго царства, какъ хорошо и полно рассказана въ этихъ восьми стихахъ исторія человѣческой породы, о которой говоримъ мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вѣчное страданіе, почти всегда крапаніе стишковъ, и идеальное обожаніе неземной дѣвы — вотъ родовые признаки этихъ «романтиковъ» жизни. Первый разрядъ ихъ состоитъ больше изъ людей чувствующихъ, нежели умствующихъ. Ихъ призваніе — страдать, и они горды своимъ призваніемъ. Не спрашивайте ихъ, по чемъ, отчего они страдаютъ: они презираютъ страданіе, которое можно объяснить какой-нибудь причиной. Они любятъ страданіе для страданія. Имъстыдно минуты веселаго, беззаботнаго увлеченія, они боятся здоровья, хо-

тять быть блѣдными, худыми, и ничѣмъ такъ нельзя встревожить ихъ, какъ сказавъ, что они пополнились. Для чего все это? — Для того, что толпа любить ѳеть, пить, веселиться, смеяться, а они во чѣ бы то ни стало, хотятъ быть выше толпы. Имъ пріятно увѣрять себя, что въ нихъ клокочутъ неистовыя страсти, что ихъ юная грудь разбита несчастіемъ, свѣтлая надежды на жизнь давно разлетѣлись, и на долю имъ осталось одно горькое разочарованіе. Имъ непремѣнно нужна душа, которая поняла бы ихъ, но они рѣшительно не знаютъ, что имъ дѣлать съ такою душою, когда имъ удастся найти ее, потому что ихъ страсти въ головѣ, а не въ сердцѣ, и счастливая любовь становить ихъ въ тупикъ. Поэтому, они предпѣчтаютъ любовь непонятную, нераздѣленную любви счастливой, и желаютъ встрѣчи или съ жестокою дѣвою, или съ измѣнницей... Во всемъ этомъ главную роль играетъ самолюбіе, и однакожъ тутъ есть, или была когда-то, своя хорошая сторона; но мы обѣ этомъ скажемъ ниже, а теперь обратимся къ другому, высшему разряду «романтиковъ».

Между этими «романтиками» бываютъ люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуютъ не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда очо имѣеть прочную основу, практическій характеръ! Но романтики вообще враги всего практическаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на долю «толпы», не понимая въ своемъ ослѣпленіи, что всякий геній, всякий великий дѣятель, есть человѣкъ практическій, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченного мышленія. Разладъ съ дѣйствительностію — болѣзнь этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на чѣ лучше, какъ только на

то, чтобы разсуждать о жизни, которой онъ никогда не зналъ, никогда не извѣдалъ. Толпа живеть, не мысля, и оттого живеть пошло; но мыслить, не жива — развѣ это лучше? развѣ это не такая же, или даже еще не большая уродливость?...

Но теперь всѣ заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и та же фраза: — «надо дѣлать!» И между тѣмъ, все-таки никто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что во чѣдѣ бы ни нарядился романтикъ, онъ все остается романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть чѣмъ угодно — и Туркомъ, и Жидомъ, и рыцаремъ. Нѣкоторые, говорять, не шутя надѣли на себя терликъ, охабень и шапку мурмолку: болѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходятъ дома въ татарской ермолкѣ, татарскомъ халатѣ и жолтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ — все же историческій костюмъ! Назвались они «партиями», и думаютъ, что дѣлать значитъ — разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они — удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродить во тьмѣ.

Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокій внутренній разладъ съ дѣйствительностью. Сперва хотятъ составить программу жизни, хорошенько обдумать и обсудить ее, а потомъ уже и жить по этой программѣ. Удивительно ли, что вся жизнь такихъ людей проходитъ въ составленіи программъ? Человѣкъ долженъ сознавать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни — тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основою жизни долженъ быть инстинктъ, непосредственное чувство. Безъ нихъ, жизнь есть пустое, холодное и, къ довершенію, преглупое умничанье; такъ же, какъ безъ мыслительности, непосредственное существование есть животное состояніе. Любовь къ женщинѣ — высокое чувство, но оно тогда только

истинно, когда выходитъ изъ сердца, а не изъ головы. А между тѣмъ, романтики по преимуществу живутъ головными, а не сердечными страстями, и потому вся гамма жизни ихъ поется визгливою фистулой. Ихъ презрѣніе къ «толпѣ» такъ велико, что они не могутъ понять, какимъ образомъ самъ гений потому только и великъ, что служить толпѣ, даже борясь съ нею. Поэтому, они не хотятъ слизойти до ознакомленія себя съ толпою, до изученія ея характера, положенія, потребностей, нуждъ. Для обихода цѣлой ихъ жизни достаточно нѣсколькихъ мыслей, иногда нѣсколькихъ фразъ, вычитанныхъ въ книгѣ, поверхностно понятыхъ, не въ попадь приложенныхъ къ дѣйствительности. Они смотрятъ на толпу не какъ на силу, которая гнется и подается только отъ силы гения, а какъ на стадо, которое можетъ гнать передъ собою куда угодно первый умникъ, если вздумаетъ взяться за это дѣло. Ихъ любовь и довѣренность къ теоріямъ (разумѣется, преимущественно къ своимъ собственнымъ) такъ велика, что они скорѣе рѣшатся не признать существованія цѣлаго народа, который не подходитъ подъ ихъ теорію, нежели отказаться отъ нея. Имъ это такъ легко, а для народа это такъ не опасно! Пусть тѣшатся!... Но вѣдь этимъ потѣхамъ долженъ же быть когда-нибудь и конецъ: самъ донъ Кихотъ опомнился передъ смертью... Что жъ! когда горькій опытъ жизни разобьетъ мечты романтика, — у него не все еще будетъ отнято: у него останется великолѣпная мантія страданія, вслѣдствіе непризнанной гениальности...

И однажды, такие романтики — не случайное явленіе. Они были необходимымъ результатомъ прививнаго образованія нашего общества; ихъ исторія тѣсно соединена съ исторіею нашей литературы, съ которой также тѣсно сдѣла и исторія образованія нашего общества.

До начала литературы, дѣды и отцы наши жили просто, безъ претензій, безъ хитростей, безъ мудрованія, Ѳли, пили,

спали (и какъ еще ъли, пили и спали! намъ, ихъ внукамъ и дѣтямъ, увы! уже не ъсть, не пить и не спать такъ!), женили дѣтей своихъ (тогда сыновья не могли сами жениться — ихъ женили отцы, такъ же, какъ теперь они выдаютъ дочерей замужъ), умнѣли лѣтъ въ сорокъ, старѣли лѣтъ въ семьдесятъ, умирали лѣтъ въ девяносто... Безъ сомнѣнія, это была жизнь весьма простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грубо-простая. Вѣдь простота простотѣ—рознь, и для общества лучшая простота есть та, которая выработалась изъ затѣйливой вычурности, какъ, напримѣръ, простота обращенія въ современной Европѣ, вышедшая изъ изысканной хитрости обращенія XVIII вѣка. Въ этомъ черезчуръ простомъ обществѣ не было жизни, разнообразія, потому что личность человѣка поглощалась этимъ обществомъ, и каждый долженъ, обязанъ быть жить какъ жили всѣ, а не какъ указывалъ ему его разумъ, его чувство, его наклонности. Реформа Петра Великаго потрясла въ основаніи это оцѣпенѣлое общество; но она только разбудила, растревожила, взволновала его, и если перемѣнила, то извиѣ только. Внутреннее измѣненіе общества должноствовало быть дальнѣйшимъ результатомъ этой реформы. Явилась литература, сперва безъ читателей, безъ публики, литература громозвучная, торжественная, надутая, школьнaya, риторическая, педантическая, книжная, безъ всякаго живаго отношенія къ жизни и обществу. Въ блестящее царствованіе Екатерины II было положено основаніе знакомства русскаго общества съ европейскимъ: съ этого времени начало сильно распространяться въ Россіи знаніе французскаго языка, а вмѣстѣ съ нимъ и изысканная вѣжливость обращенія и сантиментальный характеръ нравовъ. Бѣдный молодой дворянинъ Карамзинъ объѣхалъ большую часть Европы, и своими «Письмами Русскаго Путешественника», очаровавшими его современниковъ, прочитанными всею грамотною Россіею того времени, довершилъ и утвердилъ знакомство русскаго образо-

ванного общества съ Европою. Эта книга, которую теперь такъ скучно читать, — тѣмъ не менѣе великий фактъ въ исторіи нашей литературы и въ исторіи образования нашего общества. Съ Карамзина, наше сочинительство и писательство уже начало становиться не просто книжничествомъ, а литературою, потому что талантъ Карамзина создалъ и образовалъ публику. Направленіе, данное Карамзиномъ нашей литературѣ, было по преимуществу сантиментальное. Такъ какъ оно было въ духѣ времени, то скоро проникло и въ нравы общества. Чувствительныя души толпами ходили гулять на Лизинъ-прудъ; Эрасты, Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмиліи, Юліи размножились до чрезвычайности, вздохи превращали самые тихіе дни въ вѣтреные, слезы потекли рѣками... Будь это въ наше время, сейчасъ бы составились компаніи на акціяхъ для постройки вѣтреныхъ и водяныхъ мельницъ, въ расчетѣ на движущую силу вздоховъ и слезъ чувствительныхъ душъ... Теперь это, конечно, смѣшно, но тогда имѣло свое глубокое значеніе. Литература въ первый разъ стала выраженіемъ общества, и потому начала оказывать на него сильное нравственное вліяніе. Чувствительныя души были тогда если не лучшія души въ обществѣ, то, безъ сомнѣнія, самыя образованыя. Они рѣзко отдѣлились отъ безчувственной толпы; но они гордились передъ нею только своею способностью чувствовать, умиляться до слезъ отъ всего прекраснаго и человѣческаго, а еще не тянулись въ герои и великие люди. Но тѣмъ не менѣе раздѣленіе избранныхъ отъ толпы уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одномъ мѣстѣ, но должно было идти впередъ, развиваться. Романтическая муз Жуковскаго, своими очаровательно-задумчивыми звуками, похожими на уныло-гармоническіе звуки золовой арфы, дала сантиментальному обществу болѣе истинный и болѣе поэтическій характеръ. Въ ней, несмо-

тра на ея мечтательность, была сила, энергія, и она любила не одну слабую задумчивость, но и мрачные картины фантастической действительности, наполненной гробами, скелетами, духами, злодействами и преступлениями — темными преданиями среднихъ вѣковъ... Въ двадцатыхъ годахъ, раздалось въ нашей литературѣ слово «романтизмъ». Всѣ заговорили о Байронѣ, и байронизмъ сдѣлался пунктомъ помѣшательства для прекрасныхъ душъ... Вотъ съ этого то времени и начали появляться у насъ толпами маленькие великие люди съ печатію проклятія на челѣ, съ отчаяніемъ въ душѣ, съ разочарованіемъ въ сердцѣ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ «ничтожной толпѣ». Герои сдѣлались вдругъ очень дешевы. Всякій малчикъ, котораго учитель оставилъ безъ обѣда за незнаніе урока, утѣшалъ себя въ горѣ фразами о преслѣдующемъ его рокѣ и о непреклонности своей души, пораженной, но не побѣженной. Эти господа провозгласили своимъ органомъ Пушкина, потому что не поняли его. Они обѣими руками ухватились за его молодыя произведения, — прекрасныя, но въ то же время и незрѣлыя; за то, когда Пушкинъ нашелъ путь, назначенный ему его натурою, когда онъ развился до всей высоты своего гenія и сдѣлался великимъ художникомъ, — они отступились отъ него, какъ отъ падшаго таланта. Истиннымъ выраженіемъ романтическаго направленія были повѣсти Марлинскаго, съ дополненіемъ къ нимъ повѣстей въ родѣ «Живописца», «Блаженства Безумія», «Эммы» и т. п., и потомъ стихотворенія нѣкоторыхъ поэтовъ, явившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и доведшихъ это направление до послѣдней крайности. Въ немъ была и отчаянная фразеология ложныхъ, натянутыхъ страстей, и притязательная (*prétentieuse*) фразеология нѣмецко-бюргеровской мечтательности, пополамъ съ плохо-понятымъ нѣмецко-философскимъ мудрованіемъ, и наша, будто-бы, народная удаль чувствъ и выражений, сбивающаяся нѣсколько на ямщицкое ухарство.

Превосходнымъ образчикомъ послѣдняго можетъ служить слѣдующее стихотвореніе, напечатанное въ «Эхо», альманахѣ на 1830 годъ, изданномъ въ Москвѣ:

Прочь съ презрѣнною толпою,  
Цыць, сколостики, молчать!  
Вамъ ли черствою душою  
Жаръ поэзіи понять?  
Дико, бѣшено стремленье,  
Чѣмъ поэтъ одушевленъ:  
Такъ въ безумномъ упоенъ  
Богъ поэтовъ, Аполлонъ,  
Съ Марсіаса содралъ кожу!  
Берегись его дѣтей:  
Эпиграммой хлопнутъ въ рожу,  
Рифмой бѣшенной своей  
Въ поэтическія пльти,  
Пріударятъ дураковъ,  
И позоръ вашъ, мрака дѣти,  
Отдалутъ на свистъ вѣковъ.

Нельзя не согласиться, что это немножко пошло, немножко грязно, даже отчасти глуповато; но нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что это только доведенная до послѣдней крайности та «мило-забубеная» поэзія, которая воспѣвала удаль бурсацкой жизни и возвышенныя стремления разума къ чашѣ съ шипучимъ,—та разудалая поэзія, которую мы съ вами, читатель, такъ восхищались во время оно, и которая и теперь еще имѣетъ простодушіе претендовать на вниманіе и на почетъ... Справедлива русская пословица: яблоко отъ яблони не далеко упало... Что же касается до неистовой и глубокомысленной романтической фразеологии въ стихахъ и прозѣ, мы не высказали бы ясно нашей мысли о романтическомъ направлении, еслибы не привели здѣсь нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе характеристическихъ.

Вотъ на выдержку нѣсколько мѣстъ изъ разныхъ романтическихъ авторовъ:

Человѣкъ созданъ изъ Добра и Любви; съ ними все соединялось у него въ первобытной его жизни. Кто былъ добръ тотъ любилъ; кто любилъ, тотъ былъ добръ. И любовь родила душу Человѣка съ мертвотою Природою. Философія не разогрѣть Вѣры, и не логикою убѣждается въ ея святыхъ истинахъ — но сердцемъ. Такъ въ сердцѣ человѣческомъ *воздвигнуть алтарь святой Вѣры*; рядомъ съ нимъ поставленъ алтарь Любви; и на обоихъ горить *одинокая жертва вѣчной истины* — пламень надежды! Безъ этого пламени, солнце наше давно погасло бы, въ кометы праздновали бы только *погребальную тризну* на скелетъ земли, съ ужасомъ спѣша отъ мрачной пустоты<sup>1)</sup>), гдѣ тлѣеть трупъ ея, спѣша — туда, выше, выше, гдѣ свѣтъ чище, ярче, болѣе вѣченъ...

Чудная Вѣринька! слажи, кто ты: демонъ или ангель? Нѣть! ты *неземная*. Это я знаю лучше тебя самой.

Сказали бы мнѣ: *будь поэтомъ* — и чрезъ годъ я склонилъ бы свою увѣйчиванную голову передъ тою, которой обязанаю вдохновенiemъ<sup>1)</sup>) Развѣ не поэзія — высокая любовь моя! Развѣ нѣть пылу въ моей душѣ! Я бы разбилъ ее *въ искры*, и звуки, и мысль — и свѣтъ отвѣчалъ бы мнѣ вздохами, и слезами, и рукоплесканіями.

Ногу на землю, взоры на небо — вотъ истинное твое положеніе — человѣкъ!

Любовь! любовь! души моей восторгъ!  
Въ умѣ моемъ ты лучшая идея,  
Въ познаніяхъ ты лучшее познанье,  
Въ надеждахъ — нѣть надежды равной,  
Въ мечтахъ моихъ — роскошнѣйшей мечты!

<sup>1)</sup> Великолѣпная картина! Любопытно было бы взглянуть, какъ кометы съумѣли бы помѣститься на скелетъ земли, чтобы праздновать на ней погребальную тризну и, *въ то же самое время*, съ ужасомъ спѣшить изъ мрачной пустоты туда и пр. Для этого стояло бы погасить пламень надежды на алтарѣ сердца...

<sup>2)</sup> Романтизмъ думаетъ, что стоять только влюбиться въ *дѣву неземную*, чтобы сдѣлаться поэтомъ не хуже Байрона, не имѣя отъ природы таланта ни на грошъ. Не знаемъ, думалъ ли романтизмъ, что если безталантный человѣкъ влюбится въ *дѣву неземную*, то сейчасъ же сдѣлается первымъ умникомъ на свѣтѣ...

Отдайте Вѣриньку кому угодно, забросьте ея за моря, за непроходимые лѣса и горы, позвольте мнѣ ползти на колѣнкахъ по всему свѣту, ис-  
вать ее...

Вездѣ есть змѣй коварного сомнѣнья,  
Но змѣй любви безмѣрно ядовитъ.

Душа моя изъѣдена мученьемъ,  
Какъ злой разбойникъ совѣтствомъ и кровью!  
За что, за что? за чистоту страстей,  
За благородство серца и души!!

Не понимай, не понимай, божественная дѣва,  
Моихъ пустыхъ рѣчей не понимай!  
Не слушай словъ сердечнаю напѣва,  
Насмѣшками союти душевный рай;  
О, удержи порывъ нѣмаго гиѣва,  
Не понимай меня, не понимай!

Умремъ, моя мечта!... Да и на что намъ жизнь?

Ты моя, моя — ты не вырвешься изъ объятій души моей; я умерщвляю  
тебя моимъ послѣднимъ смертнымъ дыханіемъ.

Душа велѣла жизни любить,  
А жизнь и душу ненавидѣть...

Все это очень смѣшно, смѣшнѣе ничего нельзя выдумать, самая злая пародія не могла бы такъ страшно осмѣять этихъ выписокъ, какъ осмѣиваются онѣ сами себя; но это смѣшно теперь, а было время — что грѣха таить! — когда это всѣхъ приводило въ восторгъ: явный знакъ, что все это было нужно и необходимо въ свое время, и даже имѣло свою хорошую сторону, принесло свои хорошие результаты. Уже одно то, что, благодаря этимъ туманнымъ, заоблачнымъ и разудальнымъ фра-  
зѣрствамъ, мы навсегда какъ-будто застрахованы въ будущемъ отъ опасности увидѣть нашу литературу на такой странной

дорогѣ, — одно это уже большая заслуга. Что же касается до роматниковъ жизни, порожденныхъ и возлеъянныхъ этою романтическою литературою, высокопарною безъ крыльевъ, глубокою безъ основанія, таинственною безъ смысла, разгульною безъ вдохновенія, смѣлою изъ бравуры, оригинальною изъ фанфаронства, тщеславною по ограниченности, странною по духу противорѣчія, — романтики жизни, какъ мы сказали выше, не перевелись и теперь; нѣкоторые изъ нихъ и остались такими, какими были — ихъ кругъ состоитъ или изъ людей уже слишкомъ пожилыхъ, или изъ дѣтей; другіе, прикинувшись учеными, облекли старыя претензіи въ новыя фразы. Твердя безпрестанно, что абстрактное мышленіе ни къ чему не ведеть, что достоинство знанія повѣряется его отношеніями къ жизни, а важность теоріи опредѣляется ея приложимостью къ практикѣ, — они тѣмъ не менѣе продолжаютъ жить въ мечтѣ, съ тою только разницею, что сочиняютъ мечтательныя теоріи не объ отвлеченныхъ предметахъ, а о дѣйствительности, которую схватываютъ въ своихъ опредѣленіяхъ такъ вѣрно, какъ вѣрно чудодѣйственная кисть Ефрема писала портреты, изображая Архипа Сидоромъ, а Луку Петромъ.

Стать смѣшнымъ значитъ проиграть свое дѣло. Романтизмъ проигралъ его всячески — и въ литературѣ, и въ жизни. Онъ самъ это чувствуетъ. Что же было причиною его паденія? — Переворотъ въ литературѣ, новое направленіе, принятое ею. Этого переворота не могъ бы сдѣлать ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Мы видѣли выше, какъ легко наши «романтики» вообразили себя Байронами, не будучи въ состояніи даже подозрѣвать, что такое была эта титаническая натура. Для всего ложнаго и смѣшнаго одинъ бичъ, мѣткій и страшный — юморъ. Только вооруженный этимъ сильнымъ орудіемъ писатель могъ дать новое направленіе литературѣ и убить романтизмъ. Нужно ли говорить, кто былъ этотъ писатель?

Его давно знаетъ вся читающая Россія, теперь его знаетъ и Европа.

Еслибы нась спросили, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы,— мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на все близорукая посредственность, или низкая зависть, — въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ-такъ называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило совершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполнѣ національною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сдѣлать ее выражениемъ и зеркаломъ русского общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ.

Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго, должноствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора». Съ тѣхъ поръ, весь ходъ нашей литературы, вся сущность ея развитія, весь интересъ ея исторіи заключились въ успѣхахъ новой школы.

Еслибы ежегодныя обозрѣнія русской литературы постоянно помѣщались съ тѣхъ поръ въ какомъ-нибудь журналѣ, — они оправдали бы вполнѣ нашу мысль. Чего нельзя замѣтить въ годъ, то дѣлается замѣтнымъ въ годы. Перечесть литературные произведения за цѣлый годъ ничего не значитъ; одинъ годъ можетъ быть ими богаче, другой бѣднѣе — это дѣло случайности. Критическій отчетъ за годовой итогъ произведеній долженъ прежде всего показать успѣхъ литературы, или ея упадокъ въ продолженіи года со стороны ея духа и направленія. Такъ дѣлали мы въ продолженіи пяти лѣтъ сряду; такъ сдѣляемъ и теперь.

Прошлый 1845 годъ литературными произведеніями былъ вѣсколько богаче своего предшественника. Но главная заслуга 1845 года состоитъ въ томъ, что въ немъ замѣтно опредѣленіе выказалась дѣйствительность дѣльнаго направленія литературы. По крайней мѣрѣ, такъ должно заключать изъ отчаянныхъ воплей нѣкоторыхъ отставныхъ или отсталыхъ *ci-devant* талантовъ, теперь плохихъ сочинителей, которые клятвенно увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ ихъ книги не йдутъ съ рукъ и ихъ никто уже не читаетъ, литература наша гибнетъ, въ чемъ виновата, во первыхъ, новая школа, которая пишетъ такъ хорошо, что только ея произведенія и читаются публикою, а во вторыхъ, толстые журналы, которые принимаютъ на свои страницы произведенія этой школы, или хвалятъ ихъ, когда они являются отдѣльными книгами... Но оставимъ этихъ господъ — и обратимся къ прошлогодней литературѣ.

Отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности въ прошломъ году было не много, если даже включить сюда и сборники. Первое мѣсто между ними, безспорно, должно принадлежать «Тарантасу» графа Соллогубу. Эта книга вдвойнѣ интересна — и какъ прекрасное литературное произведеніе, и какъ изящное, великолѣпное изданіе. Въ послѣднемъ отношеніи, «Тарантасъ» — рѣшительно первая книга въ русской литературѣ. Въ свое время, мы представили публикѣ наше мнѣніе о произведеніи графа Соллогуба въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики. Статья наша была понята двояко: одни приняли ее за восторженную и неумѣренную похвалу, другіе — за что-то въ родѣ памфleta. Это произошло оттого, что и самъ «Тарантасъ» одними былъ принятъ за искреннее *profession de foi* такъ-называемаго славянофильства; другими — за злую сатиру на него. Что касается до насъ, мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, и теперь, какъ и тогда, понимаемъ «Тарантасъ» какъ сатиру, и будемъ его понимать такъ до тѣхъ поръ,

пока онъ не изгладится изъ литературныхъ воспоминаний публики. Мы не можемъ иначе думать, уважая умъ и талантъ автора «Тарантаса», потому что герой этого сатирическаго очерка, Иванъ Васильевичъ играетъ въ немъ такую смѣшную роль, говорить такія несообразности и странности, что увидѣть во всемъ этомъ искреннее выраженіе убѣждений автора было бы слишкомъ смѣло и неосторожно. Мы думаемъ, напротивъ, что «Тарантасъ» тѣмъ и дѣлаетъ особенную честь таланту и изобрѣтательности своего автора, что въ немъ еще впервые въ русской литературѣ является одинъ изъ комическихъ «героевъ нашего времени» — этихъ героевъ, которые тѣмъ смѣшилъ, что они считаютъ себя лицами очень серьёзными, даже чуть не геніями, чуть не великими людьми. За нихъ давно бы слѣдовало приняться нашимъ даровитымъ писателямъ: это и сдѣлалъ графъ Соллогубъ прежде всѣхъ. Нечего и говорить, что онъ выполнилъ свою задачу съ необыкновеннымъ талантомъ, — хотя, впрочемъ, и нельзя сказать, чтобы въ его произведеніи не было недостатковъ и довольно важныхъ, какъ, напримѣръ, увѣренія, будто русская кратика пишется для забавы мужиковъ, которые, однажды, предпочитаютъ ей шутовъ въ ихъ мужицкомъ костюмѣ; что будто бы литература русская должна набирать идей и вдохновенія у постелей умирающихъ мужиковъ, сидя подлѣ нихъ въ качествѣ стенографа и записывая ихъ послѣднія слова, которыя, — какъ всѣмъ известно, — касаются только разныхъ житейскихъ заботъ и распоряженій на счетъ дѣтей, спохъ, коровъ и барановъ. Но, несмотря на эти недостатки, которые притомъ еще и легко исправить при второмъ изданіи «Тарантаса», — сочиненіе графа Соллогуба все-таки принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ литературнымъ явленіямъ прошлаго года.

Въ прошломъ же году вышелъ вторымъ изданіемъ второй томъ повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На

Сонъ Грядущій». Это насть особенно порадовало, какъ неопровергимое доказательство готовности и охоты нашей публики покупать, читать и перечитывать все, что выходитъ изъ-за черты посредственности.

Къ числу замѣчательныхъ произведеній прошлаго года должно причислить и «Петербургскія Вершины» г. Буткова. Эта книга не обнаруживаетъ въ авторѣ поэта; изъ нея видно, что его талантъ— писать сатирическіе очерки, а не юмористическія повѣсти. Но хорошо и это. Въ наше время, сатирическій талантъ не останется незамѣченнымъ.

Въ Москвѣ есть писатель, иѣкто г. Ваненко, о которомъ почти никто не знаетъ, котораго имя почти неизвѣстно въ нашей литературѣ, но который тѣмъ не менѣе одаренъ талантомъ, нечуждымъ даже и юмора. Жаль только, что г. Ваненко исключительно привязался къ простонароднымъ розсказнямъ, и считаетъ очень выгоднымъ писать для простаго народа, который не читаетъ его, потому что еще не довольно грамотенъ для занятія литературою. Мы думаемъ, что для г. Ваненко было бы гораздо выгоднѣе взяться за изображеніе сферы жизни ступенемъ выше. Пусть тутъ будутъ и мужики, но только пусть они дѣйствуютъ не въ сказочномъ, а въ дѣйствительномъ мірѣ. Мы убѣждены, что у г. Ваненко стало бы таланта и на это, и что только тогда нашелъ бы онъ поприще, достойное таланта. Въ прошломъ году, г. Ваненко напечаталъ вторымъ изданіемъ «Пару новыхъ русскихъ Розсказней. 1. О солдатѣ Яшкѣ красной рубашкѣ, синія ластовицы; 2. О молодомъ Ильѣ женатомъ, да о лысомъ Мартинѣ тароватомъ». Читая эту книжку, видишь въ ней талантъ и жалѣешь, что онъ потраченъ ни на что!

Прошлый литературный годъ дебютировалъ вдругъ двумя весьма замѣчательными поэмами въ стихахъ. Первая— «Разговоръ», г. Тургенева, написана удивительными стихами,

какие теперь являются рѣдко, исполнена мысли; но вообще въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Лермонтова, — и, прочитавъ новую поэму г. Тургенева (поэму Андрѣй), помѣщенную въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», нельзя не замѣтить, что, въ этомъ послѣднемъ родѣ, талантъ г. Тургенева гораздо свободнѣе, естественнѣе, оригинальнѣе, больше, такъ сказать, у себя дома, нежели въ «Разговорѣ». Поэма г. Майкова — «дѣ Судьбы», доказала, что его талантъ неограниченъ исключительно тѣснымъ кругомъ антологической поэзіи, и что ему предстоитъ въ будущемъ богатое развитіе. Несмотря на явную небрежность, съ какою написаны многие стихи въ этой поэмѣ, несмотря на то, что некоторые места въ ней отзываются юношескою незрѣлостью мысли, — поэма чрезвычайно замѣчательна въ цѣломъ, и блеститъ удивительными частностями, исполненными ума и поэзіи.

«Стихотворенія Александра Струговщика, заимствованыя изъ Гёте и Шиллера»; «Стихотворенія Эдуарда Губера»; «Новые стихотворенія Н. Языкова» и пятое (компактное, въ одной книжкѣ) изданіе «Сочиненій Державина» довершаютъ собою рядъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ стихотворного содержанія. — Публикѣ известно наше мнѣніе о прекрасномъ таланѣ г. Струговщика перевodить Гёте, который мы глубоко уважаемъ, и потому всегда жалѣли, что г. Струговщикъ не хочетъ ограничиться ролью переводчика, вѣрно, не мудрствуя лукаво, передающаго по-русски творенія великаго германскаго поэта, но, вмѣсто этого, хочетъ быть какимъ-то полуоригинальнымъ поэтомъ, передѣливая то, что надо только переводить, и что хорошо само по себѣ. Общее мнѣніе, обнаружившееся по выходѣ книжки г. Струговщика, показало, что мы были правы. — Поэзія г. Губера, отличающаяся замѣчательно хорошимъ стихомъ и избыткомъ болѣзненнаго чувства, бѣдна оригинальностью. Она не принадлежитъ ни къ какой странѣ,

ни къ какому времени; ее можно счесть за переводъ съ какого угодно языка. — «Новыя стихотворенія г. Н. Языкова» оказались весьма старыми. — Издание «Сочиненій Державина» вышло сѣровато и плоховато во всѣхъ отношеніяхъ.

«Физіология Петербурга» (двѣ части), «Вчера и Сегоднѧ», «Сто Русскихъ Литераторовъ» (третій томъ) и второе изданіе двухъ частей «Новоселья», изданаго въ первый разъ въ 1833 году, были замѣчательнѣйшими сборниками прошлаго года. О «Физіологии Петербурга» было, въ продолженіи всего года, столько говорено, что страшно и вспомнить. Одна газета жила въ 1845 году преимущественно нападками на эту книгу, имѣвшую большой успѣхъ. Статьи этого сборника всѣ безъ исключения, болѣе или менѣе, могли доставить публикѣ занимательное и пріятное чтеніе; но особенно замѣчательны изъ нихъ, въ прозѣ: «Петербургскій Дворникъ», В. И. Луганскаго, «Петербургскіе Углы», Н. А. Некрасова; въ стихахъ: «Чиновникъ», Н. А. Некрасова. — Въ сборникѣ: «Вчера и Сегоднѧ» прочли мы два отрывка изъ неоконченныхъ повѣстей Лермонтова, чрезвычайно интересныхъ; его же нѣсколько стихотвореній, впрочемъ,ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ; премиленькій разсказъ графа Соллогуба — «Собачка», и очень интересную статью г. Второва — «Гаврила Петровичъ Каменевъ». — Въ третьемъ томѣ «Сто Русскихъ Литераторовъ», кроме первыхъ двухъ статей, все остальное представляетъ превосходнѣйшіе образцы посредственности и бездарности.

Переводы по части изящной словесности, отдѣльно вышедшие въ прошломъ году, не нужно пересчитывать; былъ одинъ, но который стоитъ множества. Мы говоримъ о большомъ предпріятіи — перевести всего Вальтеръ Скота. Доселѣ вышли два романа — «Квентинъ Дорвардъ», «Антиварій», и на дняхъ поступить въ продажу третій — «Айвенго». Переводъ и изданіе достойны подлинника.

Теперь перейдемъ къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ по части изящной литературы, явившимся въ журналахъ. Стиховъ теперь вообще мало печатаются въ журналахъ. Жалѣть или радоваться? — Намъ кажется, что это очень приятное явленіе. Писать стихи, даже порядочные, въ наше время ничего не стѣтъ, и, въ этомъ отношеніи, «поэтовъ» у насъ несметные легіоны — тьмы темъ. Но — увы! — ихъ уже не печатаютъ, или мало печатаютъ, потому что не читаютъ. Дѣва просто, потомъ № 1, неземная дѣва, № 2, луна, ночь, уныніе, разочарованіе, цыганка, шампанское, лѣнъ, похмѣлье, разгулье, отчаяніе, горе, страданіе, дружба, игры, любовь, слава, мечта, — все это до того уже перепѣто на разные голоса, что наконецъ надоѣло всѣмъ смертельно. Нужно что-нибудь новое, но новое открываетъ гений, а въ настоящую минуту у насъ, увы! не имѣется въ наличности ни одного гениального поэта.

Конечно, и таланту, если онъ друженъ съ умомъ, если онъ умный талантъ, удастся угадывать, что можетъ имѣть успѣхъ въ настоящую минуту, особенно, если это указано, или хоть издалека намекнуто геніемъ. Въ прошлый годъ явилось, въ разныхъ периодическихъ изданіяхъ нѣсколько счастливыхъ вдохновеній таланта, которые впрочемъ, мы можемъ перечесть всѣ до одного, не утомляя ни себя, ни читателя: «Современная Ода», г. Не—ва и «Старушкъ», его же (въ «Отеч. Запискахъ»); «Чиновникъ» (въ «Физіологіи Петербурга»), «Духъ Вѣка», г. Майкова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Къ этому небольшому итогу слѣдуетъ прибавить три энергическія піески: «Хавронья», неизвѣстнаго (въ «Отеч. Запискахъ») и слѣдующія два посланія во 2-й книжкѣ «Москвитянина», которые, — особенно первое, — такъ хороши, что, желая содѣйствовать ихъ извѣстности, мы считаемъ за нужное выпустить ихъ здѣсь.

Къ усопшимъ льнетъ какъ червь Фигляринъ неотвязный.  
 Въ живыхъ не одного друга не найдеть.  
 За то, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,  
 Клѣмитъ онъ прахъ его своею дружбой грязной.  
 — Такъ что же? Тутъ разсчетъ: онъ съ прибылью двойной.  
 Презрѣніе отъ живыхъ на мертвыхъ вымѣщаетъ,  
 И чтобы нажить друзей, какъ Чичиковъ другой,  
 Онъ души мертвыхъ скупаетъ.

—

Что ты несешь на мертвыхъ небылицу,  
 Такъ нагло лѣзешь къ нимъ въ друзья?  
 Пріязнь посмертная твоя  
 Не запятнаетъ ихъ гробницу.  
 Все тѣ жъ и Пушкинъ и Крыловъ,  
 Хоть єсть ихъ червь, по волѣ Бога;  
 Не лобызай же мертвцовъ —  
 И безъ тебя у нихъ васъ много.

Справедливость требуетъ еще указать, какъ на довольно замѣчательныя стихотворныя произведенія, на иѣкоторые опыты г. Григорьева (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»), какъ напримѣръ, прекрасное стихотвореніе, «Городъ», и на разсказъ въ стихахъ: «Олимпій Радинъ», въ которомъ цѣлое темно, безсвязно, но есть прекрасныя мѣста. Вообще, о г. Григорьевѣ можно сказать, что онъ, кажется, сдѣлался поэтомъ не по избытку таланта, а по избытку ума, и что на немъ мучительно отяготѣло вліяніе Лермонтова, отчего и происходитъ темнота и неопределенность въ цѣломъ многихъ піесъ его и большихъ и малыхъ: видно, что онъ не въ силахъ ни отдѣлаться отъ пре-слѣдующей его мысли генія, ни овладѣть ею. Онъ написалъ даже драму въ стихахъ: «Два Эгоизма», — въ цѣломъ довольно блѣдное отраженіе довольно блѣдной драмы Лермонтова: «Маскарадъ». Г. Григорьевъ, въ этой драмѣ, такъ запутался въ неопределенныхъ рефлексіяхъ, возбужденныхъ въ иенъ извнѣ, что читатель никакъ не въ состояніи понять чувствъ героевъ ея, ни того, за что они любятъ и ненавидятъ себя и другъ

друга, ни того, за что непонятный герой отравляет ядомъ непонятную героиню. Но вообще, въ этомъ странномъ и неудачномъ произведеніи промелькиваетъ мѣстами что-то такое, что невольно возбуждаетъ интересъ, если не къ лицамъ драмы, то къ лицу автора. Мѣстами хороши въ ней сатирическія выходки, какъ хорошъ, напримѣръ, этотъ монологъ славянофила Баскакова:

Семья — славянское начало.  
 Я въ дессертаціи моей  
 Подробно изложу, какъ въ ней преобладала  
 Безъ примѣси другихъ идей  
 Идея чистая, славянская идея...  
 Читая Гегеля съ Мертвиловымъ вдвоеемъ,  
 Мы согласились оба въ томъ,  
 Что, чувство съ разумомъ согласовать умѣя,  
 Различіе половъ — Славяне лишь одни  
 Уразумѣть могли такъ тонко и глубоко...  
 У нихъ однихъ, отъ самой старины,  
 Поставлена разумно и высоко  
 Идея мужа и жены...  
 Жена не гес у нихъ, не вещь, но иѣчто; воля  
 Не признается въ ней конечно, но она  
 Законами ограждена...  
 Мужъ можетъ бить ее, но убивать не смѣеть:  
 Надъ ней духовное лишь право онъ имѣть,  
 И только частію іп согрѣхе: притомъ  
 Глубокій смыслъ въ преданыи томъ,  
 Иль, лучше, въ мысли той о власти надъ женою.  
 Пусть проявляется подъ жесткою корою,  
 Подъ формою побой: что форма? Признаюсь  
 Семья меня всегда приводить въ умиление...  
 Власть мужа, и жены покорное смиренье...  
 Чета славянская — я ей не надивлюсь!

Замѣчательными оригинальными повѣстями наши журналы въ прошломъ году были не очень богаты. Начнемъ съ «Библіотеки для Чтенія». Лучшимъ оригинальнымъ произведеніемъ въ этомъ родѣ былъ въ ней сатирическій очеркъ китайскихъ

иравовъ, подъ названіемъ: «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ», барона Брамбеуса. У этого писателя нѣть ни дара творчества, ни юмора, но много таланта каррикатуры, много того, что по малороссійски называется жартованіемъ, или жартомъ. Его повѣсти и разсказы мѣстами невольно заставляютъ читателя смеяться; въ нихъ много блестокъ и порывовъ ума. Еслибы въ этихъ сатирическихъ очеркахъ было больше опредѣленности въ мысли, больше глубины и дѣльной злости,—ихъ литературное значеніе имѣло бы большую важность. «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ» есть одно изъ удачныхъ произведеній шутливаго пера барона Брамбеуса, и нельзя не пожалѣть, что эта забавная повѣсть осталась неконченою.—«Счастіе лучше Богатырства», рукопись, найденная и изданная Ф. В. Булгаринымъ и Н. А. Полевымъ,—романъ, написанный въ сотрудничествѣ, двумя лицами—небывалое до сихъ поръ явленіе въ нашей литературѣ! Умъ хорошо, два лучше, говоритъ русская пословица; но на этотъ разъ, кажется, численность не имѣла никакого вліянія на романъ. Это довольно неудачное усиление двухъ прежнихъ писателей поддѣлаться подъ новую школу. Особенно жалко тутъ лицо какого-то удалившагося отъ людей добродѣтельного химика. Но, если о достоинствѣ вещей должно судить относительно, то скучная сказка «Счастіе лучше Богатырства» можетъ показаться даже очень сноснымъ произведеніемъ въ сравненіи со всѣми остальными оригиналыми изящными произведеніями въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года. — «Емеля или Превращенія», первая часть нового романа г. Вельтмана, рѣшительно напоминаетъ собою блаженной памяти «Русалку», волшебную оперу, которая такъ забавляла нашихъ дѣдовъ своими «превращеніями». Тутъ ничего не поймете: это не романъ, а довольно нескладный сонъ. Даровитый авторъ «Кашея Безсмертнаго» въ «Емелѣ» превзошелъ самого себя въ странной прихотливости

своей фантазией; прежде, эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзии; о «Емелѣ» и этого нельзя сказать.— «Вояжеры» quasi комедія г. Основьяненко— высокий образецъ бездарности и плоскаго вкуса.— «Башня Веселуха» (вскорѣ потомъ изданная отдельно) — такъ себѣ, ни то, ни сѣ. — «Петербургъ Днемъ и Ночью»— пародія на «Парижскія Тайны»; сочинитель, впрочемъ, не думалъ писать пародію — пародія вышла противъ его воли, и оттого читать ее очень скучно. Ни образовъ, ни лицъ, ни характеровъ, ни правдоподобія, ни естественности, ни мыслей! За то, фразъ,— разливанное море! Давно уже не являлось въ русской литературѣ такого странного произведения.— «Три Периода», романъ г. Кукольника, можетъ служить мѣрою читательскаго терпѣнія...

Переводныхъ романовъ и повѣстей въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года было шесть, кромѣ «Теверино» и нѣсколькихъ небольшихъ рассказовъ, помѣщенныхъ въ «Смѣси», и кромѣ окончанія «Лондонскихъ Тайнъ» и «Вѣчнаго Жида», начатаго еще съ 1844 года и тянувшагося почти цѣлый прошлый годъ. Лучшими можно назвать «Элену Миддльтонъ», г-жи Фуллертонъ, и «Якова Ванъ-деръ Несъ», г-жи Паальцевъ: эти двѣ повѣсти, особенно первая, по крайней мѣрѣ естественны, хотя и страшно растянуты, особенно первая. Конечно, «Графъ Монте-Кристо» — блестящее бельетристическое произведеніе, которое читается легко и скоро; но оно—не романъ, а волшебная сказка, только не въ арабскомъ, а въ европейскомъ вкусѣ.— Что касается до «Вѣчнаго Жида», — онъ окончательно дорѣзалъ литературную репутацію своего автора. Правда, въ немъ много частностей очень интересныхъ, умныхъ, обличающихъ въ писателя замѣчательный талантъ; но цѣлое — океанъ фразѣровства въ вымыслѣ площадныхъ эффектовъ; невыносимыхъ натяжекъ, невыразимой пошлости. Лица мадмуазель Кардовиль. мосьѣ Гарди, Габріеля, двухъ сиротокъ—Розы и Бланки, дра-

жайшаго родителя ихъ, маршала Симона — верхъ неестественности и приторности. Какое отношение имѣютъ къ роману «Вѣчный Жидъ и Иродіада? — ровно никакого, гораздо меньшее, нежели листъ бумаги, въ которую завертываютъ книгу, имѣетъ отношение къ самой книгѣ. Еслибы авторъ назвалъ свой романъ просто: «Іезуиты», не ввелъ бы въ него ни вѣчнаго Жида, ни Иродіады, ни Самуила съ женой, ни двух-сотъ миллионовъ нелѣпаго наслѣдства, ни приторно-сантиментальныхъ лицъ въ родѣ сиротокъ-сестеръ и Габріеля, еслибы не преувеличили характера Родзена, придумалъ поестественнѣе завязку, и, вместо десяти томовъ, написалъ только четыре, и написалъ не торопясь, но обдумывая, — изъ-подъ пера его вышелъ бы прекрасный романъ, потому что у Эжена Сю больше таланта, чѣмъ у гг. Бальзака, Дюма, Жанена, Сулье, Гозлана и *tutti quanti* всѣстѣ взятыхъ. Но жажда денегъ и мгновенного успѣха равняетъ теперь всѣ таланты, и большие и малые, подводя ихъ произведенія подъ одинъ и тотъ же уровень ничтожности.

Рядъ оригинальныхъ произведеній по части изящной прозы въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года заключился одною изъ тѣхъ повѣстей, которая составляютъ пріобрѣтеніе литературы, а не литературнаго только года. Мы говоримъ о превосходной повѣсти: «Кто Виноватъ?», напечатанной въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Эта повѣсть не принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, запечатлѣнныхъ высокою художественностью, которая иногда творить изъ ничего, не заботясь ни о цѣли, ни о ничтожествѣ содержанія; но эта повѣсть не принадлежитъ и къ числу тѣхъ умныхъ произведеній, въ которыхъ лишенный фантазіи авторъ, словно въ диссертациі, развиваетъ свои мысли и взгляды о томъ или другомъ нравственномъ вопросѣ, и въ которомъ нѣть ни характеровъ, ни дѣйствія. Авторъ повѣсти: «Кто Виноватъ?» какъ-то чудно умѣлъ довести умъ до поэзіи, мысль обратить въ живыя лица,

плоды своей наблюдательности — въ дѣйствіе, выполненное драматического движения. Какая во всемъ поразительная вѣрность дѣйствительности, какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрио — ничего лишняго, ничего недосказанного; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства! Если это не случайный опытъ, но неожиданная удача въ чуждомъ автору родѣ литературы, а залогъ цѣлаго рода такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ пріобрѣтеніемъ необыкновенного таланта въ совершенно новомъ родѣ. — «Маменькинъ Сынокъ», романъ г. Панаева, напечатанный въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ», отличается всѣми достоинствами и всѣми недостатками таланта этого писателя. Мы не будемъ распространяться ни о тѣхъ, ни о другихъ, и скажемъ коротко, что они связаны съ сущностью таланта г. Панаева, который, не рискуя ошибиться, можно назвать дагерротипнымъ. Во всякомъ случаѣ, «Маменькинъ Сынокъ» — одно изъ лучшихъ его произведеній и одна изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года. — «Необыкновенный Поединокъ», романтическая повѣсть Говорилова (псевдонимъ) чуждъ всякаго художественнаго достоинства, но весьма нечуждъ литературнаго интереса, особенно для тѣхъ, кто пойметъ живое отношеніе этого разсказа къ эпиграфамъ, которыми онъ украшенъ, и эпиграфовъ къ разсказу. Съ этой точки зѣрнія, мы считали и считаемъ «Необыкновенный Поединокъ» произведеніемъ, заслуживающимъ вниманіе и способнымъ навести читателя на иѣкоторыя весьма любопытныя соображенія насчетъ иѣкоторыхъ знаменитыхъ имёнъ нашей литературы. — «Богатая Невѣста», драматический разсказъ г. М., написанъ подъ вліяніемъ комедій Гоголя, и есть едва ли не единственный опытъ въ этомъ родѣ, который читается съ наслажденіемъ и послѣ комедій Гоголя. Жаль, что этому разсказу повредило то, что не оз-

начено званіе дѣйствующихъ въ немъ лицъ.—Въ повѣстіи Статуального — «Старое Зеркало», много интересныхъ частностей и умныхъ замѣтокъ, хорошо очерчено лицо Ивана Анисимовича и дочки его, Маши; но въ цѣломъ эта повѣсть не выдержанна, и развязка ея какъ-то странна, неестественна и неудовлетворительна.—«Милочка», повѣсть г. Побѣдоносцева, не лишена интереса; жаль, что разсказъ ея не довольно сжать и быстръ.—Сверхъ того, въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были напечатаны: «Дача на Петергофской Дорогѣ», повѣсть г-жи Жуковой; «Ошибка», драматической анекдотъ, г. Нестроева и «Няня», повѣсть г. Побѣдоносцева.

«Жанна», «Теверино» и «Маркиза» — три романа Жоржа Зандъ, были переведены въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года. «Маркиза» одно изъ старыхъ произведеній этой писательницы, «Жанна» — изъ недавнихъ, «Теверино» — послѣднее. Излишне говорить о ихъ художественномъ достоинствѣ: Жоржъ Зандъ безспорно, первый талантъ во всемъ пишущемъ мірѣ нашего времени. Скажемъ только, что въ лицѣ Жанны поэтическій инстинктъ представилъ міру лучшій и вѣрнѣйший комментарій на значеніе исторической Жанны (д'Аркъ,) нежели какой могла представить наука, много хлопотавшая объ этомъ вопросѣ. «Теверино», въ своемъ родѣ, стоитъ «Жанны», и оба эти романа, безспорно, принадлежать къ лучшимъ соображеніямъ гениального автора. Замѣчательно, что «Теверино» написанъ послѣ «Le Meunier d'Angibault», прекраснаго романа, но испорченаго двумя главными лицами, до приторности неестественными,—и послѣ «Изидоры», во всѣхъ отношеніяхъ слабаго и неудачнаго произведенія. — «Вотчимъ», одна изъ лучшихъ повѣстей одного изъ лучшихъ французскихъ нувеллистовъ, Шарля Бернара, который съ замѣчательнымъ талантомъ изображалъ нравы современной Франціи. Можетъ-быть, современемъ выписавшись, и онъ начнетъ писать эффектныя

сказки на манеръ «Тысячи и Одной Ночи», или Вѣчнаго Жида» и «Графа Монте-Кристо»; но, пока, талантъ его еще сохраняетъ всю свою свѣжесть и силу, такъ что послѣ повѣстей Жоржа Запда только и можно читать его повѣсти.—«Американцы», романъ, переведеный съ нѣмецкаго, представляетъ гораздо менѣе художественности, нежели романы Купера, но едва ли не больше ихъ знакомить съ нравами Сѣверо-Американскихъ Штатовъ и ихъ отношеніями къ племенамъ дикихъ, потому что это прямая и положительная цѣль автора, Нѣмца, долго и прилежно изучавшаго интересную страну. Романическая, или поэтическая сторона этого романа, не отличаясь особыеннымъ достоинствомъ, въ то же время и не лишена во-все достоинства. Авторъ «Американецъ» извѣстенъ въ Европѣ уже не однимъ романомъ въ этомъ родѣ. Имяніе своего онъ не выставляетъ на романахъ; но мы слышали, что это — Р. Вес-сельгейфъ, котораго любопытная статья — «Семейная Жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ» была переведена въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года. Говорятъ, будто большинству нашей публики больше понравилась «Королева Марго» нежели романы Жоржа Запда, «Вотчимъ», Шарля Бершара и «Американцы»... О вкусахъ спорить не станемъ, а съ этой книжки начинаемъ печатать продолженіе «Королевы Марго» — т. е. новѣйший романъ Дюма: «Графиня Монсоро».

Упомянувъ о статьяхъ: «Бараны», коротенький, но исполненный глубокаго значенія восточный апологъ В. И. Луганскаго (въ «Москвитянинѣ»); «Иванъ Ивановичъ», прехорошенький разсказъ г. Гребенки (въ «Финскомъ Вѣстникѣ») Деньщикъ, физиологическій очеркъ В. И. Луганскаго (тамъ же); «Лука Лукичъ», правоописательный очеркъ, г. Д. (тамъ же); «Факторъ», правоописательный рассказъ г. Гребенки (тамъ же); «Чужая голова — темный лѣсь», рассказъ г. Гребенки (въ «Иллюстраціи»); «Колокола, чудесная повѣсть о колоколахъ,

отзванивающихъ старину и привѣтствующихъ новый годъ», повѣсть Диккенса (переведенная въ «Москвитянинѣ»), — мы изчи-  
слили все, что было замѣчательного по части изящной про-  
зы, оригиналной и переводной, въ русскихъ журналахъ про-  
шлаго года. Изъ этихъ послѣднихъ статей, мы должны ука-  
зать на «Деньщика», В. И. Луганскаго, какъ на одно изъ ка-  
питальныхъ произведеній русской литературы. В. И. Луган-  
скій создалъ себѣ особенный родъ поэзіи, въ которомъ у не-  
го иѣтъ соперниковъ. Этотъ родъ можно назвать физиологи-  
ческимъ. Повѣсть съ завязкою и развязкою — не въ талантѣ В.  
И. Луганскаго, и всѣ его попытки въ этомъ родѣ замѣча-  
тельны только частностями, отдѣльными мѣстами, но не цѣ-  
лымъ. Въ физиологическихъ же очеркахъ лицъ разныхъ со-  
словій, онъ — истинный поэтъ, потому что умѣетъ лицо типи-  
ческое сдѣлать представителемъ сословія, возвести его въ  
идеалъ, не въ пошломъ и глупомъ значеніи этого слова, т. е.  
не въ смыслѣ украшенія дѣйствительности, а въ истинномъ его  
смыслѣ — воспроизведенія дѣйствительности во всей ея истинѣ.  
«Колбасники и Бородачи», «Дворникъ» и «Деньщикъ» — об-  
разцовые произведения въ своемъ родѣ, тайну котораго такъ  
глубоко постигъ В. И. Луганскій. Послѣ Гоголя, это до сихъ  
поръ рѣшительно первый талантъ въ русской литературѣ.

Книгъ ученыхъ, учебныхъ, и вообще дѣльныхъ въ про-  
шломъ году вышло довольно много. Литература этого рода ока-  
зываетъ у насъ видимые успѣхи, которые должны радовать па-  
триотическое чувство Русскаго. Причина этихъ успѣховъ за-  
ключается сколько въ усиленіяхъ правительства, которое всегда  
готово поощрять усиленія частныхъ лицъ и само предпринимаетъ  
изданія лѣтописей и всякаго рода историческихъ памятниковъ —  
столько же и въ быстрыхъ успѣхахъ образованности русского  
общества. Въ жизни все связано тѣсно: образованность ведеть  
за собою просвѣщеніе. Пока легкая изящная литература еще

не укоренилась въ обществѣ до того, чтобы войти въ его привычки, сдѣлаться его необходимою роскошью,— она замѣняетъ ему науку. Но когда она перестаетъ быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ и становится потребностю толпы,— люди избранные дѣлаются требовательнѣе и разборчивѣе въ изящныхъ удовольствіяхъ своего ума и, не оставляя ихъ, стремятся въ то же время и къ болѣе прочнымъ, основательнымъ потребностямъ ума—къ знанію, къ наукѣ. Такимъ образомъ, по мѣрѣ того, какъ высшіе (правственно) слои общества переходятъ отъ легкой литературы къ наукѣ, низшіе отъ невѣжества и необразованности восходятъ къ легкой литературѣ. Это круговая порука, и успѣхи легкой литературы — ручательство успѣховъ науки. Одно безъ другаго быть не можетъ. Просвѣщеніе основанное на наукѣ, не можетъ быть удѣломъ всѣхъ, даже удѣломъ большинства; но образованіе, основанное на успѣхахъ легкой литературы можетъ и должно быть удѣломъ всѣхъ даже самыхъ низшихъ слоевъ общества, которые могутъ быть грамотны только тогда, когда имъ есть что читать. Вотъ почему нельзя не радоваться, видя, что у насъ страсть къ легкому чтенію слѣдалась уже не роскошью, а насущною потребностью, которой едва въ состояніи удовлетворить наши журналы, наполняемые романами и повѣстями. Эта страсть къ легкому чтенію—признакъ распространившагося въ обществѣ образованія, которое, въ свою очередь, свидѣтельствуетъ о близкихъ успѣхахъ просвѣщенія, основанного на наукѣ.

Изъ перечня вышедшихъ въ прошломъ году книгъ и изданий серыѣнаго содерянія мы увидимъ, что ихъ число несравненно больше числа отдельно вышедшихъ книгъ по части легкой литературы. Скажутъ: бельетристическая сочиненія преимущественно помѣщаются въ журналахъ; но мы покажемъ, что въ тѣхъ же самыхъ журналахъ помѣщается множество статей и серыѣнаго содерянія.

Особенно должно было радовать всѣхъ видимое усиленіе литературы русской исторіи и русскихъ древностей. Въ прошломъ году вышли слѣдующія книги по этой части: « Всеобщая библіотека Россіи или каталогъ книгъ для изученія нашего отечества во всѣхъ отношеніяхъ и подробностяхъ ». Это—второе прибавленіе въ книгѣ того же названія, изданное г. Чертковымъ въ 1838 году, которая, вмѣстѣ съ первымъ прибавленіемъ, заключала въ себѣ до 7000 званій книгъ; во второмъ прибавленіи, вышедшемъ въ прошломъ году, заключается ихъ до 1800 званій.— «Московская Оружейная Палата»—изданная отъ правительства опись содержащимся въ этомъ палладіумѣ нашей древности вещей; текстъ книги, прекрасно составленный г. Вельтманомъ, объясняется изображеніями, превосходно сдѣланными. Книга эта вышла въ прошломъ году, хотя на ней и выставленъ 1844 годъ. — «Памятники Московской Древности, съ присовокупленіемъ очерка монументальной исторіи Москвы и Древнихъ видовъ и плановъ древней столицы»,—великолѣпное и изящное изданіе, начатое въ 1842 году, въ прошломъ году окончилось выходомъ послѣднихъ трехъ тетрадей (9, 10 и 11-й). Эта драгоцѣнная книга равно достаетъ честь и автору, г. Снегиреву, и издателю, г. Семену.— «Памятники, изданные временною комиссіею для разбора древнихъ актовъ, Высочайше утвержденію при кіевскомъ военному, подольскому и волынскому генераль-губернаторѣ и Собраніе древнихъ грамотъ и актовъ городовъ: Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ монастырей, церквей, и по разнымъ предметамъ» принадлежать къ тѣмъ монументальнымъ изданіямъ, которые возможны только для правительства, а не для частныхъ лицъ,—между тѣмъ, какъ «Симбирскій Сборникъ» принадлежитъ къ числу тѣхъ важныхъ изданій, которыхъ, будучи обязаны своимъ появлениемъ усилюмъ и ревности частныхъ лицъ, болѣе всего свидѣтельствуютъ объ успѣхахъ просвѣщенія въ

обществѣ.— «Записки Дюка Лирійскаго и Бервикскаго во время пребыванія его при императорскомъ россійскомъ дворѣ въ званіи посла короля испанскаго», были послѣднимъ трудомъ Д. И. Языкова, оказавшаго столько услугъ русской исторической литературѣ.— Г. Тромонинъ и въ прошломъ году продолжалъ свое интересное изданіе: «Достопамятности Москвы». Москва теперь дѣятельно изучается, и литература ея древностей уже богата превосходными сочиненіями и издашеніями. Здѣсь же мѣсто упомянуть объ интересной брошюрѣ г. Снегирева: «О лубочныхъ картинахъ русского народа», какъ о сочиненіи, относящемся если не къ русской исторіи, то къ русской старинѣ, которая имѣть полное право на наше вниманіе. Въ прошломъ году, вышло нѣсколько замѣчательныхъ книгъ по части критического изслѣдованія фактовъ русской исторіи, именно: «Люмбергъ и Винета», историческое изслѣдованіе г. Грановскаго; «Объ отношеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ», историческое изслѣдованіе г. Соловьевъ; «Очеркъ литературы русской до Карамзина», г. Старчевскаго, и «Изслѣдованіе о мѣстничествѣ», г. Валуева (отдельно напечатанная статья изъ «Симбирскаго Сборника»). Съ успѣхомъ продолжалось великолѣпное изданіе: «Императоръ Александръ I-й и его сподвижники»; портреты и текстъ этого изданія не оставляютъ желать ничего лучшаго. Второе изданіе первой части «Руководства къ Всеобщей Исторіи» г. Лоренца, «Краткая исторія крестовыхъ походовъ», переведенная съ нѣмецкаго, и 4 и 5-я части «Всемірной Исторіи» Беккера, заключаютъ собою историческую литературу прошлаго года.— Изъ бельлетристическихъ сочиненій дѣльного содержанія можно указать на 2 - ю томъ «Вспоминаній Слѣпаго», интересное описание кругосвѣтнаго путешествія Араго, изящно изданное съ прекрасными картинками; «Англійская Индія въ 1843 году», соч. Варрена; «Римъ и Италія среднихъ и новѣйшихъ временъ», соч. кн. Волконскаго.— Изъ спеціаль-

ныхъ сочиненій можно вспомнить 5-ю и 6-ю части «Народной Медицины», г. Чаруковскаго; 3-ю часть «Руководства къ воспитанію, образованію и сохраненію здоровья дѣтей», г. Грума; «Карманный Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русского языка»; «Указатель Законовъ для Сельскихъ Хозяевъ», «Лекціи Популярной Астрономіи», г. Зеленаго; «Нумизматические Факты Грузинского Царства», князя Баратеева.

Какъ на особенно пріятныя явленія въ литературѣ прошлаго года, должно указать на первую часть «Опыта Исторіи Русской Литературы», г. Никитенко, и третью книжку «Сельского Чтенія», издаваемаго княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ.

Теологическая литература наша обогатилась въ прошломъ году изящнымъ изданіемъ «Словъ и Рѣчей» знаменитаго духовнаго витія нашего, высокопреосвященнаго Филарета, митрополита московскаго, вышедшихъ въ трехъ большихъ томахъ.— Сверхъ того, по части духовной литературы вышли въ прошломъ году: «О Подраженіи Христу», Омы Кемпійскаго, въ переводѣ графа Сперанскаго; «Творенія Святыхъ Отцовъ», въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при Московской Духовной Академіи, первая, вторая и третья книжки третьяго года.

Перечень нашъ едва ли полонъ — такъ много выходитъ теперь у насъ хорошихъ книгъ серьёзного содержанія: по крайней мѣрѣ втрое больше, нежели хорошихъ книгъ по части легкой литературы.

Въ журналахъ, статьи серьёзного содержанія тоже едва ли не превосходятъ и числомъ и объемомъ статьи бельетристической. Въ этомъ легко убѣдиться изъ простаго перечия. Въ «Библіотекѣ для Чтенія», въ отдѣлѣ наукъ и искусствъ, были помѣщены статьи: «Еремія Бентемъ»: «Древніе Мексиканцы»; «Естественная Исторія Пресмыкающихся»; «Метеорические камни, преимущественно упавши въ Россіи», Э. Эйхвальда; «Венеція въ 1843 году» (Уварова); «Врачебное сословіе въ

Англії»; «Письма, Инструкціи и Записки Марії Стуартъ», изданныя кн. Лобановымъ; «Лафатеръ и Галль». С. С. Куторги; «Исторический характеръ Лудовика XIV», К. П.; «О прекрасномъ и объ искусствѣ», Виктора Кузена; «Писатели и учёные предыдущаго пятидесятилѣтія», лорда Брума. — Статья Кузена есть выборка мыслей изъ эстетики Гегеля; знаменитый эклектикъ только поразжидилъ и поопошиль такъ легко доставшееся ему пріобрѣтеніе, объ источникѣ которого онъ счелъ за лучшее скромно умолчать. Статьи лорда Брума о Вольтерѣ и Руссо, о Юмѣ и Робертсонѣ, несмотря на громкое имя ихъ автора, довольно пусты и ничтожны. Въ Смѣси «Библіотеки для Чтенія» была очень умная и интересная статья: «Судьба поэтовъ въ Германіи, къ сожалѣнію, неоконченная.

Въ «Москвитянинѣ» прошлаго года (№ 5 и 6-й), наскъ удивляла статья: «Письмо изъ Парижа» подписанная: Н. Л—й; по мыслямъ, духу, направлешю, благородному тону, безпристрастію, наблюдательности и мастерству изложенія, это одна изъ такихъ статей, которыя въ нашей литературѣ — слишкомъ рѣдкія явленія.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ», по отдѣлу наукъ и искусствъ были помѣщены статьи: «Англійская Индія въ 1843 году», изъ книги Варрена; «Письма объ изученіи природы», Искандера; окончаніе статьи: «Реформація», начатой и продолжавшейся въ 1844 году; «Консульство и Имперія», Тьера, «Алтай (естественная исторія его, копи и жители)», статья Катрфажа, написанная по поводу сочиненія г. Чихачева: «*Voyage Scientifique dans l'Altai oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine*»; «Космость», опытъ физического міроописанія, Александра Гумбольдта; «Вѣрованія Индузовъ». Сверхъ учёныхъ извѣстій о дѣятельности Парижской Академіи Наукъ, о всѣхъ новыхъ открытіяхъ въ области наукъ, искусствъ и ремесль, въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ»

были помещены библиографические очерки знаменитыхъ современниковъ: Теодора Гука, Талейрана, Берцеліуса, Круга, Мартинеза де-ла-Розы, лорда Брума, Сальватора Тончи, Беранже, Августа Вильгельма Шлегеля, Эспартеро, генерала Джаксона, барона Бозіо, Джона Росселя, лэди Стенгопъ.

Нѣкоторые беспристрастные доброжелатели «Отечественныхъ Записокъ», и намеками и явно, словесно и печатно, утверждаютъ, будто-бы содержаніе и направлениe «Отечественныхъ Записокъ» не соответствуетъ ихъ названію, потому-де, что въ нихъ нѣтъ ничего отечественнаго. Мы не станемъ спорить съ этими благонамѣренными доброжелателями, но только выставимъ имъ на видъ нѣсколько фактовъ. Въ отдѣлѣ Словесности «Отечественныхъ Записокъ» помещаются развѣ одни только переводы? Развѣ не бываетъ оригиналныхъ статей въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ? Развѣ въ отдѣлѣ Критики и Библіографической Хроники разсматриваются не русскія книги? Развѣ не «отечественное» составляетъ предметъ отдѣла Домовѣдства, Сольского Хозяйства и Промышленности вообще?... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» есть особый отдѣлъ, который, подъ именемъ «Современной Хроники Россіи» представляетъ собою фактическую лѣтопись русскаго законодательства и распоряженія вышаго правительства по части государственного управления. Что «Отечественные Записки» съ особенной охотою принимаютъ въ себя все, исключительно касающеся до Россіи, — для доказательства стоять только указать на слѣдующія статьи въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ и Смѣси прошлаго года: «Коронованіе императрицы Екатерины Алексѣевны Петромъ Великимъ (статья, доставленная редакціи покойнымъ Д. И. Языковымъ); «Воспоминаніе о генералѣ-фельдмаршалѣ Петрѣ Александровичѣ Румянцовѣ Задунайскомъ», Н. Кутузова; «Военно-учебныя заведенія, подвѣдомственные Его Императорскому Высочеству, Гла-

вному Начальнику, — въ царствование Императрицы Екатерины II-й», П. И. Глѣбова; «Иванъ Андреевичъ Крыловъ»; «Замѣтки на пути изъ Москвы въ Закавказскій Край»; «Величина поверхности тридцати семи губерній и областей въ Европейской Россіи»; «Народонаселеніе въ губерніяхъ Европейской Россіи» и пр. и пр. Въ отдѣлѣ Критики разобраны два важныхъ изданія, относящіяся къ отечественной исторіи: «Памятники, изданные временною комиссіею для разбора древнихъ актовъ, учрежденной при кіевскомъ военному, подольскомъ и волынскомъ генераль-губернаторѣ и Собрание древнихъ актовъ городовъ Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ церквей, монастырей и по разнымъ предметамъ». Въ отдѣлѣ Бібліографической Хроники обращено особенное вниманіе на книги русской исторіи, чьему доказательствомъ могутъ въ особенности служить обширныя рецензіи на «Симбирскій Сборникъ» и «Отношения Новгорода къ Великимъ Князьямъ» и др. А что, въ то же время, «Отечественные Записки» представляютъ своимъ читателямъ и возможно подробную картину движения современныхъ литературъ Германіи, Англіи и Франціи, — мы думаемъ, что одно другому нисколько не мѣшаетъ и что, въ этомъ отношеніи, со стороны нашего журнала заслугою больше... Одинъ журналъ (мы не назовемъ его), обвинивъ въ разныхъ ересяхъ всю русскую литературу и достойныхъ представителей ея — Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, въ томъ же самомъ обвинилъ «Бібліотеку для Чтенія» и «Отечественные Записки», вѣроятно основываясь на томъ, что въ нихъ нѣть статей теологического содержанія! Да, ихъ не было и не будетъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», потому что теология не входитъ въ ихъ программу. Сверхъ того, издатель и редакторъ «Отечественныхъ Записокъ», думаетъ и глубоко убѣжденъ, что писать о богословскихъ предметахъ — должно быть исключитель-

ны мъ правомъ и обязанностью людей духовнаго сана, которые суть единственныи истинные проповѣдники и блюстители святыхъ истинъ православной церкви, и что было бы великою профанациею допустить какихъ-нибудь самозванныхъ ревнителей свѣтскаго званія мѣшать, въ литературныхъ изданіяхъ, статьи религіознаго содержанія съ любовными стишками, романами, повѣстями и комедіями... Оставаться въ законныхъ предѣлахъ дозволенной дѣятельности, не стараясь самовольно вмѣшиваться въ вопросы, подлежащіе не нашему вѣдѣнію,—всегда было и будетъ первымъ правиломъ нашего журнала...

Теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о журналахъ. Ихъ у насъ немнога, а и изъ существующихъ мы не имѣемъ охоты говорить о всѣхъ... Мы указали на все, что было, въ какомъ бы то ни было отношеніи, замѣчательнаго въ журналахъ прошлаго года; говорить о направленіи изданій, уже пользующихся давнишнею извѣстностью, было бы излишне. И потому, скажемъ нѣсколько словъ о новыхъ журналахъ — «Финскомъ Вѣстникѣ» и «Иллюстраціи». Мы не спѣшили нашимъ сужденіемъ о нихъ, желая дать имъ время опредѣленіе высказать. Къ тому же, мы не любимъ разсуждать о журналахъ во время подписки, и охотно предоставляемъ эту благонамѣренную методу признаннымъ ея любителямъ. Мы уже указали на замѣчательныи оригиналныи статьи въ «Финскомъ Вѣстникѣ» по части легкой литературы; теперь остается сказать, что въ немъ были хорошия статьи и серьѣзнаго содержанія, какъ, напримѣръ: «Очеркъ исторической дѣятельности до Карамзина», г. Старчевскаго; «Очеркъ финляндской войны 1741 и 1742 годовъ»; «Общественные науки въ Россіи», г. В. Майкова и пр. Вообще, «Финскій Вѣстникъ» былъ вѣренъ своему значенію—быть специальнымъ сборникомъ: всѣ иностранныиы статьи его переводились со шведскаго и зна-

комили русскихъ читателей съ Финляндіей. Другаго же значенія онъ не имѣлъ и, кажется, имѣть не будетъ. Слѣдствен-но, не ищите въ немъ того, что требуется отъ журнала — опредѣленной физіономіи, вѣрности однажды избранному прин-ципу и т. п. Это — сборникъ, не болѣе. О недостаткахъ «Финскаго Вѣстника» пока умолчимъ, изъ уваженія къ до-стоинствамъ, которыя онъ уже обнаружилъ, надѣясь, что въ будущемъ году послѣдняя совершенно перевѣсятъ первые. — Вотъ объ «Иллюстраці», къ сожалѣнію, не можемъ сказать того же. Картинокъ въ ней много, такъ что больше требо-ваться было бы несправедливо: въ этомъ отношеніи мы отдаемъ «Иллюстраці» полную честь. Прибавимъ къ этому, что въ ней много и русскихъ оригиналныхъ картинокъ — что также большая заслуга со стороны подобнаго изданія. Жаль только, что иностранныя картинки въ «Иллюстраці» не совсѣмъ хорошо отпечатываются, а русскія, сверхъ того (большею частію), дурно рисуются. Намъ пріятно было встрѣтить въ «Иллюстраці» портреты гг. Карагина, Брянского, Мочалова, Пет-рова, г-жи Александръ-Мейеръ; но весьма непріятно было видѣть, что эти портреты или почти непохожи, или вовсе не-похожи на оригиналы. Хуже всѣхъ, въ этомъ отношеніи, про-треты гг. Брянского и Петрова, и г-жи Александръ-Мейеръ: тонкія, нѣжныя черты худощаваго лица этой артистки очути-лись на портретѣ крупными, грубыми, а лицо сдѣлано не толь-ко полнымъ, но и одутловатымъ. Такова художественная сто-ронка «Иллюстраці»; къ сожалѣнію, и литературная такова же. Во первыхъ, въ этомъ изданіи нѣтъ ничего, похожаго на журналъ, на газету, отчего оно ужасно сухо и вяло. Явля-ются въ немъ изрѣдка рецензіи, но до того неловкія, тяжелыя и бѣдныя содержаніемъ и направленіемъ, что нѣтъ никакого интереса читать ихъ. Даже скоры «Иллюстраці» съ одною газеткою были такъ неловки и тяжелы, что не стояло труда и

начинать ихъ. Извѣщая о смерти Августа Вильгельма Шлегеля, издатель «Иллюстраціи» сказалъ, между прочимъ, что Шлегель былъ «порядочнымъ стихослагателемъ», что онъ «обратился къ критикѣ по недостатку высшаго, самостоятельного таланта» и что, будто-бы эту профессію (т. е. критику) въ отдельномъ ея видѣ, создала бездарность» (№ 10)... Вотъ истинно-европейское, истинно-ученое понятіе о критикѣ! Мы понимаемъ, что издатель «Иллюстраціи» не можетъ быть доволенъ критикою, которая не слишкомъ снисходительна бывала къ нему, но въ то же время не шутя боимся, чтобы онъ, по изложенной имъ причинѣ, не сдѣлялся критикомъ... Впрочемъ, онъ принимался и за критику, и все съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ брался за лирическую поэзію, за драму, за романъ, за повѣсть, за изданіе «Художественной Газеты», «Дагеротипа» и *tutti quanti...* Но Шлегель былъ превосходный переводчикъ и, для своего времени, превосходный критикъ. — Статьи, которыми наполняется «Иллюстрація», большою частию запечатлены посредственностью и замѣчательною небрежностью. Изъ оригинальныхъ статей, только и можно указать на разсказъ г. Гребенки: «Чужая голова — темный лѣсь». Ко всему этому надо прибавить особенную манеру издателя выражаться какимъ-то страннымъ языкомъ: сотрудникъ у него гласитъ истину, сѣни аристократического дома онъ хочетъ описать купно съ лѣсицею .. Но всего лучше въ этомъ изданіи «Переписка»: ничего еще подобного не бывало въ русской литературѣ! Это самое забавное отдѣленіе «Иллюстраціи»: по крайней мѣрѣ, мы обязаны ему многими веселыми минутами. Когда-нибудь, въ замѣткахъ нашего журнала, мы выпишемъ нѣсколько примѣровъ этой наивно-курьёзной переписки, чтобы доставить богатый матеріаль будущему историку русской литературы...

## ГОЛОСЪ ВЪ ЗАЩИТУ ОТЪ «ГОЛОСА ВЪ ЗАЩИТУ РУССКАГО ЯЗЫКА».

Wär der Gedank' nicht so verwünscht gescheidt,  
Man wär versucht, ihn herzlich dumm zu nennen.

SCHILLER (*Wallenstein*),

Но умысль другой тутъ былъ:

Хозяинъ музыку любилъ...

Крыловъ. (*Музыканты*).

Должно однакожь замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное чѣ, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали однимъ законнымъ и честнымъ оружіемъ; тогда искали торжества мнѣнію своему, хотѣли выказать искусство свое, удовлетворить иѣ-которой удалости ума, искавшаго, въ подобныхъ сшибкахъ случайностей, гласности и блеска. По выше-приведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе амateurовъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сихъ расприяхъ выходили другъ противъ друга добровольныя, безкорыстные бойцы, а не наемники, которые ратуютъ изъ денегъ, нападаютъ сегодня на того, за котораго дрались вчера, торгуютъ равло и присягою и оружіемъ своимъ, и за безсиліемъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всѣмъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытоаго поля битвы, поруганные и уязвленные побѣдитеlemъ, они не признаютъ себя побѣженными: если стрѣлы ихъ не метки и удары не вѣрны, то они имѣютъ въ запасѣ другое оружіе, потаенное. ядовитое, имѣютъ свои неприступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣриое.

Князь Вяземскій (*Библиографическія  
и Литературныя Записки о Фонѣ-Визинѣ  
и его Времени, поимѣненный въ Утрен-  
ней Зарѣ 1841 года*).

Всѣ согласны въ очевидности успѣховъ нашей литературы. Каждая эпоха ея имѣла своихъ достойныхъ представителей; настоящая имѣетъ своихъ, и въ этомъ отношеніи ей нечѣмъ

гордиться передъ своими предшественницами. Но она имѣетъ полное право гордиться передъ ними своею зрѣлостью. Съ годами она стала мужественнѣе, опытнѣе, умнѣе. И если она пережила не слышкомъ много годовъ, за то, въ пережитые ею немногіе годы, подвергалась многимъ неожиданнымъ измѣненіямъ, перепробовала много новыхъ путей мысли и формы; это принесло ей ту великую пользу, что «новость» мысли или формы она уже не принимаетъ больше за достоинство этой мысли или за достоинство этой формы. Съ литературою, естественно, возмужала и публика. Теперь посредственность тщетно стала бы рядиться въ павлинья перья изысканной оригинальности, ложнаго пафоса, блестящей фразеологии: время успѣховъ ея миновало. Разсчетливое корыстолюбіе, въ связи съ добродушною ограниченностью, тщетно стало бы теперь надѣвать на себя маску изступленнаго фанатизма: оно никого не увѣритъ въ глубокости своихъ убѣждений, въ которыхъ всѣ увидятъ одно только низкое лицемѣrie. Старый, выписавшійся сечинитель можетъ теперь сколько ему угодно нападать на талантъ и геній, на убѣженіе и заслугу, и хвалить самого себя и свои сочиненія: отъ этого ни ему, ни его сочиненіямъ не будетъ лучше, такъ же какъ не будетъ хуже ни таланту, ни генію, ни убѣжденію, ни заслугѣ. Имена потеряли теперь все свое очарованіе. Публика восхищается сочиненіями, а не именами. Кто бы ни издалъ для нея сборникъ хорошихъ статей,— если статьи хороши, она раскупаетъ сборникъ, хотя бы его издатель былъ вовсе ей неизвѣстенъ; если статьи плохи, она не покупаетъ сборника, хотя бы его издатель былъ презнаменитое лицо въ литературѣ, и подъ статьями сборника тоже выставлены были громкія имена. Если бы геніальный писатель вдругъ издалъ что-нибудь недостойное его таланта и имени, это сочиненіе безъ всякихъ обиняковъ было бы названо всѣми посредственнымъ или плохимъ. Новый талантъ, великий или обыкновенный,

можетъ теперь смѣло выходить на литературное поприще безъ журнальныхъ и всякихъ другихъ протекцій: онъ сейчасъ же будетъ признанъ за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и его успѣхъ всегда будетъ болѣе или менѣе соотвѣтственъ его степени. Направленіе современной литературы русской носить на себѣ отпечатокъ зрѣлости и мужественности. Литература наша съ недоступныхъ высотъ великихъ идеаловъ, которыхъ осуществленій никто не видалъ и не встрѣчалъ на землѣ, спустилась на землю и принялась за разработку современной дѣйствительности, представляемой толпою. Этимъ, изъ предмета праздной забавы она сдѣлалась предметомъ дѣльного занятія. Въ ней теперь утвердились два великіе элемента — стражи здраваго эстетического вкуса противъ всего фразёрскаго, натянутаго, неестественнаго, слабаго, сантиментальнаго, ложнаго: мы говоримъ объ ироніи и юморѣ. Съ ними открыть для нашей литературы прямой, широкій и надежный путь къ истиннымъ, плодотворнымъ успѣхамъ въ будущемъ.

Но главная, существенная сторона успѣховъ современной русской литературы заключается, конечно, въ томъ, что теперь широкъ и легокъ путь для таланта, узокъ и труденъ для посредственности, невозможенъ для бездарности. Но для этого самаго прогресса вышло не совсѣмъ отрадное слѣдствіе, какъ бы для доказательства того, что, если справедлива поговорка, «нѣтъ худа безъ добра», видно, правда и то, что не бываетъ и добра безъ худа. Посредственность и бездарность всегда были завистливы, беспокойны и раздражительны; но теперь неудачи доводятъ ихъ до готовности пользоваться всѣми средствами для поддержанія своего падшаго кредита, для пораженія всѣхъ и каждого, кто съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствуетъ на литературномъ поприщѣ. Журнальная полемика — не новость въ нашей литературѣ. Почти всѣ записные читатели на святой Руси до страсти любятъ полемическія статьи, — и,

въ то же время, почти всѣ любятъ бранить полемику. Многіе изъ нихъ точно такъ же отъ всей души убѣждены въ страшномъ вредѣ полемики для нравовъ, какъ и въ великой пользѣ для тѣхъ же нравовъ отъ преферанса, сплетень и зѣвоты. Чѣдо насъ, — мы убѣждены, что въ благоустроенномъ обществѣ нестерпимы злоупотребленія полемики, т. е. дурной тонъ, площадная рѣзкость выраженій, личности; но что въ полемикѣ, умѣющей держаться въ предѣлахъ чисто-литературныхъ вопросовъ и выражаться прилично, нѣтъ никакого вреда, а напротивъ, есть много пользы, потому что такая полемика даетъ литературѣ жизнь и движение. Если бы иногда полемика и позволила себѣ немногого забываться и проговариваться,—большой бѣды въ этомъ нѣтъ, и такого рода промахи должны подлежать суду общественного мнѣнія. Назадъ тому лѣтъ двѣнадцать, полемика наводняла собою всѣ журналы, и нельзя сказать, чтобы иногда она не грѣшила противъ хорошаго тона; но за то, и нельзя сказать, чтобы позволила себѣ такія странныя выходки, которыя скорѣе можно назвать «юридическими», нежели «литературными».

Недавно въ одномъ петербургскомъ журнale, однимъ очень уважаемымъ лицомъ въ нашей литературѣ, была высказана слѣдующая дѣльная мысль: «У насъ есть уже что-то похожее на школы, на партіи въ наукѣ и литературѣ; бываютъ споры хоть не совсѣмъ за идеи, а за самолюбіе и карманы, однакожь, въ нихъ сверкаютъ иногда искры идей, какъ крупики золота въ глыбахъ рудокопной грязи. Все это производить какую-то игру въ обществѣ, хотя не шумную и не богатую выигрышемъ, но показывающую, по крайней мѣрѣ, уже замѣчательное развитіе понятій, иѣкоторую самостоятельность умовъ». Дѣйствительно, въ этихъ словахъ заключается очень вѣрная характеристика журнальной стороны современной русской литературы. Къ сожалѣнію, у насъ не во всѣхъ «глыбахъ рудокопной грязи»

сверкаютъ искры идей, но есть глыбы, въ которыхъ все—грязь, и ни одной искорки. А между тѣмъ, теперь нѣть ни одной «глыбы», которая не претендовала бы на идеи, не кричала бы о глубокомъ убѣждениі; нѣкоторая изъ этихъ глыбъ даже рѣшились говорить темнымъ мистическимъ языкомъ и не шутя обѣщаютъ измѣнить весь міръ къ лучшему, изгнать изъ него пороки и водворить въ немъ добродѣтель, для чего и созвѣтуютъ міру — не жалѣть денегъ, подписываясь на нихъ, т. е. на глыбы то... Разумѣется, подобныя странности не могутъ получить никакого успѣха, на чёмъ бы онъ ни опиралась — на искреннемъ убѣждениі, или на разсчетѣ. Но во всякомъ случаѣ, неуспѣхъ раздражаетъ самолюбивую посредственность и лицемѣрную разсчетливость. Надобно бороться противъ всего, въ чемъ есть истина и талантъ; но съ ними не ровенъ бой для лжи и бездарности: надобно изобрѣсти другое оружіе. И оно изобрѣто и дѣйствуетъ, если пока и неуспѣшио, за то неутомимо, и съ большими надеждами на будущее. Какъ бы то ни было, но несомнѣнно одно — что съ нѣкотораго времени сдѣлялись довольно частыми и обыкновенными полемическія статьи, въ которыхъ авторъ сперва очень вѣжливо отдаетъ справедливость своему противнику, начинаетъ съ литературнаго вопроса, а потомъ не замѣтно переходитъ къ патріотизму и т. п., тонко намѣкая, что его противникъ такъ или сакъ грѣшилъ противъ того и другаго... Вы принимаетесь за статью, по заглавію которой думаете, что въ ней идетъ дѣло о весьма невинныхъ предметахъ, напримѣръ, грамматикѣ, риторикѣ, какого-нибудь литературнаго произведенія — повѣсти, романа, водевиля, — и вдругъ видите, что это вовсе не литературная статья, а что-то въ родѣ *proc s verbal*... Еслибы вы, читатель, были Ирані, то, прочтя такую статью, невольно воскликнули бы: «Бисмилляхъ! это что за извѣстіе?» положили бы въ уста своего понятія палецъ удивленія и, за невозмож-

ностью рѣшить задачу, возложили бы упованіе на Аллаха... Просимъ извинить насъ за эти восточные фразы: мы не давно вновь прочли «Мирзу Хаджи-Бабу Исфагани», на дняхъ вышедшаго вторымъ изданіемъ, и какъ-то невольно исполнились восточнаго духа: передъ нашими глазами такъ и вертятся то муфтіи, готовые обвинить правовѣрнаго въ нерадивомъ выполнении ежедневнаго намаза, то грозные ферраши, всегда готовые, по манію кадія, повалить правовѣрнаго на спину, вставить его ноги въ фелекъ и бить по пятамъ палкою до тѣхъ поръ, пока сердце его не обратится въ кебабъ (мелко-рубленое жаркое), мозгъ не засохнетъ въ костяхъ, чрева не обратятся въ воду, и душа не выскочитъ изъ всѣхъ отверстій его тѣла.

Въ одиннадцатой, т. е. ноябрской книжкѣ «Москитянца» за прошлый 1845 годъ, благополучно достигшей береговъ Невы въ январѣ благополучно наступившаго 1846 года есть статья: «Голосъ въ защиту русскаго языка» (Д. Голохвастова). Она начинается такъ:

Въ 8 № Отечественныхъ Записокъ за А (а)вгустъ сего (т. е. 1845) года, въ отдѣлѣ Библіографической Хроники помѣщена особенно замѣчательная статья, разборъ книги «Грамматическія Разысканія В. А. Васильева». Она замѣчательна не потому, что сочиненіе г. Васильева удостоивается (*идѣя? вѣ? чѣмъ?*) особенной похвалы, не потому, что отдается должная справедливость знаменитому труду О. П (п)ротоіерея Павскаго, и не потому только, что возвѣщаетъ любителямъ отечественнаго языка, что „послѣдняя, шестая, часть Филологическихъ Наблюденій приводится въ окончанію авторомъ и виѣтъ съ четвертою и пятою не замедлить поступить въ печать“.—Статья сама по себѣ замѣчательна *субъективно* и *объективно*. Первое, по тону рецензента и его способу изложенія; второе, по тому, что главный предметъ ея параллель Р (р)усскаго языка съ Ф (Ф)ранцузскимъ. Послѣдній безусловно восхваляется.

А Россіи — Боже мой! —

Таска... да какая!

Машаллахъ, иншаллахъ! это что за «буква»? Таска — да еще какая! и кому же? Россіи!!!!... Мы сейчасъ покажемъ,

въ чём угодно было «Москвитянину» увидѣть нашу (съ позволеніемъ сказать!) таску Россіи; но сперва отвѣтимъ на вступительные пункты «Голоса» «Москвитянина». Почтенный журналъ продолжаетъ:

„У насъ съ некотораго времени Ж(ж)урналы, по праву сильного завладѣнія, почти исключительно поставили себя стражами, законодателями и оракулами въ наукахъ и словесности. Огромное влияніе ихъ на сию послѣднюю производится не отдѣльными статьями, сообщаемыми и подписанными кѣмъ либо изъ сотрудниковъ Ж(ж)урнала или постороннихъ его вкладчиковъ. Такія статьи составляютъ не болѣе (,) какъ голосъ или мнѣніе кого-нибудь одного: а одному не всегда и не скоро удается сдѣлаться главою школы. Главное сосредоточіе этого влиянія два особыя отдѣла, собственно Критика и Библіографическая Хроника, выѣмъ не подписываемыя.— Эта обязанный, періодическій трудъ постоянныхъ рецензентовъ Ж(у)рнала, есть голосъ редакціи, которая за него стоитъ круговой порукой, голосъ самого Ж(ж)урнала, проявленіе его духа и направленія, которое тѣмъ болѣе распространяется, чѣмъ болѣе Ж(ж)урналъ имѣть подписчиковъ и читателей. И въ этомъ отношеніи Отечественнымъ Запискамъ неоспоримо принадлежитъ преимущество передъ всѣми другими Ж(ж)урналами нынѣшняго времени.“

Журналы, видите ли, «по праву сильного завладѣнія», поставили себя стражами, законодателями и оракулами въ наукахъ и словесности! Нѣтъ, господинъ «Москвитянинъ», это не такъ! Журналы у насъ судятъ о предметахъ науки, искусства и литературы не по праву «сильного завладѣнія», а по изволенію Высшей Власти, со временъ Петра-Великаго и до настоящаго мгновенія содѣйствующей и благотворящей успѣхамъ просвѣщенія и образованности въ Россіи. Было время, когда Великая Монархія была участницею журнала, въ качествѣ писателя. Теперь журналистика сдѣлалась потребностью образованной части русскаго общества, вошла, такъ сказать, въ его привычки и нравы, именно вслѣдствіе этого дѣятельнаго покровительства свыше. Что теперь есть (какъ и были прежде и, къ сожалѣнію, будуть всегда) журналы, которые добиваются попасть въ законодатели и оракулы наукъ и словесности, —

это правда; но правда и то, что именно этого-то рода журналы и не успѣваютъ никогда въ своемъ намѣреніи, потому что успѣхъ всегда остается на сторонѣ журналовъ, которые безъ претензій, но за то съ талантомъ и знаніемъ дѣла, объявляютъ свое мнѣніе о предметахъ, законно подлежащихъ ихъ сужденію, т. е. о наукѣ, искусствѣ и литературѣ. Что хороший журналъ долженъ имѣть опредѣленное мнѣніе, быть вѣрнымъ однажды принятому имъ направленію, подъ опасеніемъ оказаться плохимъ и кануть въ Лету, или едва влачить свое чахоточное существованіе — въ этомъ нѣтъ ничего предосудительного. Подписываются, или не подписываются критическія и библіографическія статьи въ журналѣ, — это решительно все равно и никакъ не измѣняется сущности дѣла. Когда журналистъ — человѣкъ безъ мнѣнія, журналъ его будетъ безцвѣтенъ и мертвъ, хотя бы его сотрудники и не подписывали подъ статьями своихъ именъ. Когда же журналистъ знаетъ свое дѣло, — статьи множества его сотрудниковъ, съ подписью ихъ именъ, всегда будутъ согласны съ его мнѣніемъ, потому что онъ не допуститъ до участія въ своемъ журналѣ людей разномыслящихъ, о которыхъ можно сказать:

Запѣли молодцы: кто въ лѣсь, кто по дрова!

Вотъ, напримѣръ, въ «Москвитянинѣ» всѣ критики и рецензіи подписываются или полными именами, или хоть заглавными буквами именъ, и всѣ эти статьи толкуютъ о чёмъ-то объ одномъ, кажется, о словенствѣ или славянствѣ, или о чёмъ-то этакомъ; но — странное дѣло! — во всѣхъ этихъ статьяхъ, толкующихъ объ одномъ, именно одного-то и нѣтъ, оттого ли, что гг. сотрудники не совсѣмъ понимаютъ о чёмъ сами говорятъ, или оттого, что не могутъ согласиться другъ съ другомъ, — отъ той или другой причины, или по обѣимъ вмѣстѣ, только въ «Москвитянинѣ» часто выходитъ разноголосица. За доказательствомъ не далеко ходить. Г.

Шевыревъ, разбирая «Мертвыя Души», до небесъ превознесъ ихъ автора, а «Голосъ въ Защиту Русскаго Языка» очень немногого хорошаго видитъ въ Гоголѣ. Неужели такое разнорѣчіе одного и того же журнала въ одномъ и томъ же писателѣ — есть достоинство, заслуга? И неужели говорить всегда одно и то же, не противорѣча самому себѣ, есть больше, чѣмъ недостатокъ журнала? Чѣмъ за странная логика у «Москвитина»!..

Но послушаемъ его дальше:

«Не сочувствуя духу и направленію О. З. нельзя однакоже отказать въ справедливомъ уваженіи, на которое имъ даютъ право, во первыхъ, постоянная и строгая исправность ихъ выхода; во вторыхъ; кроме здоровой толщины (слова О. З.) книжекъ, точное выполненіе многосторонней программы Ж(ж)урнала. Переводныя статьи, иногда заключающія въ себѣ цѣлые книги, непрѣменно новы и большою частію хорошо переведены. Въ Критикѣ иногда встрѣчаются статьи (,) писанныя бойкимъ перомъ мастера. Матеріальная часть всегда въ порядкѣ относительно исправности печати и даже разсыпки книжекъ. Вообще видна какая-то постоянная внимательность къ читателямъ, заботливость, сдѣлать ихъ довольными, которая заставила бы думать, что удовлетвореніе вполнѣ ихъ ожиданіямъ и вѣдьтъ огромное влияніе на мнѣніе публики суть двѣ единственныхъ цѣли Ж(ж)урнала, и что, за ними, уже никакъ не минуемое послѣдствіе, приходитъ, сама собою дань нѣсколькихъ тысячъ подписанчиковъ; но О. З. сами открываютъ совсѣмъ другое, усиливаясь доказать, да же съ некоторою досадою, что въ журнальномъ, также какъ въ мануфактурномъ и торговомъ производствѣ, деньги суть цѣль и средство.»

Благодаримъ за похвалы нашему журналу, какъ кажется, не совсѣмъ незаслуженные; но и не по пустынѣ неправды, совершенно незаслуженно на него взводимой. Да будетъ известно «Москвитянину» и всѣмъ, кому нужно это знать, что «Отечественные Записки» никогда не говорили, что будто бы въ журнальномъ производствѣ деньги суть и цѣль и средство. «Москвитянинъ» ссылается, въ доказательство справедливости своего обвиненія, на слѣдующія строки «Отечественныхъ Записокъ».

«Съ появленія «Библіотеки для Чтенія», литературный трудъ сдѣлался капиталомъ... Много было тогда обѣ этомъ споровъ, и многіе видѣли въ этомъ униженіе литературы, литературное торгащество. Рыцари литературнаго безкорыстія, или, лучше сказать, литературнаго дон-кихотства, не замѣчали, что въ ихъ пышныхъ фразахъ больше ребячества, нежели возвышенности чувства. Въ наше время, когда не богачамъ жить такъ трудно и жить можно только трудомъ, въ наше время не цѣнить литературы на деньги, значитъ не цѣнить ея ни во что, не признавать ея существованія. Дѣйствительно, можно ли предполагать богатую литературу тамъ, гдѣ книги — не товаръ, и гдѣ говорить: «все товаръ — и битое стекло, и мусоръ, и песокъ; но книга — не товаръ?» Можно ли предполагать дѣйствительное существованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ трудомъ и подёнщикъ, и разнощикъ, и продавецъ старого тряпья, и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ, — но гдѣ не можетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Чѣмъ бы ни говорили, но аксиома неоспоримая, что нельзя въ одно и то же время быть вполнѣ и хорошимъ чиновникомъ и хорошимъ литераторомъ: чиновникъ непремѣнно будетъ иѣшать литератору, а литераторъ чиновнику. Чтобы быть ученымъ, поэтомъ или литераторомъ вполнѣ, необходимо видѣть въ наукѣ, въ искусствѣ, или въ литературѣ свое исключительное призваніе, свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ промышленности, говоря языкомъ политической экономіи.

Гдѣ жь тутъ сказано, что деньги — и цѣль и средство въ литературѣ? Послѣ этого всѣ поэты и художники нашего времени — торгаши, работающіе только для денегъ? И изъ всѣхъ поэтовъ, Байронъ особенно долженъ быть обвиненъ въ торгаществѣ, потому что, получивъ богатое наслѣдство, онъ все-таки бралъ съ Муррая страшныя суммы за свои поэмы. Пушкинъ получалъ отъ книгопродавца за каждый стихъ свой по червонцу: торгащъ, для котораго въ поэзіи деньги были и средствомъ и цѣлью! Сколько намъ известно, знаменитый нашъ живописецъ К. П. Брюловъ никому не даетъ даромъ своихъ картинъ, но беретъ за нихъ хорошия деньги; торгащъ, для котораго въ живописи, деньги суть и средства и цѣль!... Кто же не торгащъ?... Позвольте: что это напечатано на задней обложкѣ «Москвитянина». А! объявление о продолженіи «Москвитянина» на 1846 годъ, съ краткимъ, но краснорѣчивымъ извѣщеніемъ, что «подписанная цѣна за 12 книгъ, большаго

формата, въ большую осьмушку, на ЛУЧШЕЙ бѣлой бумагѣ (,) 40 рублей, съ пересылкою 45 рублей ассигнаціями... Но, можетъ-быть, «Москвитянинъ» хотѣлъ этимъ намекнуть, что бываютъ-де на свѣтѣ безкорыстные журналы, которые ничего не платятъ своимъ сотрудникамъ и вкладчикамъ? Дѣйствительно, бываютъ, — и стоитъ только перелистовать хоть одну книжку такого журнала, чтобы убѣдиться въ томъ, что онъ ничего не платить за статьи: онѣ такъ плохи, что у читателя невольно рождается подозрѣніе, ужъ не платятъ ли сотрудники журнала за помѣщеніе въ немъ своихъ сочиненій... Впрочемъ, что не больше, какъ подозрѣніе, въ которое можетъ впасть только неопытный читатель, опытнымъ извѣстно, что такие сердобольные журналы—родъ литературныхъ богадѣленъ, гдѣ призываются всѣ литературные недужные и калеки, всѣ убогіе и нищіе умомъ и дарованіемъ. Безкорыстный журналистъ не всегда бываетъ въ накладѣ отъ своего сердоболія: ничего не платя своимъ сотрудникамъ, онъ тѣмъ болѣе получаетъ самъ—для доказательства, что деньги есть только средство, а не цѣль въ литературѣ... Безплатные журналы издавать легко: на нихъ нужно такое небольшое количество подписчиковъ, какое всегда найдется, при извѣстной ловкости, — и издатель, поэтому, всегда будетъ съ барышомъ, небольшимъ, но вѣрнымъ... Вотъ отчего иногда тягнется столько лѣтъ сряду иной журналецъ, котораго почти нигдѣ не видно и котораго, по видимому, никто не читаетъ...

Обвинивъ «Отечественные Записки» такъ основательно въ явномъ проповѣдованиіи мысли, будто въ журнальномъ дѣлѣ деньги не только средство, но и цѣль, «Москвитянинъ» пускается въ разсужденія о томъ, что прежде трудиѣ было сдѣлаться критикомъ, нежели теперь, послѣ чего вдругъ переходить къ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ», возбудившей его негодованіе, и смущается духомъ отъ словъ «Отечественныхъ

Записокъ», что первымъ критикомъ на Руси былъ Карамзинъ, а послѣ него — Жуковскій и Мерзляковъ. Чѣмъ же тутъ не понравилось «Москвитянину», чѣмъ смущило его такъ? А то, что, видите ли, и прежде Карамзина были критики. Дѣйствительно были, хотя и до того плохіе, что о нихъ не стоять и упоминать. Не всякий тотъ критикъ, кто пишетъ критики, такъ же какъ не всякий тотъ поэтъ, кто пишетъ стихи. Критикъ — тотъ, чьи мнѣнія имѣютъ вѣсъ и принимаются публикою, кто, следовательно, имѣеть большее или меньшее вліяніе на развитіе и направленіе вкуса въ обществѣ. Чтобы быть такимъ критикомъ, вовсе не нужно представить заранѣе «собственные произведенія, если не въ образецъ, то въ оправданіе своихъ мнѣній», какъ утверждаетъ «Москвитянинъ». Чтобы быть хорошимъ критикомъ, вовсе не нужно быть поэтомъ, такъ же какъ для того, чтобы быть хорошимъ поэтомъ, вовсе ненужно быть критикомъ. Винкельманъ не былъ скульпторомъ и не представилъ ни одной статуи «если не въ образецъ, то въ оправданіе своихъ мнѣній», — и тѣмъ не менѣе онъ — Винкельманъ, а не «Москвитянинъ». Что Карамзинъ, будучи хорошимъ для своего времени критикомъ, былъ вмѣстѣ и такимъ же поэтомъ и писателемъ, — это дѣлаетъ ему двойную честь и славу; но нѣтъ ни малѣйшей нужды дѣлать изъ этого примѣра общее правило. «Рецензентъ можетъ быть авторомъ однѣхъ рецензій, и тѣ писать языккомъ небрежнымъ, неправильнымъ», говоритъ «Москвитянинъ». Это еще что за новость? Писать однѣ рецензіи, а не писать вмѣстѣ съ ними, напримѣръ, хоть рецептовъ, значитъ впасть въ вину? Да сочинитель этой удивительной статьи долженъ быть человѣкъ весьма оригиналный и вмѣстѣ съ тѣмъ непомѣрно строгій! Онъ напоминаетъ намъ доктора Франціа, который чуть не повѣсила Парагвайского сапожника за то, что тотъ не умѣлъ починить сѣда. Какое для насъ счастіе, что мы не Парагвайцы: — худо

было бы намъ!... Касательно же того, что рецензентъ теперь можетъ писать рецензіи языкомъ небрежнымъ и неправильнымъ, — это не новость, и дивиться тутъ нечему: всѣ рецензенты, критики, поэты, словесники искони вѣковъ пользовались правомъ писать такимъ языкомъ, какимъ они умѣютъ, какимъ они въ силахъ писать. Исключение остается, кажется, только за китайскими сочинителями, потому что въ Китаѣ, подъ опасенiemъ ста ударовъ бамбукомъ по ушамъ, по носу, нельзя писать, не получивъ на это права отъ палаты десяти тысячъ церемоній. Оттого такъ и процвѣтаетъ литература Срединной Имперіи! Во всѣхъ другихъ странахъ міра это дѣлается совсѣмъ иначе: всякий можетъ писать какъ умѣетъ. У насъ тоже.

Понятія о небрежномъ и неправильномъ языкѣ условны; одному кажется такъ, другому — иначе. «Москвитянину» языкъ «Отечественныхъ Записокъ» кажется небрежнымъ и неправильнымъ, а намъ языкъ «Москвитянина» кажется еще хуже, нежели небрежнымъ и неправильнымъ. Вотъ для образчика иѣсколько строкъ изъ «Москвитянина»: «Конечно, изъ всей громады мыслей и чувствъ, волнующихъ славянское племя, возникающее изъ праха и отряхающее вѣковой сонъ съ отяжелѣвшихъ вѣждъ, изъ всѣхъ стремленій, переходящихъ въ быти, наибольшее наше участіе должна возбуждать жизнь единовѣрныхъ Сербовъ, связанныхъ съ нами крѣпче другихъ узами православія, братской любви и сильнейшимъ предчувствіемъ, что опора и надежда ихъ самостоятельности заключается въ Россіи.» Что это такое — «громада мыслей и чувствъ»? Что такое — «стремленія, переходящія въ быти»? Что такое: «главное огнище священнаго огня къ родинѣ» въ той же статьѣ (Письмо изъ Вѣны о славянскихъ новостяхъ, г-на Ригельмана, стр. 37 и 41)?... Можетъ-быть, все это — образчики правильнаго, обработаннаго языка русскаго? Можетъ-быть!

Не споримъ — на вкусъ товарища нѣтъ! Выраженія въ статьѣ «Голосъ въ защиту русскаго языка» въ родѣ: на сію послѣднюю, не обнаруживаются, по нашему мнѣнію, умѣнья хорошо писать. Правда, г. Д. (подъ статьею «Москвитянина» подписаны буква Д.) пишетъ довольно правильно; но чтобы онъ писалъ хорошо — это другой вопросъ, который онъ решаетъ по-своему, мы тоже по-своему, и котораго настоящимъ решителемъ можетъ быть только публика... Продолжая свои нападки на рецензента нашего времени, или — сказать прямѣе — на рецензента «Отечественныхъ Записокъ», «Москвитянина», или его сотрудникъ г. Д. говорить, что для него, рецензента нашего времени, нѣтъ законовъ, а онъ самъ законъ для всѣхъ, что онъ неумолимъ, какъ *fatum* древнихъ, изрекаетъ свои приговоры безъ разысканій и доказательствъ, на основаніи собственнаго произвола,увѣренъ въ своей непогрѣшительности. Изъ чего все это слѣдуетъ? Богъ вѣсть! Изъ того, вѣроятно, что рецензентъ нашего времени решается «смѣть свое сужденіе имѣть», — между тѣмъ, какъ г. Д., сколько замѣтно по тону статьи его, явно выдаетъ произволъ своихъ мнѣній за высшую инстанцію решения литературныхъ вопросовъ.

Достигши своей главной цѣли, т. е. обвиненія «Отечественныхъ Записокъ» въ разныхъ небывалыхъ, но тѣмъ не менѣе важныхъ недостаткахъ, «Москвитянина», или его сотрудникъ г. Д., переходитъ къ своей побочной цѣли — къ разбору рецензіи «Отечественныхъ Записокъ» на книжку г. Васильева «Грамматическая Розысканія». (Въ этой же части стр. 100—107). Онъ дѣлаетъ изъ нашей статьи длинныя выписки, заключая каждую изъ нихъ короткимъ замѣчаніемъ собственной работы. Мы не можемъ и не хотимъ перепечатывать вновь своей статьи, и потому постараемся изложить какъ можно короче ея содержаніе, подавшее поводъ къ такимъ нападкамъ со стороны «Москвитянина», и главные пункты этихъ нападокъ.

Въ нашей статьѣ было сказано, что русскій языкъ чрезвычайно богатъ, гибокъ и живописенъ для выраженія простыхъ, естественныхъ понятій, въ доказательство чего указано было на то, что въ русскомъ языкѣ иногда для выраженія разнообразныхъ оттѣнковъ одного и того же дѣйствія существуетъ до десяти и больше глаголовъ одного корня, но разныхъ видовъ. Выше мимоходомъ было замѣчено, что русскій языкъ способенъ къ воспроизведенію изящной эллинской рѣчи. Теперь прибавимъ къ этому, что послѣднее свойство изъ новыхъ европейскихъ языковъ, кромѣ русскаго, принадлежитъ только нѣмецкому и всего менѣе французскому, на которомъ нѣть никакой возможности читать Гомера, какъ бы переводъ ни былъ хороши. Между тѣмъ, въ статьѣ нашей было сказано, что русскій языкъ еще не развился, не обработанъ, грамматика его не установилась; что нашъ письменный и разговорный языкъ тяжелъ, книженъ, бѣденъ словами и оборотами; что наше длинное мѣстоименіе который и длинныя причастія, дѣйствительныя и страдательныя, дѣлаютъ нашу рѣчь неуклюжею, растянутою, тяжелою и книжною. При этомъ замѣчено о превосходствѣ французскаго языка для легкой литературы, для писемъ и для разговора въ обществѣ. Замѣчено, что новые европейскіе языки, происшедшіе отъ латинскаго, получили отъ него богатое наслѣдіе словъ, выражающихъ глубоко-раціональныя понятія, выработанныя древнею цивилизаціею. Это признано нами, какъ и прежде нась признано цѣлымъ свѣтомъ, за великое преимущество новѣйшихъ европейскихъ языковъ передъ русскимъ, который, поэтому, необходимо долженъ испещряться иностранными словами.

Вотъ въ сущности все содержаніе статьи «Отечественныхъ Записокъ», возбудившей негодованіе «Москвитянина». Не понимаемъ, что въ ней оскорбительного для нашего национального чувства? Послѣ этого, какъ же прикажете изслѣдовывать

предметы науки, искусства и литературы? Послѣ этого, отдать итальянскому климату преимущество предъ петербургскимъ—значитъ ни больше, ни меныше, какъ «таска Россіи?... Что русскій языкъ—одинъ изъ богатейшихъ языковъ въ мірѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но при этомъ не должно забывать исторического развитія Россіи и быстраго оборота, произведенаго въ немъ реформою Петра-Великаго. До Петра-Великаго, русскій языкъ вполнѣ соотвѣтствовалъ нравственному состоянію Россіи и былъ больше, чѣмъ только достаточенъ для выраженія всего круга понятій того времени. Но съ реформою Петра-Великаго, отворившею двери Россіи дотолѣ чуждымъ ей понятіямъ, русскій языкъ по необходимости долженъ былъ подвергнуться наводненію чужестранныхъ словъ и даже оборотовъ, а высшее общество по необходимости должно было предпочесть чужой языкъ своему родному. Теперь, когда у насъ есть уже литература и когда самый языкъ, подвергся большимъ измѣненіямъ, эта необходимость не существуетъ болѣе и для высшаго общества. Но, несмотря на то, еще не близко время окончательного установленія русскаго языка, и чѣмъ оно отдаленнѣе, тѣмъ больше надежды на болѣе богатое развитіе нашего языка.

Еще разъ спрашиваемъ: что обиднаго въ нашихъ словахъ для чести русскаго языка или русской національности? Можетъ-быть, наше мнѣніе невѣрно, ошибочно, даже вовсе ложно? Положимъ, что такъ; но неужели право ошибаться есть чье-нибудь исключительное право? Вѣдь «Москвитянинъ», вѣрно, не считаетъ же себя непогрѣшительнымъ? Если наше мнѣніе о русскомъ языкѣ показалось ему ошибочно, или ложно: онъ могъ сдѣлать свои замѣчанія на наше мнѣніе, опровергнуть его; но не долженъ, не въ правѣ былъ приписывать намъ, по этому поводу, намѣреній, которыхъ у насъ вовсе не было. Къ чemu такая нетерпимость къ чужому мнѣнію, и въ комъ же?

въ журналѣ, который безпрестанно разсуждаетъ о добродѣти, кротости, смиреніи, любви!...

Но взглянемъ на доводы «Москвитянина». Первый запросъ его намъ состоить въ томъ, зачѣмъ, говоря о вліяніи на русской языкъ нашихъ знаменитѣйшихъ свѣтскихъ писателей, умолчали мы о вліяніи на него писателей духовныхъ? Отвѣчаемъ: журнальная рецензія—не диссертациія, не ученая книга, гдѣ предметъ сочиненія изчерпывается по мѣрѣ возможности весь, до дна. Явится другая книжка въ родѣ сочиненія г. Васильева, мы, разбирая ее, скажемъ то, чего не доказали по поводу первой; явится третья—опять придется что сказать по ея поводу о томъ же предметѣ. Сверхъ того, мы были, какъ говорится, въ своемъ правѣ, говоря о вліяніи на русской языкѣ только свѣтскихъ писателей, такъ же, какъ всякой другой былъ бы въ своемъ правѣ, говоря о вліяніи на нашъ языкѣ только духовныхъ нашихъ писателей. Тутъ все многозначительные вопросы: зачѣмъ и почему, не имѣютъ мѣста, и на нихъ одинъ отвѣтъ: потому что такъ хотѣли мы.

Второй запросъ состоить въ томъ, зачѣмъ «Отечественные Записки» не показали вліянія на языкъ нашего юридического краснорѣчія? «Или» (многознаменательно и чисто-юридически замѣчаетъ рецензентъ) «эта отрасль языка у народа, имѣющаго гражданское устройство, такъ ничтожна, что не заслуживаетъ и упоминовенія?» Отвѣчаемъ на это: мы вовсе не знакомы съ русскимъ судебнымъ краснорѣчіемъ, потому что, какъ замѣчаетъ самъ судія нашъ, произведенія этого рода не напечатаны. А о томъ, что не напечатано, журналъ не имѣетъ права и судить. Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» никакъ не сомнѣвается, что рецензентъ «Москвитянина» знаетъ все науки, и что ему въ особенности знакомъ языкъ юридический, какъ это доказываетъ статья его: тѣмъ лучше для него,---ему и книги въ руки!

Третій запросъ: почему рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ», говоря о Пушкинѣ, какъ преобразователѣ языка, останавливается на повѣсти «Арапъ Петра Великаго», и не говоритъ ни слова объ «Исторіи Пугачевскаго Бунта»? Отвѣтъ: рецензентъ забылъ, и охотно признаетъ свою забывчивость непростительною, а третій запросъ дѣльнымъ.

Четвертый запросъ: почему рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» не упоминаетъ напримѣръ о «Письмахъ Русскаго Офицера», О. Глинки? Отвѣтъ: оттого, что не считаетъ ихъ стоящими упоминовенія. Можетъ-быть, рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» въ этомъ случаѣ ошибается, но «ошибки суть свойственны человѣку», — *errare humanum est*. Почему же онъ не упомянулъ о другихъ, дѣйствительно важныхъ произведеніяхъ, упоминаемыхъ ниже рецензентомъ «Москвитянина» — причина та, что онъ писалъ не диссертацио, а рецензію.

Что касается до стиховъ Кольцова, приведенныхыхъ въ рецензіи «Отечественныхъ Записокъ», какъ примѣръ живописности русскаго языка въ изображеніи предметовъ природы, они дѣйствительно выражаются такимъ слогомъ, который очень естественъ въ произведеніи написанномъ въ духѣ народной поэзіи.

Но вотъ самый страшный запросъ: гдѣ рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» изучалъ русскій языкъ — въ пословицахъ, въ пѣсняхъ, въ историческихъ актахъ? Потомъ, именно гдѣ и въ чемъ изучалъ онъ — въ своемъ кабинетѣ, въ бархатныхъ сапогахъ, или въ другихъ какихъ-нибудь мѣстахъ, и въ другихъ сапогахъ? На это рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» имѣеть честь отвѣтить рецензенту «Москвитянина», что бархатныхъ сапоговъ онъ не носитъ, что русскій языкъ изучалъ онъ больше всего въ сочиненіяхъ русскихъ писателей, и въ образованномъ обществѣ; съ пословицами знакомъ; сказки и пѣсни, собранныя Киршою Даниловымъ, знаетъ чуть не наи-

зустъ; читывалъ не безъ вниманія и другіе сборники произведений народной поэзіи; къ русскому народу прислушивался... Во всякомъ случаѣ, съ отроческихъ лѣтъ по-стради занимаясь русскою литературою и русскимъ языкомъ, и лѣтъ около пятнадцати дѣйствуя на литературномъ поприщѣ съ такою удачею, что самъ «Москвитянинъ» призналъ иѣкоторыя критическія стітии его въ «Отечественныхъ Запискахъ» писанными бойкимъ первомъ мастера, рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» думаетъ, что въ дѣлѣ русской литературы и русскаго языка онъ что-нибудь знаетъ,—можетъ быть, не такъ много, какъ рецензентъ «Москвитянина», г. Д., но вѣдь не всѣмъ же быть генералами, т. е. полководцами; для многихъ и офицерскій чинъ — недостижимая высота: овому талантъ, овому два...

Далѣе рецензентъ «Москвитянина» дѣлаетъ намъ запросъ: въ какихъ салонахъ *au Marais, à la Chaussée d'Antin*, или въ предметіи *Saint-Germain*, случалось намъ слышать слова *substance, absolut, abstrait, concret*, и есть ли во французскомъ словарѣ Академіи слова *indifférentisme* и *obscurantisme*? Отвѣтъ: рецензентъ «Отеч. Записокъ» не былъ во Франціи, и ему мало нужды до того, какія употребляютъ, или не употребляютъ слова салоны *au Marais, à la Chaussée d'Antin* и въ предметіи *Saint-Germain*. Прошло уже то время, когда свѣтъ образования былъ монополіею этихъ трехъ пунктовъ Парижа; онъ теперь во всемъ Парижѣ, вездѣ, гдѣ сходятся образованные люди. Слово *substance* имѣеть не одно философское значеніе, но и житейское: оно означаетъ и припасы (съѣстные), и матерію, и сущность; *absolut*—самое употребительное слово, особенно въ приложениіи къ словамъ: *gouvernement, puissance, monarchie*: можетъ ли быть оно не употребительнымъ въ простомъ разговорѣ тамъ, гдѣ все помѣшаны на политикѣ? Слово *individu* самое простое, его встрѣтите и въ романѣ, и въ комедіи,

и въ водевилѣ. Есть ли слова: *indifférentisme* и *obscurantisme* въ словарѣ Французской Академіи, изд. 1835 года, не можемъ сказать, за неимѣніемъ подъ рукою этого словаря; но, въ утѣшениѣ рецензента «Москвитянина», скажемъ, что они есть не только въ «*Dictionnaire général et grammatical des Dictionnaires français*» Наполеона Ландѣ, изданномъ въ 1843-мъ году, но даже въ «Словарѣ» Татищева, изданномъ въ 1839—1841 годахъ. Впрочемъ, до словарей намъ дѣла нѣтъ: съ насъ довольно и того, что эти слова встрѣчаются даже въ романахъ и повѣстяхъ лучшихъ французскихъ писателей, которые не слѣдуютъ примѣру Нѣмцевъ, пишущихъ книжнымъ или темнымъ языкомъ.

Теперь мы дошли до такой мысли «Москвитянина», которая, по самой оригинальности своей, весьма замѣчательна. Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» назвалъ слова: «фабрика, губернія, маляръ, кучеръ, мастеръ, мастерство, подмастерье, смастерить» — иностранными, вошедшими въ составъ русского языка. Рецензентъ «Москвитянина», прибавивъ къ нимъ, какъ онъ говоритъ, и старшихъ ихъ братьевъ азіатскаго происхожденія: «ясакъ, ерлыкъ, аргамакъ, халатъ», изъявляетъ свое согласіе признать всѣ эти слова не русскими, а иностранными, но не просто, а на томъ условіи, чтобъ рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» доказалъ ему, что «тѣ, чьи предки выѣхали въ XIV столѣтіи отъ Нѣмецъ и изъ Золотой-Орды къ Димитрю Иоанновичу Донскому, и доселѣ не Русскіе, а иностранцы, хотя 500 лѣтъ исповѣдаются (исповѣдываютъ) православную вѣру, говорятъ русскимъ языкомъ, служать и пользуются всѣми правами гражданства». Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» решительно отказывается доказывать такую странность; а что касается до помянутыхъ словъ, онъ такъ же признаетъ ихъ не русскими, а иностранными, какъ русскихъ людей иностранного, и при томъ древняго происхожденія, призна-

еть совершенно Русскими, а не иностранцами, — и основывается на томъ, что национальность человѣка способна къ перерожденію физическому и нравственному, и что слова не исповѣдываютъ никакой вѣры, не женятся и не родятъ.

Особенное негодование возбудило въ «Москвитянинѣ» мнѣніе «Отечественныхъ Записокъ» о непереводимости на русскій языкъ французского слова *charit *, котораго значеніе не вполнѣ передается русскими словами »милосердіе;« «Москвитянинъ» почелъ долгомъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ приводить тексты изъ апостола Павла на французскомъ, русскомъ, церковнославянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, изъ которыхъ видно, что французское слово *charit * по-русски и по-нѣмецки замѣнены словомъ любовь. Не явное ли это доказательство, что у Французовъ словомъ больше противъ Русскихъ и Нѣмцевъ, потому что, кроме слова *amour* (любовь), у нихъ есть еще и слово *charit *, которое означаетъ дѣятельную, практическую любовь, обнаруживающуюся стремленіемъ облегчать страданія ближняго. Мы не думали доказывать, что отсутствіе этого слова у народа можетъ служить признакомъ отсутствія и выражаемаго имъ понятія. Нѣтъ, отсутствіе слова *charit * даетъ слову любовь только обширнѣйшее значеніе, а у Французовъ оно служитъ признакомъ филологического, а отнюдь не христіанского преимущества передъ нами. Поэтому, совершенно неумѣстны слѣдующія фразы «Москвитянина». «Жалокъ тотъ народъ, не совсѣмъ полутикій который живеть и не имѣеть въ своемъ языке слова, для выраженія вполнѣ понятія (,) заключающагося въ словѣ *charit *», и что «этотъ народъ — Русскій», Хорошее ли дѣло произвольно приписывать другимъ подобныя мысли?...

За тѣмъ, въ статьѣ «Москвитянина» слѣдуетъ длинный рядъ фигуръ единоначатія, начинающихся фразою «не вѣримъ рецензенту Отечественныхъ Записокъ». Дѣйствительно, рецензентъ

«Москвитянина» такъ же ни въ чѣмъ не вѣрить рецензенту «Отечественныхъ записокъ», какъ рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» ни въ чемъ не вѣрить рецензенту «Москвитянина». Дѣло очень простое и естественное: зачѣмъ же дѣлать изъ него что-то важное? Вотъ и оказалось, кто считаетъ себя непогрѣшительнымъ, кто неумолимъ, какъ *fatum* древнихъ, кто изрѣбаетъ свои приговоры безъ розысканія и безъ доказательствъ, или съ весьма бездоказательными доказательствами, на основаніи своего собственнаго произвола: рецензентъ ли «Отечественныхъ Записокъ», или рецензентъ «Москвитянина»? Слово: «не вѣримъ» не есть еще приговоръ, вы не вѣрите другимъ: другое въ томъ же не повѣрять вамъ. «Москвитянинъ» увѣряетъ, что «нашлось возможнымъ передать на нашемъ языке философію, даже (?) Шеллинга и Окена». А кто же говорилъ, что они непереводимы по-русски? Мы говорили только, что ихъ невозможнѣо перевести, не испестривъ русского перевода множествомъ иностранныхъ словъ, и повторяемъ это теперь. Если некоторые пуристы слова: «индивидуумъ» и «фактъ» замѣняютъ словами «недѣлимый» и «быть», такъ это только смѣшно, а ничуть не доказательно. Что французскій языкъ былъ разработанъ и развитъ два вѣка назадъ,— это фактъ, несмотря на всѣ цитаты «Москвитянина». Тутъ невозможны никакія параллели съ русскимъ языкомъ. Не говоря уже о превосходствѣ генія, сравните по чистотѣ языка— Расина (и даже Корнеля) съ Озеровымъ,— и вы увидите, что тутъ неумѣстны всѣ сравненія; а между тѣмъ, это писатели XVII вѣка, Озеровъ же — писатель XIX вѣка. Тутъ нечего восклицать: «этому ли богатству намъ завидовать?» Именно этому! Что Вольтеръ жаловался на бѣдность французскаго языка,— это не доказываетъ богатства русскаго; это доказываетъ только, что Вольтеръ не принадлежалъ къ числу тѣхъ посредственостей, которыя способны остановиться на чѣмъ-

нибудь и удовлетвориться чѣмъ-нибудь. Сверхъ того, никакой языкъ ни въ какую эпоху не можетъ быть до того удовлетворительнымъ, чтобы отъ него нечего было больше желать и ожидать. Что же касается до Фонъ-Визина, съ его неестественными, безличными и скучными резонѣрами, въ родѣ Стародумовъ, Софій, Милоновъ (а не Милоновыхъ) и Правдинахъ, до Грибоѣдова и Гоголя, — мы отказываемся отъ всякаго спора съ рецензентомъ «Москвитянина»: все доказываетъ, что судить о поэзіи вовсе не его дѣлѣ... Если онъ въ чемъ силенъ, такъ это въ юриспруденції... — О языкѣ Карамзина и теперь подтверждаемъ наше мнѣніе, считая его столько вѣрнымъ, сколько «Москвитянинъ» считаетъ его ошибочнымъ...

Наконецъ, рецензентъ «Москвитянина» наполняетъ свою статью слишкомъ тремя печатными листами выписокъ изъ «Словъ и Рѣчей» преосвященнѣйшаго Филарета, митрополита Московскаго. Очень любопытенъ этотъ оборотъ. Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» сказалъ, что годовой бюджетъ нашей литературы такъ бѣденъ, что публикѣ нашей почти нечего читать. Рецензентъ «Москвитянина» объявляетъ это мнѣніе тѣмъ разительнѣе неосновательнымъ, что въ тѣхъ же «Отечественныхъ Запискахъ», мѣсяца за четыре назадъ, извѣщалось о выходѣ изъ печати «Словъ и Рѣчей» преосвященнѣйшаго Филарета, митрополита Московскаго. Гдѣ жь тутъ разительная неосновательность? Мы говорили о свѣтской литературѣ, о романахъ, повѣстяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и т. п.; но ни слова не говорили ни о богатствѣ, ни о бѣдности теологической литературы...

Въ одномъ мы совершенно согласны съ рецензентомъ «Москвитянина»: именно — въ его мнѣніи о высокомъ достоинствѣ «Словъ и Рѣчей» преосвященнѣйшаго Филарета, какъ со стороны глубокости ихъ содержанія, такъ и со стороны краснорѣчиваго изложенія. И рецензентъ «Москвитянина», наполнивъ

большую часть своей статьи выписками изъ этихъ «Словъ и Рѣчей», имѣть полное право сказать, что въ его статьѣ есть много мѣстъ, исполненныхъ высокаго краснорѣчія, хотя и принадлежащихъ не его, а чужому перу.

Царство вѣры не отъ міра сего. Церковь, для ея дѣйствованія, не нуждается въ обыкновенныхъ средствахъ. Для ея вѣчныхъ, не преходящихъ и неизмѣнныхъ истинъ всякой человѣческій языкъ былъ, есть и будетъ достаточенъ и богатъ. Проповѣдь требуетъ больше любви и убѣжденія отъ проповѣдника, нежели богатаго развитія отъ языка, на которомъ говорить проповѣдникъ. Первые апостолы были рыбари, которые, въ простотѣ сердечнаго убѣженія, прозрѣвъ духовно, увидѣли больше мудрыхъ міра, и сдѣлались «ловцами человѣковъ»... Короче: мы думаемъ, что исторія духовнаго краснорѣчія должна быть изучаема и излагаема отдѣльно отъ исторіи свѣтской литературы. Это дѣло людей, посвятившихъ себя изученію богословія. Говоря о духовныхъ витіяхъ, нельзя же ограничиться одною виѣшию стороною ихъ «словъ» и «рѣчей», т. е. однимъ краснорѣчіемъ, но невольно коснешься и содержанія, съ которымъ оно связано, и отъ которого оно получаетъ свою силу. А это значитъ войти въ сферу теологии... О предметахъ теологическихъ должны разсуждать теологическіе, а не литературные журналы, наполняемые стишками, сказками, всякою мірскою суетою, а иногда—что грѣха таить!—и спорами, которые порождаются не совсѣмъ христіянскими чувствами...

Вотъ другое дѣло, если мы скажемъ, что словесность, какъ наука, выдумана педантами, что риторика и пітитика—вздоръ, а рецензентъ «Москвитянина» объявить, что онъ въ этомъ намъ «не вѣритъ»: обѣ этомъ можно спорить и важно и шутя... Мы представили, въ оправданіе своего мнѣнія о словесности, какъ наукѣ, о риторикѣ и пітицѣ, цѣлую статью, съ посильными доказательствами и доводами; а рецензентъ «Москвитя-

нина», безъ всякихъ доказательствъ, однимъ «не вѣрю», напоминающимъ самовластное «velo», думаетъ порѣшить вопросъ... Такъ рѣшить легко!

Но такія рѣшенія не стоять ни вниманія, ни опроверженія. Насъ совсѣмъ другое заставило взяться за перо: это вовсе не литературныя обвиненія, взводимыя на насъ «Москвитяниномъ» уже не въ первый разъ. Безъ нихъ, мы и не упоминали бы никогда объ этомъ журнアルѣ; но при нихъ, мы не считаемъ себя въ правѣ оставлять его безъ отвѣта. Думаемъ, всѣ благомыслящіе люди согласятся съ нами, что молчать въ подобныхъ случаяхъ не годится...

---

**ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ, изданный Н. Некрасовымъ. Спб.  
1846.**

«Бѣдные Люди», романъ г. Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ — первая статья и по мѣсту и по достоинству. Начинаемъ съ нея.

(Появленіе всякаго необыкновеннаго таланта рождаетъ въ читающемъ и пишущемъ мірѣ противорѣчія и раздоры. Если такой талантъ является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы,—онъ встрѣчаетъ, съ одной стороны, восторженные клики, неумѣренныя хвалы, съ другой—безусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидѣли въ немъ «сѣвернаго Байрона» (какъ-будто гдѣ-нибудь былъ южный Байронъ!), представителя современного человѣчества», и все это — по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабѣе другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цѣнность; другие упорно смотрѣли на его произведенія, какъ на униженіе, профанацию

поэзии, во имя дебелыхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дѣтства. Понять Пушкина предоставлено было уже другому поколѣнію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрѣтилъ себѣ враговъ талантъ Пушкина, но несравненно болѣе явились преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы лѣтами и духомъ; за него — и молодыя поколѣнія, и сохранившіе свѣжесть чувства старики. Какъ всякой великой талантъ, Гоголь скоро нашелъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонѣ Пушкина было большинство, такъ на сторонѣ Гоголя — меньшинство: большинство же было сначала рѣшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: міръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежитъ исключительно его таланту, что даже и между людьми, неомрачеными пристрастіемъ и нелишенными эстетического смысла, нашлись такие, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недовѣріи, имъ казалось, что это или ужь слишкомъ хорошо, или ужь слишкомъ дурно,—и они помирились на половинѣ съ твореніями самого национального и, можетъ-быть, самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. рѣшили, что у него есть талантъ, даже большой, только идущій по ложной дорогѣ. Естественность поэзіи Гоголя, ея страшная вѣрность дѣйствительности, изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совсѣмъ изчезла изъ русской литературы та чопорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ *rigueur*, и въ которой такъ вѣрно отразились нравы полубоярской и полумѣщанской части нашего общества; если и теперь еще существуютъ литераторы, которые естественность считаютъ великимъ недостаткомъ въ поэзіи, а неестественность великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзіи

думаютъ унизить эпитетомъ «натуральной», — то понятно, какъ должно было большинство публики встрѣтить основателя новой школы. И потому, естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ признавать великій талантъ часто тѣ самые люди, которые съ жадностю читаютъ и перечитываютъ каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаетъ съ жадностю его новыхъ, и не перечитываетъ съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нѣть нужды говорить, что безпощадная истина его созданій — одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признать на словахъ великимъ поэтомъ, того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самыми своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ, первая и главная причина этого непризнанія заключается въ безпримѣрной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ безпримѣрной, потому что съ этой стороны ни одинъ русскій поэтъ не можетъ идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій геніальныи талантъ оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одною и другою оригинальностью, между одною и другою самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина, въ отношеніи къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ печати особности, положенной личностю его на его творенія, состояла преимущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ поэзіи, а его — самою поэзіею; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ былъ поэтомъ-художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тѣмъ не менѣе, къ чести предшественниковъ Пушкина должно сказать, что они имѣли на него большее или меньшее вліяніе, и ихъ поэзія больше или меньше была предвѣстницею его поэзіи особенно первыхъ его опытовъ. Еще прямѣе и непосредственнѣе было влія-

ніє на Пушкина современнихъ ему европейскихъ поэтовъ. Если, при всемъ этомъ, первыя произведенія Пушкина, однихъ непріятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу поразили не только новостью, но оригинальностію и самобытностью,— это показываетъ, какъ гениаленъ былъ талантъ его. Но все-таки его первыя произведенія напоминали собою многое и въ русской литературѣ, хотя и отдаленно, и еще болѣе многое, и притомъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ,— чему доказательствомъ служитъ неудачно и неловко приданній ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературѣ, не было (и не могло быть) образцовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родѣ его поэзіи, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругъ, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзію. Конечно, нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны, напримѣръ, Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествѣ Гоголя, а не на особенности, не на физіономіи, такъ-сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болѣе времени, которое Пушкинъ подвинулъ впередъ, нежели самаго Пушкина. Разумѣется, еслибъ Гоголь явился прежде Пушкина, онъ не могъ бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямаго вліянія, такого, какое имѣли (въ большей или меньшей степени, ближе или отдаленнѣе) на Пушкина предшествовавшіе ему русскіе и современные ему европейскіе поэты, — такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ слѣдовъ въ сочиненіяхъ послѣдняго. Сверхъ того, поэзія, избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и рѣдко испытываемыя человѣкомъ высокія ощущенія, — такая поэзія, если не совсѣмъ понятна въ сущности, то всѣмъ доступна по наружности. По крайней мѣрѣ она до того нравится толпѣ, что даже и ложные таланты, если они не лишены бле-

ска и смѣлости, увлекаютъ ее, пародируя въ своихъ хитроизысканныхъ выдумкахъ высокую сторону дѣйствительности: это доказываетъ чрезвычайный, хотя и мгновенный успѣхъ Марлинского и... но не будемъ называть другихъ — довольно и одного примѣра... Скажемъ болѣе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпѣть не можетъ, чтобы поэзія занималась ею, хотя и не смиреніе, а онасивость неувѣреннаго въ себѣ самолюбія причиною этого, напротивъ, она любить, чтобы поэзія представляла ей все героевъ да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За головомъ немногихъ, которымъ дано дѣйствительно понимать высокое жизніи, толпа готова провозгласить великимъ геніемъ даже Байрона, въ которомъ она, толпа, неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно пѣвіяетъ и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое пародированіе высокой стороны жизни (какъ въ повѣстяхъ Марлинского), или истинное и дѣйствительно прекрасное, то вмѣстѣ съ тѣмъ и не слишкомъ великое, иѣсколько незрѣлое и дѣтское, потому что сама толпа есть не что иное, какъ вѣчный недоросль, что-то похожее на драхлаго ребенка, или на младенчествующаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слава его была въ своей апогеѣ, когда представители толпы провозглашали его «сѣвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человѣчества»? — Тогда, когда онъ удивлялъ ихъ «Русланомъ и Людмилою», «Братьями Разбойниками», «Кавказскимъ Плѣнникомъ», «Бахчисарайскимъ фонтаномъ», и тѣми стишками, въ которыхъ воспѣвалъ золотую лѣнь, шипучее вино и тому подобное. «Цыганы» приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; «Полтава» публикою принята холодно, а журналисты встрѣтили ее бранью; «Борисъ Годуновъ» вовсе не былъ оцѣненъ, — и многіе ли даже теперь догадываются, что за великая

созданія — «Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы», «Скупой Рыцарь», «Галубъ», «Мѣдный Всадникъ», «Каменный Гость»? Одинъ изъ критиковъ того времени, въ седьмой главѣ «Евгенія Онѣгина», которая, по глубинѣ чувства, по зрѣлости мысли, по художественной отдѣлкѣ, гораздо выше первыхъ шести главъ, увидѣлъ — «рѣшительное паденіе, chute complѣte», и съ торжествомъ возвѣстилъ его на двухъ языкахъ — русскомъ и французскомъ!... Другой критикъ, говоря о той же седьмой главѣ «Онѣгина», сдѣлалъ такое заключеніе, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, и что на него «прошла мода», какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ вѣка!... Еще двое другихъ, какъ будто сговорясь между собою, несмотря на то, что были противниками по мнѣніямъ, объявили, что въ третьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832 году) не видно прежняго Пушкина!... И они не ошиблись бы, еслибы сказали это въ томъ смыслѣ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталъ выше, нежели какъ былъ въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но увы! — добрые критики говорили тутъ о паденіи Пушкина!... Все это факты, которые, если бы понадобилось, мы скрѣпили бы указаниемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такія диковинки. И вотъ какъ судила толпа и о поэтѣ, избравшемъ предметомъ пѣсень своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступила отъ него тотчасъ, какъ сталъ онъ мастеромъ, и какимъ еще мастеромъ — великимъ!...

Какъ же должна была судить толпа о поэтѣ, дерзнувшемъ пойти по дорогѣ, до него никому невѣдомой, рѣшившемся, оставивъ въ покой героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являются гораздо рѣже, нежели въ фантазіи поэтовъ), обратиться къ толпѣ и къ будничной жизни?... Сначала, какъ и слѣдуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ

ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслю за границу вседневной прозаической жизни. И такое заключеніе было очень естественно съ ея стороны: она не встрѣчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходокъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуетъ ей своихъ странныхъ героевъ и ихъ бѣдную, жалкую жизнь очень серьёзно, говоритъ о нихъ почти съ такою же важностью, какъ въ дѣйствительности говорятъ они о самихъ себѣ и своихъ дѣлишкахъ. Конечно: это писатель, положимъ, не безъ дарования, но мелкій, безъ фантазіи, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую, природу! Но—странное дѣло!—толпа сама не могла не замѣтить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чѣмъ-то сильно задѣваетъ и сердитъ ее; потомъ съ изумленіемъ узнаётъ она, что высшій свѣтъ, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставляя безъ вниманія бонтонныхъ, опрятныхъ произведенія дюжинныхъ сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствиемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненные дурнаго тона, оскорбляющихъ приличіе выраженій и картинъ и. кажется, назначенныхъ для потѣхи самыхъ необразованныхъ читателей... Въ то же время, нашлись люди, которые, по поводу сочиненій этого писателя, заговорили о юморѣ, какъ могущественномъ элементѣ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служить всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о нихъ, но только вѣрно воспроизводя явленія жизни, по ихъ сущности противоположныя высокому и прекрасному,—другими словами: путемъ отрицанія достигая той же самой цѣли, только иногда еще вѣриѣ, которой достигаетъ поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не могло не имѣть вліянія на мнѣніе толпы; а между тѣмъ, съ теченіемъ времени, она все болѣе и болѣе

привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что казалось ей въ нихъ страннымъ и рѣзкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естественнымъ, — чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ теперь, когда французскій переводъ нѣсколько его повѣстей доставилъ ему громкую извѣстность въ Европѣ, — теперь и самые враги его таланта, имѣющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его успѣховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ.

Вообще, литература наша, въ лицѣ Пушкина и Гоголя перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она, если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый талантъ тотчасъ же оцѣняется по его достоинству. Явился Лермонтовъ, — и первыми своими опытами заставилъ всѣхъ смотрѣть на его талантъ съ изумлѣннымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Многоли успѣлъ написать онъ въ теченіе своего краткаго (четырехлѣтнаго) литературнаго поприща? — а между тѣмъ, нуженъ былъ только одинъ смѣлый голосъ, чтобы за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, гениальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ не хлопочеть теперь посредственность выдавать себя за гениальность, — ей это никакъ не удается. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и итальянскія, ни романы и повѣсти русскіе, французскіе, литовскіе и нѣмецкіе, ни стихотворенія, ни дагерротипы, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотѣла сдѣлать изъ г. Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, и что же? Всѣ нашли, что у г. Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда и теперь, появление необыкновенного таланта не можетъ не возбуждать довольно противорѣчавыхъ толковъ; но, во первыхъ, это свойство необыкновенного таланта во всякой литературѣ, пока не привыкнуть къ нему (привычка — умъ толпы), а во вторыхъ, въ самомъ противорѣчіи этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорять и спорять о томъ, что хорошо и что дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ — обѣ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Несколько невѣжественныхъ или завистливыхъ голосовъ тутъ ничего не значитъ. Если какой-нибудь quasi-критикъ или критикъ, решится объявить, что произведеніе новаго писателя, возбудившаго своимъ появлениемъ сильное движение въ читательскомъ мірѣ, решительно дурно, что въ немъ нѣтъ ни искры таланта, — такой критикъ поступить очень неразумѣльно въ отношеніи къ самому себѣ. Самые недогадливые увидятъ ясно, что онъ, критикъ, не иное чѣмъ, какъ жалкая и купно завистливая посредственность... Но, съ другой стороны, и преувеличенно восторженныя похвалы, критические гимны и дириамбы, теперь тоже возможны только со стороны людей, немогущихъ имѣть никакого вліянія на общественное мнѣніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требуютъ, чтобы онъ спокойно и трезво сказалъ, какъ понимаетъ онъ поэтическое произведеніе; а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастія, которое доставило оно ему, никому нѣтъ нужды: это его домашнее дѣло.

Слухи о «Бѣдныхъ Людяхъ» и новомъ, необыкновенномъ таланѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появление самой повѣсти. Подобного обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ,

все равно быть или не быть предубѣжденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немногого на бѣломъ свѣтѣ, а не-знатокъ отъ всего заранѣе расхваленаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ, уже не видить въ произведеніи и того, что болѣе или менѣе ему доступно и чтѣ, навѣрное понравилось бы ему, еслибы онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ «Бѣдныхъ Людей» былъ полный. Еслибы эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ, — это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть талантъ, но нѣть ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ-быть, двухъ-трехъ испугавшихся за себя писакъ, всѣ согласились что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для первого раза, нечего больше и желать. Со временемъ, та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появлению слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ, самый великий, самый гениальный, самый непогрѣшительный — время. Впрочемъ, не должно забывать, что романъ г. Достоевскаго прочтень всѣми только въ Петербургѣ, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мнѣніе о талантѣ новаго поэта. Въ Москвѣ еще только читаютъ его «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника» (помѣщенаго въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и ува-

жаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читаютъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно, нигдѣ въ Россіи нѣтъ такой многочисленной читающей публики, со- средоточенной на такомъ маломъ пространствѣ, какъ въ Петербургѣ,— и при всемъ томъ, на съ (chaque baron a sa fantaisie!) по чему-то всегда интересуетъ болѣе мнѣніе Москвы и провинціи о книгѣ, нежели Петербурга. Мы никогда не говоримъ: «это сочиненіе такъ хорошо, что даже въ провинціи имѣло огромный успѣхъ»; но, напротивъ, мы какъ-то особенно не расположены къ сочиненіямъ, которыя только въ Петербургѣ возбуждаютъ общій восторгъ. Можетъ-быть, по этому самому намъ не нравятся стихотворенія г. Бенедиктова, «Сенсація ма- дамъ Курдюковой» и всѣ патріотическія и патетическія драмы, вазбуждающія такіе оглушительные аплодисманы на сцѣнѣ Александрийского театра. Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга—ужь черезчуръ занятые, черезчуръ дѣловые люди, и потому едва ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вку- сомъ. Имъ надо что-нибудь, во первыхъ, не слишкомъ большее, а во вторыхъ, и это главное — что-нибудь полегче, что-ни- будь не слишкомъ требующее углубленія мыслю, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, словомъ такое, что было бы и коротко и ясно и не заставило бы думать, какъ фѣльетонная статья въ «Сѣверной Пчелѣ», какъ нравоописательная ста- тейка г. Булгарина. И это понятно: въ Петербургѣ все бѣдны временемъ; кто служить, кто спекулируетъ, кто играетъ въ преферансъ, а часто случается и такъ, что одно и тоже лицо несетъ на себѣ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читае- момъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которое вырабатываютъ

наши типографіи. Въ Москвѣ, число читателей несравненно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замѣчательная книга есть фактъ, есть «нѣчто», которые читаютъ ее сами, читаютъ другимъ, или настоятельно рекомендуютъ другимъ читать ее, думаютъ о ней, толкуютъ, спорятъ. Смѣшно было бы утверждать, что и въ Петербургѣ нѣтъ такихъ читателей; но мы знаемъ достовѣрно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненіи со всею читающею массою, и что большая часть ихъ состоить изъ такого молодаго народа, который не успѣлъ еще ни поступить на службу, ни постичь поэзію префераціи. Что касается до провинціи, въ ней, можетъ-быть, въ сложности не менѣе, если не болѣе истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ обѣихъ столицахъ нашихъ; и если ихъ кажется такъ мало въ провинціи, это потому что они разсѣяны на огромномъ пространствѣ, и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что отъ одного до другаго иногда хоть мѣсяцъ скачи на лихой тройкѣ — не доѣдешь! Велика матушка Россія!... По всему этому, очень интересно узнать, какое впечатлѣніе талантъ г. Достоевскаго произведетъ на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданіи этого, мы поспѣшимъ отдать отчетъ въ себѣственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ первого взгляда видно, что талантъ г. Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и что преобладающій характеръ его таланта — юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и притомъ глубоко знаетъ, но *à priori*, сдѣдовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дѣствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только,

что это талантъ небыкновенный и самобытный, который съ разу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился оть всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Чѣдже касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоихъ романовъ г. Достоевскаго («Бѣдныхъ Людей» и «Двойника») видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ, въ талантѣ г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро изчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ никакого даже намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнью и мыслю, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился въ послѣдствіи талантъ г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Коломбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться г. Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чёмъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта г. Достоевскаго, но что онъ имѣеть все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по «Бѣднымъ Людямъ», мы заключили было, что глубоко-человѣческий и патетической элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но прочтя «Двойника», мы увидѣли, что подобное зак-

люченіе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравствено слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ «Двойникѣ» глубоко-патетического, глубоко-трагического колорита и тона; но, во первыхъ, этотъ колоритъ и тонъ, въ «Двойникѣ» спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ «Запискахъ Сумасшедшаго» Гоголя... Вообще, талантъ г. Достоевскаго, при всей его огромности, еще такъ молодъ, что не можетъ выскакаться и выказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писателя, который весь выскаживается первымъ своимъ произведеніемъ, многаго ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ «Герой Нашего Времени», но еслибъ кто подумалъ, что Лермонтовъ въ послѣдствіи не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о таланѣ Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ г. Достоевскаго замѣтно сильное влияніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ, талантъ г. Достоевскаго блеститъ яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣевичу Дѣвушкіну, старику Покровскому и г-ну Голядкину старшему г. Достоевскаго иѣсколько сродни Попрышинъ и Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ г. Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже ни кому болѣе неказать) на эти забытыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что г. Достоевскій самъ собою взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности.

Нельзя не согласиться, что для первого дебюта «Бѣдные Люди» и, непосредственно за ними, «Двойникъ» — произведения необыкновенного размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, что г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однажды, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ «Бѣдныхъ Людяхъ»: вѣдь и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится разсказывать, если уже рѣшишься на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образования, но съ безконечно-доброю душою и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женскою добродѣтелью, дѣвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли застовила этого чиновника почувствовать состраданіе или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и старицковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобы не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ, — существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его «маточки», ангельчику и херувимчику Варинѣкѣ есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое онъ силится не призна-

вать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если бы замѣтилъ, что оно смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видѣтъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, на счетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говорить, что «все въ розовомъ цвѣтѣ представляется». Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увереніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка,—все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкінъ, помогая Варинькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входить въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ лекатень по инстинкту! Благодѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабить самого себя,—до послѣдней крайности обманываетъ свою Вариньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговоривается обѣ истинномъ своемъ положеніи, то по старицкой болтливости и такъ простодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ приобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варинькѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для

ней всѣмъ — было для него счастіемъ. Чѣмъ ограничениѣ его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благородиѣ о деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что, въ лицѣ Дѣвушкина, авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такие люди рѣдки, но въ тоже время нельзя не согласится и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, бросить нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чайни получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову, — такой бѣднякъ не всѣхъ трошетъ и въ новѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кроме смѣшнаго. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: «вѣдь это тоже люди, ваши братья!»

Обратите вниманіе на старика Покровскаго — и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной, и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ различной бой-бабы, шутъ и пьяница — и онъ человѣкъ! Вы можете смеяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну,

напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ, и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, — не производить на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Максима Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, — какое умѣніе, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждого изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появлѣніемъ смерти, то къ тому, то къ другому!... Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица г. Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственною особою, ни лица Анны Федоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственною особою. Отецъ и мать Доброселовой, стариkъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыхъ или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ-будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вариньки какъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неоконченно; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладить съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ

виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобы сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвшушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блестательно умѣлъ выйтти изъ затруднительного положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Аны Федоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровского, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровского,— все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Аны Федоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но чутатель самъ видѣть все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій.

Рассказывать содержаніе этого романа было бы излишне; дѣлать большія выписки тоже. Но не мѣшаєтъ инымъ, можетъ быть, забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственные впечатлѣнія, ихъ же самихъ призвать въ свидѣтели справедливости и вѣрности нашего мнѣнія о высокомъ, художественномъ достоинствѣ «Бѣдныхъ Людей», и потому считаемъ необходимымъ выписать нѣсколько мѣстъ изъ писемъ Макара Алексѣевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей;— а между тѣмъ посреди ихъ, вѣроятно, найдутся такие, которымъ эти выписанныя нами мѣста покажутся какъ-будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство, можетъ-быть, заставитъ ихъ вновь перечесть всю

новѣсть и сознаться себѣ, что они только при этомъ второмъ чтеніи поняли ее... Такія произведенія, какъ «Бѣдные Люди», никому не даются съ первого раза: они требуютъ не только чтенія, но и изученія.

„Пишу въ вамъ виѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, чтоб я рассказалъ вамъ теперь! Вотъ, мы и не предчувствовали этого. Нѣть, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ: я все это предчувствовалъ. Все это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже намедни во снѣ что-то видѣлъ подобное.

„Вотъ что случилось.—Расскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положить. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ вчера подходить ко мнѣ Тимофей Ивановичъ, и лично изволить показывать, что — вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говорить, Макарь Алексѣвичъ, почище, поспѣшно и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ.—Замѣтить вамъ нужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялъся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли нечистый мени попуталъ, или тайными судбами какими опредѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться — только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знать какой, просто никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чёмъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядомъ съ Емельяновъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавнаго времени сталъ вдвое болѣе прежнаго совсѣмъ и въ стыдъ приходить. Я въ послѣднее время и не глядѣль ни на кого. Чуть стуль заскрипить у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, приникъ, присмирѣль, ежомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было), сказалъ во всеуслышаніе: Что, дескать вы. Макарь Алексѣвичъ, сидите сегодня такимъ у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня не были, такъ и покатились со смѣху, и ужъ, разумѣется, на мой счетъ. И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ и глаза зажмурилъ, сижу себѣ, не пошевелюсь. Таковъ ужъ обычай мой; они этакъ скорѣй отстаютъ. Итакъ я уткнулся носомъ въ бумагу, и вожу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвшушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю

чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никакда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ не было, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ ужъ надъ самимъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкина! Дувушкина! гдѣ Дѣвушкинъ? Подымаю глаза: передо мною Евстаѳій Ивановичъ; говорить: Макаръ Алексѣевичъ! къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказаль, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду—ну, да ужъ просто, ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ — представль! Положительного отчета объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоять его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отъ чего, маточка. Во первыхъ, совѣстно; я взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидѣлъ. А во вторыхъ, и всегда дѣлалъ такъ, какъ будто бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ, что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можеть-быть, слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

„Начали гибѣнно: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это, — тутъ его превосходительство обратились къ Евстаѳію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—перадѣльте! неосмотрительность? Вводите въ непріятности!—Я раскрылъ было ротъ для чего-то. Хотѣлъ было прощенія просить, да не могъ, убѣжать—покуситься не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда. — Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ—вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатилась и прямо, таѣ—таки прямо, проклятая, къ стопамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, чтѣ я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотъ часъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспоминалъ, что я виѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить пуговку, нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ушахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, выпрямился, да ужъ коли дуракъ, такъ стоять бы себѣ смироно, руки

по швамъ! Такъ иѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она и пристанеть; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потомъ опять на меня взглянули—слушу, говорить Евстафію Ивановичу: какъ же?... посмотрите въ какомъ онъ видѣ?... какъ онъ!... что онъ!... — Ахъ, родная моя, что ужъ тутъ—какъ онъ? Да что онъ? отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился! Слышу, Евстафій Ивановичъ говорить—не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу... Ну облегчите его какъ-нибудь, говорить его превосходительство. Выдать ему впередъ... — Да забралъ, говорить, забралъ, вотъ за столько-то времени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно такія, а поведенія хорошаго и не замѣченъ, никогда не замѣченъ.—Я, ангельчикъ мой, горѣль, въ адскомъ огнѣ горѣль! Я умиралъ! — Ну, говорить его превосходительство громко: переписать же вновь поскорѣе; Дѣвшкінъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки; да послушайте: тутъ его превосходительство обернулись къ прочимъ, раздали приказанія разныя, и всѣ разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспѣшно вынимаетъ книжникъ и изъ него сто-рублевую: вотъ, говорить они—чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите.. да и всунулъ мнѣ въ руку. Я, ангелъ мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; незнаю, что было со мною; я было схватить ихъ ручку хотѣль. А онъ-то весь покраснѣль, мой голубчикъ, да — вотъ ужъ тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя; взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровиѣ своей, словно такому же какъ самъ генералу. Ступайте, говорить; чѣмъ могу... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.”

Такая страшная сцена можетъ не потрясти глубоко только душу такого человѣка, для котораго человѣкъ, если онъ чиновникъ не выше 9-го класса, не стоитъ ни вниманія, ни участія. Но всякое человѣческое сердце, для котораго въ мірѣ ничего иѣть выше и священнѣе человѣка, кто бы онъ ни былъ, всякое человѣческое сердце судорожно и болѣзненно сожмется отъ этой — повторяемъ — страшной, глубоко-патетической сцены... И сколько потрясающаго душу дѣйствія заключается въ выраженіи его благодарности, смѣшанной съ чувствомъ сознанія своего паденія и съ чувствомъ того самоуниженія, которое бѣдность и ограниченность ума часто считаютъ за добродѣтель!...

„Теперь, маточка, вотъ какъ я рѣшилъ васъ и Федору прошу и если бы дѣти у меня были, то и имъ бы пѣвелъ, чтобы Богу молились, то-есть вотъ какъ: за роднаго отца не молились бы, а за его превосходительство важдодневно и вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю—слушайте меня, маточка, хорошенко — клинусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, не смотри на все это, клинусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную помѣтъ изволили. Этими они меня самому себѣ возвратили Этиимъ поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшень передъ Все-вышимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства, дойдетъ до престола Его!...

Другимъ образомъ, но не мнѣ ѿжасна эта картина:

«Сего числа случилось у насъ на квартире до нельзя горестное, ни чѣмъ не объяснимое и неожиданное событие. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка), совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось. Какая тамъ была вина на немъ, за нераденіе и неосмотрительность — на все вышло полное отпущеніе. Пристутили выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегъ, тѣль что онъ и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше, — однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, бѣдный какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается — обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбою ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ стороны, жалъ у каждого у насъ руку, по нѣскольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-то, и выпрямился то, и что у него и слезинки-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такомъ, бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ знаетъ что такое — говоритъ: „честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои“ — и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большую частію прослезились. Ратазьевъ видно хотѣлъ его ободрить и сказалъ — „что, батюшка, честь, когда нечегоѣть; деньги, батюшка, деньги главное; вотъ за что Бога благодарите!“ — и тутъ же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, т. е., не то, что бы прямо неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ какъ-то странно на Ратазяева, да руку его съ плеча своего снялъ. А преждебы этого

не было, маточка! Впрочемъ, различные бываютъ характеры.—Вотъ я, напримѣръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній и уничиженіе изъявляешь, не отъ чѣго иного, какъ отъ пріпадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но впрочемъ не во мнѣ тутъ и дѣло-то!—Да, говорить, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!... и потомъ все время, какъ мы у него были, твердилъ, слава Богу, слава Богу!.. Жена его завѣзала обѣдъ поделикатнѣе, пообильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ страпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда, Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, заали лѣ, не звали его. Такъ себѣ войдѣть, улыбнется, присядеть на стулъ; скажетъ что-нибудь, а иногда и нечего не скажетъ и уйдетъ. У мичмана даже варти въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, напуталъ въ игрѣ какого-то вздора, сдѣлалъ три-четыре хода, и бросилъ играть. Нѣть, говорить, вѣдь я такъ, я это только такъ — и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ коридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно; пожалъ мнѣ руку и отошелъ и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ у нихъ было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говорить женѣ:— „Послушайте, душенька, вотъ я немногого прилагу“ да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на головку руку и долго-долго гладилъ по головкѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женѣ: дескать, а что жь Петинъка? Петя нашъ, Петинъка?.. Жена перекристилась да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ уже умеръ.— Да, да, знаю, все знаю, Петинъка теперь въ царствѣ небесномъ. — Жена видѣть, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говорить ему — вы бы, душенька, заснули. — Да, говорить, я сейчасъ... и немножко,— тутъ онъ отвернулся, полежалъ немногого, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена его не разслышала; спросила его—что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко — ну, думаетъ, уснуль, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась — видѣть, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спить, сѣла и стала работать что-то. Она разсказываетъ, что она работала съ полчаса и такъ погрузилась въ размышеніе, что даже и не помнить о чѣмъ она думала, говорить только, что она и позабыла обѣ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кровать и видѣть, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотрѣть—а ужъ онъ холодѣхонекъ —умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно его громомъ убило. А отъ чего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинъка, что я до сихъ порь опомниться не

могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человѣкъ. Этакой бѣднага, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ, судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда то въ уголъ забѣлась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будуть дѣлать... ужъ не могу самъ наверное сказать. Только жалко! Грустно подумать, что этаѣтъ въ самомъ дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь!.. Погибаешь ни за что...»

Чтѣмъ передъ этою картиною, написанною такою широкою и мощною кистью, чтѣмъ передъ нею мелодраматическіе ужасы въ повѣстяхъ модныхъ французскихъ фельетонныхъ романистовъ! Какая страшная простота и истинна! И кто все это разсказываетъ? — ограниченный и смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвшинъ!..

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частности этого романа: легче перечесть весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ цѣломъ, — превосходенъ. Упомянемъ только о послѣднемъ письмѣ Дѣвшиня къ его Вариньку: это слезы, рыданіе, воиль, раздирающіе душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тѣмъ, это пишетъ ограниченный, смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвшинъ! И читая его, вы сами готовы рѣдать и въ тоже время вы улыбаетесь... Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчаянія въ этихъ простодушныхъ словахъ старика, теряющаго все, чѣмъ мила была ему жизнь: «Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда выѣдете-то, маточки? Вы, можетъ-быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходить баба бѣзчувственная, да мужикъ необразованный пьяница ходить...»

Мы думаемъ, что теперь кстати сказать нѣсколько словъ и о «Двойнике», хотя онъ и не относится къ «Петербургскому Сборнику». Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,— и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа— г.

Голядкинъ — одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на амбиціи людей, которые такъ часто встречаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обзываютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшилъ, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями, решительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ недурно; но болѣзнь обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бѣдныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоить въ томъ, что онъ ходить не въ маскѣ, не интриганъ, действуетъ открыто и идетъ прямую дорогою. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. И такъ, герой романа — сумасшедший! Мысль смѣлая и выполненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитиемъ, указывать на отдельные мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ первого взгляда видно, что въ «Двойникѣ» еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ «Бѣдныхъ Людяхъ». А между тѣмъ, почти общий голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего-де и слѣдуетъ, что обѣ авторѣ направили прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!... Справедливо ли такое заключеніе? — Мы не оби-

нуясь скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что «Двойникъ» нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобы онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и не цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходит отъ бѣдности таланта, — вотъ это-то и есть растянутость; другая происходит отъ богатства, особенно молодаго таланта, еще несозрѣвшаго, — и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Еслибъ авторъ «Двойника» дали намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его «Двойника» все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ, — у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдельное мѣсто, потому что каждое отдельное мѣсто въ этомъ романѣ — верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ «Двойнике» ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ и наскучетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и соѣдь Фока ъль ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ «Двойника» еще не пріобрѣлъ себѣ такта мѣры и гармоніи, и оттого не совсѣмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости даже и «Бѣдныхъ Людей», хотя этотъ упрекъ и идетъ къnimъ меньше, нежели къ «Двойнику». Итакъ, въ этомъ отношеніи, судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ г. Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служить доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своею дорогою, никого не слушая, — или, желая угодить тол-

пѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за не имѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ поддѣльному чувству мѣры?... По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ идти своею дорогою, съ каждымъ днемъ, естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время, онъ долженъ, обязанъ «принимать къ свѣдѣнію», чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ «Двойникѣ» растянутостью, такъ это частое, и, мѣстами, вовсе неизумное повтореніе одинѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ напримѣръ: «Дожилъ я до бѣды, *до эзилѣ я вътакимъ-тообразомъ до бѣды...* Эта бѣда вѣдь какая!... *эка вѣдь бѣда одолѣла какая!...*» (стр. 347). Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романѣ найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ, въ сознаніи своей силы и своего богатства, какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще, «Двойникъ» носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодаго и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что если бы авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой «Двойникъ», чтобы оставить въ немъ одинъ красоты, исключинъ всѣ недостатки,— мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это съ одной стороны показываетъ избытокъ

юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другаго, совершенно чуждаго ему существа; но съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенному воображеніи,—даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенному воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякий читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорять почти одинаковыми языкомъ. Больше указать не на чѣ.

Мы только слегка коснулись обоихъ произведеній г. Достоевскаго, особенно послѣдняго, говорить о нихъ подробно, значило бы зайдти гораздо далѣе, нежели сколько позволяютъ предѣлы журнальной статьи. Такого неизчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣтить и въ талантахъ огромнаго размѣра, — и это богатство видимо мучить и тяготить автора «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника». Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ «Парижскія Тайны», «Вѣчный Жидъ», или «Графъ Монте-Кристо» были растянуты. И съ одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано знать тайны искусства, такъ же, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому, чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины, ни истин-

наго значенія того, что называютъ они «растянутостью»; они знаютъ только, что чтеніе «Бѣдныхъ Людей» нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а «Двойникъ» не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, — такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности — сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ «Двойника», все таки не оторвутся этъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все таки чувствуютъ утомленіе; во вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Чѣмъ же касается до толковъ большинства, что «Двойникъ» — плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ таланте его автора преувеличены, и т. п.—обѣ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью поспѣшать схватиться тѣ самыя люди, которые тѣмъ мудро и окончательно рѣшили по «Двойнику», что у него, или вовсе нѣтъ таланта, или есть да такъ-себѣ, небольшой...

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ по поводу «Бѣдныхъ Людей»; но мы чув-

ствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположениі духа, что хотимъ ограничиться совѣтомъ г. Достоевскому — перепечатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ, приложившій ко второму или третьему изданію «Руслана и Людмилы» всѣ критики и рецензіи, въ которыхъ брали эти поэмы...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ «Петербургскаго Сборника».

«Три Портрета», разсказъ г. Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи, имѣеть всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шель бы эпиграфъ: «Дѣла минувшихъ дней!»..

«Мартингалъ» (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевскаго, исполненъ интереса и по содержанію и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ разсказъ былъ бы естественнѣе, еслибы въ немъ не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ Нѣмецъ и ученъ, едва ли бы *молодой* человѣкъ сталъ открывать свои завѣтныя и страшныя тайны, готовясь, можетъ-быть, умереть насильственную смертю... .

Къ отдѣлу разсказовъ въ альманахѣ должно присовокупить и «Парижскія Увеселенія», легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся Французы и какъ поддѣлываются подъ ихъ способъ веселиться Русскіе, живущіе въ Парижѣ. Эта статья тоже интересна.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цѣлыми двумя, и къ тому еще прекрасными, поэмами. «Помѣщикъ» г. Тургенева — легкая, живая, блестищая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ г. Тургенева нашелъ свой истинный родъ, и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ. Стихъ легокъ, поэтиченъ, блещетъ эпиграммою. Кто-то увѣрялъ печатно, будто «Помѣщикъ» — подражаніе «Евгению Онѣгину»: ужъ не «Энейдѣ» ли

Виргилія? Право, послѣднее предположеніе ничѣмъ не несправедливѣе первого. Первое произведеніе такого рода въ русской литературѣ принадлежитъ Дмитріеву, автору «Модной Жены». Оно было написано въ духѣ и вкусѣ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени, Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ «Графѣ Нулинѣ» и «Домикѣ въ Коломнѣ». А обѣ «Онѣгинѣ» тутъ и поминать нечего, какъ о произведеніи совсѣмъ другаго и притомъ вышаго рода. Пусть успокоится на этотъ счетъ почтенный критиканъ, одаренный такою удивительною способностью находить сходство тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ. Что «Помѣщикъ» г. Тургенева можетъ ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которыми, напримѣръ, очень не нравится, что повѣсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что талантъ Гоголя получилъ европейскую извѣстность); а намъ нравится (и притомъ еще какъ!) и «Помѣщикъ» г. Тургенева и то, что повѣсти Гоголя изданы въ Парижѣ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ «Помѣщику» приложены прекрасныя картинки, рисованныя г. Агинымъ. Мы очень рады слушаю отдать должную справедливость таланту этого молодаго художника. Г. Тиммъ—безспорно лучшій рисовальщикъ въ Россіи, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотря на картинки г. Агина, невольно вспомнишь стихъ Пушкина: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Его картинки къ «Помѣщику»—заглядѣнья!—за исключеніемъ, впрочемъ, четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началѣ прошлаго года, г. Майковъ подарилъ публику прекрасною поэмой — «Две Судьбы»; въ началѣ нынѣшняго года, онъ опять даритъ ее прекрасною поэмой — «Машинка». Рассказывать содержаніе новаго произведенія г. Майкова было бы излишне: оно такъ просто. У бѣднаго чиновника соблазнили

страстно любимую имъ дочь; увидѣвъ ее на гулянѣ, на островахъ, бѣдущую въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаетъ ее; оставленная своимъ любовникомъ, бѣдная Маша, которой вся вина состоитъ въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу — и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ и все. Сюжетъ даже не новъ. Но въ художественномъ произведеніи дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерахъ, въ краскахъ и тѣняхъ разсказа. Съ этой стороны, поэма г. Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizine, какъ институтки, очерчены безподобно; но характеръ Маши, какъ героини поэмы, не совсѣмъ ровенъ и опредѣленъ; чечо-то не достаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы г. Майкова — то, что на вульгарномъ языкѣ называется соединеніемъ патетического элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣніе представлять жизнь въ ея истинѣ. Этой истины много въ поэмѣ. Особенно порадовала насъ въ ней прелестъ комического разговора, который даетъ надежду, что для таланта молодаго поэта предстоитъ еще въ будущемъ богатое развитіе въ такомъ родѣ поэзіи, къ которому, въ началѣ его поприща, никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красотъ поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для поясненія и подтвержденія нашей мысли, выписываемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стопой,  
 Одна съ больной, растерзанной душой:  
 Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!  
 Весь миръ — чужой мнѣ... А отецъ?... старикъ...  
 Оставленный... и онъ... онъ проклялъ тоже!  
 За что жъ? хоть на него взглянуть бы могъ,  
 Все разскказать... а тамъ — пусть проклинаетъ!“  
 Она идѣтъ; сторонится народъ,

Кто молча, кто съ угрозой, кто шепнеть:  
 „Безумная!“ и въ страхѣ отступаетъ.  
 И вотъ знакомый домикъ: меркнулъ день,  
 Зарей вечерней небо обагрилось,  
 И длинная по улицамъ ложилась  
 Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.  
 Вотъ садъ, скамья, поросшая травою  
 Подъ вѣтвами широкими березъ.  
 На ней старикъ. Послѣдній клокъ волосъ  
 Давно ужь выпалъ. Блѣдный онъ казался  
 Однимъ скелетомъ. Ветхій виц-мундиръ  
 Не снять: онъ видно снять не догадался,  
 Прійда отъ должности. Покой и миръ  
 Его лица былъ страшенъ: это было  
 Спокойствіе отчаянья. Уныло  
 Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.  
 Вдругъ слышить вздохъ и листья задрожали  
 Отъ шороха. „Что, ужь не воры ль тутъ?  
 „А пусть все прадуть, пусть все разберутъ,  
 „Вѣдь ужь они... они ее украли“...  
 Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,  
 И чудатся ему рыданья тоже,  
 И голосъ: „что я сдѣлала съ нимъ, Боже!“  
 Не зная какъ, онъ дочь ужь обнималъ,  
 Не въ силахъ слова вымолвить. — Папаша,  
 Простите! — „Что, я развѣ звѣрь иль Жидъ?“  
 — „Простите!“ — „Полно! Богъ тебя простить!  
 А ты... а ты меня простишь ли, Маша?“

Мелкихъ стихотвореній въ «Петербургскомъ Сборникѣ» не-  
 много. Самые интересные изъ нихъ принадлежать перу изда-  
 теля Сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслю; это—  
 не стишкы къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго  
 и современнаго. Лучшее изъ нихъ— «Въ Дорогѣ». Изъ дру-  
 гихъ стихотвореній въ «Сборникѣ», замѣчательны переводы  
 г. Тургенева: «Тьма», изъ Байрона, и «Римская Элегія» Гёте.  
 «Макбетъ» Шекспира, переведенный г. Кронбергомъ,  
 одинъ заслуживалъ бы особой критической статьи, потому что-

это переводъ классической, вполнѣ достойный подлинника. «Макбетъ» — одно изъ самыхъ колосальныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыхъ чудовищныхъ произведений Шекспира, гдѣ, съ одной стороны, отразилась вся исполинская сила творческаго его гenія, а съ другой, все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значеніи вѣдьмъ, играющихъ въ «Макбетѣ» такую важную роль: одни хотѣли видѣть въ нихъ просто вѣдьмъ, другіе — олицетвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свирѣпствовавшихъ на днѣ души его; третьи — поэтическія аллегоріи. Справедливо только первое изъ этихъ мнѣній. Шекспиръ — можетъ-быть, величайший изъ всѣхъ геніевъ въ сферѣ поэзіи, какихъ только видѣть міръ; но въ то же время, онъ былъ сынъ своего времени, своего вѣка, того варварскаго вѣка, когда разумъ человѣческій едва началъ пробуждаться отъ своего тысячелѣтняго сна, когда въ Европѣ тысячами жгли колдуновъ, и когда никто не сомнѣвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ ~~написано~~ силою. Шекспиръ не былъ чуждъ слѣпоты своего времени, — и вводя вѣдьмъ въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думалъ дѣлать изъ нихъ философическія олицетворенія и поэтическія аллегоріи. Это доказывается, между прочимъ, и важною ролью, какую играетъ въ «Гамлетѣ» тѣнь отца героя этой великой трагедіи. «Другъ Горацио», говоритъ Гамлетъ: «на землѣ есть много такого, о чёмъ и не бредила ваша философія». Это убѣжденіе Шекспира, это говоритъ онъ самъ, или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видѣлъ и Богъ-вѣсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходѣ Бирнамского Лѣса и въ томъ обстоятельствѣ, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденного женою. Дѣло оказалось чѣмъ-то въ родѣ плохаго

каламбура; но такова творческая сила этого человѣка, что несмотря на всѣ нелѣпости, которыя ввелъ онъ въ свою драму, «Макбетъ» все-таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готические храмы среднихъ вѣковъ. Что-то сурово-величаво-грандиозно-трагическое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судьбѣ; кажется, имѣешь дѣло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ человѣческой природы, сколько рѣшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!... Вотъ доказательство, что время не губитъ генія, но геній торжествуетъ надъ временемъ, и что каждый моментъ всемирно-исторического развитія человѣчества даетъ равно-обильную жатву для поэзіи. Пройдутъ еще два вѣка, а можетъ-быть и меньше, когда будутъ дивиться варварству XIX столѣтія, какъ мы дивимся варварству XVI-го; не найдутъ въ немъ Шекспира, но найдутъ Байрона и Жоржа Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человѣчество, а спираль, гдѣ каждый послѣдующій кругъ обширнѣе предшествующаго. Нашъ вѣкъ имѣетъ передъ XVI-мъ то важное преимущество, что онъ заранѣе знаетъ, въ чемъ послѣдующіе вѣка должны увидѣть его варварство...

У насъ было довольно переводовъ стихами драмъ Шекспира. Лучшіе изъ нихъ доселѣ принадлежали г-ну Вронченко (Гамлетъ и Макбетъ). Но переводы г. Вронченко, вѣрно передавая духъ Шекспира, не передаютъ его изящности. Г. Кронебергъ умѣлъ счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вѣренъ и духу и изящности подлинника, исполненъ, въ одно и то же время, и энергіи и легкости выраженія. Это рѣшительно не только лучшій, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводъ одной изъ лучшихъ трагедій Шекспира, такъ же, какъ его же переводъ «Двѣнадцатой Ночи» («Отечественные Записки» 1841,

томъ XVII) есть единственный и превосходный переводъ однай изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретического содержанія въ «Петербургскомъ Сборникѣ». «Капризы и Руздумье», Искандера, автора повѣсти: «Кто Виноватъ?» (въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года) и разныхъ статей литературно - философскаго содержанія, — есть родъ замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Не можемъ удержаться, чтобы не выписать небольшаго отрывка:

„Наука, государство, искусство, промышленность идутъ развиваясь во всей Европѣ стройно, широко; впереди великие мыслители, великие государственные люди, великие художники, предпримчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и вѣшнихъ необходимостиахъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для иеи нѣть ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идилій. Только дѣта юности обстановлена <sup>— умственнѣе</sup>: а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви — утомительное semper idem закулисной жизни, ежедневной жизни — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни; впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, мѣни образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же, люди, какъ Испанцы, хотятъ только сохранить *фузросы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соответствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивишься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобы въ одно и то же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходки рыцари среднихъ вѣковъ, самоотверженныя нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей сивандскихъ и своеокрыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣщенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣеть никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда — не болѣе. У каждого человѣка за его офиціальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; офиціально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный

бѣденъ, офиціально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины,—privatim онъ береть страшные проценты, ргиватим онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарновъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отлагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гиусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лгать это, конечно, много способствуетъ къ растѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ родятся и умираютъ цѣлые поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣгалось совершенно естественнымъ, даже моральными: мы узнаемъ человѣка благовоспитанного — потому, что никогда не добѣшься отъ него, чтобы онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

„Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснила главныхъ явлений всемирной жизни, пока не бросится въ міръ подробнотей. Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстая артерія и вены, не огромные куски мяса могутъ разрвать важнѣйшіе вопросы физіологии, а волосянные сосуды, а глыбчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самые огненные energіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьѣзно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіационныхъ изчисленіяхъ, о томъ, когда ледь пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ близкимъ, присны, слугамъ и пр. и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Пасиаль говорить, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угрызеніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любить разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькия дѣти, боюсь темноты; мвѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прячь не прачь — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein  
 Still und fein gasponnen,  
 Kommt—wie kann es anders sein?  
 Endlich an die Sonnen.

„Изрѣдка какое-нибудь преступлѣніе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься... для того, чтобы потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ, который не найдеть въ душѣ жестокости, чтобы убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ добре имъ ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, разсказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него» — скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства» — скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто синисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы, и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Деѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякий прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобы преступлѣніе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобы посмотрѣть какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаются, а не для того чтобы видѣть мещанска проливаемыя слезы.

„Людямъ необходимы декорации, обстановка, надпись; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говорить прозой—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса—и мы не плачемъ надъ ними.

„Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; сдѣлствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышь—якомъ своего мужа, или суды отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное—въ этомъ никто не сомнѣвается: да что же собственно нового въ этомъ убийствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, вѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго,—разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минерального яду; а что далъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣнихъ, умоляя спасти ихъ имѣніе, ихъ честь—продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего

эти ввалившіяся щеки, отъ чего ея глаза, сдѣлавшіяся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфилъ и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено: ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реагенцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего не достаетъ этой женщины? она утопаетъ въ роскоши» — говорить глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ,—себя наряжаетъ: онъ ее наряжаетъ потому, что она его, на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера.—«Все такъ, — говорить умнѣйшіе,—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумиѣ переносить свою судьбу.»

А позвольте спросить: возможно ли хроническое самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не вожность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали—это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву — да гдѣ же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву—такая жертва, само собою разумѣется, не приносится ни отцу ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на купѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви, и не найдя ея, началь, раг *dépit*, тихое, прѣкное, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту раг *force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отправляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашнаго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гіени, сказалъ бы я, еслибы гіени улыбались: хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ усть, когда хотять кусать. Умри жена, — супругъ воздвигнетъ монументъ; обѣ немъ будуть жалѣть больше, нежели обѣней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами отированными; онъ подавая ей психического мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

«Людямъ непреимѣнно надобно видимые знаки, несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ», — и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, онъ все вынесъ!» Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему не навидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполния свою обязанность, не смѣеть идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тажело—и это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ

съ семейными несчастіями смѣшино. Люди, по своему несовершеннолѣтію, только тѣ несчастія считаютъ величими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синяя пятна, какъ будто хирургическая болѣзнь сильнѣе нравственныхъ.

„Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча, — на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной видныются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдѣаетъ, слезы, обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми уѣкаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благородственно жить и пить цѣлый день, тучиѣть, и спать безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужь непремѣнно кому-нибудь да солено жить.

„Отчего все это? Я полагаю, что вещества больного мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіи шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить какъ устроить домашній бытъ свой.

„Право таъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, нянки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее, — дѣло дѣтское!“

Въ статьѣ своей «О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ» г. Никитенко разсматриваетъ одинъ изъ интереснѣйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно рѣшаеть его съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ, и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народнымъ и общечеловѣческимъ. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывокъ не даль бы о ней никакого понятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О статьѣ г. Бѣлинского «Мысли и замѣтки о русской литературѣ», по извѣстнымъ публикѣ отношеніямъ ея автора къ нашему журналу, мы не считаемъ себя въ правѣ говорить, предоставляемъ судить о ней читателямъ. Думаемъ, однокожъ, что во всякомъ случаѣ она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ «Петербургскаго Сборника» упредилъ наше о немъ сужденіе. Дивиться этому успѣху нечего: такой альманахъ — еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, виѣшная изящность изданія, — все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

## II.

### БІБЛІОГРАФІЯ.

.II

ЛІФАЯДІана

отъ писателей и художников, а также альбомов с картинами  
отъ изобретенных мастеров, а не по коротким описаниям  
и схемам, какъ это было въ прошломъ времени; — этотъ видъ изданій, пожалуйста,  
всего широкой публики интересуетъ очень чрезвычайно — это  
одинъ изъ видовъ изданій, которые можно назвать настоящими книжками.

**МЕЛЬНИКЪ. (Le meunier d'Angibault).** Романъ Жоржа  
Занда. Спб. 1845.

Обыкновенно, каждый новый годъ начинается у насъ кни-  
гами, принадлежащими старому году. Первые книжки журна-  
ловъ появляются первого января нового года, следовательно,  
составляются и печатаются въ декабрѣ прошлого года. Рѣдко  
въ библіографіи первыхъ книжекъ журналовъ промелькнетъ  
книга подъ фирмой нового года, да и та — самозванка; тутъ  
явно счастливый временщикъ, новый годъ, отбиваешь заслугу  
старого, нагло присвоивая себѣ порожденныя имъ книги и хва-  
стаясь чужимъ добромъ. Отчеты о книгахъ нового года начи-  
наются только въ февральскихъ книжкахъ журналовъ, да и въ  
нихъ большая часть книгъ принадлежитъ старому году. Но въ  
нумерахъ журналовъ за февраль мѣсяцъ можно по крайней мѣрѣ  
встрѣтить рецензіи болѣе или менѣе интересныхъ книгъ, ко-  
торые обыкновенно торопятся выйтти въ продолженіи января.  
А между тѣмъ, отъ первыхъ-то книжекъ журналовъ нового  
года публика и ждетъ всевозможныхъ чудесъ, особенно отъ  
отдѣла библіографіи. Наши издатели къ январю торопятся  
выпускать преимущественно дѣтскія книжки съ картинками,  
что составляетъ собственно не книжную, а игрушечную торго-  
влю, — товаръ для подарковъ къ новому году. Къ этому же  
разряду надо причислить и офиціальные поздравленія съ но-  
вымъ годомъ, въ стихахъ. Кстати: въ кипѣ новыхъ книгъ, вы-

шедшихъ въ прошломъ мѣсяцѣ, мы къ крайнему удовольствію не нашли ни одной, которая бы вся написана была стихами. Это добрый знакъ и хорошее предвѣстіе для наступающаго года. Дѣйствительно, наступающій годъ — мы знаемъ это навѣрное, — долженъ сильно возбудить вниманіе публики однимъ новымъ литературнымъ именемъ, которому, кажется, суждено играть въ нашей литературѣ одну изъ такихъ ролей, какія даются слишкомъ немногимъ. Чтѣ это за имя, чье оно, чѣмъ замѣчательно, обо всемъ этомъ мы пока умолчимъ, тѣмъ болѣе, что все это сама публика узнаетъ на дняхъ. Наступающій годъ, сколько намъ известно, намѣренъ дебютировать огромнымъ альманахомъ въ форматѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», но еще толще и плотнѣе, красиво изданиемъ, наполненномъ статьями въ стихахъ и прозѣ, съ картинками и безъ картинокъ. Въ этомъ альманахѣ будетъ не только хорошая, изящная проза, но и хорошия, изящные стихи, чтѣ теперь такая рѣдкость. Но куда мы можемъ сказать только, что не многимъ новымъ годамъ удавалось начать свое литературное поприще такою блестящую обновою... Но и на этотъ разъ, счастливецъ новый годъ блеснетъ трудами и достояніемъ своего предшественника, такъ несправедливо уже забытаго легкомысленною толпою...

Въ ожиданіи того, что скоро будетъ, поговоримъ о томъ, что уже есть. Съ одной стороны, мы очень рады, что можемъ открыть нашу «Библіографическую Хронику» нового года такимъ произведеніемъ, какъ «Мельникъ» Жоржа Занда; съ другой стороны, это памъ даже очень прискорбно. Дѣло въ томъ, что чѣмъ выше художественное произведеніе, тѣмъ не-пріятнѣе видѣть его или произвольно передѣланымъ, или неудачно переведеннымъ, или то и другое вмѣстѣ. Le Meunier d'Angibault есть мастерская картина нравовъ средней bourgeoisie современной Франціи. Въ этомъ романѣ есть лицо типическое, генерическое — лицо г. Бриколена, истиннаго пред-

ставителя невѣжества, жадности къ деньгамъ, скупости, низости чувствъ, ограниченности ума, мелкости души того сословія во Франціи, которое утвердило свое гражданское и политическое владычество на золотомъ мѣшкѣ. Это лицо нарисовано по истинѣ геніальною кистью. Но оно не одно интересное лицо въ романѣ. Кромѣ героя романа — мельника, представителя живыхъ силъ и благородныхъ инстинктовъ простаго народа во Франціи, тутъ поперемѣнно поражаютъ читателя мастерски очерченные образы то нищаго Кадоша, то сумашедшей дочери Бриколена, несчастной жертвы варварскаго разсчета «дражайшихъ» родителей, — матери мельника, отца и матери г. Бриколена, и другіе. Но есть и большой недостатокъ въ этомъ романѣ: въ немъ четыре героя — два мужескаго и два женскаго пола, и изъ нихъ первая пара совсѣмъ не соответствуетъ требованіемъ художественного романа: г-жа Блашамонъ и Ари Леморъ — мечтатели, переслащенныя до приторности. Хотя искусство автора умѣло соблюсти единство дѣйствія, несмотря на двойственность интереса, тѣмъ не менѣе характеры этихъ двухъ лицъ были причиной не одной скучной страницы въ романѣ. Но это все не такой недостатокъ, который могъ бы помѣшать роману быть переведеннымъ по-русски. Дѣло въ томъ, что мечты влюбленной четы, рисующейся на первомъ планѣ, такого свойства, что не могутъ быть переданы русскимъ языкомъ; поэтому, переводчикъ позволилъ себѣ кое что передѣлать, пересочинить и переправить, отчего и вышло что-то довольно странное и при томъ непріятно-странные.

*новоселье. Изданіе второе. Спб. 1845. Девять частей.*

«Новоселье» — старый нашъ знакомецъ, съ которымъ мы познакомились въ 1833 и 1834 годахъ, — стало-быть, назадъ тому больше десяти лѣтъ, и знакомство съ которымъ тогда было намъ очень пріятно. Онъ явился въ эпоху литературнаго перелома, кризиса, въ ту минуту, когда Петербургъ задумалъ перебить у Москвы литературное первенство, которымъ она дотолѣ пользовалась. Первый томъ «Новоселья», вышедши въ 1833 году, былъ предвѣстiemъ «Библіотеки для Чтенія» — журнала, который совершенно измѣнилъ литературные нравы и обычай, объявивъ, что онъ желаетъ отъ нашихъ литераторовъ и писателей прежде всего дѣятельнаго, а тамъ, если они хотятъ, пожалуй, и безкорыстнаго содѣйствія, и что за то и другое онъ ровно будетъ платить имъ государственно-ходячю монетою. Нельзя сказать, чтобы Библіотека для Чтенія не имѣла полезнаго вліянія на русскую литературу и въ чисто литературномъ отношеніи: ея шуточки, перѣдко острыя и меткія, почти всегда забавныя, не мало способствовали охлажденію дѣтски-восторженного тона, который господствовалъ въ нашей литературѣ, и который не допускалъ шутки, но обо всякомъ вздорѣ любилъ говорить свысока, съ видомъ глубокаго убѣжденія. «Библіотека для Чтенія» воздвигла гоненіе на стихи съ дѣвою и луною, на «сіи, оныя, кои, поелику, каковыя и таковыя». Все это составляетъ ея неотъемлемую заслугу — въ прошедшемъ. Со временемъ ея появленія, и журналы, и книги, и повѣсти, и статьи — все это перемѣнило прежніе микроскопическіе размѣры на гигантскіе. Люди, одаренные талантомъ и страстью къ литературѣ, и при «Библіотекѣ для Чтенія» такъ же точно писали по вдохновенію, а не изъ корысти, но только, можетъ-быть, сдѣлались дѣятельнѣе; корыстные же, въ свою очередь, не сдѣлавшись безкорыстнѣе, все таки сдѣ-

лались дѣятельнѣе, — и литература русская оживилась на иѣсколько лѣтъ сряду. Вотъ какого журнала «Новоселье» было предвѣстіемъ! Чѣмъ-то новымъ и свѣжимъ отзывался этотъ альманахъ. И по наружности, онъ не былъ похожъ на прежніе микроскопическіе альманахи, состоявшіе изъ мелкихъ стихотвореній, да изъ крохотныхъ отрывковъ изъ небольшихъ повѣстей и поэмъ. Онъ смотрѣлъ какъ-то весело, и большая часть публики отъ души хохотала, читая «Большой Выходъ Сатаны» и другія статьи барона Брамбеуса, тогда еще новаго лица въ русской литературѣ; меньшая часть публики читала съ удивленіемъ и восторгомъ «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», Гоголя. Теперь, когда этому прошло уже слишкомъ дѣсять лѣтъ, большинство и меньшинство публики совершенно перемѣнилось въ отношеніи къ этимъ писателямъ... Десять лѣтъ — большой періодъ времени для русской литературы! И теперь «Новоселье» интересно, какъ живой памятникъ литературной эпохи, которая теперь уже — дѣла давно минувшихъ дней, преданье старины глубокой!

Поэтому, мы очень были удивлены появленіемъ втораго изданія «Новоселья». Альманахъ можетъ быть изданъ, пожалуй, десять разъ сряду, но непремѣнно на такомъ условіи, чтобы всѣ эти десять изданій шли непрерывно одно за другимъ, съ короткими промежутками времени между однимъ и другимъ. Это свидѣтельствовало бы о необыкновенномъ успѣхѣ альманаха, который желало бы имѣть въ рукахъ огромное число читателей. Но альманахъ, котораго успѣхъ въ свое время былъ хороши, и притомъ въ такой мѣрѣ, что одного изданія достало для всѣхъ, желавшихъ купить его,—вдругъ ни съ того, ни съ сего издать этотъ альманахъ въ другой разъ черезъ десять слишкомъ лѣтъ... Это не можетъ не показаться удивительнымъ, по самой простой причинѣ: все, что было

лучшаго въ этомъ алманахѣ, т. е. статьи Пушкина, Жуковскаго, Крылова, Гоголя и другихъ извѣстныхъ писателей, давно уже перепечатаны въ полныхъ изданіяхъ ихъ сочиненій. Чѣмъ же остается въ «Новосельѣ» неперепечатаннаго? — Статьи барона Брамбеуса, уже значительно поблекшія, уже едва возбуждающія улыбку тамъ, гдѣ тогдѣ заставляли хохотать. Но, вмѣсто вторичної перепечатки ихъ въ алманахѣ, для публики интереснѣе было бы увидѣть изданіе всѣхъ сочиненій этого писателя: тогда, по крайней мѣрѣ, сама собою обозначилась бы цѣнность его произведеній... Чѣмъ же еще остается въ «Новосельѣ» достойнаго перепечатанія? Неужели статьи: «Кіевскія Вѣдьмы», «Омаръ и Просвѣщеніе», «Ничто, или алманачная статейка о Ничемъ», «Воспоминанія», «Русскій Икаръ», «Раскольникъ», «Призракъ», Полдень въ Венеціи», «Михаилъ Никитичъ Романовъ», «Две Розы», «Отрывокъ изъ драматической поэмы», «Домовой», «Мудреная приключенія квартального надзирателя», «Премьеръ-Майоръ», «Прадѣдушкина Женитьба», «О Любви къ Ближнему», «Разговоръ Души съ Тѣломъ», «Русская Добросовѣстность»?... Воля наша, а намъ кажется, что публика охотно уволила бы издателя отъ перепечатки всего этого хлама.

Кажется, «Новоселье» и само это чувствовало, и потому почло за нужное, во второмъ изданіи, попришарядиться щеголемъ по послѣдней модѣ: оно явилось въ лучшемъ форматѣ, на лучшей бумагѣ, напечатанное лучшимъ шрифтомъ и украсилось картинками и политипажами... Не знаемъ, помогутъ ли ему эти прикрасы....

**ЕЛКА. Подарок на Рождество.** Азбука съ примерами постепенного чтения. Спб. 1845.

**ПРЕДАНИЕ О ГРАФИИ БЕРТЬ (,) или ЗАМОКЪ ВИТСГАУ.** Сочинение Александра Дюома. Спб. 1845.

**ДОНЬ-КИХОТЬ ЛАМАНЧСКІЙ.** Рассказъ для дѣтей. Три книжки. Спб. 1846.

**ПУТЕШЕСТВІЕ ВОКРУГЪ СВѢТА,** изд. Ф. Студитскимъ. Южная Европа. Спб. 1846.

**МЕРИ И ФЛОРА,** повѣсть для дѣтей. Переводъ съ англійскою Александрь Пшимовой. Спб. 1846.

**КАИНКУЛЫ ВЪ 1844 ГОДУ, или ПОѢЗДКА ВЪ МОСКВУ.** Сочинение Александры Пшимовой. Спб. 1846.

**КАРТИНЫ ИЗЪ ИСТОРИИ ДѢСТВА ЗНАМЕНІТЫХЪ ЖИВОПИСЦЕВЪ.** Переводъ съ французскаго. Подъ редакціею М. Чистякова. Спб. 1846.

**МАТЬ НАСТАВНИЦА, или разговоры о многочисленныхъ предметахъ, образующихъ умъ и сердце полезнѣшими познаніями, представленное (??!!) въ разговорахъ матери съ своими дѣтьми.** Спб. 1845.

**АЛЬМАНАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ.** Украшенный виньетками и рисунками З. Ковригина. Спб. 1845.

**РОБИНСОНЪ.** Рассказъ для дѣтей. Спб. 1845.

**ФАНТЕОНЪ РУССКИХЪ БАСНОПИСЦЕВЪ.** Спб. 1845.

**МАЛЕНЬКІЯ ДѢТИ.** Повѣсти Блажшара, для дѣтей первого возраста. Издание второе значительно исправленное. Спб. 1845.

**ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ДЛЯ ДѢТЕЙ.** Спб. 1845.

Наконецъ литература наша начинаетъ обращать вниманіе на дѣтей и заботиться о доставлении имъ читательской пищи, способной развивать ихъ умъ и сердце. Странно, что она хлопочеть о дѣтяхъ одинъ только разъ въ году — отъ праздника Рождества до праздника Пасхи, какъ-будто въ убѣжденіи, что умъ и сердце дѣтей способны къ развитию именно только въ это время. Иной скептикъ, пожалуй, увидитъ тутъ чистую

спекуляцію со стороны русской литературы, или лучше сказать, со стороны составителей, переводчиковъ и издателей дѣтскихъ книгъ, — увидитъ ихъ иѣжную заботливость больше о своемъ собственномъ карманѣ, нежели о головахъ и сердцахъ дѣтей. Онъ скажетъ, пожалуй, что эти книги издаются передъ праздниками какъ игрушки, которыя покупаются «дражайшими» родителями для подарковъ дѣтямъ... Но скептики такой народъ, который не вѣритъ ничему высокому и прекрасному, никакому безкорыстію, особенно, если это безкорыстіе выгодно для кармана безкорыстныхъ людей. И потому, не будемъ слушать злостныхъ навѣтовъ и вишеній, и воздадимъ должную дань хвалы безкорыстнымъ авторамъ, переводчикамъ и издателямъ тринацдцати книжекъ, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ нашей статьи.

Мнѣнія о полезности и необходимости дѣтскихъ книгъ теперь раздѣлились на двѣ противоположныя стороны. Одна утверждаетъ, что безъ этихъ книжекъ дѣтямъ несть спасенія; другая говоритъ, что они не только бесполезны, но и положительно вредны, и что если дѣтямъ должно читать что-нибудь кромѣ учебниковъ, такъ это книги, которыя читаются и взрослыми, разумѣется, при условіи строгаго выбора. Мы сами много думали объ этомъ вопросѣ, и теперь рѣшительно объявляемъ себя на сторонѣ втораго мнѣнія. До семи, или около семи лѣтъ, воспитаніе дитятъ должно быть преимущественно физическое, но не въ духѣ почтенной старины, которая буквально держалась значенія слова «воспитывать» и закармливала дѣтей чуть не на смерть, такъ что матерія подавляла въ нихъ духъ, и они смотрѣли не дѣтьми, а хорошо откормленными телятами, барашками, или поросятами. Хорошо воспитанный ребенокъ не долженъ быть ни животнымъ, ни человѣкомъ, а ребенкомъ: лицо его должно носить на себѣ отпечатокъ здоровья, веселости, живости, ясности, и на немъ должно отражаться не сто-

лько присутствіе ума, сколько отсутствіе тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитіе въ дѣтяхъ такъ же вредно, какъ и развитіе тѣла въ ущербъ интеллектуальности: оно вредить правильному физическому развитію и, следовательно, вредить здоровью—первѣйшему и драгоцѣнѣйшему изъ всѣхъ благъ и даровъ жизни. Говорятъ, что сильно, не полѣтамъ развитыя дѣти бывають подвержены мозговымъ воспаланіямъ, именно по причинѣ этой развитости. Развивать дѣтей должна наука, ея постепенное, медленное, но тѣмъ болѣе вѣрное изучаніе, а не книжки, писанныя для забавы и пріучающія дѣтей къ поверхностности, легкомыслію и мечтательности. Итакъ, до семи лѣтъ пусть дитя ъестъ, пить, спить, играетъ и говоритъ, а съ семи пусть оно, сверхъ всего этого, еще и учится. Чѣмъ же наполнить время, остающееся ему отъ ученія?—Игрою, рѣзвостью, бѣганьемъ, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется къ своему двѣнадцатилѣтнему возрасту, и игры не будутъ уже вполнѣ удовлетворять его, когда пробудится въ немъ потребность, удовлетворять чѣмъ-нибудь и фантазію и умъ,—тогда давайте ему романы Вальтера Скотта и Купера; но только и тутъ не давайте ему зачитываться. Почему бы, напримѣръ, не дать ему въ руки «Донъ-Кихота», не искаженного, не передѣланнаго? Для дѣтей должны существовать не дѣтскія книги, но особенные изданія книгъ, писанныхъ для взрослыхъ,—изданія, въ которыхъ должно быть исключено все такое, о чёмъ имъ рано знать, все, что можетъ дать ихъ фантазіи вредное для здоровья и нравственности направлениe. Такимъ образомъ, должно замѣнить ночную сцену въ «Донъ-Кихота», гдѣ драка рыцаря печального образа и его оруженосца съ погонщикомъ муловъ происходитъ отъ трактирной служанки, условившейся прійтти къ погонщику на постель. Но опошливать для дѣтей великія произведенія, приоравливая ихъ къ дѣтскому возрасту,—ни на что не похоже: великія про-

изведенія дѣлаются вздорными сказками, и дѣтямъ отъ нихъ несть никакой пользы. Сказочки и повѣсти, которыми напитываются малолѣтніхъ дѣтей нарочно для нихъ составляемыя книжки, сильно возбуждаютъ въ нихъ самую опасную изъ душевныхъ способностей—фантазію, и дѣлаютъ изъ дѣтей мечтателей, книжниковъ, резонѣровъ, записныхъ читальщиковъ. Воля ваша, а гораздо пріятнѣе видѣть ребенка весело, шумливо, но прилично развивающимся, нежели сидящимъ не за учебною книгою. Можно давать дѣтямъ и книги для забавы, по преимущественно съ картинками, съ объяснительнымъ текстомъ, лишеннымъ особенной занимательности. Въ такомъ случаѣ картинки непременно должны быть хороши, а текстъ писанъ правильнымъ хорошимъ языкомъ... Вообще, это предметъ обширный, о которомъ многое можно сказать, чего теперь не позволяетъ намъ ни место, ни время. И потому обратимся къ книжкамъ, заглавія которыхъ выставлены выше.

Русская азбука, названная «Елкою», есть решительно первая хорошая книга въ этомъ родѣ, какую мы встрѣтили въ продолженіе всего времени, какъ занимаемся ex-officio разборомъ книгъ. Въ ней есть методъ, котораго достоинства нельзя не признать съ первого взгляда. Издана она изящно: бумага, печать, исправность корректуры, ваконецъ, вкусъ въ типографическомъ отношеніи,— все это заслуживаетъ полной похвалы. Сверхъ того, «Елка» изукрашена множествомъ прекрасныхъ политипажей. Авторъ этой азбуки—женщина, г-жа Аниа Драганъ. Это имя съ сихъ поръ слѣдится почетнымъ именемъ между всѣми писателями для дѣтей.

«Преданіе о графинѣ Бертѣ»—волшебная сказка для дѣтей, г-на Александра Дюма. По содержанію и изложенію (о языкѣ скажемъ ниже), она можетъ считаться одною изъ лучшихъ сказокъ этого рода. Издана она со всевозможною типографическою роскошью — бумага и печать могли бы напомнить со-

бою парижскія изданія, еслибъ множество безъ нужды и безъ смысла патыканыхъ заглавныхъ буквъ не пестрили страницъ крайне безвкусно; картинки—прелесть. Но ужъ видно, судѣй угодно, чтобъ русская книга почти всегда на чемъ-нибудь да споткнулась: русское изданіе «Преданія о графинѣ Берть» споткнулось на грамотности, да еще какъ!—Судите сами: на первой же страницѣ напечатана фраза: «Кто такое была графиня Берта!... Мы подумали было сперва, что это опечатка, но какъ-то, заглянувъ въ оглавленіе, и тамъ увидѣли эту же злополучную фразу: «Кто такое была графиня Берта». Читаемъ далѣе—и не вѣримъ глазамъ своимъ:

„Любезный графъ, замокъ нашъ старѣеть и угрожаетъ развалиной; мы не можемъ дольше оставаться безопасными въ этомъ дряхломъ жилищѣ; я думаю, если вы согласны, что пора намъ выстроить новое (стр. 6).

По каковски это?... Но довольно! Судя по этимъ образчикамъ языка и слога, можно подумать, что это книжка переведена какою-нибудь Чухонкою. Хороши также стишкы въ этой книгѣ:

Замки, затворы суть для насъ  
Немощныя, напрасныя преграды,  
Невиннаго дитати жалкій *гласъ* (*запятая*)!  
Проникъ во миѣ, лвишъ меня отрады  
Въ могилѣ тихой, вѣковой,  
И прахъ внезапно тѣянный мой  
Ожилъ вновь юною душой...

и такъ далѣе... Бѣдныя дѣти! какое красивое чудовище безграмотности приготовлено на вашу погибель!..

«Донъ-Кихотъ Ламашскій»—довольно пошлая сказка, сдѣланная изъ превосходившаго романа. Даже эпизодъ о Дульчинеѣ Тобозской и самое имя ея исключены изъ этой книжонки. По крайней мѣрѣ она грамотно написана, красиво издана, и къ ней приложено шесть или семь картинокъ довольно недурныхъ.

«Путешествие Вокругъ Свѣта»—хорошо написанная и очень полезная для дѣтей книжка, если только полезно учить дѣтей забавляя и пріучая такимъ образомъ ихъ къ поверхностному знанію всего по немножку.

«Мери и Флора»—насквозь проникнутая чистѣйшею правственностью въ англійскомъ духѣ и пріятнымъ слогомъ переведенная повѣсть.—«Каникулы 1844 года или Поѣздка въ Москву»—книжка, написанная тоже весьма пріятнымъ слогомъ.

Въ «Картинахъ изъ исторіи дѣтства знаменитыхъ живописцевъ дѣти не поймутъ самого главнаго: что такое живопись и живописецъ», все же остальное будетъ имъ понятно въ этой книжкѣ, въ которой картины порядочны, но картинки могли бы быть лучше.—Безграмотное заглавіе «Матери Наставницы», въ которомъ есть «разговоры, представленное въ разговорахъ», достаточно показываетъ какого рода эта книжонка.

«Альманахъ для дѣтей»—старый нашъ знакомецъ, въ которомъ прежніе черные политипажи (взятые некстати изъ книжки г. Кирилова: «Типы Современныхъ Нравовъ») превратились теперь въ раскрашенныя картинки. Все остальное такъ же плохо, какъ и было.

«Робинзонъ»—издашіе книгопродавца Василья Полякова: этимъ все сказано!

Въ «Пантеонѣ Русскихъ Баснописцевъ» помѣщены басни Крылова, Дмитріева, Измайлова, Хемницера, Хераскова, Ломоносова, Сумарокова, МАЦНЕВА, Хвостова, АГАФИ, ЛОБЫСЕВИЧА, Алипанова, ЛАДЫЖИНСКАГО, Майкова, Невѣдомскаго, РЖЕВСКАГО, СОБОЛЕВА... Вотъ ужъ подлинно всякаго жита по лопатѣ! И все это умѣстилось на 124 страничкахъ въ 16-ю долю листа! Какъ полезно будетъ читать дѣтямъ такие вирши, какъ эти:

Баснь учить быть судьбѣ послушныиъ намъ всегда,  
И тако мы свой вѣкъ пребудемъ безъ вреда!

«Маленкія дѣти» — проглупенькія сказочки съ дрянными картинками.

«Краткую Исторію Петра-Великаго для дѣтей», за неимѣніемъ лучшей, можно дать дѣтямъ въ руки, но не иначе какъ вырвавъ изъ нея уродливыя картинки.

---

*ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ, изданный Н. Некрасовымъ. Спб.  
1846.*

Всему читающему русскому миру известно, что г. Некрасовъ сдѣлалъ страшное литературное преступленіе; не будучи знаменитымъ литераторомъ, т. е., лѣтъ двадцать не печатая своего имени подъ всякаго рода сочиненіями, и, следовательно, не приобрѣтя права поправлять чужихъ сочиненій, хотя бы они были лучше его собственныхъ, онъ издалъ очень интересный сборникъ статей подъ именемъ «Физіологіи Петербурга», гдѣ поправлялъ только свои собственные статьи, не касаясь чужихъ... Да гдѣ жь тутъ преступленіе? мы и сами не видимъ его; но есть люди, которые находятъ тутъ преступленіе, о чёмъ и объявляютъ во всеуслышаніе. Но г. Некрасовъ не вѣритъ справедливости обвиненія, что будто для изданія сборника, непремѣнно нужно имѣть право поправлять чужія статьи, — и вотъ снова дарить публику прекраснымъ сборникомъ, въ которомъ онъ опять-таки поправлялъ только то, что было написано имъ самимъ.

Такихъ альманаховъ, какъ «Петербургскій Сборникъ», у насъ еще не бывало. По формату, числу листовъ и изящности изданія, онъ напоминаетъ собою «Сто Русскихъ Литераторовъ», что же касается до содержанія, то съ этой стороны «Сто Русскихъ Литераторовъ» ни сколько не напоминаютъ

собою «Петербургского Сборника». Не говоря о прекрасномъ переводе «Макбета» (съ подлинника) г. Кронеберга, о поэмахъ гг. Тургенева и Майкова, и о другихъ статьяхъ этого альманаха, что все, вмѣстѣ взятое, могло бы дать цѣну всякому такого рода сборнику,—въ «Петербургскомъ Сборникѣ» напечатаанъ романъ: «Бѣдные люди» г. Достоевскаго—имя совершенно неизвѣстное и новое, по которому, какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ. Въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» русская публика прочтеть и еще романъ г. Достоевскаго, «Двойникъ»—этого слишкомъ достаточно для ея убѣжденія, что такими произведеніями обыкновенные таланты не начинаютъ своего поприща. Но и безъ «Бѣдныхъ Людей» г. Достоевскаго, о «Петербургскомъ Сборникѣ» можно было бы сказать больше, нежели сколько позволяютъ тѣсныя рамы рецензіи. Если бы «Бѣдные Люди» вышли даже отдельною книжкою, то и тогда о нихъ нельзя было бы говорить иначе, какъ въ отдельной критической статьѣ, потому что при разборѣ подобнаго произведенія, обыкновенные похвальные фразы, какъ бы онѣ въ сущности ни были справедливы, не могутъ имѣть мѣста. Разбирать подобное произведеніе искусства, значитъ—выказать его сущность, значеніе, при чмъ легко можно обойдти и безъ похвалъ, ибо дѣло слишкомъ ясно и громко говоритъ за себя; по сущность и значеніе подобнаго художественнаго созданія такъ глубоки и многозначительны, что въ рецензіи нельзѧ только намекнуть на нихъ. Это заставляетъ насъ отложить подробный критический разборъ «Петербургскаго Сборника» до слѣдующей книжки «Отечественныхъ Записокъ», — что дастъ намъ возможность поговорить и о «Двойникѣ», который къ тому времени будетъ прочтенъ всею публикою.

ПЕРЕВОДЫ Александра Струговщикова. Статей въ прозѣ книга первая. Спб. 1845.

Мы не можемъ отдать себѣ яснаго отчета въ причинахъ, побудившихъ г. Струговщикова издать отдельно четыре статьи Гёте, уже прежде напечатанныя въ журналахъ. Какъ журнальные статьи, онъ замѣчательны, особенно же: «Боги, Герои и Виландъ»; но, повторяемъ, къ чему было соединять ихъ въ одну книжку? Первая статья «Признанія Прекрасной Души», сама не что иное, какъ отрывокъ изъ «Вильгельма Мейстера», и лишившася своей обстановки, совершенно теряетъ истинное свое значеніе. Гёте, этотъ попреимуществу объективный гений, глубоко понимая и уважая человѣческую жизнь во всей ширинѣ ея, не оставлялъ ни одного замѣчательнаго явленія дѣйствительности невозведеннымъ въ сознательную, художественную форму; въ «Признаніяхъ Прекрасной Души» онъ постарался представить весь бытъ, образъ мыслей, всю сущность жизни небольшаго, избраннаго общества въ Германии въосьмидесятыхъ годовъ, главными представителями кото-раго могутъ служить—извѣстная княгиня Г—на и друзья ея философы Якоби и Фюрстенбергъ. Эти «прекрасныя души» (сантиментально-изящная аристократія человѣчества) выразились, впрочемъ, довольно блѣдно, какъ блѣдны онъ сами, въ Гётевыхъ «Признаніяхъ». Люди благородные, умные, тонко-чувствующіе, граціозно-восторженные и болѣзненно-развитые, они жили въ искусственномъ уединеніи какъ бы въ монастырѣ; хлопотали обо всемъ: о религії, воспитаніи, свободѣ отношеній, но въ особенности хлопотали много о самихъ себѣ; разрѣшали всѣ возможные вопросы, и всѣ ихъ великия открытія и предначертанія не перешли тѣсной границы кружка, изъ котораго они сами-никогда не вышли, любуясь до конца самими собою и не зная другихъ печалей, кромѣ собствен-

ныхъ воображаемыхъ страданій. Они улаживали по своему судьбу и будущность человѣчества и приходили въ ужасъ и отчаянную безнадежность, когда дѣйствительность противорѣчила ихъ фантазіямъ; предавались религіозности, мечтательной и неопределенной; словомъ, страдали всѣми немощами «кружка». Въ нихъ не было жизни, потому что не было дѣйствительной связи съ жизнью общей, потому что они по самолюбію и по слабости удалились отъ сближенія съ людьми и ограничились «избранными душами». Въ Вильгельмѣ Мейстерѣ «прекрасная душа» получила свое определенное мѣсто, какъ отдѣльное явленіе. Она окружена другими болѣе значительными явленіями; ея собственное значеніе черезчуръ нейтрализуется... Къ чему же г. Струговщикова вырвалъ именно ея признанія изъ цѣлаго романа и представилъ ихъ читателю, какъ нѣчто оконченное и окончательное? Неужели и для г. Струговщика нѣть ничего выше «прекрасной души»?

Статья: «Боги, Герои и Виландъ» относится къ юности Гёте; какъ сатира, она весьма дѣльна, умна, бойко и ловко написана, не безъ шекспировски-гениальныхъ замашекъ. Въ ней осмысляны псевдо-эллинскія произведенія Виланда, который самъ зналъ греческій языкъ, но духу греческаго народа хотѣлъ учиться у Французовъ, незнавшихъ греческаго языка.

Статья: «Случай изъ жизни Гёте», довольно интересна. Въ ней вѣрно представленъ психологический моментъ въ развитіи страстнаго, умнаго, полударовитаго человѣка, который и хочетъ и не можетъ совладать съ наукой и съ самимъ собою. Но напрасно г. Струговщикова, переводя Гёте, говорить отъ своего лица.

Послѣдняя статья: «О картинахъ Гаккерта» — статья совершенно журнальная.

Переводъ хорошъ, но повторяемъ: мы рѣшительно не понимаемъ причинъ отдѣльного изданія этой книжки. Охота же

была вырвать изъ поэтической хламиды Гёте четыре лоскутка, да еще и не изъ самой хламиды, а изъ подкладки, и сшить ихъ вмѣстѣ?!

**СТИХИ ИА ОБЪЯВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИОГРАФУ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ КАРАМЗИНУ. (Посвящаются А. И. Тургеневу).** 1845.

Стихотворение въ родѣ стариныхъ одѣ на торжественные случаи! Подлинно, «ничто не ново подъ луною!» Оды были, оды и теперь есть; вся разница въ формѣ, а не въ сущности. Прежнія оды не думали о народности и старались парѣть на манеръ Пиндара и Гораций — двухъ отъявленныхъ басурмановъ, которые даже и не знали ни о Славенахъ, ни о славянофилахъ! Теперь не то: г. Н. Языковъ, сочинитель «Стиховъ на объявление», не уступая нашимъ старинымъ пѣвцамъ одѣ ни въ парѣніи, ни въ превыспренности, но превосходя ихъ въ риторикѣ, — превосходитъ ихъ еще и въ народности. У него, Карамзинъ воздвигъ себѣ памятникъ, достойный праведныхъ похвалъ. Что такое: праведная похвала? Должно быть, то же, что справдливая; но если въ праведной меньше смысла, за то больше народности. Намятникъ Карамзина, по словамъ г. Н. Языкова, краше «столба каменосѣчного». Удивительный эпитетъ — каменосѣчный! «Позабывая призывъ блистательныхъ честей, Карамзинъ — почтенный собесѣдникъ простосердечной старины, а не наемникъ новизны, — не лукаво судилъ сказанья праотцевъ»...

Одушевляясь прошедшимъ, какъ почтенный собесѣдникъ старины, г. Н. Языковъ вдругъ обмолвился нѣсколькими энергическими стихами объ Иванѣ Грозномъ?

Трехъ мусульманскихъ царствъ счастливый покоритель —  
 И кровопійца своего!  
 Неслыханный тиранъ, мучитель непреклонный,  
 Природы ужасъ и позоръ!  
 Въ Москвѣ за казнью казнь; у плахи беззаконной,  
 Весь день мясничаетъ топоръ.  
 По земскимъ городамъ толпа кромѣшныхъ бродитъ,  
 Нося грабежъ, губя людей,  
 И бѣшено-свирѣль, самъ царь ее предводить, и пр. и пр.

Послѣ Ивана Грознаго, Русь отдохнула подъ «властью не-злобивой». Потомъ является бродяга «воспитаникъ латинства»; въ Кремлѣ онъ поселилъ соблазны и безчинства,

*Ночныхъ скаканий шумъ и звонъ,  
 И песни буйные, и струнное гуденье...*

Одна изъ заслугъ Карамзина, по мнѣнію г. Н. Языкова, состоить въ томъ, что его трудъ —

...Будить въ нась огонь прекрасный и высокой,  
 Огонь чистѣйшій и святой,  
 Уже недвижный въ нась, заглохшій въ нась глубоко  
 Отъ жизни блудной и пустой,—  
 Любовь къ своей землѣ...

«Блудная» и «пустая» жизнь, по мнѣнію г. Н. Языкова, дѣлаетъ насъ преданными чужбинѣ. Интересно знать, кого онъ разумѣеть подъ словомъ «нась»; а что онъ разумѣеть подъ «блудною» и «пустою» жизнью,— о томъ не трудно догадаться тому, кто читывалъ диопрамбы г. Н. Языкова...

### НЕВСКІЙ АЛЬМАНАХЪ НА 1846 ГОДЪ. 1846.

«Невскій Альманахъ» 1846 года похожъ не много на человѣка, довольно обыкновеннаго, даже дюжиннаго, о которомъ

давно уже ни слуху, ни духу, котораго всѣ считаютъ покойникомъ и который вдругъ, неожиданно является къ вамъ въ новомъ костюмѣ и если не съ новыми манерами, то съ претензіями на новые манеры. «Невскій Альманахъ» появлялся въ русской литературѣ, кажется, въ 1826, 1828 и 1832 годахъ, въ маленькомъ форматѣ въ 16-ю долю листа, съ вензельками, портретами и картинками, съ посредственными статейками въ прозѣ и плохими стишками, между которыми иногда попадались и хорошие. По части картинокъ, онъ особенно отличился въ 1828 году, представивъ такія суздальскія изображенія изъ «Евгенія Онѣгина», падъ которыми и тогда всѣ смѣялись отъ души, а Пушкинъ даже написалъ на нихъ стихи, которые, по ихъ неудобству къ печати, не были напечатаны. Впрочемъ, по поводу «Невскаго Альманаха», Пушкинъ написалъ и еще стихотвореніе, которое было напечатано, и котораго вотъ первые стихи:

Примите Невскій Альманахъ.

Онъ миль и въ прозѣ и въ стихахъ:

Вы тутъ найдете «\*ова.

В«\*, Х«\*овъ,

К«\*, дальний вамъ родня

Украсилъ также книжку эту;

Но не найдете вы меня:

Мои стихи скользнули въ Лету.

По всему видно, что Пушкинъ остался очень благодаренъ «Невскому Альманаху» за его картинки изъ «Онѣгина» и въ особенности за изображеніе Татьяны въ видѣ жирной коровницы, страдающей спазмами въ желудкѣ.

Какъ бы то ни было, но вотъ «Невскій Альманахъ» просыпается послѣ пятнадцатилѣтняго сна, и является къ намъ въ большомъ форматѣ, щегольски, хотя и съ страшнымъ количествомъ опечатокъ, изданный, съ юмористическими повѣстями, со множествомъ стихотвореній въ новѣйшемъ вкусѣ. Совер-

шеннное перерождение! Въ одномъ только «Невскій Альманахъ» остается вѣренъ старинѣ — въ посредственности. Онъ украшенъ статьею г. Карлгофа — «Поѣздка къ Озеру Розельми», — писателя, лѣтъ двадцать назадъ прославившагося силою охотою писать. «Поѣздка къ Озеру Розельми» вполнѣ достойна имени своего творца. Гг. Юрий Юрченко, Фома Костыга и Ничипоръ Кулишъ, до сихъ поръ еще ничѣмъ неуспѣвшіе прославиться, украсили «Невскій Альманахъ» повѣстями, отличающими остроуміемъ и юморомъ необыкновенными. Особенно далеко обѣщаетъ уйтти въ этомъ отношеніи г. Фома Костыга. Две три странички изъ «Поморскихъ Очерковъ» г. Хмельницкаго не представляютъ вичего особеннаго въ литературномъ отношеніи. Его же статья — «Мой Мачикъ» въ старину могла бы доставить автору огромную извѣстность: теперь, это такъ... ничего особеннаго... «Битва Смоленская въ 1812 мѣсяце году» статья г. Н. Полеваго, интересная по содержашію; но новое ли это произведеніе неутомимаго бельлетриста, или отрывокъ изъ стараго, — ничего обѣ этомъ въ альманахѣ не сказано. Интереснѣйшая прозаическая статья въ этомъ странномъ изданіи — «Николаевская Школа», Е. А—а. Называя ее интересною, мы разумѣемъ одно содержаніе, факты, а отнюдь не изложеніе.

«Невскій Альманахъ» наполнили своими стихотворными произведеніями гг. поэты: П. Ч., Межевичъ: Григорьевъ, Викторъ Корсакъ, Ротчевъ, Ленскій, Сушковъ, Рудыковскій, Розинъ, Ободовскій, Ястребовъ, Соколовскій, В. Зотовъ. Особенную силу поэтическаго одушевленія обнаружилъ г. Межевичъ, воспѣвши «Русскія Пѣсни»:

Что за пѣсни, что за пѣсни

Распѣваешь наша Русь!

Ужъ какъ хочешь, братъ, хоть тресни,

Такъ не спѣть тебѣ, Французъ!

Золотыи, удалыи —

Не ильмецкія (?)

Пѣсни русскія, живыя —

Молодецкія!

Именно, Французу легче треснуть, чѣмъ пропѣть такую пѣсню; но мы думаемъ, что, въ свою очередь, едва ли и самъ сочинитель этихъ стиховъ можетъ пропѣть одну изъ тѣхъ пѣсень, которыя Французъ поетъ безъ натуги. Чѣмъ ни говорите, а — хвала нашей народности въ литературѣ: у насъ теперь однѣмъ поэтомъ больше!...

**ЮМОРISTИЧЕСКИЕ РАЗСКАЗЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, издаваемые АБРАКАДАБРОЮ. Книжка первая. Спб. 1846.**

Пошло дѣло на юморъ! Юморъ теперь памъ ни почемъ, дешевле пареной рѣпы! Всякій весельчакъ дуриаго тона считаетъ себя теперь юмористомъ! Человѣкъ, котораго все остроуміе, вся Ѣдкость состоять въ томъ, что онъ высовываетъ языкъ на все, чего даже не понимаетъ, смѣло выдаетъ себя за юмориста! Эти люди думаютъ, что юморъ очень обыкновенная вещь, и что ничего иѣтъ легче, какъ быть юмористомъ. Имъ не растолкуешь, что юморъ — талантъ, да еще какой! почти столько же рѣдкій, какъ гениальность... Ихъ не увѣришь, что на сто остряковъ, дѣйствительно остроумныхъ, едва ли можно найти одного юмориста, потому что даже остроуміе и комизмъ совсѣмъ не одно и то же, чѣмъ юморъ.

Абрақадабра — какъ это юмористично! Но юморъ г. Абрақадабры состоитъ только въ томъ, что онъ въ свой разсказъ, довольно плохой, втиснуль старые политишажи изъ «Иллюстраціи» г. Кукольника. Поэтому, ни одинъ политишажъ и

нейдетъ къ разсказу. Особенно некстати пришлись политици изъ русской сказки «О Иванѣ Царевичѣ»: на нихъ чиновникъ Феклисъ Парамоновичъ (какое юмористическое имя!) Вертихвостовъ (какая юморическая фамилія!) изображенъ щеголеватымъ мужичкомъ. Юморъ разсказа состоитъ въ томъ, что помощникъ столоначальника, Феклисъ Парамоновичъ Вертихвостовъ, влюбленный въ дочь экзекутора, Марью Петровну, дѣлаетъ ей разныя закупки на свои собственныея деньги, которыя Марья Петровна обѣщаетъ ему заплатить. Онъ входитъ въ долги, разоряется, схватываетъ горячку, отставляется отъ должности, а Марья Петровна выходитъ замужъ за его начальника. Все это разсказано неправдоподобно и вяло, съ претензіями на остроуміе.

**МИРЗА ХАДЖИ-БАБА ИСФАГАНИ.** Сочиненіе Мориера. Вольный перевод Барона Брамбеуса. Изданіе второе. Спб. 1845.

«Мирза Хаджи-Баба Исфагани» — старый нашъ пріятель, съ которымъ мы познакомились лѣтъ двѣнадцать назадъ. Встрѣча съ хорошимъ знакомымъ всегда пріятна, а «Мирза Хаджи-Баба» книга умная и дѣльная, которую и въ другой, и въ третій разъ можно прочесть съ наслажденіемъ. Она переноситъ насъ на Востокъ, на настоящій Востокъ, въ среду, въ сердце Востока, чистаго, безпримѣснаго Востока, умѣвшаго вполнѣ защититься отъ всякаго вліянія со стороны растлѣннаго, гніющаго Запада. Кто не читалъ романа Мориера, тотъ не можетъ имѣть настоящаго понятія о счастіи жить на Востокѣ и быть восточнымъ человѣкомъ. Что эта за щолшая наслажденія жизнь! Чего стоять одно блаженство — дѣлать кейфъ, т. е. курить кальянъ, поджавъ подъ себя ноги, и ни о чёмъ, ровно ни о чёмъ

не думать! Вѣдь «думатъ» — тоже изобрѣтеніе лукаваго Запада, западнія, которую ставитъ онъ на погибель восточныхъ душъ... Вмѣсто траты времени на опасную привычку «думатъ», восточные очень остроумно придумали наполнять свое время благочестивыми восклицаніями: «бисмиллахъ, машаллахъ, иншаллахъ» (во имя Аллаха, буде угодно Аллаху, да будетъ воля Аллаха). Безъ этихъ восклицаній, набожный мусульманинъ ничего не дѣлаетъ, и потому въ каждомъ городѣ можно услышать отъ разношниковъ такіе возгласы: «Огурцы! огурцы! во имя святѣйшаго Имама, огурцы; свѣжія яйца! о Магометъ, о Али! яйца, огурцы!» А неизреченное наслажденіе — опять разъ въ день творить намазъ! Когда тутъ скучать!... Туловище, голова, руки, ноги, языкъ все занято ежеминутно, все, кроме мозга, ума... Даже дѣлая кейфъ, восточный человѣкъ ртомъ курить, а руками творить молитву... А наслажденія сераля — страшно и подумать! По нашему варварскому западному образу мыслить, «сераль» есть понятіе не совсѣмъ нравственное; но восточный человѣкъ съумѣлъ и самую животность соединить съ чистѣйшою нравственностью: восточные женщины не знаютъ грамотѣ, ругаются, царапаются, отравляютъ другъ друга ядомъ, но за то какъ онѣстыдливы, цѣломудренны! Попробуй-ко мужчина заглянуть имъ въ лицо, — бѣда! онѣ васъ выругаютъ такъ, что отъ этой браны любой русскій извощикъ содрогнется... Ни Персіянинъ, ни Турокъ не скажетъ вамъ: «моя жена», или: «здрава ли ваша супруга», но постараится смягчить эти выраженія, изъясняясь таинственно: «мой домъ», «каковъ вашъ домъ?» и такъ далѣе, потому что слово жена на Востокѣ считается неприличнымъ, неблагопристойнымъ словомъ, которое рождается въ умѣ самыя «безнравственныя» понятія... Вотъ это — нравственность!

Конечно, и на Востокѣ есть свои неудобства и непріятности, незнакомыя лукавому Западу, какъ-то: иногда отдаютъ

по щекамъ туфлею, или по пятамъ палкою, иногда вышиблютъ по волоску бороду, а то, пожалуй, обрѣжутъ носъ и уши, сдѣрутъ съ живаго шкуру, или живаго посадятъ на колъ... Но, сами посудите, во первыхъ, гдѣ же бываетъ безъ своихъ маленькихъ непріятностей, а во вторыхъ, вѣдь—все «такдиръ»—судьба, предопредѣленіе: что жь вы за собака, чтобы идти противъ того, что написано на доскахъ предопредѣленія? Но я и забылъ, что вы, мой читатель, развратясь вліяніемъ лукаваго Запада, имѣете несчастіе не вѣрить предопредѣленію... А хорошее вѣрованіе! съ нимъ, человѣкъ въ правѣ всю жизнь свою ничего не дѣлать, кромѣ какъ воровать, мошенничать, творить намазъ, да созерцать девяносто-девять таинственныхъ совершенствъ Аллаха...

Главную же и высшую добродѣтель восточнаго человѣка составляетъ, безъ сомнѣнія, особенность его «патріотизма». Правда, на его языкѣ нѣтъ даже слова «отечество», которое, какъ и выражаемое имъ понятіе, заимствовано новѣйшими европейскими народами у древнихъ язычниковъ, Грековъ и Римлянъ. Для мусульманина, отечество тамъ, гдѣ исламъ, и ему не грѣхъ рѣзать своихъ соотечественниковъ, лишь бы только онъ рѣзалъ ихъ съ «правовѣрными» же, а не съ проклятыми гяурями... Мусульманинъ еще не доросъ до понятія о государствѣ, о гражданствѣ, о ихъ требованіяхъ и обязанностяхъ, и своей родинѣ онъ не пожертвуетъ ни трубкою табаку; но зато, онъ страстно приверженъ къ своему пепелищу, къ могиламъ своихъ отцовъ, вѣренъ обычаямъ старины и родины — добродѣтели чисто восточныя! Презрѣніе и ненависть мусульманина къ проклятымъ гяурамъ, каифрамъ и, въ особенности, Франкамъ, какъ представителямъ растлѣнаго, гнющаго Запада, не имѣетъ предѣловъ: это тоже чисто восточная добродѣтель! Восточные люди знать свое достоинство.

СТОЛЪТИЕ РОССИИ, съ 1745 до 1845, или ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТЫНА ДОСТОПАМЯТНЫХЪ СОБЫТИЙ ВЪ РОССИИ ЗА СТО ЛЪТЬ. Сентября 5 1845 года, вб день столътнаго юбилея, совершившагося со дни рожденія князя Голенищева-Кутузова-Смоленскаго. Соч. Н. Полеваго. Ч. вторая. Спб. 1846.

Вотъ послѣднее произведеніе Николая Алексѣевича Полеваго, вышедшее въ свѣтъ при его жизни!... Вмѣсто рецензіи, намъ приходится писать некрологъ... Итакъ, и еще не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣйствователей на по-прищѣ русской литературы! Говоримъ: изъ «замѣчательнѣйшихъ», потому что наши съ нимъ несогласія во взглядахъ на многіе предметы ни сколько не мѣшали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умершаго должны умолчать даже личныя вражды; но никогда никакія личныя отношенія не руководили насъ въ нашихъ отзывахъ о литературныхъ трудахъ и мнѣніяхъ Полеваго. Каковъ бы ни былъ характеръ его литературной дѣятельности за послѣднія десять лѣтъ, въ немъ многое объясняется стѣсненными обстоятельствами... Во всякомъ случаѣ, забывая о недавнемъ, мы тѣмъ живѣе вспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодѣ литературной дѣятельности этого необыкновеннаго человѣка, который самъ себѣ создалъ свои средства, начавъ учиться въ тѣ лѣта, когда другіе почти оканчиваютъ свое ученіе, который, опираясь на свою даровитую натуру и свойственную русскому человѣку сметливость, смышеность и смѣлость, можно сказать, создалъ журналъ въ Россіи... Этимъ онъ сдѣлалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думаютъ, — и вообще, Полевой еще ждетъ и, можетъ-быть, не скоро дождется истинной оцѣнки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется и въ исторіи русской литературы и въ признательной памяти общества.

Полевой умеръ 22 февраля, въ одиннадцать часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796-мъ году) отъ рожденія, послѣ трехнедѣльной мучительной болѣзни — первой горячки, которой, по мнѣнію пользовавшихъ его докторовъ, онъ не могъ перенести, давно уже истощивъ физическія силы свои напряженною работою. Полевой оставилъ послѣ себя большое семейство, и, какъ онъ всегда помогалъ трудомъ и достояніемъ своимъ всякому нуждавшемуся въ его помощи, то самъ могъ оставить дѣтямъ своимъ только честное, почтенное имя и благодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ,—прекрасное наслѣдіе, которое не можетъ остаться безплоднымъ и для его семейства!

**ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ И ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ. Изданіе второе. Спб. 1846.**

Книжка благонамѣренная и доброжелательная, но холодная какъ ледъ, сухая какъ треска-рыба, скучна какъ осенний, или, пожалуй, и весенний день подъ петербургскимъ небомъ.

**СТИХОТВОРЕНИЯ АПОЛЛОНА ГРІГОРЬЕВА. Спб. 1846.**

**СТИХОТВОРЕНИЯ 1845 ГОДА, Я. П. ПОЛОЕНСКАГО. Одесса. 1846.**

Новый 1846 годъ, едва переживъ эпоху своего младенчества, едва вступивъ въ возрастъ своего юношества, уже, какъ говорится, надорвался въ литературномъ отношеніи,—и наша Библиографическая Хроника за мартъ мѣсяцъ по-неволѣ является блѣдною и скудною: ей почти не о чёмъ говорить.

Книгъ больше нѣтъ, и все замѣчательное отсель будетъ явиться только въ журналахъ, разумѣется, петербургскихъ и, разумѣется, только въ двухъ... Въ Библіографической Хроникѣ майской книжки намъ прійдется поговорить, вѣроятно, только о стихотвореніяхъ Кольцова, которыя выйдутъ въ свѣтъ на дняхъ. Итакъ, до осени... Не знаемъ, много ли и осень дастъ хорошаго; но, не боясь оказаться ложными прорицателями, можемъ заранѣе извѣстить публику о двухъ не совсѣмъ обыкновенныхъ въ нашей литературѣ явленіяхъ, которыми должна ознаменоваться осень нынѣшняго года: мы говоримъ объ огромномъ сборникѣ статей литературнаго и ученаго содержанія, въ которомъ, говорять, будетъ до восьми оригинальныхъ повѣстей и нѣсколько поэмъ въ стихахъ, и объ иллюстрированномъ юмористическомъ альманахѣ: «Сто Статей и Сто картинъ». Но это будущее, а обращаясь къ настоящему, видимъ только стихотворенія гг. Григорьева и Полонскаго. Поговоримъ о нихъ.

Было время, когда все твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе, что онъ учень безъ науки, все знающъ безъ ученія; что онъ самъ себѣ судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его ощущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ дѣйствительности, и что, поэтому, онъ можетъ не знать, что дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ говорить намъ, толпѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толпа, стоя на колѣнахъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себя счастливыми, если ему вздумается ругнуть насъ хорошенъко энергическимъ стишкомъ.

Такое воззрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ-называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда гений могъ легко обходиться безъ всѣхъ наукъ, кроме азбуки, а въ гени попасть можно было всякому, у кого была способность точить гладкие стишкі и было довольно мел-

каго самолюбія, чтобы вообразить себя выше «презрѣнной толпы», т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ, что-нибудь чувствуютъ и, въ особенности, чѣмъ-нибудь занимаются, что нибудь дѣлаютъ...

Теперь не то: всѣ кричатъ о необходимости знанія для поэта, обѣ идеяхъ, о направленіи, о сочувствіи современной дѣйствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзіи стали дѣлаться поэтами, потому ли, что въ самомъ дѣлѣ что-нибудь узнали и поняли, или потому что захватили нѣсколько чужихъ ходачихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣшными крайностями есть явленія, болѣе или менѣе заслуживающія вниманіе,—но опять-таки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію, другіе — обойдтись безъ ума при помощи небольшаго дарованія къ поэзіи... И это естественно, потому что въ обѣихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и пѣть ея ни въ одной отдельно-взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества, невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ ни знанія, ни ученье, ни умъ, ни характеръ, ни даже способность глубоко чувствовать и понимать изящное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можнo еще обойдтись безъ науки какъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, невозможно обойдтись безъ живой, кровной симпатіи съ духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями,—словомъ, со всѣмъ добромъ и зломъ своей эпохи. Однакожь, и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторіяхъ, не почерпается изъ критики и библіографіи. Ученіе, мысль могутъ только развить и укрѣпить ее, но не могутъ дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэта все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все — даже направленіе.)

Не всякому быть гениемъ; и талантъ имѣть право на общее вниманіе и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не съ своею собственною мыслію, но съ мыслію генія, покорившаго его своему неотразимому вліянію; за то пусть онъ возьметъ эту мысль въ такой мѣрѣ, въ какой доступна она его силамъ, пусть помнить, что усиление не есть сила, и потомъ пусть проведетъ эту мысль чрезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда, онъ не только — талантъ, но еще и заслуживающій вниманія талантъ. Безъ этого же, онъ — просто талантъ, явленіе для многихъ, можетъ быть, блестящее, но для всѣхъ безплодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тѣсно связанъ съ его натурою, его личностью. Безъ этого, онъ только способность подражанія — не больше! Что нужды, если поэтъ не переводить, не заимствуетъ, никому явно и съ намѣреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ ничего чужаго: зато, у него ничего нѣтъ своего, а это значитъ  $0 = 0 \dots$  Жуковскій — не оригиналный поэтъ, а переводчикъ; но винкните въ его переводы, и вы увидите, что такимъ переводчикомъ надо было родиться. Жуковскій переводилъ не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствіе къ чему глубоко лежало въ его натурѣ, какъ ея свойство, ея особенность...

Талантъ, несвязанный съ натурою поэта, какъ человѣка, какъ личности, есть талантъ виѣшній. Если въ немъ нѣтъ никакого сочувствія съ идеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жальче онъ, если вздумаетъ почерпать это сочувствіе изъ книгъ...

На такія мысли невольно навели насъ двѣ небольшія книжки, заглавіе которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ г. Григорьева, помѣщавшихся въ одномъ изъ петербург.

скихъ периодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній г. Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли ее больше, чѣмъ съ принужденіемъ — почти со скучою. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы окончательно убѣдились, что онъ не поэтъ, вовсе не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодованія. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованіемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явлений дѣйствительности (какъ, напримѣръ, въ разсказѣ «Олимпій Радинъ», мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмѣ же, его стихъ прозаиченъ, негладокъ, нескладенъ, вялъ. Всдѣ одни разсужденія, нигдѣ образовъ, картинъ. Сверхъ того, паѳость лиризма г. Григорьева однобразенъ, не стольколиченъ, сколько эгоистиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Г. Григорьевъ — почти неизмѣнныи герой своихъ стихотвореній. Онъ пѣвецъ вѣчно одного и того же предмета — собственнаго своего страданія. Въ наше время, страданія ни по чемъ, — мы всѣ страдаемъ наповалъ, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который, своимъ могущественнымъ вліяніемъ, всѣ литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это начинало было выходить изъ моды; но примѣръ Лермонтова вновь вывелъ на свѣтъ нѣсколько страдальцевъ. Правду говорять, что подражатели доводятъ до крайности мысль своего образца, напоминая этимъ знаменитое изреченіе Наполеона: *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas...* Герой Лермонтова — натуры субъективныя, которыя скорѣе готовы разрушить и себя и міръ, нежели поддѣлываться подъ то, что отвергаетъ

ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они боряться съ нею, или гордо падаютъ подъ ея ударами, не говорятъ просто и не щеголяютъ страданіемъ. Г. Григорьевъ силится сдѣлать изъ своей поэзіи апоеозу страданія; но читатель не сочувствуетъ его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера, — и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманѣ. Какое это страданіе, отчего оно — Богъ вѣсть! Есть ли это гордость ума, эгоизмъ могущественной натуры, сила отрицанія, при жаждѣ истины? — Едва ли знаетъ это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ г. О. Глинки; а въ его «разныхъ стихотвореніяхъ» проглядываетъ скептицизмъ, отзывающійся больше неуживчивостью беспокойнаго самолюбія, нежели тревогами беспокойнаго ума. Не много есть у г. Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о «гордости страданья», о «безумномъ счастіи страданья». Это значитъ сдѣлать изъ страданья ремесло, — чѣмъ кажется намъ не совсѣмъ истиннымъ и не совсѣмъ естественнымъ. «Гордость страданіемъ» — сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать, разумѣется, стихами, но какими — вотъ вопросъ! «Безумное счастье страданья» — вещь возможная, но это не нормальное состояніе человѣка, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастіе отъ счастія, но счастіе отъ страданія — воля ваша — отъ него надо лѣчиться — классицизмомъ здраваго смысла, полезной дѣятельностью и безпритязательностью на превосходство надъ остальными слабыми смертными...

Можеть быть, мы ошибаемся; но въ такомъ случаѣ, мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія г. Григорьева, мы все-таки увидѣли въ нихъ не совсѣмъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его

стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дѣлаетъ его поэтомъ). Для доказательства выписываемъ его прекрасное стихотвореніе «Городъ»:

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,  
Но не за то, за чѣмъ другіе;  
Не зданія его, не пышный блескъ палатъ  
И не граниты вѣковые  
Я въ немъ люблю, о нѣть! Скорбящую душу  
Я прозрѣваю въ немъ иное, —  
Его страданіе подъ ледяной корой,  
Его страданіе болѣніе.

Пусть почву шаткую онъ заковалъ въ гранитъ,  
И защитилъ ее отъ моря,  
И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ таитъ  
Волненіе радости и горя,  
И пусть его рѣка въ стопамъ его несетъ  
И роскоши и нѣги дани, —  
На нихъ отпечатлѣнъ тяжелый слѣдъ заботъ,  
Людскаго пота и страданій.

И пусть горятъ свѣтло огни его палатъ,  
Пусть слышны въ нихъ веселья звуки —  
Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушать  
Безумно-страшныхъ стоновъ муки!  
Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,  
Въ окнѣ ль съ богатою гардиной,  
Иль въ темномъ уголку, — вездѣ его печатъ!  
Страданье уровень единой!

И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой  
Ложится ночь безъ тьмы и тѣни,  
Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной  
Рой отвратительныхъ видѣній...  
Пусть ночь ясна, какъ день, пусть тихо все вокругъ,  
Пусть все прозрачно и спокойно, —  
Въ покой томъ затихъ на время злой недугъ,  
И то прозрачность иззы гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой ціесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзньно настроенный умъ. Выпишемъ еще піесу:

Нѣтъ, не тебѣ идти со мной  
Къ высокой цѣли бытія,  
И не тебя душа моя  
Звала подругой и сестрой.

Я не тебя въ тебѣ любилъ,  
Но лучшей участіи залогъ,  
Но ту печать, которой Богъ  
Твою природу зѣклеймиль.

И думалъ я, что ту печать  
Ты сохранишь среди борьбы,  
Что противъ свѣта и судьбы  
Ты въ силахъ голову поднять.

Но дорогъ судь тебѣ людской,  
И мнѣнья дорого рабовъ,  
Не ненавидишь ты оковъ:  
Мой путь иной, мой путь не твой.

Тебя молить я слишкомъ гордъ,—  
Мы не равны ни здѣсь, ни тамъ,—  
И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ  
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.

И пусть твой образъ роковой  
Мнѣ никогда не позабыть...  
Мнѣ стыдно женщину любить,  
И не назвать ее сестрой.

И опять таки, несмотря на ощутительный недостатокъ поэтическаго выраженія, мы готовы были бы признать это стихотвореніе вполнѣ прекраснымъ, еслибъ его не испортила риторическая фраза:

И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ  
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.

Но что такое, напримѣръ, стихотвореніе «Героямъ нашего времени»?—

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной... И дикъ и страшенъ вамъ,  
 Чернильныхъ жаркихъ битвъ копеечнымъ бойцамъ,  
 Подъятый факель Немезиды;  
 Вамъ пизость по душѣ, вамъ смѣхъ страшнѣе зла,  
 Вы сердцемъ любите лишь лай изъ-за угла,  
 Да бой пѣтуши за обиды!

И гдѣ же вамъ любить, и гдѣ же вамъ страдать  
 Страданіемъ любви Распятаго за братій?  
 И гдѣ же вамъ чело безтрепетно поднять  
 Подъ взмахомъ топора общественныхъ понятій?

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной, и крестъ не вамъ нести:  
 Тяжель, не по плечамъ, и вы на полпути  
 Сробѣете предъ общимъ крикомъ,  
 Зане на трапезѣ божественной любви  
 Вы не причастивши, не ратоборцы вы  
 О благородномъ и великомъ:

И жребій жалкій вашъ, до пошлости смѣшной,  
 Пророки ваши вамъ воспѣли...  
 За сплетни праздныя, за эгоизмъ болезній,  
 Въ скотскомъ безстрастіи и съ гордостью нѣмой,  
 Безъ сожалѣнія и цѣли,  
 Безумно погибать, и завѣщать друзьямъ  
 Всю пустоту души и весь печальный хламъ  
 Пустыхъ и дѣтскихъ грэзъ, да шаткое безвѣрье;

Иль цѣлый вѣкъ звонить досужимъ языкомъ  
 О чуждомъ вовсе вамъ великомъ и святымъ,  
 Съ богохуленемъ лицемѣрья!...

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной!—Вы не видали ихъ  
 Египта древнаго живущихъ извяній,  
 Съ очами тихими, недвижныхъ и нѣмыхъ,  
 Съ челомъ сияющимъ отъ царственныхъ вѣнчаній.  
 Вы не видали ихъ,—въ недвижныхъ ихъ чертахъ  
 Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашного сознанія  
 Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья  
 По волѣ Вѣчнаго начертана въ звѣздахъ  
 Но вы не зреали ихъ, не видѣли межъ нами  
 И тѣми сфинксами таинственную связь...  
 Иль еслибы видѣли,—нечистыми руками

Съ подношій совлекли бъ, чтобы уравнить ихъ съ вами  
Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинѣ этого стихотворенія, между плохими стихами, есть и удачные, и смыслъ видѣнъ; но что такое хотѣлъ сказать авторъ своими «египетскими изваяніями»—Богъ вѣсть!

Г. Григорьевъ можетъ писать; но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. По нашему мнѣнію, ключъ къ этому сознанію находится въ латинскомъ эпиграфѣ къ одной изъ неудачныхъ шесть его: «*Fecit indignatio versum*». Но онъ вовсе не лирическій поэтъ, и дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ недорѣшеныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ. Пиша, онъ долженъ забыть о Лермонтовѣ, или съумѣть взять отъ него только свое, не касаясь чужаго. Мы не отрицаемъ въ г. Григорьевѣ, какъ въ человѣкѣ, никакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобы онъ осторожнѣе и умѣреннѣе говорилъ въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послѣднемъ.

Еще замѣчаніе: г. Григорьевъ любить употреблять слово *запе*, и это выходитъ у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употребилъ его только разъ въ «Борисѣ Годуновѣ», очень ловко, кстати и на мѣстѣ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотвореніи своемъ «На Смерть Гёте», где оно вышло тоже не совсѣмъ не на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзіи, замѣняя книжное ибо и прозаическое потому что; но—*usus turgidus*—старая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того не введетъ г. Григорьевъ...

Г. Полонскій находится въ обратномъ отношеніи къ г. Григорьеву. У него больше самостоятельного элемента поэзіи, следовательно, больше таланта, но ни съ чѣмъ не связанный,

чистовиѣшній талантъ этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ—такъ миньятюренъ онъ... Заглавіе: «Стихотворенія 1845 года» обѣщаетъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; обѣщаніе нисколько неутѣшительное! «Стихотворенія 1845 ужъ хуже стихотвореній, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ... Г. Григорьеву есть о чёмъ писать, но не достаетъ способности къ формѣ, — хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаетъ его; но г. Полонскому рѣшительно не о чёмъ писать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкій, а иногда и дѣйствительно поэтическій стихъ... Это заставляетъ его прибѣгать за отсутствиемъ мысли, къ умничанью и хитрымъ рефлексіямъ. Прочтите его «Факиръ и Ключъ»: что это такое? Сто пудовъ посредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаетъ и расплететъ эту путаницу словъ и стиховъ!... Къ числу піесь подобно «Факиру и Ключу» отличающихся понятностію, принадлежать также «Историку» и «Юноша и Вѣкъ». Вообще, въ этой книжкѣ стихотвореній г. Полонского попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мѣста; но рѣшительно нѣть ни одного удачнаго стихотворенія.

Въ примѣръ лучшаго приводимъ: Тѣни:

По небу синему тучки плывутъ  
По лугу тѣни широко бѣгутъ;  
Тѣни ль толпой на меня налетять,  
Дальнія горы подъ солнцемъ блестятъ;  
Солнце ль внезапно меня озарить,  
Тѣнь по горамъ полосами бѣжать.  
Такъ на душѣ человѣка порой  
Думы, какъ тѣни, проходить толпой;  
Такъ иногда вдругъ тепло и свѣтло  
Ясная мысль озаряетъ чело.

А вотъ въ примѣръ пошлости содержанія и формы:

Вы ленты измѣтили —  
Секреты любви! —

Вы письма завѣтныя —  
 Тираны мои!  
 Вы, пряди отрѣзанныхъ  
 На память волосъ —  
 Свидѣтели тайные  
 Растряченныхъ слезъ...  
 Печали свидѣтели!  
 Вы миѣ, такъ и быть,  
 Признайтесь хоть на ухо,  
 Что весело жить...

Очень хорошо-съ!...

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній г. Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые и прежде приходили намъ часто на память, но никогда такъ кстати, какъ теперь:

Какъ иззы бойся вдохновенъя...  
 Оно — тяжелый бредъ души твоей больной,  
 Иль пьянной мысли раздраженъе!  
 Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи...  
 То кровь кипить, то силъ избытокъ...

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ  
 Открыть въ душѣ давно безмолвной  
 Еще невѣдомый и дѣствственный родникъ,  
 Простыхъ и сладкихъ звуковъ полныЙ, —  
 Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,  
 Набрось на нихъ покровъ забвенья:  
 Стихомъ размѣренныи и словомъ ледяныи  
 Не передашь ты ихъ значенья.  
 Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,  
 Зайдетъ ли страсть съ грозой и выногой, —  
 Не выходи на шумный пиръ людей  
 Съ своею бѣшеной подругой;  
 Не унижай себя. Стыдися торговатъ  
 То гнѣвомъ, то тоской послушной,  
 И гной душевныхъ ранъ надменно выставлять  
 На диво черни простодушной.  
 Какое дѣло намъ, и пр.

Читая стихотворенія г. Половскаго, мы почему-то, невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика доброго старого времени, Кантемира:

Уме недорѣлый, плодъ недолгой науки!  
Покойся, не понуждай къ перу мои руки!

---

**ЛЕКСИКОНЪ ФИЛОСОФСКИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ, составленный  
Александром Голичемъ. Томъ первый. Спб. 1845.**

Слово «философія» — престранное слово? Подобно каучуку, оно одарено свойствомъ растягиваться и сжиматься до невѣроятности. Чего не включали въ составъ философіи, какъ науки — и чего не выключали изъ нея! Въ Англіи издаются книжки подъ заглавіемъ: «Трактать о возвращеніи, сбереженіи и завиваніи волосъ на философскихъ основаніяхъ» — а у насъ известныи нашъ философъ господинъ Галичъ печатаетъ «Лексиконъ Философскихъ Предметовъ», гдѣ, между прочими «предметами», вы находите «актёра, анекдоты, арабески, барина, вино, блокаду, береговое право и барельефъ». Нельзя не замѣтить, что до сихъ поръ философія не принадлежала у насъ на Руси; это растеніе доставляется намъ пока въ болѣе или менѣе сухомъ видѣ сосѣдями нашими, Нѣмцами — и только въ немногихъ избранныхъ представителяхъ славянскаго міра пустило самобытные отпрыски въ родѣ «Лексикона Философскихъ Предметовъ», и другихъ сочиненій нашихъ Кантовъ. Мы, — признаться откровенно, мы не жалуемся на бѣдность нашей философской литературы; хотя мы и того мнѣнія, что русскому уму для собственнаго, самобытнаго развитія необходимъ сперва толчокъ извнѣ, — но не признаемъ пока ни возможности, ни необходимости подобнаго толчка въ области философіи; чтò, впрочемъ, нисколько не должно мѣшать людямъ, чувствующимъ охоту къ занятіямъ отвлеченнымъ — слѣ-

дить за новѣйшимъ, весьма любопытнымъ и многозначительнымъ развитиемъ этой науки въ Европѣ... Мы только хотѣли замѣтить, что философской литературы, научообразнаго философскаго движенія у насъ до сихъ поръ существовать не можетъ, и что, пока—мы бы весьма удовольствовались появленіемъ хорошаго школьнаго компендіума (краткой исторіи философскихъ школъ, что ли), въ чёмъ у насъ большой недостатокъ.

Обратимся къ дѣлу. Въ русскомъ человѣкѣ, особенно подъ старость, проявляется иногда невинная охота къ велерѣчливому мудрствованію, которое, впрочемъ, рѣдко доходитъ до сухаго педантизма. Русскій человѣкъ любить иногда произнести высокопарную рѣчь (даже въ мужикѣ эта страсть замѣтна), заговорить Цицерономъ, въ носъ, на дѣ, съ примѣсью книжныхъ и славянскихъ словъ. Остатокъ ли это стародавняго вліянія на насъ восточно-греческой кудреватой и многоглаголивой учености, свойство ли это самаго русскаго племени—мы не беремся решить; но читатели, вѣроятно, согласятся съ справедливостью нашего замѣчанія. Къ тому же, при здравомъ и живомъ умѣ русскаго человѣка, это свойство болѣе любезно, чѣмъ смѣшно; вообще не худо бы намъ прибавить себѣ нѣсколько балласта, оstepениться и стараться противодѣйствовать нашему врожденному непостоянству и беспечному, на смѣшливому равнодушію. Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, мы думаемъ, что книга г. Галича удовлетворить многихъ любителей книжной мудрости; она отличается самодовольнымъ, любезнымъ, нѣсколько старческимъ велерѣчіемъ; все, чтѣ она говоритъ, извѣстно всѣмъ и каждому; но говорить она—такъ плавно, такъ уладительно, съ такимъ соблюденіемъ собственнаго достоинства... Маниловъ Гоголя прослезился бы, читая эту пріятную книжицу. Вотъ напримѣръ, какъ г. Галичъ разсуждаетъ о выборѣ супруги (стр. 131):

„Разсудокъ требуетъ, чтобы при выборѣ лица, съ которымъ вы хотите сочетаться на всю жизнь, вы поступали съ величайшей осмотрительностью, и чтобы столь важный союзъ заключали хотя не по одной склонности (потому что она скоротечна, если не имѣть болѣе прочнаго основанія въ прекрасныхъ качествахъ ума и сердца), однакожъ и не безъ всякой ужес склонности, потому что тутъ бракъ быль бы скверное общеніе половъ... Избирать супругу по виѣшнимъ только расчетамъ—безуміе. Что не должно избирать супруги ниже или выше своего званія и состояній—это правило имѣть множество исключеній. Ибо, если разность состоянія не столь велика, чтобы влекла за собою разность въ воспитаніи и во всемъ образѣ жизни, съдовательно, въ духовныхъ и тѣлесныхъ потребностяхъ, что, безъ сомнѣнія, сильно разстраиваетъ супружеское счастіе; то противъ женильбы, напримѣръ, барина на купеческой дочкѣ никакихъ возраженій быть не можетъ. Но главное вниманіе при выборѣ супруги или супруга обращайте на здоровое тѣлосложеніе“.

Подобныя строки читаешь какъ Петрушка Гоголя читалъ вообще всѣ книги: его занималъ собственно процессъ чтенія, а васъ тутъ занимаетъ процессъ мышленія; все мысли выходятъ удобопонятныя, одобрительныя мысли—а впрочемъ какая онѣ тамъ, эти мысли, — намъ совершенно до этого нѣтъ дѣла; были бы мысли; чтеніе есть, — время проходитъ, и умственное упражненіе имѣется. Въ деревнѣ, въ семейномъ кружку, зимой подъ шумокъ самовара, должно быть весьма пріянно читать г. Галича: слогъ ясный, спорить не о чѣмъ, спокойное и ровное краснорѣчіе—чего болѣе требовать? Чтеніе книги г. Галича, правда, можно сравнить съ щелканьемъ каленыхъ орѣховъ; въ сущности—удовольствія оно не доставляетъ никакого, а отстать нельзя; въ самой непрерывности занятія, недоставляющаго намъ ни малѣшаго удовольствія, скрывается какая-то таинственная прелестъ. Впрочемъ, иногда, г. Галичъ доходитъ именно до того, что простой народъ у насъ называетъ Цицерономъ.

Угодно ли вамъ знать, что такое «взглядъ» — и разница взгляда отъ взора?

„Взглядъ въ собственномъ значеніи есть мгновенный актъ бдящаго глаза, невольный и умышленный, естественный и искусственный“,—«Взоръ же есть постоянный, стереотипный взглядъ» (стр. 183).

Иногда г. Галичъ сходится въ образѣ изложенія съ Лабрюйеромъ.

Вотъ какъ онъ описываетъ «взбалмучнаго» (стр. 181):

„Фирсъ Монеевичъ (вотъ оно, вліянье-то Гоголя!) тыкаетъ, покровительствуетъ, презираетъ. Ф. М. лорнируетъ, насвистываетъ, барабанитъ пальцами по стеклу или по столу, то ногами по полу въ почтенійшемъ обществѣ, среди самой назидательной, и трогательной бесѣды... Выходитъ ли онъ изъ театра—онъ перешептывается съ своими людьми. Онъ велить съ таинственной миной подавать себѣ цыдульки; вы подумаете, что онъ подѣшилъ хорошую жеманочку. Онъ—матушкинъ сынокъ—или что все равно—шальной барончикъ.“

Какова кисть! Жаль, очень жаль, что г. Галичъ живетъ по-слѣ Лабрюйера; а чтобы слѣдовало доказать, что Лабрюйеръ, какъ негодный западный человѣкъ, подражалъ г. Галичу. Впрочемъ, современи знаменитой исторіи Коперника, или Копырника или Покорника въ «Москвитянинѣ», это уже не такъ трудно привести во исполненіе; известно: *il n'* у *a que le premier pas qui conte*. Притомъ, кто же, наконецъ, не знаетъ, что развращенный Западъ получаетъ отъ насъ всѣ свои мысли, правда, въ грубомъ видѣ, на подобіе пеньки и льна, и намъ же продаетъ ихъ потомъ въ три-дорога—за собственные произведенія? — Примѣромъ служатъ «Парижскія Письма» г. Гречи въ «Сѣверной Пчелѣ»: ихъ слово въ слово переводятъ фельетонисты газетъ «*Siècle*» «*Presse*». Злоязычники говорятъ, что не «*Siècle*» и «*Presse*» переводятъ письма г. Гречи, но что г. Гречъ переводитъ фельетоны этихъ газетъ и присыпаетъ переводъ въ «Сѣверную Пчелу» подъ именемъ своихъ писемъ; но кто же не видѣтъ, что это чистая клевета, хотя сходство означенныхъ фельетоновъ съ письмами г. Гречи—поразительное!... Но не въ томъ дѣло. Возвратимся къ г. Галичу.

Попадаются также глубокія, спекулятивныя обозрѣнія. Знаете ли, напримѣръ, почему «побои принимаются нами за обиду личную»? — Потому, весьма справедливо замѣчаетъ г. Галичъ (стр. 178), что между душой и тѣломъ существуетъ взаимность. А не будь этой взаимности — пусть бываютъ васъ сколько угодно — что вамъ? душа ваша въ сторонѣ! Хорошо тоже въ своемъ родѣ замѣчаніе г. Галича насчетъ актёра: — «Лицедѣй» (говоритъ онъ на стр. 11) «долженъ для своего прекраснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ щекотливаго знанія быть рожденъ.» Именно! — «Безвкусіе есть собственно говоря, то, что потеряло свой смакъ, напр. выдохшееся пиво» (стр. 49). Какъ не согласиться съ такимъ яснымъ опредѣленіемъ? Нѣсколько темнѣе слѣдующее: «Благотворительность принадлежитъ къ такъ называемымъ несовершеннымъ должностямъ». Тоже не совсѣмъ понятно говоритъ почтенный авторъ о бѣдныхъ: «Люди, которые бѣгаютъ за нами на улицахъ и дорогахъ, упали.» — Но весьма утѣшительнымъ покажется многимъ заключеніе г. Галича въ статьѣ о «винѣ», что «мораль не можетъ отнюдь запрещать водки...»

Изъ всего нами приведеннаго читатель можетъ легко усмотрѣть достоинства сочиненія г. Галича. Но самая яркая сторона его состоитъ въ томъ плавномъ и высокопарномъ краснорѣчіи, о которомъ мы говорили выше. Есть, конечно, и юморъ у г. Галича, потому что въ наше время писатель безъ юмора ужъ лучше и не суйся въ литературу; но вообще г. Галичъ болѣе трогаетъ и увлекаетъ, чѣмъ радуетъ и утѣшаетъ; болѣе наставляетъ, чѣмъ забавляетъ; болѣе на раздумье наводитъ, чѣмъ смѣхъ возбуждаетъ; болѣе мышленье изощрять заставляетъ, чѣмъ пустой игрой воображенія плѣняетъ. И потому мы не можемъ не повторить въ слѣдъ за нимъ его восклицанія въ предисловіи: «наукѣ общихъ правъ и исторіи человѣчества не суждено было увидѣть свѣтъ Божій! Жаль!» — Именно —

жалъ! Но мы надѣемся, что г. Галичъ не заставитъ насъ вос-  
кликнуть то же самое на счетъ продолженія «Лексикона Фи-  
лософскихъ Предметовъ»...

---

**ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ:** *Комический иллюстрированный альма-  
нахъ составленный изъ рассказовъ въ стихахъ и прозѣ,  
достопримѣчательныхъ писемъ, куплетовъ, пародій, анек-  
дотовъ и пубфовъ. Спб. 1846.*

Забавный фарсъ лучше скучной трагедіи, веселая шутка  
лучше серыѣнной, но пустой книги: это неоспоримая истина.  
Крѣпкій сонъ—хорошее дѣло, но зѣвота—одно изъ самыхъ  
дурныхъ положеній человѣка, особенно зѣвота отъ драмы или  
важной книги. Смѣхъ — тоже одно изъ лучшихъ благъ жиз-  
ни, какъ и крѣпкій сонъ, особенно смѣхъ отъ умной шутки,  
забавной книги. Кто любить смеяться такимъ смѣхомъ, для  
того «Первое Апрѣля» будетъ прекраснымъ поводомъ удов-  
летворить этой веселой и счастливой склонности. Вся эта  
книжка—не больше какъ болтовня, но болтовня живая и ве-  
селая, мѣстами даже лукавая и злая. Вотъ для образчика про-  
зы, два анекдота изъ «Перваго Апрѣля»:

#### Пушкинъ в ящерицы.

Въ Германіи какой-то профессоръ словесности, знающій русскій языкъ,  
человѣкъ весьма ограниченный, презираемый своими слушателями, но  
очень много о себѣ думающій, однажды на лекціи, разговорившись о бе-  
гатствѣ и благозвучіи русскаго языка, привелъ между прочимъ слѣдующій  
примѣръ:

«Когда я былъ въ Римѣ», сказалъ онъ письмомъ, визгливо-пронзитель-  
нымъ диктантомъ:—двѣ знакомыя дамы предложили мнѣ отправиться съ ни-  
ми въ Колизей. Торжественность мѣста, освященнаго столькими воспоми-  
наніями, такъ сказать вдохновила меня, и я прочелъ моимъ спутницамъ одно  
изъ прекраснейшихъ произведеній Пушкина. Каково же было мое удивле-

ніе—когда и увидѣлъ, что нѣсколько ящерицъ и жаба выползли изъ норокъ своихъ и съ видимымъ наслажденіемъ слушая эту дивную гармонію, помахавали головками!“ Тѣмъ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые подвизаются на этомъ поприщѣ съ почтеннымъ иноземнымъ профессоромъ, не худо принять къ свѣдѣнію его замѣчательное открытие...

КАКЪ ОДИНЪ ГОСПОДИНЪ ПРИОБРѢЛЪ СЕБѢ ЗА ВЕЗЦЪНОКЪ ДОМЪ ВЪ ПОЛТОРАСТА ТЫСЯЧЪ.

Г. Ведринъ, столь прославившійся своими путевыми записками, нажилъ себѣ домъ слѣдующимъ остроумнымъ и простымъ способомъ. — Жилъ въ Парижѣ русскій князь, который до самой смерти своей, послѣдовавшей на 73 году, бралъ уроки танцовани и фехтованія. Учителя танцовани и фехтованія являлись къ нему и тогда, когда онъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ; къ нимъ выходилъ камердинеръ князя и платилъ имъ за урокъ, говоря, что „князь занятъ“. У этого князя былъ, между прочимъ, домъ находящійся въ завѣданіи управляющаго. Г. Ведринъ съ свойственою любезностію предложилъ однажды этому управляющему пять тысячъ съ тѣмъ, чтобы тотъ написалъ князю, что домъ его сіятельства пришелъ въ вѣтхость и угрожаетъ паденіемъ. Управляющій, взявъ съ г. Ведрина предложенную имъ сумму впередъ (предосторожность, которую вообще совѣтуютъ употреблять съ г. Ведринымъ) поспѣшилъ исполнить невинную пріхоть г. Ведрина. Сколь ни мало заботился князь о своихъ домахъ и помѣстяхъ, извѣстіе управляющаго удивило его: онъ вспомнилъ, что четыре года тому назадъ, уѣзжая изъ Москвы, оставилъ домъ свой въ цѣѣтушемъ положеніи. Поэтому онъ написалъ письмо къ одному своему пріятелю-аристократу, въ которомъ просилъ осмотрѣть его домъ, и если донесеніе управляющаго справедливо, то велѣлъ ему поскорѣе продать домъ покуда и совсѣмъ не развалился, хоть за что-нибудь, а деньги немедленно выслать въ Парижъ. Пріятель-аристократъ далъ знать управляющему, что въ такой-то день въ такой-то часъ онъ пріѣдетъ осматривать домъ князя, и чтобы все было готово. Встревоженный управляющій послалъ къ г. Ведрину. Г. Ведринъ, писавшій въ это время разсужденіе о добродѣтели, выслушавъ разсказъ управляющаго, не привскочилъ къ потолку единственно потому, что восторженное проявленіе радости не считалъ теперь для себя выгоднымъ; онъ ограничился тѣмъ, что поспѣшилъ включить въ свое разсужденіе о добродѣтели нѣсколько счастливыхъ строкъ, блеснувшихъ въ умѣ его во время вдохновенія для настоящаго случая, вскочилъ и съ жаромъ сказалъ управляющему нѣсколько словъ, которыхъ сему последнему возвратили всю бодрость. Въ назначенный день пріятель князя въ старой и дребезжавшей, но запряжен-

ной четверкой каретъ пріѣхалъ осматривать домъ. Здѣсь все было уже готово. Штукатурка обвалилась; въ стѣнахъ были дыры чуть не на сквозь; кругомъ мусоръ, щебень, обломки кирпича. Пріятель князя поморщился. Идуть внутрь. Пріятель князя занесъ ногу на лѣстницу и остановился. Лѣстница вся на подпоркахъ; иные ступени провалились, иныхъ иѣть вовсе. „Пожалуйте, ваше сіятельство!“ (Пріятель князя былъ тоже сіятельный) говорить управляющій... „Ничего... ей Богу ничего! подпорки кажутся крѣпкими; не могу вамъ доложить, что теперь, а то я еще вчера ходилъ, въ осмотрѣ вашего сіятельства прибиралъ,—ничего, Богъ пронесъ! Пожалуйте... вотъ что развѣ та подпорка... да ничего... ничего... Богъ милоставъ!“ Пріятель князя опрометью бросился воинъ, и написалъ въ Парижъ, что домъ до того гнилъ, что въ него и войти иѣть никакой возможности. Г. Ведринъ купилъ домъ у управляющаго, получившаго приказаніе продать его хоть за что-нибудь, за 35 тысячъ, употребилъ двѣ тысячи на поправку лѣстницы и штукатурку стѣнъ, и теперь ему даютъ за него сто тысячъ, но онъ не хочетъ взять и полтораста. Онъ перебирается туда — самъ. Желающимъ наниять у него квартиры, совѣтуемъ торопиться, потому что опоздавъ, легко не найти ни одной свободной; многіе за честь почитаютъ жить въ домѣ г. Ведрина. Г. Ведринъ пользуется блестящей репутацией, и въ самомъ дѣлѣ, разсужденіе его о добродѣтели написано пріятнымъ слогомъ и проникнуто чистѣйшою нравственностью.

#### СЛАВЯНОФИЛЬ.

Одинъ славянофиль, то-есть, человѣкъ видящій національность въ охобняхъ, мурмолкахъ, лаптихъ и рѣдкѣй, и думающій, что одѣваясь въ европейскую одежду, нельзя въ то же время оставаться Русскимъ, нарядился въ красную шелковую рубаху съ косымъ воротникомъ, въ сапоги съ кисточками, въ терликъ и мурмолку, и пошелъ въ такомъ нарядѣ показывать себя по городу. На поворотѣ изъ одной улицы въ другую обогналъ онъ двухъ бабъ и услышалъ слѣдующій разговоръ: «Вона! вона! гляди-ко, матка!» сказала одна изъ нихъ, осмотрѣвъ его съ дикимъ любопытствомъ: — «глядѣ-ка, какъ нарядился! должно быть настранецъ какой-нибудь!»

Стихи въ «Первое Апрѣля» интересны не менѣе прозы. Втѣ, напримѣръ:

Онъ у насъ осмое чудо —  
У него зағидный иравъ.  
Неподкупенъ какъ Іуда,  
Храбъ и честенъ какъ Фальстафъ.  
Съ безкорыстностью живовской  
Какъ хавронья миль и чистъ.

Даровитъ — какъ Тредыковской,  
 Столько-жъ важенъ и рѣчисть.  
 Не страшитесь съ нимъ союза,  
 Не разладитесь никакъ:  
 Онъ съ Французомъ — за Француза,  
 Съ Полякомъ — онъ самъ Полякъ;  
 Онъ съ Татариномъ — Татаринъ,  
 Онъ съ Евреемъ — самъ Ерей,  
 Онъ съ лакеемъ — важный баринъ  
 Съ важнымъ бариномъ — лакей.  
 Кто же онъ? . . . . .

Отгадайте!

Впрочемъ, между стихотвореніями «Перваго Апреля» есть и серьёзныя. Лучшее изъ нихъ называется «Ревность». Выписываемъ его для восторга и удивленія нашихъ читателей.

Есть мгновеніе думъ упорныхъ,  
 Разрушительно-тлетворныхъ,  
 Мрачныхъ, буйныхъ, адски-черныхъ,  
 Сихъ — опасныхъ какъ чума —  
 Расточительницъ несчастья,  
 Вѣстницъ зла, воровокъ счастья  
 И гасительницъ ума!...

Вотъ въ неистовствѣ разбоя  
 Въ грудь вломились, яро-вой —  
 Все вверхъ дномъ! И цѣлый адъ  
 Тамъ, гдѣ часть тому назадъ  
 Яркимъ, радужнымъ алмазомъ  
 Пламенѣль твой свѣточъ, разумъ!  
 Гдѣ добро, любовь и міръ  
 Пировали честный пиръ!

Адъ сей... Въ комъ изъ земнородныхъ  
 Отъ степей и навъ безплодныхъ,  
 Сихъ отчаянныхъ краевъ,  
 Полныхъ хлода и сиѣговъ —  
 Отъ Камчатки льдино-реброй,  
 До береговъ отчизны доброй,—  
 Въ комъ онъ бурно не кипѣлъ?

Кто его — страстей изъятый,  
Безсердечiemъ богатый —  
Не восчувствовать поспѣлъ?...

Адъ сей... Ревностию онъ кинутъ  
Въ душу смертнаго. Раздвинуть  
Для него широкій путь  
Въ человѣческую грудь!  
Онъ грядеть съ огнемъ и трескомъ,  
Онъ ласкателно язвить,  
Все инымъ кровавымъ блескомъ  
Обольять—и превратить  
Миръ—въ темницу, радость—въ муку,  
Счастье—въ скорбь, веселье—въ скучу!  
Жизнь—въ кладище, слезы—въ кровь,  
Въ ядъ и ненависть — любовь!

Полонъ чувствъ огнеполящихъ,  
Вопіющихъ и томящихъ,  
Проживаетъ человѣкъ  
Въ страшный мигъ тотъ—цѣлый вѣкъ,  
Вѣнчанъ тернiemъ, не миртомъ,  
Молитъ смерти—смерть бы рай!  
Но отчаянія спиртомъ  
Налить черепъ черезъ край.  
Рай душѣ его сиянной —  
Разрушать и проклинать,  
И кинжаловъ всей вселенной  
Мало ярость напитать!...

*Владимиръ Бурнооковъ.*

Прочтя это стихотвореніе, кто несогласится, что самъ г. Бенедиктовъ едва ли въ состояніи возвысится до такой образности и силы въ выраженіи неистово-клокочущей и бѣшенораздирающей грудь страсти...



### **III.**

## **ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.**

III

ЖУРНАЛ БУДУЩЕГО

теснѣйшій подлаживъ къ тщетности и въ себѣ вытащилъ изъ груди-жизни и изъ кончиковъ пальцевъ изъ пальцевъ чистоты и премудрости. Каждый изъ этихъ доказательствъ не можетъ никакъ склонить отъ мнѣнія Пушкинскаго о томъ, что писака-заяцъ явился отъ злобы и злобы. Генералъ Ганнибала было бы нечестно не сказать, что онъ не имѣлъ въ виду злобу, а злобу.

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗАЯЦЪ.

Можно бы написать большую книгу объ авторскомъ самолюбіи вообще, и о сочинительскомъ самолюбіи въ особенности. Первому бывають подвержены люди съ талантомъ; второму—посредственность и бездарность. Въ обоихъ случаяхъ, это страсть—источникъ величайшихъ страданій для одержимыхъ ею. Впрочемъ, талантъ, какъ бы ни былъ болѣзненно-раздражителенъ, всегда имѣеть свои минуты торжества, которыя, по возможности, ослабляютъ юдкую силу страданія отъ неудач, или отъ несправедливыхъ приговоровъ, внушаемыхъ пристрастіемъ и невѣжествомъ. Но когда бездарный человѣкъ, одержимый бѣсомъ сочинительства, въ то же время исполненъ раздражительного самолюбія, которое, будучи въ заговорѣ съ его безвкусіемъ и невѣжествомъ, убѣждаетъ его въ томъ, что его произведенія превосходны и единодушно порицаются всѣми только по недоброжелательству, зависти и ослюблѣнію: тогда взору наблюдателя представляется явленіе, столько же жалкое и страшное внутри, сколько смѣшное и комическое снаружи. Подобныя явленія подлежать изслѣдованію и психолога и врача. Задорный писака—истинный мученикъ; онъ не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью, и вездѣ, во всемъ видитъ злыхъ противъ него намѣренія. Вы сказали при немъ, что не любите читать — онъ обидѣлся; другой сказалъ при немъ, что не

хотѣлъ бы быть литераторомъ: онъ обидѣлся; третій сказалъ при немъ, что не любить романовъ и повѣстей: онъ обидѣлся; четвертый похвалилъ при немъ какое-нибудь новое произведеніе (не его, разумѣется): онъ обидѣлся... Несчастный! его мучить всякой чужой успѣхъ, его терзаетъ появленіе всякаго замѣчательнаго таланта; онъ ревнуетъ даже славѣ первоклассныхъ европейскихъ поэтовъ!... А въ «своей литературѣ», онъ играетъ роль зайца, котораго всѣ травятъ изъ одного удовольствія травить. Выйдетъ плохое сочиненіе, совсѣмъ не имѣ написанное: его сравниваютъ съ тѣмъ или съ другимъ изъ его сочиненій. Имя его вѣчно, кстати и некстати, подъ перомъ рецензентовъ. То онъ издаетъ сочиненіе за сочиненіемъ, то на время примолкаетъ, выжидаетъ—и вдругъ, думая, что всѣ забыли его старые грѣхи, смѣшилъ журналы и публику изданіемъ новаго жалкаго дѣтища своей бѣдненькай фантазіи. Видя, что всѣхъ не задобришь, онъ выбираетъ одинъ изъ наиболѣе насыщавшихся надъ нимъ журналовъ—и начинаетъ льстить ему некстати въ своихъ сочиненіяхъ; но неумолимый журналъ тѣмъ больше издѣвается надъ нимъ... Что дѣлать? Бѣднякъ рѣшается самъ сдѣлаться критиканомъ и рецензентомъ. «Меня браницы», говорить онъ: «буду же и я бранить другихъ». Но ему въ то же время хочется казаться безпристрастнымъ, и онъ считаетъ долгомъ своимъ хоть что-нибудь похвалить во всякой вздорной книжонкѣ. Впрочемъ, по сочувству бездарности, онъ хвалитъ только одно посредственное, ничтожное, и охуждаетъ только гениальное и талантливое, да ужъ развѣ что-нибудь очень безмысленное и безграмотное. Но онъ охуждаетъ съ «легкою пронією», а въ самомъ дѣлѣ сонно, вяло, плоско, съ беззубыми остротами и пошлыми шуточками. Однакожъ, и это ему не удается. Рецензій его не принимаетъ ни одинъ журналъ; онъ издаетъ ихъ отдельными тетрадками, которые доставляютъ обильную пищу насыщ-

шлиности журналовъ, а сами неидутъ, не раскупаются... Чудакомъ овладѣваетъ отчаяніе: изъ полемического рыцаря печального образа, онъ становится полемическимъ *Orlando Furioso*. Ему остается одно: найти пріютъ въ какомъ-нибудь изданіи. Наконецъ — о радость! издатель какого-нибудь литературного сора, видя въ нашемъ зайцѣ, большой полемической задоръ, предлагаетъ ему безвозмездно трудится въ своемъ изданіи. Несчастный заяцъ радъ и самъ платить послѣдняя деньжонки, чтобы только печатали его статейки, даромъ же онъ готовъ работать съ плеча, день и ночь. Издатель тоже радъ ему: онъ употребляетъ его даромъ и только поправляеть его статьи; самолюбивый заяцъ блѣдишь и дрожитъ за всякое вычеркнутое или поправленное слово; но прошлые неудачи дѣлаютъ его по неволѣ уступчивымъ: лишь бы не отняли у него возможность бранить тѣхъ, которые такъ долго смеялись надъ нимъ, — онъ готовъ переносить отъ своего хозяина все... Но, за то, трепещите вы, враги его! Онъ ужъ больше не говорить о беспристрастіи, о справедливости... Но, увы! враги его, которыхъ онъ думалъ видѣть подъ своими ногами, уничтоженныхъ, умирающихъ, — его враги опять весело смеются, потому что ничего нѣтъ смѣшище и пріятнѣе, какъ безсильная злоба, какъ пухлое изверженіе надувшейся бездарности...

Что же будетъ дѣлать заяцъ, когда убѣдится въ своемъ безсиліи? что ожидаетъ его, несчастнаго?... Да, это любопытный типъ, драгоценный предметъ для литературно-физиологического очерка съ картинками, подъ названіемъ: «Литературный Заяцъ...»

**НОВЫЙ КРИТИКАНЪ.**

А что новаго въ нашей литературѣ? Послѣдняя новость въ ней — явленіе новаго необыкновеннаго таланта. Мы говоримъ о г. Достоевскомъ, который рекомендуется публикѣ «Бѣдными Людьми» и «Двойникомъ» — произведеніями, которыми для многихъ было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но такъ начать, — это, въ добрый часъ молвить! что-то ужь слишкомъ необыкновенное... Теперь въ публикѣ только и толковъ, что, о г. Достоевскомъ, авторѣ «Бѣдныхъ Людей»; но слава не бываетъ безъ терній, и говорить, что посредственность и бездарность уже точатъ на г. Достоевскаго свои деревянные мечи и копья... Тѣмъ лучше: такія тернія не колятъ, а даютъ ходъ таланту, который — не талантъ, если у него нѣтъ враговъ и завистниковъ.—Потомъ, послѣдняя литературная новость — «Петербургскій Сборникъ», альманахъ, изданный г. Некрасовымъ; перлъ этого альманаха опять таки «Бѣдные Люди», но въ немъ и кромѣ того много замѣчательныхъ-хорошихъ произведеній. — Пока тутъ и всѣ новости. Но не безъ новостей и въ другомъ углу нашей литературы. Изъ нихъ, самая забавная (и ужь не совсѣмъ новая) полемическія статьи въ «Сѣверной Пчелѣ» какого-то г. Я. Я. Я. Мы бы не сочли за нужное упоминать объ нихъ въ нашемъ журналѣ; но г. Я. Я. Я. такъ занятъ «Отечественными Записками», такъ хлопочетъ о нихъ и такъ усердно служить имъ, что у насъ никакъ не достаетъ жестокости не наградить его за это минутою вниманія. Мы ужь и счетъ потеряли его статьямъ противъ «Отечественныхъ Записокъ». Онъ порочить въ нихъ все съ плеча — знай-молъ нашихъ! Затѣйливая подпись этихъ статей: Я. Я. Я. многознаменательнѣе «Quos ego!»

Нептуна у Виргилия. Мы особенно благодарны г. Я. Я. Я. за то, что онъ ровно ничего хорошаго не находитъ въ «Отечественныхъ Запискахъ»: въ этомъ мы видимъ съ его стороны великую жертву пользамъ нашего журнала. Такой врагъ лучше друга! Нѣкоторые журналы въ старину панимали себѣ такихъ враговъ: нашъ служить намъ даромъ безкорыстно. Одно только огорчаетъ насъ въ статьяхъ г. Я. Я. Я.—именно онъ ужасно растянуты, длинны; сначала мы не дочитывали ихъ, а теперь и вовсе перестали читать. Что онъ нѣсколько водяны и скучны,—въ этомъ нельзя обвинять г. Я. Я. Я.: онъ дѣлаетъ, что можетъ, чтѣ въ силахъ дѣлать. Зато, онъ не затрудняется въ энергіи (нѣсколько, правда, простонародной) выраженій и словъ, и за это мы ему тоже благодарны. Жаль еще, что у него есть замашка — изъ большой статьи вырывая тамъ и сямъ по фразѣ, по полуфразѣ, по слову, по полуслову, стараться, сближенiemъ этихъ урывковъ, давать имъ совсѣмъ превратный смыслъ; но, можетъ-быть, это нужно ему для практики, для дальнѣйшихъ успѣховъ на поприщѣ, болѣе сообразномъ съ его наклонностями, нежели сколько сообразно съ ниими литературное поприще... Въ такомъ случаѣ, будучи ему столько обязаны, желаемъ ему успѣвать и преуспѣвать...

Еще разъ: возражать г. Я. Я. Я. мы не намѣрены, сколько изъ благодарности за его усердіе къ нашему журналу, столько и изъ опасенія заставить его утратить свою природную скромность, которую доказалъ онъ въ 281 номерѣ «Сѣверной Пчелы» за прошлый 1845 годъ, сознавшись откровенно, что онъ никакъ не могъ понять одного мѣста изъ критики «Отечественныхъ Записокъ» на «Тарантасъ»... Но, какъ бы то ни было, мы, снова благодаря г. Я. Я. Я., за его неоцѣненные услуги нашему журналу и прося его продолжать ихъ и на будущее время, мы въ то же время поздравляемъ «Сѣверную Пчелу» съ пріобрѣтеніемъ такого сотрудника.

Кстати о «Съверной Пчелѣ». Фёльетонистъ этой газеты, не упуская времени подписки на журналы, посвящаетъ свое перо преимущественно «Отечественнымъ Запискамъ». Въ фёльетонѣ 16 нумера, онъ рѣшился даже немного... присочинить, будто бы какой-то сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ» говорилъ съ нимъ, защищая ихъ отъ его нападокъ, а фёльетонистъ будто бы все щупалъ пульсъ у сотрудника «Отечественныхъ Записокъ», увѣряя его, что у него горячка, тихое помѣшательство: *idée fixe...* Право, это все напечатано въ фёльетонѣ 16 нумера «Съверной Пчелы», для которой «Отечественные Записки» давно уже сдѣлялись *idée fixe...* Сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ» разговаривалъ серьёзно съ г. фёльетонистомъ «Съверной Пчелы»! Что вы это!.. Пощупайте-ко свой собственный пульсъ, г. фёльетонистъ! — Далѣе, г. О. Б. нападаетъ на нашу статью о книжкѣ г. Кодинскаго «Упрощеніе Русской Грамматики», по обыкновенію, приписывая намъ намѣренія и цѣли, которыхъ мы никогда не имѣли, и откровенно (что дѣлаетъ ему особенную честь) выражается такъ: «Хотя мы постарѣе васъ и — тутъ уже нельзя скромничать» (пожалуйста, не перемоньтесь!) «поболѣе васъ сдѣлали для Л(л)итературы, но не отваживаемся на нововведенія» и пр. Что бы старше насъ — правда; что вы больше насъ сдѣлали — должно быть такъ, если вы сами такъ скромно отдаете справедливость собственнымъ заслугамъ... .

Замѣчательна въ этомъ фёльетонѣ еще слѣдующая черта. Прославляя, по обыкновенію, собственное правдолюбіе и нападая на пристрастіе толстыхъ журналовъ, фёльетонистъ говоритъ:

„Какъ въ Средніе Вѣки, у этихъ журналовъ есть оглашенные, которые не смѣютъ появиться въ феодальномъ владѣніи, а если появятся, то ландскнехты тотчасъ нападаютъ на нихъ, или пускаютъ въ нихъ стрѣлы издали. Имена этихъ *несчастныхъ рыцарей* (печального образа?) всегда выставлены на

черной доскѣ, въ сѣняхъ полуразрушенаго замка (т. е. въ отдѣлениіи критики и библіографії). Вотъ, напримѣръ, въ *каждой книжкѣ* (?) Отечественныхъ Записокъ вы встрѣтите имя *Л. В. Бранта*, которое выставлено въ родѣ мишени для упражненія въ остроуміи журнальной свиты и самого начальника дружины ландскнехтовъ. Г. Бранть, за иѣсколько лѣтъ предъ симъ написалъ иѣсколько повѣстей и романовъ (*Аристократку* и *Жизнь какъ она есть*), и по нимъ измѣряется теперь достоинство (?) всего, что пишется въ этомъ родѣ на Руси. Съ иѣкотораго времени то же самое находимъ и въ Библіотекѣ для Чтенія. Г. Бранть писалъ библіографическую обозрѣнія (разосланныя, за иѣсколько лѣтъ передъ симъ, при Русскомъ Инвалидѣ), оцѣнивалъ журнальную правду, и храбро сражаясь съ феодалами, свалилъ не одного ландскнехта, такъ и по дѣломъ ему!“

Романъ, совершенный романъ, въ родѣ «Виктора или Дитя въ Лѣсу»! Этаѣ, пожалуй, публика до того заинтересуется трогательными приключеніями г. Бранта на литературномъ поприщѣ, что станетъ наконецъ читать съ умиленiemъ его «Аристократку» и «Жизнь какъ она есть», а потомъ — чего доброго! пріимется за чтеніе и его полемическихъ статей въ «Сѣверной Пчелѣ»...

Далѣе, правдолюбивый фельетонистъ увѣряетъ своихъ читателей, будто бы «Отечественные Записки» дурно отзвались о «Стихотвореніяхъ Александра Струговщика, заимствованныхъ изъ Гёте и Шиллера»... Нечего сказать! Это одинъ изъ безсмертныхъ его подвиговъ по части «правдолюбія»...

#### БУЛГАРИНЪ.

Чего, подумаешь, не писалъ г. Булгаришъ въ подрывъ кредита у публики «Отечественныхъ Записокъ»!... То увѣрялъ, что онъ скоро прекратяться, за неимѣніемъ подписчиковъ, то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи буд-

то онъ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры: въ 55 нумерѣ «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, г. Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отечественныя Записки» основаны съ цѣлью уронить(!) «Библиотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отечественныхъ Записокъ» рѣшительно объявила известное правило: «кто не съ нами, тотъ противъ насъ». Впервыхъ, нигдѣ не было объявлено, что «Отечественныя Записки» издавались компаніею, и на заглавномъ листкѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ г. Булгаринъ компанію?... Далѣе:

„Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ *Молевѣ*, заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкою удивленія (т. е. добрые люди посмотрѣли тогда на себя съ удивленіемъ!...) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожать все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все: что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха.“

Спросимъ г. Булгарина: все это литературныя ли подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?... Но ему до правды нужды нѣть. Такой ужъ онъ правдолюбъ!... Однакожь входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять о нихъ цѣлую исторію, это называется личностями... Объ этомъ, кстати, мы должны разсказать цѣлую исторію. Въ 57 нумерѣ «Сѣверной Пчелы» г. Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ:

„Г. Віардо, изданиемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя, принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу, очень сомнительную, похожую на ту, которую, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссийскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость — все это изчезло

подъ губительными перомъ варвара-переводчика: остались нелѣпые вымыслы, уродливыи сцены, отвратительныи подробности, безвкусіе и отсутствіе всяаго благородства и изящества литературнаго; вмѣсто живаго тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ, всякъ воленъ переводить, что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами. Г. Віардо, печатая юродивую повѣсть «Вій» въ *Journal des Debats*, снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говорить, что г. Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своемъ созданіе литературы оригиналной, обогащенной трудами двухъ умершихъ писателей ея, Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту г. Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени, признаемъ въ его *Тарасъ Бульбъ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старосельскихъ Помощниковъ*, и не можемъ наѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ*, но не дерзаемъ ставить его не только на равнѣ съ Пушкинымъ и съ Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ ихъ. У него иѣть главнаго, пять языка; онъ позайметъ, позабавитъ публику своимъ разсказомъ, но не подвинетъ ся впередъ на пути литературнаго образования, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ.— *Журналы здѣшніе* (?) смыются надъ твореніями Гоголя въ переводѣ, и ставятъ ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій», и скажите, можетъ ли быть что-либо уродливѣе и нелѣпѣе.»

Чтѣ сказатъ на это? «Сѣверная Пчела» вольна находить переводъ г. Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища иѣть. Но чтобы французскіе журналы смылись надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,— это, просимъ не прогнѣваться—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣверной Пчелы»... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но чтѣ вся эта выдумка «Сѣверной Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующею выходкою г. Булгарина:

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ г. Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ въ г-ну Віардо, я обязанъ, зная дѣло представить, при обвиненіи его, облегчительныхъ обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ», (*Всякая Всѧчина*, номеръ 22); что у насъ есть люди, которые ловать каждого заѣз-

жаго чужеземного литератора, чтобъ внушить ему свой понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ, и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ<sup>1)</sup>). Такимъ образомъ уловили г. Мартье и другихъ; точно также поймали и г. Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть г. Гоголь, и пригласили перевести его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо известно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? *Къ нему отрядили одного изъ геніевъ новой натуральной школы, знающаго французскій языкъ (т. е. французскія слова), и онъ сталъ надстрочно переводить для г. Віардо сочиненія г. Гоголя, а г. Віардо долженствовалъ сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится, о французить чужеземное слово. Встрѣчая часто у г. Віардо этого генія новой натуральной школы, за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобы не избавить моего удивленія, и тогда г. Віардо сознался мнѣ, что этотъ геній переводитъ для него сочиненія г. Гоголя, съ которыми онъ намѣренъ познакомить Европу.*

За тѣмъ, г. Булгаринъ увѣряетъ, что «не выносить сору изъ избы» — его неизмѣнное правило!... А наконецъ, изъявляетъ сожалѣніе, что «г. Віардо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!»... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: г. Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за границею переводы его сочиненій и до того не вѣрилъ возможности успѣха русскаго писателя за границею, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголя отвергаетъ... Но, спрашиваемъ, кстати ли сочинять небывалыя исторіи о геніи, отправленномъ какою-то школою къ г. Віардо, о томъ, что этотъ геній знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, что г. Булгаринъ видаль его у г. Віардо за бумагами и т. п.?... Впрочемъ, пи-

<sup>1)</sup> О существованіи этихъ людей рекомендуемъ г. Булгарину справиться въ статьѣ Пушкина, называшагося *Феофилактомъ Косичкинымъ*: «Торжество Дружбы, или оправданный Александръ Антоновичъ Орловъ» (*Телескопъ*, 1831 г., ч. IV, стр. 135—144).

шуть же сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ», будто бы помѣшившемся на *idée fixe* («Сѣверная Пчела», 1846 г., номеръ 16) и печатно называютъ своихъ противниковъ сумасшедшими!... Помнится также, что кто то, изъ ничего, изъ капустныхъ кочерыжекъ, говоря о Полевомъ, недавно еще имъ превозносимомъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваниемъ» и о «какомъ то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкою?... (Сѣверная Пчела, 1842 г., номеръ 142).

Этого мало. Сколько уже разъ было замѣчаемо г. Булгари-ну, что онъ всегда дружится съ мертвыми и становится пріятелемъ отсутствующихъ. Умеръ Карамзинъ—г. Булгаринъ пишетъ статью: «Мое знакомство съ Карамзинымъ», въ которой доказываетъ, что авторъ «Исторіи Россійскаго Государства» находился съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ, когда еще не умиралъ. Умеръ Грибоѣдовъ—г. Булгаринъ за перо, и пишетъ біографію умершаго, бывшаго съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ. Такъ же хотѣлъ онъ поступить съ Пушкинымъ, но тутъ что-то помѣшало... Умеръ Крыловъ—г. Булгаринъ тотчасъ пишетъ статью о своей съ нимъ пріязни... Слышио, что многіе, лорожа дружбой и пріязнью г. Булгарина, признаются откровенно, что имъ мѣшаеть подружиться съ почтеннымъ авторомъ «Воспоминаній» только жизнь ихъ... А какъ только они отыдутъ къ праотцамъ, то онъ непремѣнно вспомнитъ, что былъ имъ другъ и пріятель. Г. Булгаринъ принялъ за правило «не выносить сора изъ избы» зачѣмъ же нарушено это правило по отъѣздѣ г. Віардо изъ Петербурга? Мы, хотя и не иностранцы, никакъ не можемъ повѣрить ни выдумки, ни правды, не выслушавъ г. Віардо, который, какъ оказалось послѣ его отъѣзда, находился съ г. Булгариномъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Мы даже не повѣримъ ссылкѣ на г. Віардо въ справедливости словъ г. Булгарина, пока не

подтвердить ихъ самъ г. Виардо: мы видѣли недавно, чѣмъ кончилась ссылка г. Булгарина на его высокопревосходительство, адмирала П. И. Рикорда, въ спорѣ за «Воспоминанія»... Странно, что г. Булгаринъ молчалъ дотѣхъ поръ, пока г. Виардо былъ на лицо...

Впрочемъ, во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ г. Булгаринъ, облегчительныя обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Ничего нѣтъ тяжеле, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, г. Булгаринъ чуть было не попадъ въ русскіе Вальтеръ Скотты; но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Сѣверной Пчелы», во время отсутствія г. Булгарина изъ Петербурга, и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеромъ Скоттомъ («Сѣверная Пчела», 1843 г., номеръ 86) и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему его сотрудниками титла, иногда величаетъ себя, для разнообразія, Сократомъ («Сѣверная Пчела», 1843 г., номеръ 57), — однажды публика видѣтъ теперь въ немъ только говорливаго фѣльетониста «Сѣверной Пчелы» ни больше, не менѣе, совершенно забывъ о его прежнихъ твореніяхъ. А кто виною этому? — Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые, своими романами, успѣли изгладить изъ памяти публики романы г. Булгарина!.. Есть отчего сдѣлать изъ Гоголя *idée fixe*, говоря словами г. Булгарина! Сначала, Гоголь въ глазахъ г. Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда по увѣренію его же, г. Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, онъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣстии комедіи изъ русской жизни,

и которую, за это, г. Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новою натуральною школою», въ отличие отъ старой риторической, или не натуральной, т. е. искусственной, другими словами—ложной школы. Этимъ онъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;— новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданый ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестанно такъ нападаетъ на новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева» («Сѣверная Пчела», 1843 г., номеръ 129)?.. Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя — Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ—Гоголѣ и Лермонтовѣ. А обѣ ученикахъ пѣчего и говорить: волею или неволею, а пришлось имъ пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни порочьте новую школу, а она уже не станетъ идти раковою походкою и писать по вашему. Да притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы ополчаетесь на нее за ея успѣхи. Иначе, вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ вами. Но вы на чужое мнѣніе, несогласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь. На что это похоже! теперь цѣлые фольетоны «Сѣверной Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у г. Достоевскаго нѣть ни искорки таланта. Ну, нѣть такъ и нѣть — тѣмъ лучше для васъ. Скажите это—и успокойтесь; а то подумають, что вы не искренни, и съ особымъ намѣреніемъ хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНИЯ.

1845 г. *Отечественные Записки*. Кн. 1. Воспоминанія Слѣпаго. Путешествіе Араго.— Переписка и разсказы русскаго инвалида, соч. Скобелева.— Воспоминаніе о прошедшемъ. Драматический отрывокъ.— Стихотворенія Павла Браславскаго.— Моя Записки.— Кн. 2. Людовикъ XV и французское общество 18 столѣтія.— Параша Лупалова, соч. графа Ксавье де Местра.— Кн. 3. Двѣ судьбы, бывш. А. Майкова.— Странствователь по сушѣ и морямъ. Кн. III.— Кн. 4. Тарантасъ, соч. гр. Соллогуба.— Извѣстія о первоначальныхъ московскихъ и петербургскихъ вѣдо мостахъ, изданныхъ при Петрѣ Великомъ.— Правила стихосложенія.— Другъ дѣтей.— Стихи Платона Зубова.— Ода въ похвалу прекраснаго пола.— Провинціальный поэтъ.— Кн. 5. Москва. Три пѣсни Вл. Филимонова.— Физіология Петербурга.— Современные историческія труды въ Россіи.— Кн. 6. Очеркъ литературы русской исторіи до Карамзина, соч. Старчевскаго.— Опытъ исторіи русской литературы, соч. Никитенко.— Русская исторія Устрилова.— Русскіе полководцы, Н. Полеваго.— Альманахъ для дѣтей.— Географія, составленная Чертковымъ.— Кн. 7. Лѣсной словарь.— Славянскій сборникъ, Савельева.— Лондонскія тайны, романъ г-жи Тролlopъ—Московскій театраль; Кривой бѣсь, русская сказка.— Кн. 8. Сто русскихъ литераторовъ. Т. III.— Политическая географія, Черткова.— Кн. 9. Руководство ко всебѣйшій исторіи, соч. Лоренца. Ч. 1.— Французскіе, немецкіе и русскіе общественные разговоры.— Французская азбука.— Учебный французскій словарь.— Наставление о шелководствѣ, Н. Райко.— Расчеты поѣзда и б процентовъ въ таблицахъ.— Записки русскаго путешественника, А. Глаголева.— Кн. 10. Башня Веселуха.— Прощанье.— Остры и анекдоты Сафира.— Кн. 11. Домъ призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ гражданъ въ С. Петербургѣ.— Изображеніе характера и содержаніе новой исторіи. Кн. 2.— Кн. 12. Новая школа мужей, комедія Р. Зотова.— Воля за гробомъ, драма.— Прогулка по Невскому проспекту.— Отрывки въ стихахъ и прозѣ.— 1846 г. *Отечественные Записки*. Кн. 2. Эпопея Виргилія, пѣсни 1, 2 и 3.— Кн. 3. Вчера и сегодня. Сборникъ графа Соллогуба Кн. 3.— Воспоминанія о Н. И. Хмельницкомъ, Егора Аладьина.— Сельское Чтеніе, Кн. 2.— Руководство къ первоначальному изученію всебѣйшій исторіи.— Кн. 4. Юмористическіе разсказы Кн. 4 и 5.

## ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ.

1845

### ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

2.

#### БИБЛIOГРАФІЯ

Стр.

Правила высшаго краснорѣчія. С. М. Сперанскаго. — О подражаніи Христу Фомы Кемпійскаго, переводъ М. Сперанскаго . . . . .	7
Импровизаторъ, романъ Аnderсена . . . . .	8
Исторія Наполеона, соч. Н. Полеваго Т. I . . . . .	9
Руководство къ познанію теоретической-матеріальной философіи, соч. Татаринова . . . . .	10
Общая риторика Н. Кошансаго, Изд. 9 . . . . .	13
Бородинское ядро и Березинская переправа, романъ. — Любовь танко- вщицы, повѣсть; соч. Р. Зотова. . . . .	30
Разговоръ. Стихотвореніе Ив. Тургенева. . . . .	31
Наставникъ русской граматѣ. . . . .	34
Леди Анна или Сирота. — Чтеніе для дѣтей перваго возраста. — Дѣт- скія комедіи, повѣсти и были. — Дѣтскій театръ. — Дѣвъ комедіи Елиз. Клев.. — Повѣсти и сказки для дѣтей. — Дѣтское зеркало. . . . .	37
Тайна жизни. Соч. П. Машкова . . . . .	40
Опытъ науки философіи; соч. Ф. Надеждина. — Краткое руководство къ логикѣ; соч. Новицкаго. . . . .	43
Бiографія А. М. Карагыгиной. . . . .	44
Ямщики, водевиль П. Григорьеваго. — Дружеская лоттерея съ угощеніемъ, его же. . . . .	46
Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе Россіи. . . . .	—

Сочиненія К. Масальскаго. . . . .	51
Сто новыхъ дѣтскихъ повѣстей, соч. Б. Федорова . . . . .	63
Сказка о двухъ крестьянахъ . . . . .	66
Вчера и сегодня; сборникъ, составленный гр. Соллогубомъ. Кн. 1 .	68
Новый гость. Визитъ 1 . . . . .	73
Метеоръ, на 1845 годъ . . . . .	74
Типы современныхъ нравовъ. . . . .	81
Краткая исторія крестовыхъ походовъ . . . . .	82
Карманный словарь иностранныхъ словъ въ русскомъ изыкѣ . . . . .	84
Стихотворенія Губера. . . . .	86
Стихотворенія Петра Штавера . . . . .	95
Физіология Петербурга. Ч. 2 . . . . .	106
Грамматическая розысканія г. Васильева . . . . .	117
Литературные плоды безсонницы. Соч. барона Боде . . . . .	137
Русское чтеніе, С. Глинки. Вып. 1 и 2 . . . . .	138
Petrouchka (Moeurs russes), раг Hypolite Auger . . . . .	139
Стихотворенія Струговщикова. Кн. 1 . . . . .	140
На сонъ грядущій, соч. гр. Соллогуба. Изд. 2 . . . . .	147
Романы Вальтера Скота. Т. 3 . . . . .	149
Сочиненія Державина, изд. Штукина. . . . .	151
Сельское чтеніе, составл. Кн. Одоевскимъ и А. Заблоцкимъ. Кн. 3 .	174
Столѣтіе Россіи съ 1745 года, соч. Н. Полеваго. . . . .	181
Исторія консульства и имперіи, соч. Тьера. Ч. 1, 2, и 3 . . . . .	189
Частная риторика Н. Кошансаго. Изд. 6.—Умозрительные основанія словесности, соч. А. Глаголева. . . . .	194
Коварство, соч. Чернявскаго . . . . .	198
Букеты или петербургское цвѣтобѣсіе, водевиль Соллогуба. . . . .	203
Петербургскія вершины, соч. Буткова . . . . .	212
Карианная библіотека. Графъ Монте-Кристо, Ал. Дюма.—Графъ Монте-Кристо, романъ Ал. Дюма.—Экономическая библіотека. Три мушкетера, романъ А. Дюма . . . . .	219
Кочубей; историческая повѣсть Сементовскаго. . . . .	221
Могила инока, соч. Садовникова. . . . .	223

## 3.

## ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1. Размышленія по поводу нѣкоторыхъ явленій въ иностранной журналистики . . . . .
  2. Нѣсколько словъ о фельетонистѣ „Сѣверной Пчелы“ и о „Хавронѣ“.
- 229  
233

3. Совѣтъ „Москвитянину“ . . . . .	241
4. Переводъ сочиненій Гоголя на Французскій языкъ . . . . .	243
5. „Сѣверна Пчела“—защитница правды и чистоты русскаго языка.	245

## 4.

## ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ . . . . .	257
--	-----

1846

## ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

## 1.

## КРИТИКА.

Русская литература въ 1845 году. . . . .	269
Голосъ въ защиту отъ „Голоса въ защиту Русскаго языка“ . . . . .	309
Петербургскій Сборникъ . . . . .	333

## 2.

## БИБЛИОГРАФІЯ.

Мельникъ, романъ Ж. Занда . . . . .	377
Новоселье. . . . .	380
Елка. — Преданіе о графинѣ Бертѣ. — Донъ-Кихотъ Ламачскій. — Путешествіе вокругъ свѣта, изд. Ф. Студитскимъ. — Мери и Флора; переводъ Ишимовой. — Каникулы въ 1844 году, или поѣздка въ Москву, соч. Ишимовой. — Картины изъ исторіи дѣтства знаменитыхъ живописцевъ. — Мать наставница. — Альманахъ для дѣтей, З. Ковригина. — Робинсонъ. — Пантеотъ русскихъ баснописцевъ. — Маленькия дѣти, повѣсти Бланшара. — Исторія Петра Великаго для дѣтей. . . . .	383
Петербургскій Сборникъ, изд. Некрасовымъ. . . . .	389
Переводы Александра Струговщикова. Кн. 1. . . . .	391
Стихи на объявленіе памятника Н. М. Карамзину . . . . .	393
Невскій альманахъ на 1846 годъ . . . . .	394
Юмористическіе разсказы нашего времени. . . . .	397
Мирза Хаджи-Баба Исфагани; соч. Моріера . . . . .	398
Столѣтіе Россіи. Н. Полеваго . . . . .	401
Занятательное и поучительное чтеніе для дѣтей . . . . .	402

Стихотворенія Аполлона Григорьева. — Стихотворенія 1845 года Я. Понискаго . . . . .	402
Лексиконъ философскихъ предметовъ, составленный А. Галичемъ . . . . .	414
Первое апрѣля. Комический иллюстрированный альманахъ . . . . .	419

## 3.

## ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1. Литературный Заяцъ . . . . .	427
2. Новый критиканъ . . . . .	430
3. Булгаринъ . . . . .	433
Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли въ десятую часть . . . . .	440

---





BIBLIOTEKA TURGENEVA

LIBER



100973